

05

0-52

Ж 32826

Октябрь

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

5

1941

ОКТАБРЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ПЯТАЯ
КНИГА

МАЙ



ОГИЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА

1941

ТОРЖЕСТВО СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА

Присуждение Сталинских премий за выдающиеся работы последних 6—7 лет в области науки, техники, искусства и литературы народы СССР восприняли, как замечательный праздник советской культуры, как событие большой важности в жизни страны.

Стремительно двигаясь вперед, разрешая все новые и все более сложные задачи, мы останавливаем свое внимание на недостатках, на том, что еще предстоит сделать, больше чем на достигнутом. В этом находит свое отражение творческий порыв всей нашей страны, устремленной в будущее и решающей в самые сжатые исторические сроки задачи всечеловеческого значения.

Но бывают праздничные дни, когда народ оглядывается на пройденный путь, подводит итоги и с законной гордостью отмечает, как много уже сделано, как глубоко вспахана его напряженным трудом почва и какие обильные всходы уже поднялись, обещая невиданные урожаи.

Часто и совершенно справедливо мы говорим об отставании литературы от запросов народных масс, от блистательного развития страны. Эта высокая требовательность к самим себе исходит, по существу, из ощущения силы, из сознания необходимости и возможности сделать еще больше. Но молодая советская литература, продолжающая лучшие традиции, является самой идейной, самой содержательной литературой современности. Уже созданы десятки произведений, вошедших в сокровищницу советской культуры и служащих воспитанию и духовному обогащению масс. Эти произведения широко известны в нашей стране и за её пределами.

Советская литература — это новая литература во всех отношениях, нового идейного качества, новых героев, нового отношения к миру. Индивидуалистическому герою, господствовавшему в литературе прошлого, противостоит в советской литературе герой, непосредственно связанный с народом, живущий его жизнью, тревогами, борьбой коллектива. Сам народ является одним из основных героев нашей литературы, в которой нашли отражение черты нового мироощущения и сознания человека социализма с его новым отношением к труду, к проблеме общества и личности, к родине, к семье и женщине.

В нашей литературе нашло выражение глубокое чувство интернациональной солидарности.

Как характерна в этом смысле отмеченная Сталинской премией книга одного из выдающихся украинских поэтов Павло Тычины — «Чувство семьи единой». Книга эта, блестящая по своей национальной форме, глубоко значительна по своему социалистическому содержанию, по тому чувству межнациональной солидарности, которое стало естественным для человека нового общества.

Примечательно широкое развитие в советской литературе исторического романа. Горький отмечал, что советские писатели создали высокохудожественный исторический роман, какого не было в дореволюционной литературе.

Секрет этого успеха заключается в том, что освобожденный народ, почувствовав себя хозяином своей судьбы, ощутил непосредственную необходимость пересмотреть свое прошлое, чтобы с тем большей силой бороться за свое настоящее и будущее.

Две первые Сталинские премии по прозе присуждены за исторические романы («Петр первый» — Алексея Толстого и «Севастопольская страда» — Сергеева-Ценского). Из вторых премий по прозе и драматургии четыре присуждены за произведения исторического характера («Цусима» — Новикова-Прибоя, «Богдан Хмельницкий» — Корнейчука, «Вагиф» — Вургун, «Фельдмаршал Кутзов» — Соловьева). Во всех этих романах и пьесах основным героем является народ, либо отдельные его представители, наиболее правильно понявшие в свое время нужды народа и государства. Все эти произведения подлинно патристичны, все они показывают, как в тяжелых условиях прошлого народ сохранял живое чувство справедливости, готовность бороться за свою свободу и независимость. Азербайджанский поэт Самед Вургун взял для своей исторической драмы время, когда народ страдал под игом восточно-ханского деспотизма, но тем выразительнее образ Вагифа — народного поэта и борца за народ.

Материал двух популярнейших в нашей стране произведений, «Цусимы» и «Севастопольской страды», связан с драматическими событиями в истории России, с неудачными войнами, с позорными поражениями. Но, как сказал Ленин о позоре японской войны 1904 года, поражение потерпел не русский народ, а самодержавный строй. Эта ленинская мысль нашла замечательное выражение в «Цусиме» Новикова-Прибоя. Можно сказать, что эта же мысль, применяемая к Севастопольской войне, является основной в «Севастопольской страде» Сергеева-Ценского. Несмотря на реалистические картины смерти, отступлений, гибели целых армий, книги эти глубоко оптимистичны, окрыляют верой в безграничные силы народа, духовную мощь его героев. Вот почему произведения Сергеева-Ценского и Новикова-Прибоя патристичны.

Вывод из обеих эпопей приходит естественный и совершенно очевидный: стоило народу освободиться от тирании крепостников и капиталистического рабства, и он с неслыханной силой развернул свои возможности.

Следует сказать еще об одной ветви литературного дерева, получившей у нас замечательное развитие, с которым ничто не может сравниться ни в русской дореволюционной, ни в мировой литературе. Мы имеем в виду литературу для детей. В самом этом факте — блестящего, общепризнанного расцвета советской литературы для детей — есть характерная черта нашего времени, нашей страны, открывающей человечеству пути в будущее. Советское правительство отметило заслуги нашей детской литературы, присудив Сталинскую премию С. Михалкову, одному из ее лучших представителей.

Сталинскими премиями первой и второй степени отмечены произведения 24 писателей, работающих в прозе, поэзии, драматургии, критике. Велико разнообразие нашей многонациональной литературы. Среди лауреатов писатели русские, украинцы, белоруссы, грузины, азербайджанцы, казахи. Сталинской премии удостоены и Шолохов, давший монументальное произведение о переломных годах от старого к новому, и Лебедев-Кумач, сумевший в простых и ду-

шевых словах песни' выразить чувства патриотической гордости и любви к родине, объединяющие двухсотмиллионный народ.

Одна из первых премий присуждена Шолохову за роман «Тихий Дон», над которым он работал четырнадцать лет и который стал едва ли не самым популярным произведением советской литературы. Миллионы читателей полюбили «Тихий Дон» за то, что с большой живописной силой раскрыты в этом романе благородные сильные характеры людей нашего народа, их ненависть к старому строю эксплуатации и издевательства над человеческой личностью.

Большинство писателей-лауреатов, как и большинство писателей нашей страны,— выращены революцией, целиком и полностью воспитаны революционной эпохой. Таковы: Шолохов, Погодин, Корнейчук, Вургун, Леонидзе, Вирта, Лебедев-Кумач, Твардовский, Михалков. То же можно сказать и о замечательном композиторе Дмитрие Дмитриевиче Шостаковиче и о большинстве наших отличных артистов оперы, драмы, балета, кино.

Но не менее значительно и то, что старые писатели, выросшие и сложившиеся в дореволюционное время, поднялись до вершины своего творчества только в годы революции. Это факт не только биографический, но и социальный. Речь идет не о постепенном количественном накоплении писателем опыта и мастерства, а о решающем переломе, об изменении качества.

Ал. Н. Толстой вошел в литературу, как признанный писатель, почти за десять лет до революции. Но вскоре же, после первых успехов, в творчестве молодого Толстого начался кризис, упадок. Сказывалось отсутствие больших идей. В годы кануна революции Толстой, по его собственным словам, чувствовал себя совершенно опустошенным. Знаменательна вся история его работы над темой Петра I, работы, начатой еще в 1917 году. В эпохе, связанной с именем Петра, одной из самых значительных и переломных в русской истории, Толстой искал ответа на волновавшие его вопросы о судьбах родной страны. Но в повести «День Петра» образ этого исторического деятеля, взятый вне правильной социальной идеи, оказался извращенным, и сама повесть осталась наглядным свидетельством того, насколько отсутствие большого социального замысла может свести на-нет усилия очень талантливого писателя.

Только сближение с революцией, понимание творческих сил народа, проявившихся с таким размахом в революции, привело Толстого к новому взгляду на историю и к превосходному реалистическому роману «Петр I». Без всякого преувеличения можно сказать, что только революция сделала Ал. Н. Толстого большим писателем.

Таким же, примерно, путем шел и Сергеев-Ценский. Известному еще до 1917 года писателю грозила опасность измельчания, оскудения, опасность погибнуть в декадентском тупике. Величайшее народное движение, каким явилась Октябрьская Революция, величие народного духа, героизма, чудеса народного творческого гения перевооружили писателя. Так возник замысел «Севастопольской страды», эпического произведения о героике русского народа, о его патриотизме и беспримерной моральной мощи.

Грузинский писатель Лео Киачели за несколько десятилетий своей литературной деятельности прошел через большой опыт ошибок и многих достижений. Теперь, обогащенный социалистической действительностью, он создал лучшее свое произведение, жизнерадостный, реалистический роман о колхозниках — «Гвади Битва». Вдохновение и успех принесли писателям то гигантское движение народных сил, идей и талантов, которое объединяется словом «революция».

Престарелый певец казахского народа Джамбул, вся жизнь которого была связана с песней, в последние предреволюционные годы замолк. Песня была заглушена и постепенно исчезала среди казахов, обреченных царизмом на вырождение. Семидесятилетний Джамбул запел снова после революции. Теперь звуки его песни, вдохновенные и сердечные, разносятся по всей гигантской стране от океана до океана, от Архангельска до Памира.

Упадок искусства был уделом не только предреволюционной России. Загнивание искусства, характерное для всего капиталистического мира, проявилось и проявляется и в странах самой старой буржуазной культуры. Ощущение этого упадка и вырождения никогда, может быть, не было там так сильно, как в последние годы. Это признавали и сами представители буржуазной культуры.

«Положение вещей таково,— говорил известный французский поэт Поль Валери,— что даже самые равнодушные вынуждены подумать о судьбах культуры, имевшей такое блестящее прошлое и заставляющей теперь с тревогой думать о будущем...» Жорж Дюамель прибавлял к этому совершенно точно: «Огромное страшное молчание придушило европейский гений».

Было это до войны, несколько лет тому назад. Теперь молчание нарушено взрывами тысяч бомб. И европейский «гений» проявляет себя прежде всего в том, что старые центры цивилизации и культуры систематически, изо дня в день, превращаются в груды горящих развалин.

Советское искусство приобрело уже давно международное признание. Появление за границей советского романа, советского кинофильма, советского театра воспринимается лучшими людьми капиталистического мира, как ободряющий поток новых идей, мощи, оптимизма.

Скульптура Мухиной «Рабочий и колхозница» на выставке в Париже привлекла всеобщее внимание своей экспрессией, мощью, гордой поступью людей, символизирующих советский народ.

Чем большее значение приобретает наше искусство, тем ответственнее задачи, стоящие перед ним. Сталинские премии, которые отныне будут присуждаться ежегодно,— не только праздничный итог прошедшего, но и указание на будущее. Хорошо сказал об этом на московском собрании писателей Толстой: «Сталинская премия — это факел эстафеты на величественном, непомерном и неслыханном в истории пути Советского Союза, нашем пути к коммунизму». И как обещание нести эстафету вперед Толстой тут же рапортовал собранию о работах, которые он считает себя обязанным выполнить в 1941 году.

«Эпоха борьбы за коммунизм должна стать эпохой Социалистического Возрождения в искусстве, ибо только социализм создает условия для полного расцвета всех народных талантов». (Передовая «Правды» 16 марта 1941.) Условия созданы. Но для того, чтобы наилучшим образом использовать эти условия, необходима работа, большой и неустанный труд всех людей нашего искусства.

Два века в полвека

Повесть

ЧАСТЬ III — НОВОЙ ДОРОГОЙ¹

1

Снова время пошло-покатилось. Звезды высыпают и потухают. Солнце подымается и закатывается. День приходит, мне заботу приносит. Вокруг стола надо шесть детенышей посадить. По куску им дать, так шесть кусков наделить, да и свой рот не забыть. И это не один день. До полного возраста надо детей растить, понять да кормить, обувать да одевать, своим умом, своей душой, своим трудом, своей силой. Ночь сплю, а обо дне думаю. Тут уж не до горя, когда дела боле.

Смерть мужа оплакала, печаль опечаловала и своей дорогой пошла. Да только дорога-то еще не сразу мне под ноги попала. Чего ждала да хотела, о чем думала, на что надеялась — то опять сорвалось. После похорон мужа почти полгода болезнь меня сунула да крушила. Не пила я, не ела и спать не хотела: и ребята тоже заболели, вся учеба осеклась. Пришлось им в больнице лежать. Я месяца два крепилась, а потом врач Батманова говорит мне:

— Если хочешь жить, так ложись в больницу. А коли меж руками приведут тебя сюда, так поздно будет. Прольешь кашу — не сгребешь, упустишь здоровье — не вернешь.

Решилась я лечь в больницу. Месяц отлежала — получше. Вышла, а все чувствую себя не в старом здоровье. И старое-то здоровье худое было, а тут и вовсе ослабла. А кому больной человек нужен? Колхоз — не богадельня. В колхоз-то я думала идти не на койке лежать, а работать. А тут и дома-то не могу ладом дело вести. Вот и ждала я до поры своего здоровья, как у моря погоды.

Председатель колхоза Яша Шевелев зашел как-то ко мне.

— Что, — говорит, — в колхоз не вступаешь?

А я ему:

— Филат давно того рад, да сам видишь, нездоровье руки связало.

— Давай, — говорит, — справляйся, а осенью-то и вступишь.

В июне мне совсем получше. Попросила я пасынка Александра:

— Напиши мне-ка заявление, в колхоз хочу вступить.

Написал он да в тот же день в правлении славу раздернул, что я в колхоз вступаю. Жонки шум подняли:

— Эту холеру-то зачем нам в колхоз? Каждый день в больницу возить? Фомахиных ребят кормить? Мало того, что Евгенихиных кормим.

Евгениха — такая же вдова, как я, с такими же детьми и тож нездоровая. За детей да за болезнь колхозницы ее нет-нет да и попрекали:

— Не совалась бы со своим носом. Бумажных-то колхозниц и так у нас довольно. Прижала бы халявку к лавке да сидела.

Мне это не совсем по сердцу. Знаю, что не должны колхозницы так говорить. Сознательный человек еще помочь должен вдове, а не попрекать. На вдовый дом щепку бросишь, так и то в пользу.

На другой день, когда я хотела заявление отнести, у меня опять беда случилась. Был у меня жеребец пяти трав¹. И задумала я его легчить². Раньше жеребят коновалы легчили, а тогда коновалы уже из моды вышли. Позвала я ветеринарного фельдшера. А фельдшер молодой паренек, только что учиться кончил, пер-

¹ Окончание. Части первую и вторую см. «Октябрь» №№ 3 и 4, 1941 г.

¹ Пяти трав — пяти лет.

² Легчить — кастрировать.

вая практика у него была. Вылегчил он жеребца и никак не может кровь остановить. Бился он двое суток, а все-таки жеребец сдох.

Опять мое здоровье перевернуло. Опять с лекарствами да с леченьями хожу. Опять про колхоз забыть надо.

Я об коне реву, расстраиваюсь, а Яша Шевелев посочувствовал и говорит:

— Брось, Маремьяна, реветь. Корова — не мать и конь — не отец. Дадим мы тебе из колхоза кобылку неученую, осенью сидешь да поедешь. А ты нам в обмен телку дай. Тогда у тебя в колхозе две коровы будут, а там и сама к нам придешь.

Я так и сделала: нетеля отдала в колхоз на ферму, а взяла лоншинку¹. Заклеймила я ее, в гриву приметку заплегла. Бегают кобылка, я люблюсь, повеселела, забыла, что и конь сдох.

Летом на кобылку да на корову сена поставила. В проосенье² заставила я Павлика снова писать заявление в колхоз. Да и тут не пришлось его отдать. Прислали мне извещение о налоге, и решила я, что пока не вышлачу налог — не пойду в колхоз. Туда я с чистой душой идти хотела. А то были у нас такие, что от налога в колхоз метались и никто их не уважал. Подала я заявление в сельсовет, мне скинули половину налога: на семь человек — одна рабочая рука. А в сентябре, когда выплатила другую половину, взвеселилась:

— Сейчас, — думаю, — у меня душа чистая.

Написал мне Павлик еще одно заявление, и решила я сразу его в колхоз стащить, чтобы больше ничего не приключилось, чтобы никакая беда не подхватила да не подкрючила. Как только оставила я под заявление свое клеймо одной буквой, побежала в правление, быстрее конька завернулась.

Захожу туда веселая, смеюсь.

Председатель говорит:

— Ну, вот теперь и Маремьяна у нас заулыбалась. И краска в лице показалась.

— Не сглазь, — говорю. — Не краска горит, а кровь говорит. На вот, принесла я тебе, читай, да разбирай.

Прочитал он, похвалил:

— Самое хорошее дело надумала.

— Не за думой, — говорю, — у меня стояло дело. Давно надумано, с вами же

наряду. Да все у меня что-то крюком да боком шло, на каждом пороге были гвозди наколочены: то из-под мужниной воли не могла выйти, а то, сами видели, боролась я со всяким безвременьем.

Хоть и торопила я, а разобрали мое заявление только к концу года. Шевелев уехал на путину, а без председателя кто будет принимать: без паруса и лодку не несет.

В конце ноября заседание членов правления собрали. А почти все правление наше одного роду-племени в то время было, свои да присвои: из одной чашки одной ложкой шти хлебали. Один только Александр Тюшпи — не той семьи да Гриша Слезкин — муж моей падчерицы.

Гриша, пока в Макаровской коммуне пилось да елось, да веселиться хотелось, да работа тяжелая на ум не шла, первый коммунар был. А когда коммуны на колхоз перевели да работать понадобилось, он и сплыл, в Голубовку приехал, против бистери принесло. Его в правление и засунули. А он дурной, не умом живет, а дутым ветром. Когда добрый, так хоть ты шей им. А когда в другую сторону вернет — так и хуже его нет. А в тот час не поладил он с жонкой. Вот он и меня, матеху, не взлюбил:

— Таких колхозниц примать — лошадей умучим — в больницу их возить. Да и ямщиков не хватит. Вези да еще не тряхни, чтобы сало не стяхнуть.

— Что ты, Гриша! — говорит ему председатель. — Где ты сало-то увидел? С ее жизнью никакое сало не удержится.

Я уж около слез сижу: думаю — хотела да радела, а тут, видно, уж не примут. Видно, уж несуженный кусок из рта вон. И обидно это мне: ведь я не кулачна-кулебячна, не верхушка какая-нибудь.

Все Кожевины сидят-молчат, не говорят, а па то же глядят, что не сидеть птичке на том кустышке. Тогда Яша заговорил:

— Молчанкой, — говорит, — города не возьмешь. Говорить надо прямо, что есть на душе. Только отказать ей мы никак не можем: муравья с муравьиша не сбросишь. Хоть какая бы она пришла, а мы ее принять должны, потому — не из кулацких, а из батрацких она родов.

Кожевины опять молчат. Когда-некогда Диомид слово вытворожил:

— Раз закон такой, значит, не откажешь.

И Санко Тюшпи пробуждал:

— Ну так ведь у нас по привычке бумажных-то колхозниц держать. Считать

¹ Лоншинка — кобылка на втором году.

² Проосенье — осенняя распутица.

начнешь — колхозниц много, а наряжать на работу некого. У одной ручка болит, у другой — ножка.

Это он намеки давал, что к заявлению у меня и справка от Батмановой положена, что на тяжелую работу наряжать меня нельзя. Отдавала я им справку, говорила:

— Обсуждайте, чтобы обиды не было. Какая есть, а назад не лезть.

Проголосовали все за меня, кроме Гриши Слезкина. Тот встал, поклонился им.

— Поздравляю, — говорит, — с новой колхозницей. Теперь держись, работа.

И я встала.

— Время да здоровье будет, — говорю, — не подкачаю. Был конь, да изbezжен. А и теперь от дела плакать не буду, а буду стараться, чтобы дело плакало от меня. В колхоз я бежала бегом, и на работу не придется меня гнать стягом: работа — мой вечный друг.

Общее собрание не собиралось еще с месяц. А я уж не заботилась, знала, что меня примут.

И верно, в конце декабря меня записали в члены колхоза.

2

В ту пору я уже училась в школе ликбеза при нашем колхозе. Еще осенью приехал к нам в Голубково заведующий РайОНО Сопилов с учителем, молодым парнем, годов двадцати. Созвали нас на собрание. Объяснил нам Сопилов, что всем неграмотным надо учиться.

— Средства готовы, — сельсовет дает, учитель есть. Только пожелайте учиться, поможем вам грамоту добыть. В Советском Союзе неграмотных не должно быть.

А у нас все женщины были неучены. А кто и грамотным считался, так один глаз видел, а в другой не попадало, где и слышали, где и видели, а где и так проходило. Букваря понюхали да и прочь пошли. Только невестка Лизавета, да Анна Коротаева, да Лукья Дитятева, да Хionyя Шевелева зимы по две учились, так они взяты замуж из других деревень: Лизавета — из Пустозерска, Анна — из Устья, Лукья — из Виски, Хionyя — из Буи. Да еще Таисья Кожевина до этого две зимы с ребятами на ликпункте училась. А остальные неученые. И все же заговаривали:

— Не к чему нам учиться под старость. Смолоду жили неграмотными, а нынче уже нам столько не жить.

— Не до учебы нам. Дела — глаза не

глядят! Дело-то нынче не попржежнему. Прежде положишь, так и терпит, лежит до времени. А нынче бежишь сломя голову.

— День-от робишь, да дома крутишься, да ребята одолевают, а тут еще учеба. Нет, уж нам не до грамоты.

А я сказала:

— Не знаю, как кто, а я буду учиться. Я теперь — бездетная мать. В избыке у меня никто не плачет, никто меня теперь не держит, по полу не ползают, по лавкам не сидят, за подол не держатся и сзади не волочатся. Сама — большая, сама — маленькая. Встала, пошла, рукой махнула, головой тряхнула — все с собой понесла.

Таисья Маркова рядом стояла. Она — сухопарая, сухощавая, глаза, как у совы. Вот она мне и булькнула:

— Плакать-то кто-йно будет-то? Учиться начнешь, — забудешь все и слезы.

— Забыть и пора, — говорю. — Свежим воздухом я дыхнула. Мои слезы уже выплаканы, кручина прочь откинута. Время теперь не то и дело не то. Безумье-то никуда не девается, надо ума в головы копить.

— Смолоду, — говорит, — не набрала, так под старость не накопишь. Да и слезы у тебя что-то скоро подсохли. Еще год не миновал, как муж помер, а уж и забыла.

— Солнце, — говорю, — взошло, роса высохла.

Завели бабы свое собрание, да Таисья Кожевина, — она за председателя сидела, — уняла.

— Довольно, — говорит, — ругаться. Надо дело говорить. Кто хочет учиться, записывайтесь.

— Пишите, — говорю, — меня первую.

У меня веки душа болела, учиться хотела. С малых лет я от матери учиться просилась. Братишки по году учились, так и от них-то я каждое слово ловила, с той поры и буквы запомнила. Ребята в школу пойдут, и я без спросу туда же волокусь. Да не удалось мне у матери ученье вырвать. Учительница и та мать просила меня в школу пустить:

— У тебя, — говорит, — девка-то толковата, глазами востра, куда взглянет, так ровно словом канет.

А у матери один ответ:

— Куда девкам с грамотой: письма парням писать, что ли? Без грамоты скорей брюхо не наростит.

С той поры, где про учебу говорят, там я и жадничаю. Было бы время, так я самоучком бы выучилась. А у хозяев время

не вырвешь. Они задавятся, а грамоту добыть работному человеку не дадут: неграмотных им легче было обыграть. Без ученья-то мы ровно как в карты играли, а козырей не знали. Прежде знавала я ученых людей среди ссыльных и видела, как ученье человека красит. И дальновидный он — ровно двоеглазый. И все-то он знает да понимает, ровно ему ученье второй ум прибавило. А мы не много чего знаем. И спросим, да не каждый скажет. И скажет, да не все поймем. А и поймем, да не ясно.

И смотрела я на этих людей, как в зорю: и красиво, и светло, да шагать далеко. Хотели меня ссыльные грамоте учить, да мать взамуж отдала. Было, да урыло, да водой унесло. Вот я ликбезу-то и рада. Мне учеба показалась, как свет в окне. А на свет из темени кто не пошагает: разве глухой не пойдет.

Записалась я, а другие мешкают.

Подождали, голосовать начали. Опять только одна моя рука поднялась да председателянина.

— Было бы время,— говорят жонки,— да годы бы помоложе, да ребят бы поменьше,— без голосованья бы записались.

— Мы не востры да не быстры,— говорит Таисья Маркова,— так нам уж не учиться. На учительниц не выйдем, на счетоводов также. Где уж нам, голикам, с вениками знаться.

Сопилов отвечает:

— Двое-трое будут учиться, а ликбез у вас откроем.

К концу собрания нас пять человек набралось. Записались еще председательша Таисья, невестка Лизавета, Анна Сергеевна и моя племянница, сестры Лукья дочь, Серафима. Лизавета с Анной сначала тоже и ретивничали, а потом приобрыкались. Говорят:

— Отведка — не обман, отведам, так узнам. Либо кус пополам, либо зуб пополам. Время будет да здоровье позволит, так когда-нибудь тоже приволокемся.

— Нет,— говорю,— жонки, ходить, так взаболь¹ ходить надо. Будут средства затрачивать да учителя содержать, так надо пощадить. Я ни одного дня не пропущу.

Собрание проводили у Ивана Коротаева. Иван тут же и помещение указал:

— У меня, эвон, стоит пустая кухня. Нагреть, так не хуже других школ помещение. Что твой техникум в Нарьян-Маре.

Согласились с Иваном.

— Кто, жонки, топить печку будет? — спрашивает председательша.

— А кто,— говорю,— учиться задорной, тот пусть и топит.

Смеются жонки, понимают, что сама напрашиваюсь. Сразу я и на вакансию поступила.

Утром дома дела поправила, бегу печки топить. Три дня я нагревала избу, вымыла всю, полы и стены высветлила, — переменялась изба.

Через три дня учитель Филиппов приехал, принял от меня школу. Посоветовались с ним, оборудовали школу столами да скамьями. Отдала я из дому стол да скамью. Иван Коротаев, сестра Лукья, Таисья Шевелева по столу дали.

Доски школьной не было, так у Ивана Коротаева нашли черную столешницу, временно взяли. Да в тот же вечер и первое занятие провели. Как записались пятеро, так пятеро и пришли, нието больше не заглянул.

Договорились с учителем, чтобы назавтра беседу провести. Вечером пригласили мы всех жопок, поговорили. После учителя и я сказала:

— Жонки,— говорю,— ведь это нам же добра радеют. Сами же для себя учимся. Прежде и хотели бы мы учиться, да двери перед нами закрывали и учителей для нас не нанимали. А сейчас люди для нас стараются, а мы сами же супротивничаем. Что мы — сами себе вороги?

Начали жонки уступать. Хионья говорит:

— Давай, не то и я буду ходить.

Анна Игнатьевна Богданова, сорока трех годов, сказала:

— Давай и я с Серафимой вместе пойду.

Серафима-то ей невестка, вот и свекровь, глядя на нее, не утерпела. А потом и сын Анны записался:

— Мать,— говорит,— идет, и сын не отстанет. От старух отстать — со стыда глаза завешать надо.

Четвертая записалась Ольга Явтыся, Иван Коротаева сестра. Она вышла замуж за ненца Николая Явтысого, но прозвищу Совесть. Жил он у нас в Голубково, курптей ловил да деревянную поделку делал: ушаты да доильницы. Прозвали его Совестью за то, что он в прежнее время на кулаков неутышно ругался:

— Совести у вас нет!

Пятидневку проучили нас, пошла я с учителем по домам. Учитель увидел во мне пользу и позвал:

¹ Взаболь — всерьез.

— Помоги мне, Маремьяна Романовна, потолкуй с соседями.

Пошли мы к Таисье Марковой, она и ухом не ведет:

— У тебя, Маремьяна, кровь помолодела, а нам уж дважды молодым не быть.

К Наталье Коротаевой пошли, игрнула она кроликовыми ноздрями, накинулась на нас:

— Нам некогда с учителями под ручку ходить.

Дочь Наталья, Лукеря, глянула, как медвежье солнце, и буркнула:

— И без вас у нас не тоскливо.

К пасынку Александру повела я учителя. Потолковали с Александровой жонкой Ульяной:

— Жила ты, Ульяна, у мачехи — не до ученья тебе было. А теперь живешь у матери, у советской власти. Годы у тебя молоды, время не ушло, учиться надо.

Посулилась Ульяна.

У брата Константина приехали с жутинны сын с невесткой. Учились они немного на ликпункте, и только зашли мы к ним, а они до слова рады учиться. А жонку Константинову Варвару никак не могли уговорить.

— Чего, — говорит, — мне глупой да беспутной, в голову пойдет. Не в коня овес травить.

За день обошли мы всех. Начали люди подтекать в школу.

А когда стали мы лучше учиться, люди запоговаривали:

— Жонки-то у нас тоже не из глины сляпаны. Вон Маремьяна, да Таисья Кожевина, да Серафима — без хорошей отметки домой не ходят. Только их учитель и хвалит.

Тогда и Лукеря пришла, и Варвара пригнулась. Варвару и муж еще пошевеливал. Председателя жена должна реветь, а тянуться.

Скопилось нас до двадцати четырех. Некоторые — Дюмид Кожевин да Володя Марков — пришли арифметику повторить. Брат Алексей на дом уроки брал и проверять учителю носил.

И все мы так весело заходили, будто малые ребята. Пораньше приходим — в домино да в пешки играем, кто может — газеты читает. В перерыв плясотно подымаем. Старухи и те сидят, улыбаются:

— Вот, — говорят, — деточки, все дело забыли, игрой занялись.

Старостей меня выбрали, чтобы за порядком следила, так я уж сама тянулась и других подтягивала. И как-то я все с первыми шла, а не с последними.

Когда письму учат, учитель с моей тетрадки всем велел пример сымасть: чистенькая она да аккуратная. На арифметику опять цифра под цифрой написаны, ровные, прямые, как свечки стоят, одна другой не кланяются, одна другую не убьет. Листы без пятнышка, ответы без ошибки.

— Вот, — говорит учитель, — тетрадку любо-дорого в руки взять.

К новому году за хорошую учебу пропечатали нас в Нарьян-Маре в газете «Красный тундровик». Пять фамилий, которые вперед записались, в заметке похвалены, и первая — моя.

Любила я чтение. Читаю как-то на уроке рассказ про горькое замужество. И ровно там моя участь описана, будто кто-то знал обо мне. Там тоже сразу после венца начал муж жить да драться. Захотела она уйти от мужа, а мать ей говорит:

— Нельзя божий закон нарушить!

К отцу пошла, расплакалась, и отец так же говорит. Снова ее муж тиранил. А когда ушла от него, муж к отцу-матери прибежал с возжами.

А только уж иное время было. Схватила жена возжи и говорит:

— Теперь не прежняя пора жон бить.

Не могла я тот рассказ до конца дочитать. Обидно мне показалось за ее участь да и за свою судьбу. Разревелась я.

Жонки говорят учителю:

— Не давай ты ей читать такое. Это ведь ее жизнь описана...

В другой раз Лукеря, та самая, которая учиться не хотела, читала рассказ про то, как одна родила незаконнорожденного. На улице все обзывали его не по-хорошему. А после революции ее сын выучился в высшем учебном заведении и почетным человеком стал. А у Лукеры как враз тоже есть незаконнорожденный сын и так же его прежде обзывали.

— Ну, говорю, Лукеря, только про нас с тобой эта книга и писана...

Узнали мы из той книги про то, как Ленина и Сталина в ссылку ссылали, как революция проходила, как народу земля и фабрики, и заводы и все богатство советской властью отдано. Читаем мы да советскую власть похваливаем:

— Вот это власть: все для народа. При советской власти не бывает напасти: сердце на месте, душа на ладони.

Деление начали проходить. Я на уроке по девятнадцать примеров без ошибки делала. Таблицу умножения не хуже своих сыновей узнала. Павел меня за это математиком звал. Внарок со мной в школу

ходил, слушал, как мать учится. Лукее да Настасье Кожевиной я еще и помогала, не раз поднаумливала, как пример али задачу решать.

Узнали мы про всех животных, про растения, как руды, уголь, соль добывают, как торф зародился, в каких состояниях вода бывает, отчего грома гремят. И все нам удивительно. Говорим:

— Мы от воды соль бережем, боимся, что размокнет, а тут из воды ее и доставают.

— Кто это под землей столько угля нажег?

Про человека рассказал учитель, про мозги, про кости, про нервы. Удивилась я, когда узнала, что дышим-то мы не только носом да ртом, а всем телом. Многого я раньше не понимала, а тут как глаза открылись. Книга да учитель каждый день нас кверху подымали. Ну, уж и слушала я учителя, слово опустить боялась, каждое караулила.

Читал как-то нам учитель — отчего гром образуется, отчего молонья бывает. Прочитал, и спрашивает Ольгу Совестиху, как она понимает — отчего гром гремит.

— Осьподи помилуй, — говорит Ольга, — я уж не знай цеву сказать. Прежде божья милость состояла, так Илья-пророк там гремел, а нонче не знай кого там поставили.

И руками развела. Она сама-то смешовата, маленькая, кривоногая, косолапая.

Грохнули все, и учитель едва крепится.

Посмеяться-то посмеялись, а сами сказать тоже не могут. Да и боятся, чтобы им тоже не начудить. Потом и до меня дело коснулось. Объяснила я про электричество. Совестиха опять руками хлопнула. Ей это па диво показалось, думает, что я зря говорю.

— Осьподи помилуй, прежде этого еще не слышно было.

А после урока в сенях и шепчет мне:

— Ты пошто, Маремьяна, нонче уж все насупротив бога идешь? Божью милость с чем ты сравнила?

Часто она нас смешила. Выдал нам учитель по тетрадке, велел аккуратно держать. А она всю ее истрепала да перемазала, а из серединки сколько-то листков на письма вырвала. После выходного учитель и говорит Ольге:

— Почему у тебя тетрадка тонкая?

— Дак веть — говорит, — в стаде волк-то из числа оленей давит, дак и я листочек-другой укряднула.

Проходили мы и географию. Узнали, что

земля круглая, как шар, узнали, что за Печорой есть еще другие реки, кроме нашего моря — еще другие моря, кроме нашего города Нарьян Мара — еще множество городов.

В политчас объяснили нам про наше советское государство, про партию, про другие государства, про то — из-за чего там безработица, из-за чего кризисы. Эти уроки мне самые любые, я все силы на них излаживала: и дома-то их готовлю, и за чаем почитаю. Читальщица-то я и неважная, худенько читаю, а взгляну в книгу да поразмыслю, про что учитель говорил, и все у меня в мыслях понятно станет.

Однажды объяснял нам учитель, как кулаки народ эксплуатировали. Спрашивает Якова Кожевина, а тот хвалить кулаков начал.

— Пили-ели у них досыта, одевали-обували хорошо.

Он в работниках только один год жил в Пустозерске у Кожевиных, и то из уваженья, а неволи ему вовсе не было в работе жить. Вот отцу его в молодые годы неволя велела батрачить, и только под старость некорыстным житьишком на волю зажил.

Учитель головой качает:

— Не наши это слова.

Встала я, побелела как покойник, затрясло всю. Осекла я Якова:

— Ну уж, кому хорошо было, да не нам. Кулаки — род-племя самое злоехидное, самое вредное. Я полжизни им отдала, так знаю, каковы они. Горьче горькой редьки мне это батрацкое житье. До загорести нас доводили, кровь нашу денно и ночью испивали, до самой кости иссушали, вокруг кости мяса не останется. От нашей работы барышами они пользовались. Мы-то им барыши, а они нам гроши. А что кормили да одевали, так опять для своей же пользы: голодный не много норобишь, а паг-бос — ни с места.

После этого я смелей выступать стала. И жонки понемножку за мои слова прихватываются. Прислушаются и хоть на редких местах, а призапомнят. Спросит их учитель, они надпятнают, скажут около — примет, а уж подкрасить-то мое дело. Поворочала я тогда разных мыслей! Лягу спать — уснуть не могу. Ум-то расшевелился, покою не хочет. Целую ночь меня думы шевелят, шевелиться велят. И были мне те думы за большую радость.

Тайся Маркова однажды зашла к нам в школу.

— Примайте меня с хлебом да с солью, пришла, коли парато нужна.

— Молодец, — говорю, — Таисья. Поударному займись, так и нас настигнешь.

Решили мы к Первому Маю подготовить школьную стенгазету. Я три заметки написала. В первой похвалила учителя. Во второй заметке Анну Сергеевну прохватила. Она взяла в колхозе кобылу сена себе привезти да и перетужила ее. Кобыла выкидыш сделала. А в третьей заметке я Таисью Маркову продернула. Та опять на скотном дворе проспала, коровы из хлева вышли и сено топтали. И нарисовано было, что на печке спит она. Ох и ругала она меня:

— Активница-то наша научилась на наше горе заметки писать. Лучше-то того, бывает, ничему и не научится, тем станет и голову кормить.

Первого Мая украсили мы школу, оклеили, лозунги развесили, портреты Ленина и Сталина купили. Всех колхозников на демонстрацию пригласили. Это была первая демонстрация в Голубково. Брат Константин выступил с докладом, учитель тоже, а потом и я сказала:

— Товарищи! Как мы сейчас живем и учимся? Нам школу дали, учителя прислали, всякую помощь оказывают. Только самим нам надо открыть свое желание и идти навстречу. Учеба на пользу для нас. Возьмите хоть меня, к примеру. Была я такая же, как другие, знала только зыбку да шесток, печку да горнюк. А сейчас, хоть грамота и небольшая еще, а все же стала знать и многочисленные числа, и естествознание знаю, и политику понимаю, и расписываюсь не только за себя, а и за других.

Сейчас лучших — хоть работников, хоть учеников — в газетах печатают. Вот и у нас пять учеников на виду стоит, можете пример брать. И дальше можно учиться: дороги торные да широкие, прямые да долгие. По таким дорогам ноги сами идут, а глаза дальше ведут.

Большого хлопанья мне и не было, а все же я довольна. Не глянулось только, что нервность мешала. Заволнуюсь вся, забьется сердце, разговор весь переменится, и слезы набегает: думаю, вот-вот заплачу.

Потом вечер устроили. Тут и я не утратила, разрешила себе сплясать.

Музык особых у нас не было, пляска под старинную песню велась. И про Москву и про Питер пели мы под пляску:

Жил я, был я во матушке во Москве,
Позабыл я с рук перчатки на столе.
Думал-думал себе радость получить,

Получил я от любезной письмо,
Что тако письмо нерадостно,
Как под черною печаточкой.
Распечатал, сам головкой покачал,
Читать начал — полились слезы из глаз,
Что по моему по белому лицу,
По моему по румянюшному.
Пишет милая, хорошая моя:
«Остаюсь от сего письма больна».
Побежал я на Васильевской вокзал
Доставать я парову машинку.
Чуть едва-едва машинку застал,
В три минуты до Питера добежал,
До Питера от матушки от Москвы,
До хорошей, до любезной до своей.
Я тихохонько во сенички зашел,
Я легохонько во спаленку ступил,
Ко тесовой кровати подошел,
Размахнул я нову занавесу:

— Здравствуй, милая, хорошая моя,
Что ты, Любушка, хвораешь без меня?
— Я хворать-то не хвораю без тебя,
Только, миленькой, скучаю об тебе.
Приходили молодые лекаря,
Мне сказали, что не вылечить меня...
Я во матушке Москве три года жил,
Во солдатухах я три года служил,
Во солдатах жизнь не очень хороша,
Сухари-вода — солдатская еда,
Небольшо давали жалованье:
— Получай, мужичок, пятачок,
Хошь ты пей, хошь ты ешь, мужичок,
Хошь для любушки подарочек возьми,
Хошь на пряники-закуски держи,
Хошь на ножки сапожки купи.

Чай мы пили, конфеты ели.. Яша Шелесев и водочки приготовил, а для жонков — красненького. И я тут разговелась, узнала — какой у вина вкус. Выпила и зашевелилась, заговорила, запела:

Распремилые подружечки, вы придите-ко сюда,

Попросите батюшка самого в гости ко мне,
Со родимой матушкой в зелен-садик

погулять.

Есть у меня во садике, есть забава велика,
Забава премилая: на древах листы шумят,
Шумят-громят листики, осиновы говорят,
Тут летит соловьюшко, летит, свищет молодой...

По второй рюмке выпили, я смеюсь:

— Завтра нам в школу идти, а у нас со вчерашнего похмелья будут головы трещать. С пьяных-то глаз как учителю отвечать станем?

Анна Игнатьевна отвечает:

— Твоя-то головушка не заболит, все

равно ответишь. А вот мы-то как ответим?

— Гуляйте,— говорю,— выручу всех. Только знайте, как с вином водиться: вино только в бочке смирено. Пей, моя сестрица, вина зеленого, не пропей, моя сестрица, ума дорогого. Сладок мед, да не горстью в рот.

Все заговорили про учебу, про отметки, про успехи. Анна Игнатьевна говорит мне:

— Я на уроках не столько на учителя смотрю, сколько тебя слушаю, как ты отвечаешь. У тебя разговор проще, и я из него больше понимаю.

Невестка Лизавета поддакивает.

Мне похвальба любой кажется, по губам смех бегаёт.

— Вы,— говорю,— уши-то вострей держите, так больше услышите да поймете.

Константин глядит на нас, жонок, усами пошевеливает.

— Вот,— говорит,— у жонок язычок развязался, так и разговор завели хороший, добры речи наились. Вот так бы про учебу судили да редили, так давно бы грамоту добыли. Головы у вас большы, ум не чорт съел, толку хватит, вот и налегайте. А с умом да с толком, с желаньем да стараньем любу науку можно одолеть.

В ту зиму мы в школе за три зимы прошли. То совсем склад не понимала, а тут и десятичные дробы я узнала, и как разные языки появились, и как почки у человека работают, и что человек от обезьяны произошел. Про обезьян-то я до этого слыхала от грамотных людей, а на ликбезе совсем уверилась. А жонки худенько верили.

Под весну Сопилов приехал на проверку, испытания проводить. Слушал он и был доволен. Отметки мне поставили — «хорошо» да «очень хорошо». Только за письмо «посредственно» получила: все еще ошибки проскакивали.

3

С людьми я, как будто, ожила. Свободной себя чувствую, больше говорю, ровно молодое время назад вернулось. Сколько годов я темно жила, плохо на свет глазами глядела, худо щеками шевелила, а тут глаза открылись, и щеки расходились, и слова сами собой пришли. Люди говорили:

— Маремьяну у нас обменяли, язычок бог дал.

Меня правление колхоза поберетало: на тяжёлую работу не посылали. Когда надо,

так на паревную¹ пошлют, али дров на маслозавод напилят. В великий пост готовим норедню: сетки вяжем, садим их. Больше всего я пушальницы² из тонких суровых да из катушечных ниток любила вязать. Это самая легкая, сидячая работа, чистая, грязи никакой нет, как пером пишешь. До колхоза себе через год десятков пушальниц свяжешь, и все. А в колхозе их за тысячу перевалило, многие сотни на запас нужны. Одни издержатся, выпадут, на смену новые вяжем.

Сижу я у себя дома в теплой избе, иглой о доску щелкаю да не во весь голос бунчу песенку:

У колодечка было у глубокого,
Что у ключика было холодного,
Молодой солдат тут коня поил,
Коня карего да сухопарого.
Красна девица за водой пришла,
Воду черпала да ведра ставила,
Ведра ставила да речи баяла.
Молодой-то солдат стал подманивать,
Красну девицу да подговаривать:
«Ты поди-тко, поди, красна девушка,
Красна девушка, да за меня взамуж,
За меня-то за добра молодца.
Что у нас-то на горах да на Саратовых
Нов-Казань-то город да на красы город
стоит
Казань-реченька да медова река текет,
Мелки ручейки да сахарны ручьи бежат,
В зеленом-то саду цветы лазурьевы
цветут».

«Ты не ври-ко, солдат, не обманывай,
Красну девушку не подговаривай,
Я сама-то была, сама все видела:
Что у вас на горах да на Саратовых
Нов-Казань-то город да на крови город
стоит,
Казань-реченька да кровянна река текет,
Мелки ручейки да слезянные ручьи
бежат,
В зеленом-то саду да тела мертвые
лежат.

Эта песня пришла к нам из Усть-Цильмы. Вывезла ее и передала мне моя старая подружка Агафья, с которой я жила в работе у кулаков Сумароковых.

Я попрежнему любила песни. Песня мне — друг и приятель, гульба и веселье. С другом дружишься, а свой запас все имеешь, не каждое слово ему скажешь. А от песни ни единой мысли не утаить,

¹ Паревная — помещение, где заваривают коровам сено на парево.

² Пушальницы — сети для подледного лова.

на каждую думу песня сама прибежит да ответит.

На дежурство в скотный двор колхоз посылал нас по-недельно. Неделю надо караулить — не отвязался бы скот. Чистишь под коровами, парево¹ греешь. Тут уж от домашнего от всего отступишь. А когда все колхозное дело обделаешь, безо всякого наряду идешь к бревнам и начинаешь пилить. Пилю я одна почти так же, как и вдвоем. Если хороший развод у пилы, одной пилить легко, никакой тяжести нет. Меж делами днем выпилую оброну сажень, а ночью и выколю ее, хоть никто и не просил меня.

Утром придет Яков Шевелев, удивляется:

— Ну, у Маремьяны опять костры наложены.

Когда возчик заболест, я, чем послать кого-нибудь, запрягу лошадь, съезжу на промой, привезу воды сама. С дровами водиться да воду возить мне нравилось: на свежем воздухе работа легко дается. Колхозную работу я с первого дня чужой не считала. Для того и в колхоз вступала, чтобы его своим считать, для того старина и к морю волоклась.

Во время дежурства для домашних дел я попутным пользовалась. Иду из дому на скотный двор, по-пути когда ведра, когда ушат с собой беру. Ходим мимо самую прорубь, у проруби я оставлю ведра, а обратно пойду, — попутно воду домой тащу.

По сено для своей коровы поеду, колхоз лошадь даст. Так я сзади саней еще маленькие санки привяжу. Сена накладу на большие сани, а на маленькие ольхи да ивняка нарублю и в одну поездку и сено и дрова привезу. Лошадь лишний день от колхоза не хотелось мне открывать да и сама временем дорожила. В колхозе я каждый шаг стала учитывать, — где его издержать: часов с собой не было, так я и шаги считаю.

На домашнем деле мы раньше располагали: когда встал, тогда и ладно, когда сделал, тогда и хорошо. Забежишь к корове, скажешь: — «Сено дано, доить рано, стоит и так», да и обратно пойдешь. Что хочешь, то и выбирай: то ли доить, то ли поить. А в колхозе, если так делать, так утреннее с вечерним не свести, а не только в порядок привести. Мы и поговаривали:

— В колхозе так не водится, на корыте сор не возится.

Забота у нас появилась: как бы все успеть во пору да во время. Коли вечерних коров утром обрядишь, так ведь и утренних придется вечером обрядить. В колхозе свои новые порядки: корова оттелится — четыре раза дой, теленка четыре раза пой. Да и потом не по-единоличному, не по два, а по три раза в сутки в указанные часы корову доить надо. Коровы от этого раздаивались и больше молока давали.

Весна пришла, работа переменилась. Скот на волю вышел.

Как только лед на Печоре пронесет, берега прибрежуются, теплый дождик пройдет, гром прогремит, встряхнет землю, едем мы луга убирать. Зимой у стогов остается остожье: сено, стожары, подпоры, липуны¹. Кроме того, большой водой наносит на луга хворост, заплески остаются. Все это надо убрать, пока трава не выросла. Разделим мы пожни на участки, согласимся кому с кем идти и друг перед дружкой стараемся, чтобы раньше очистить. Луга как зеленым сукном подернуты, листья развернутся, кусты опущатся, цветы раскинутся. Время теплое, погода солнечная. А к вечеру ветер с моря потянет, посвежеет, похолодает. Днем-то на солнце нажаришься, а тут охлынешь, и так тебе любо, как будто ты новый стал.

В это время у нас часто бывают заси-верки. Иной год весна не лучше зимнего холодом охватит. Однажды, в конце июня, север подул не по-доброму, сильный снег пошел, — можно задохнуться. А скот ходил в лесу. Голубчале выручили свой скот, а у оксичан² скотин около десятка замерзло.

На путину в этот год ушла добрая половина деревни. Первый раз ехали они не с прежними сетками, а с рюжами и ставными неводами. Моя перодная внучка Паша поехала, новую частушку запела:

Заструилася Печора.
Замутилася вода,
Рыбартели ставят рюжи
И ставные невода...

Уловили наши колхозники немало, план выполняли. Рыбу сдавали на приемные пункты в Месино да в Афонихе. Приемные пункты только что открылись. Раньше мужики рыбу домой возили да в ко-

¹ Липуны — связанные попарно ивовые ветки, перекидывающиеся поверх стогов, чтобы ветер не сносил сено.

² Оксичане — жители села Оксина.

¹ Парев — заваренное сено.

оперативы сдавали, а тут не надо возить, под боком у моря сдадут. И море наживней стало. Раньше мы по пятьдесят рублей на человека наживем, и то рады, а тут, смотрю, тысячами подсчитывают. А колхозники из Смекаловки на путине как-то по семнадцать тысяч за лето в карман положили.

В ту же весну мы в первый раз за все время колхозный огород направили. И у своих домов тоже картошку посадили. В Голубково до этого никогда и никто не сажал ни картошки, ни репы. Знали люди из века в век одну свою путину, да промысел зверей да куроптей. А землю копали только на кладбищах.

А тут отвел колхоз на лугу за шаром участок для пробы: картошку да репу сажать. Сняли мы дерно, а пахать и нечем: сохи у нас во всей деревне в заведении не бывало, плуга ни старый, ни малый не видали. У нас и поговорка была: соха да борона да кобыла ворона разорили мужика. Взялись копать лопатами. Перекопали, не знаем, как сажать: в глазах двойтся, в руках дело не родится, а делать надо. Выручила нас старуха Тюшиха. Она — с Пинеги-реки, а там без картошки да без репы не живут. Вот она и вела все дело.

С картошкой кончили — ходим, травы смотрим. Обойдем луга, видим, что не допили еще травы, молодые, редковаты да низковаты, косить рано. Когда колхозные дела направили, в свободное время делаем свои дела, чтобы в сенокос не суетиться. Свои дела справили, — опять за колхозные взялись. Дело за делом ведем.

Услышали мы, что в Оксино кроме сена прошлый год запаслись силосом. Сена-то они не так много запасли, так их силос выручил. Скота у них много, а люди все путинной занимаются, вот с сеном-то и тяжело справляются. В хорошую погоду людей мало, так они осенью и наверста-ли силосом.

Решили и мы попробовать. Пошли с председателем, размерили участок, выкопали в два дня яму и до сенокосу ее за-силосовали. Возим травы, мечем их в яму, топчем лошадьми. Некоторые вздыхают:

— Вот добро хоронят. Погниет оно все тут, ничем возьмется, только траву вы-портим.

— Ну, — говорю, — травы хватит. А коли получится, так в другой год еще больше сделаем.

Топтал траву Павлик на колхозном ко-не — Стариком звали. Павлик приехал из Нарьян Мара на каникулы, привез двести

рублей стипендии и работал он в колхо-зе вместе со всеми. Он только что всту-пил в комсомол и старался по своей силе не хуже людей работать. Люди за хлеб, так и он не слеп.

Только он не ко всякой работе приви-чен был. Не умел Павлик семгу плавать. А семга самая дорогая рыба, самая хо-рошая нажива. Летом мне колхоз выделил семужий пай.

— Семья у ней, — говорят, — большая, надо ей как-то пропитаться.

Поехал Павлик с колхозной бригадой плавать семгу. А он паруса как надо не умеет поставить. Надо косой парус раз-вернуть, а он не понимает, как что и на-зывается. Надо «шпрондовый»¹ назвать, а он говорит «рондо». Мужики смеются:

— Не худой, — говорят, — плавальщик. Будто и не наш, деревенский.

И вздохнут:

— Нонешни ребята ничего же не уме-ют. И чему их там учат?

— Ничего, — говорит Павлик, — не это-му и то научились, а этому как не на-учусь. Помучимся, так научимся.

А мне потом и рассказывает:

— Ну, мама, никакой я не плаваль-щик, ничего не знаю и не умею, как глу-пый какой-то. Прогонят, наверное.

Пятидневку или две проплавал Павлик, привык. Когда семга попала да стали де-лать расчет, мужики назначили ему пай с жонками наряду. А у нас подростку всегда меньше дают, чем жонке, а жонке меньше, чем мужику. За пятидневку сто рублей с лишним принес мне и говорит: — Вот моя первая нажива.

И у него радости много, и у меня не меньше. Сто рублей я взяла, а лишек ему отдала.

— Это, — говорю, — тебе на чай, на са-хар.

Наложу я ему масла, сливок, варенья наварю из киселицы² да из смородины. Не успеет уйти, а я ему опять шлю го-стинцы.

— Ну, — говорит, — меня мама вовсе закормит.

Зажили мы в то время хорошо. У ме-ня спокойна душа стала. Вижу, что в ко-хозе любая гроза не сомкнет глаза. Раз-

¹ Шпрондовая — шест, расположен- ный по гипотенузе и прикрепляющий дальний угол паруса к мачте.

² Киселица — красная смородина; на Севере смородиной называют только чер- ную смородину.

добрела я тогда, забыла всю печаль. Не моя печаль головой качать. Люди говорят:

— Маремьяна вдовье мясо наводит.

А я отшучиваюсь:

— Чего,— говорю,— мне печаловаться-то? Живем не скудно, едим по-пудно. Жить весело и делать есть чего.

И прибавлю:

— Возьмите вон, на тундре верба растет. Ветер ее патает да пригибает, дожди бьют да секут. Ветром всю ее обьет да обломает, все листья обронит. А пошто это? По то, что она одна: ее со всех сторон дождь берет и ветер хватает. Не где ей спастись да укрыться. И от ветров ей нет спасенья, и от солнца нет пользы. А вон в заужишь да на укатинках лес стоит. Он густой да частой, хошь елки, хошь березки одна за другой кроются. И большим ветром их не ломит и частым дождем не обсекает. И хорошо там каждому деревцу, приютно оно и уютно. Расцветет оно да разрастет — всем глянется. Вот и я в колхозе, в большой семье да в большом наволе человеком стала.

4

Весело провела я жаркое лето, свой первый колхозный сезон. Людей много, разговоры дружны да со-гла-сы, а еще больше человеку нужно? на-де-ла-но четырех женок выделили: меня, невестку Лизавету, старуху Тюшику да Дуню Шевелеву. Мы с Лизаветой мало того, что родня, а еще и по песням близки: любили песни вместе петь, обе — певуны-мастерицы. Одна поет, а другая подголосничает.

Песен мы знаем — пересчитать нельзя: игровые, плясовые, круговые, луговые, проголосные, хороводные, да еще и частушек добавим. Игровые песни на свадьбах пелись. Поют-то все, а гуляют под песню только четверо: две девки и два парня. Кто умеет под песню ступать — под ногой слышно: как поет, звук отдает. А кто не умеет, те не в почете и сидят весь вечер. Нам неловко, сменим песню, круговые петь начнем. А в круговых уже все играют, никто не сидит. Жонки переговаривают:

— Пришла больша вода-пенница, так всех сняла.

Для лугов у нас особые луговые песни да хороводные, для вечорок — плясовые, а на всяк-час — проголосные. Песни — моя душа. Добрый человек заслушается, а недобрый — уйдет: не может он дружить с песней.

Дуня Шевелева жонка хорошая, тихая, а повеселиться тоже любит. Тюшиха — тоже веселый человек, чудачка. Как за-поет, так и приплясывать начнет.

Косили мы вручную, горбушами. Косил-ка ходила со всей бригадой вместе, на больших лугах. А у нас хоть звеньевого и не было, а отвечала за работу я.

В первый день пошли мы травы смо-треть, а заодно и косы взяли. Обсмотрели, видим — на кряжу травы доспели, густы да часты. Спустились мы в Ярутино и пошли горбушами махать друг перед дружкой. В междувьях скосила воза три,— проба сделана. Другие еще не косили. Когда они пошли с косами, мы уж с граблями идем. Председателю это и любо...

Дня через два уже по-настоящему ко-сить стали. День выпал дородный: ветер легкий, солнце горит, комаров нет. И ра-бота идет легко да быстро: ходом вперед подаемся. Косим один за другим, и еще пу-ще косить хочется, коса свистит и под рукой кипит. Пожня гладкая, трава мяг-кая, работа идет — урви да подай. К обе-денной поре чай скипятили, пообедали.

— Спасибо,— говорю,— всем по семь, а себе — восемь. Спасибо за хлеб, за соль: за шти спляшем, за кашу сказки скажем, за молоко песню споем.

Я уж знаю, что жонки приустали, пес-ней весело, встряхнуть их хочу. Пою усть-цилемскую песню, которой они век-ком не знали:

Перелетная птица-ласточка,
Сизокрылая касаточка
С моря на море полетывала,
Через сине перелетывала.
Садилась птица-ласточка
Среди моря на серый камешок,
С камешочка на крутенький бережок.
Она сидела — высиживала,
Она думала — выдумывала,
Говорила — выговаривала:
Что у девушки молодцы сидят,
У молодушек женаты мужики,
Один молодец расхвастался:
— У меня жена гульливая была,
Вот гульлива — гульливенькая,
Нехороша девкой брюхо принесла:
Приносила у соседа в сеннику,
Пеленала на полочке в уголку.
Пелена были полотняные,
Во три пояса шелковые.
Моя бабушка неправильна была,
По три гривенки с родименки брала,
Капитану два пегих коня дала,
Самолучшего бурого коня,
А попу-то пуд гороховой муки
Да полпудика овсяной крупы,

Сыновьям-то по кареточке,
Дочерям — по алой ленточке.

Спяшу еще под песню, у женок и сердце раскатится. Тюшиха приихивает:
— Их, и-их...

А сама в ладони приплескивает.

— Ну теперь, — говорю, — жонки, и за работу. Балам — не год.

Пуще прежнего мы горбушами разма-
шемся. Руки белые расходятся — остано-
вить не можно.

Косим, пока в озеро покос упрется. Ут-
ки там плавают всяких разных родов, га-
гары гагают, нисколько нас не боятся.
А мы замечаем: гагает гагара к ведрию¹,
икает к дождю, кукувыкает к ветру-ни-
зовцу.

Солнце уже низко катится, вот-вот сядет, а мы все еще не торопимся. С пес-
нями да с баснями не знаем, как и день
пройдет, не видим, как время минует, не
наработаться не можем.

— Маремьяна, — говорят люди, — вон,
как клубок катается.

И наша копеечка не щербата была.
Редкий день мы по полтора трудодня не
вырабатывали. Первое время нам зарабо-
ток поровну делили. Мы с Лизаветой и по-
натужней работаем, а на четверых раски-
нут, и никакого нашего старанья неза-
метно.

Я вижу, что все время не замogu так
работать, с полулета сяду. И говорю:

— Буду я одна косить. От вас оста-
ваться и неохота, а тянуться за вами —
не выдержу: скоро, пожалуй, и угору, как
барыня в нетопленной горнице. Попробуем
и на одной позже, а поодиночке косить.
Кто сколько выкосит, — не па кого будет
ему пеняться.

И начали мы косить по отдельности.
Только Лизавета от меня никак не хочет
отстать.

— Я, — говорит, — не обижаюсь. И я
могу заболеть.

Однажды косим мы с Лизаветой, не то-
ропимся. В тот день вечером обмерял
бригадир наши участки и говорит:

— Сегодня Авдотья перещеголяла вас.
У ней полтора трудодня, а у вас — по од-
ному.

А когда грести начали, видят люди, что
Авдотью кошенину грести — как чорта
за волосы тащить, трава совсем не проко-
шена. И начали люди ахать.

— Что вы, — говорят, — жонки, траву-то
травите. Трудодни получать так мастери-
цы, а косите на-смех.

Гребут наше с Лизаветой, грабли тра-
вой не захватывает, рукам легко, работа
прибыльно пошла.

— Косьба, — говорят, — косьбе разни-
ца: из одной мучки, да не однаки ручки.

Авдотье и говорить нечего. После того
она уж больше не гналась за нами, дела-
ла, сколько может, а уж зато ровно да
гладко.

Зато другой раз в конце лета она на
закучиванье¹ проступилась. Вижу я, вер-
тит она кучи, как пешки маленькие, пе-
решагнуть можно. Я думаю:

— В молодые годы я такую кучу в
охапке бы унесла.

Не один день она так кучила. И все
жонки по-закустам переговариваются:

— Авдотья куч без числа навертела, а
они как лепешки.

А я наперво все помалкиваю, а вечер-
ком-то, думаю, разговорец будет.

К нам на пожню пришел председатель,
Диомид Кожевин из членов правления и
бригадир. Авдотья председателю-то не-
вестка будет. Вечерами я часто собирала
женок, веселила. Да и сами они соберут-
ся, просят:

— А ну, Расскажи, Маремьяна, чего ли
посмешней, разгони усталь.

Вот я и придумую что-нибудь, какую-
нибудь небылицу.

И сегодня собрала я их в кружок и
вроде опять потешать начала:

— Слышала, жонки, я раньше от Пет-
ра Степановича, Семена Коротаява отца,
бывальщину. Петр балясничать охоч был
и все скоромное рассказывал. Я в ту по-
ру еще маленькой девочкой была. Гово-
рят, у девок уши золотом завешаны, а я
пошупала руками — никакого золота на
них нету. Ну, а раз золота нету, так я и
разлопатил свои уши, давай слушать. Вот
Петр и рассказывает отчиму, мужикам и
бабам:

«Жили-были, — говорит, — две невест-
ки. Одна была гулящая, а другая воздер-
жанная да смиренная. Глядела она, гля-
дела на невестку да и удивилась:

— Вот беда, жонка, ты вовсе же не
боишься, что муж все узнает.

— Глухая, — отвечает невестка, — я —
не с маслом крынка, не вымачусь. Умей
только завернуть и вывернуть, так муж
никогда и не узнает.

Вот и пошла жонка ко дверям. Во две-
рях — вертлюг. Вот и думает она:

¹ В е д р и е — хорошая погода.

¹ Закучивать — складывать сено в
кучи.

— Во все стороны вертлюг вертится, как тут его завернуть да вывернуть.

Пришла к невестке, рассказала ей:

— Не могла,— говорит,— ни завернуть, ни вывернуть.

— Глупая ты,— отвечает невестка,— не то ведь я говорила: сумей мужа обмануть, а мужика запустить да выпустить.

— Ко мне,— жалуется смиренная,— давно льнет, как сера липуча, сосед Иван.

Научила ее невестка пригласить Ивана, когда муж в лес уедет. Вот муж и поехал, а жена и позвала Ивана. Пришел он, угощаться начали. А муж-то возьми да и вернулся. Забыл что-то. Приехал ко двору, невестка и шепчет:

— Жонка, муж-от вернулся.

Та заохала, не знает, куда ей деваться с Иваном. Вот невестка и стала дела утаптывать. Побежала на улицу, сунула деверю ведро в руки и ревет:

— Бежи на колодец за водой: на жонку твою переполюх пал.

А тот и сам-то переполошился, побежал за водой, без ума улепетывает. Она той порой Ивана выпустила, невестку догола раздела да на середний порог поставила и ждет.

Деверь бежит с водой, невестка на него кричит:

— Обкачивай скорей, обкачивай да приговаривай: «Сам застал, сам поймал, сам лечу, сам обкачиваю».

В испуге-то он этот заговор распонять не мог. Обкачивает да приговаривает:

— Сам застал, сам поймал, сам лечу, сам обкачиваю.

Одел он жонку, в постель уложил, чтобы она после переполюх успокоилась. А сам опять в лес поехал.

— Ну, жонка,— говорит невестка,— твоего мужа полдела обмануть: я ему в рот зашла да и поворот нашла, а он не понял ничего. Веди дело дальше».

Вот рассказала я это жонкам, они впопалочку хохочут.

— Погодите,— говорю,— у меня еще выступление будет. Председатель у нас сегодня при себе, член правления — тоже, бригадир здесь же, да и нас довольно. Собрание как будто полное.

— Вот, товарищ председатель, хочу я сегодня потолковать да поговорить да обсудить все наше дело да работу. Вот ты сегодня сам своими глазами видишь: как кто из нас делает. Нас, жонок-то, много. Все мы непарны, неровны: которая побольше, которая поменьше. Так же, примером, посмотри и на кучи: какая из них побольше, какая поменьше. Одни кучи ру-

кой не достанешь, другие шагом перешагнешь. Приведу я, примером, Авдотью Николаевну. Вертит она кучи, как пешки, кладет, как лепешки. Поди-ко, посмотри: перешагнешь, да и не запнешься. А нам они в лето-то уж пригляделись.

Одна ей скажу — виноватой буду. А другие говорят за углом да за кустом. А мне захотелось нонче при всех в глаза сказать.

Ты, Авдотья, на это не обижайся. И вам, жонки, всем говорю: говорите в глаза, а не по-заглаз: вам всем это будет в науку, а колхозу на пользу.

Вот ты, Таисья, весь день шопчешь, да ропчешь, судишь да рядишь, как на уши сережки весишь. А пошто в глаза Авдотье не скажешь? Вот я сказала — никто меня палкой не ударил. Скажу крепче, уму легче.

Тут у жонок все веселье потерялось, молчат. А председатель говорит:

— Это верно, Маремьяна. Вот так всех и надо смотреть, надо видеть да и сказывать. Я вижу, какая куча овдотыина, какая маремьянина.

— Авдотья,— говорю,— вот ты бы для своей коровы поехала по сено, которые кучи взяла бы: свои али мои?

Авдотья молчит. А председатель и сказал:

— Не глупа ведь она свои-то кучи брать: раз корове дать, а на другой не останется.

Авдотья не сердилась, не гневилась, не бранилась, не ругалась, а с той поры делать начала, как и добры люди...

Вечерами с лугов слышно, как по Печоре гром гремит, пароходы идут, посвистывают, огоньки светятся. Волокут пароходы лес к лесозаводу, тянут баржи с углем да нефтью. И думаю я:

— Наша мать — Печора — всем рекам река: реками она — на все стороны, ручьями она — несчетная, родниками она — несметная, ключевой водой — чистая, заводями она — спокойная, заливыми лугами — отменная, песками-тонями — удобная, рыбой красною — пребогатая, берегами она распрекрасная. Испокон-веку про Волгу песни поют, а вот про Печору никто еще не пел. Ну ладно, раньше-то она была позакинута, от больших городов заброшена. А теперь чем она Волге не соперница? Шириной она Волге не поддается, долиной не уступит, водой полной, рыбой красной, красой своей не уважит. Чего же про нашу Печору песен не поют? Все и песни про Печору — это частушки:

Я косила вниз Печору по реке
Я увидела милого в сюртуке.
Мне косить боле не хочется,
И коса в руках не держится,
И коса в руках не держится
Постоять-то с милым хочется...

Да еще в причитаньях восхваляли мы
мать-Печору, говорили про нее слова ласковые, сердцу приятливые.

И задумала я тогда думу: а чего бы мне
самой не сложить свою песню про Печору?
Ведь когда в причитаньях поминала про
Печору, так сама слова подбирала:

Покатится да весна тепла,
Растают да снега белые,
Размоют да льды сажонные,
Как пробрызжут да реки быстрые,
Прогремят ли ручьи глубокие,
Как пройдет-то да мать Печора,
Как прольется да вода вешная —
Вниз по бистери да до синя моря
Поплывут ли да легки стружечки,
Поедут да все во лодочках
На гулянице да на весельице
Как по вешним да тихим заводям
Все со песнями да все со баснями.
Как сбежит-то с гор вода,
Прибрежуются берега круты,
Прибсохнут луга зеленые,
Разрастут ли леса пушистые,
Расцветут ли цветы лазуревые,
Разнесут ли духи анисовые —
Раскрасива тогда Печора.

С тех пор я так и не оставляла этой
думы: сложить свою песню про Печору.

Осенью, когда страду закончили, на Октябрьские праздники нас премировали, Авдотья и та подтянулась, и тоже премировку получила.

Выбрали меня в комиссию по приемке сена. Бригадир Яков Кожевин сдавал, а я с председателем, с Диомидом Кожевным и с членом сельсовета Александрой Марковой принимали. До снегу с этой работой провозились, а потом я перешла на колхозный маслозавод. Принимала я молоко, пропускала его через сепаратор, сбивала масло — все моя забота.

Зима наступила, молока коровы дают мало, мне заработка почти не присчитывается, и перешла я на дежурство в скотный двор. Сначала я у доярок подменщицей работала, а невдолге и в настоящие доярки перешла.

5

Новая работа — новая забота. Скот был тяжелый, скоро растел начался. К новому

году я уже три теленка приняла. В такие дни сор мечешь, коров кормишь, телят поишь по три раза в день, доишь три раза в сутки, молоко на маслозавод несешь. Во хлеве вся перепотеешь, а нести чуть не полверсты. Дорогу всю перенесет, по увалам бредешь — снегу до колена. Тут здоровья не накопишь. А я думала, что семнадцать годов мои вернулись и до гроба мне здоровья хватит, не берегла себя.

А у меня подпарщица — Авдотья Шевелева — тихонька: одну ногу из-под другой волокет, тогда пойдет. Ногу не заносом заносит, а завозом заводит. Она скуденька собой-то была. Иной раз и трепещет, как будто от желанья, а удачи в работе недостает. Молода еще она, на своем деле не привыкла, а на колхозном не сразу привыкнешь. Я и свое дело делала и ее заменяла: руки-ноги колесом, дело за поясом. Битвеппый я человек, не ходила комком, ходила рассыпью.

— Себе, — говорю, — откажи, а колхозу послужи.

И верно, колхозное дело мне любей домашнего казалось. Коровы с малых лет мне как родные сестры были, с ними я и выросла. А колхозные коровы — в особенности. Росла я около нескольких скотин, а тут их двадцать, да и за двадцать перевалило. Весело с ними: каждую по имени кликнешь, каждую погладишь, каждую приласкаешь. Захожу в хлев, только голос подам, все головами и завертят, и зафуркают, знают, что я пришла. Двери открываю и рот открываю, выкликаю да называю, которых именем, а которых и по шерсти.

Разношерстных величаю: Белонюшка, Звездюшка, Пестрюнюшка, Чернушечка, Белоголовка, Красюнюшка, Седлюнюшка. У Седлюнюшки через спину белая пестринка к лопаткам идет, как седло надето.

А телятам имена я сама давала. Тоже Красейком, да Белейком называла. На первое мая — Майка родилась, в марте — Марта, в самый Новый год — Январик.

Зайдешь, все они нюхают да лизут меня, будто приласкаться хотят.

Глажу я одну, приговариваю:

— Матенка ты моя, кормилица, хорошая моя, пригожая. Стосковалась ли ты обо мне, моя куколка. Долго тебя хозяйка не поила да не кормила. Чего ты думаешь-то: проспала я, али осердилась на тебя, али позабыла тебя, мою ласковую? Нет, моя хорошая, не забуду — не просплю, налюю да накормлю, выглажу да вычищу.

Одну гладишь, а другие ждут, когда я ту поглажу да с ними поговорю. Хожу я среди них, разговариваю, как с людьми. Ну и они меня любили. Сено раскладываешь али грязь выбираешь из кормушек, а корова голову вытянет, мне на плечо положит, трется о плечо, заставляет крепче гладить.

А то еще один теленок от меня с ума сходил. Он белый, черноголовый, я его Женькой назвала. В паревной громко заговоро:

— Где-то мой Женюшка меня ждет: пить да есть хочет.

Вот он там и загремит, забегает по телятнику. Выйду я в хлев, кликну:

— Женюшка, покажи головушку.

Заскачет Женька в стае, прыгнет передними ногами на заборку. Стоит на задних ногах, как учная собачка, и головой водит. Подойдешь, он играть зовет, взад-вперед бегает, хвостом вертит, ушами играет, попрыгивает, поскакивает. И другие телята, на него глядя, прыгают.

Хоть весь день с ними играй, как с маленькими ребятами. Только телят да ребят не переиграешь. И не охота уходить от них, да дело не бросишь. И вечером от них без большой охоты, невесело идешь, жалко их оставить.

— Спите, — говорю, — мои деточки да голубяточки. Я сама пойду спать да отдыхать. И вы, коровушки, пестрюшки, красушки, спите да лежите на здоровье да на леготу. Я тоже посплю да полежу, а утром пораньше к вам, мои хорошие, снова приду.

Когда скот дружно теляться стал, вся печаль на меня падала. На Авдотьинных руках — нетели, а она со скотом не живалась, опять я отдувайся: кто в деле, тот и в ответе, а кто в лицах, тот и вицей¹.

Не однажды у меня по две коровы враз растеливались. Вот я и мечусь, безо всяких фельдшеров справляюсь. Полюбилось мне колхозное дело не хуже ликбеза, вот у меня душа и болит.

И ликбеза я все еще не бросала. Когда и не удастся сходить, так я на дом задание возьму: читать ли, писать ли, примеры ли решать. А потом к учителю пойду, отчитаюсь и новое задание беру. Память у меня глубокая была, все упомяну.

Кроме меня, пятеро детей моих учились: Павлик в Нарьян Маре, Андриюша с Дуней, Степой и Колей — в Оксино. Павлик на стипендии жил, трое младших — на всем

готовом в интернате, и только Андриюшу я сама пропитывала. Сбегаю между делами в Лес-виску, мерезку брошу, на другой день я и с рыбой. Пошлю Андриюше рыбы да молока, он неделю и живет. Если бы не советская власть, мне бы детей не учить. Без советской власти наши матери нас неграмотными оставили, мы весь свой век локти кусаем. Та же участь и наших бы детей ждала, да время переменялось. Из-за того я еще больше начала прилагать к советской власти. А дети — мне подниматься помогали, вместе с ними я росла: нонче не только матери детей растят, а и дети матерей.

Летом на меня весь скотный двор лег. В колхозе сил мало, так из-за малолюдья решили одну доярку оставить. Авдотья в то время в декретном отпуске ходила, заменяла ее Лукея Тюшина. И почему-то захотело правление ее дояркой оставить. Она молода да здорова, покрепче меня; так думали, что одна справится.

Тут уж и я сама за себя стоять начала:

— В зиму, говорю, столько труда приняла, выводилась с телятами, а Лукея пришла под готовый стан, только ножки ставь.

Настояла я, чтобы меня оставили. А правление говорит:

— Если можешь двадцать скотин на руки взять, справляйся.

Я духом не пала, взялась. Первое время еще и телятницы не выделили, так я и шестнадцать телят наприбавок выпаивала. Заведующая МТФ Анна Сергеевна в больнице лежала, так я два месяца еще и ее заменяла. Да еще и весь сор из хлева волочила сама и пастухом работала.

Встану я в четыре часа утра, побегу на луг, пригоню коров. Запущу в стаю, доить начну. Опять выпущу коров, молоко за два раза по два ведра на маслозавод снесу. Тогда и телятами займусь: выию и в луга выпущу. Они по лугу как цветы раскинутся. Навоз из хлева вымечу, — день настанет. К одиннадцати часам закончу, сбегаю домой, поплю да поем, бегу за коровами. Коровы на пасеке под самым сенокосом лежат. Я сбегаю на пожню, не могу утерпеть, куч полдесятка сена еще накучу, а сама в то время на коров смотрю. Как начнут коровы вставать, бросаю я сено, гоню скот в деревню. Снова дойка да обредня, едва поесть успеешь.

Свою корову я и забыла, домой-то только в гости ходила, так старуха Тюшиха в моем хлеве обряжалась. А я до двенадца-

¹ Вицей — прутом.

ти часов в колхозном хлебе проброжу. По-настоящему надо бы за коровами и ночью смотреть, да у меня времени уж нехватает больше, спать бегу. Дома у ребят самовар готовый, fyrну да хлебу и в кровать сунусь.

Павлик окончил техникум, приехал домой, удивился:

— Чего,— говорит,— тебя загоняли всю.

— Кому-нибудь да надо делать,— говорю.— Людей нехватает, а дела в колхозе хватает. Безделье-то куда не дается.

Рассказал Павлик, как в Нарьян Маре прилетали Водопьянов, Молоков и Шмядт. Летят они на полюс и везут туда четырех человек. Будут они жить на полюсе ровно год и узнавать про холод, про льды, про течение воды.

Павлик прожил с неделю и говорит:

— Мама, мы поедem в Москву на экскурсию. Всех выпускников наших туда посылают.

А я рада, что сын до такой чести дослужился.

— Посмотри,— говорю,— там за меня. Нам, быват, не придется увидеть, так хоть вы-то посмотрите Москву белокаменную. Приедешь домой — матери расскажешь.

Проездили они три недели. Приехал Павлик веселый.

— Три дня,— говорит,— по Москве ходили: в мавзолее — Ленина смотрели. Встречали Чкалова. Он из Америки приехал. Москва-то и хороша, да мало видел. Всю-то ее и за год не вымотришь.

В конце августа сварила я полагущку пива, пригласила мужнего брата Ивана Федоровича и пашиного приятеля колхозного счетовода Жилина. Захотелось мне отметить окончание пашиной учебы да заодно сговорить Ивана Федоровича в колхоз вступить. Он все страшился колхоза, тяжким грехом его считал. И жена его уговаривала,— ничего не помогало.

— Видят,— говорит,— чудотверцы — не прямые здесь богомольцы. Вон оксинской колхоз так и назван — «Безбожник». Как у меня руки на иконы поднимутся?

— Никто,— говорю,— тебя не неволит иконы убирать, никто не уймет молиться.

— Намолишься тут,— упрямится Иван Федорович.— В колхозе тяжкого греха не хватаешь на душу — век не замолить. Я уж на худой лошадке да своей дорогой поеду.

Упирался, упирался Иван, а нотом сдается.

— Никуда,— говорит,— от вас не подеваешься. Надо, видно, в колхоз голову совать.

Я смеюсь:

— Ты уж весь заходи. Не одну голову, а и сердце свое колхозу отдай.

Вскоре Иван Федорович к нам в колхоз заявление принес. Приняли мы его, а он около слез стоит. А потом сказывал, что домой пришел, наплакался. Мы с его женой над ним же и смеемся:

— Запросватали желанну за немилото детинушку.

6

В ту пору из МТС прибавили нам еще одну косилку. Две сенные грабилки,— мы сеном оплачивали. Людей, которых с сенокосу освободили, колхоз на путину выделил, а сена еще больше ставил. В другие колхозы и тракторы пошли. Скота у нас на ферме прибавилось: уже шестнадцать коров, десять птук молодняка, два телеля и бык — всего двадцать девять голов. Все это от восьми законтрактованных телок вырастили. В стае двадцать шесть лошадей стояло. Говорят, малого не растишь, так и велика не увидишь. А, по нашим лугам судя, и это — мелочь. Кабы не малолюдье да руки к лугам приложить, не столько бы скота могли иметь. Думали мы целиком на сельское хозяйство перейти, да рыболовство бросить жалко, вековечный наш промысел. Да и рыбы в новые рюжи да в ставные невода втрое больше, чем прежде, шло. От рыбной ловли у нашего колхоза в банке большие тысячи лежали. От путины да от сенокосу доходы год от году росли.

Завели в колхозе радиоприемник, купили патефон. Сначала он в школе ликбеза нас забавлял, а потом мужики его на путину взяли для веселья: не прежняя пора, нонче можно и повеселиться.

Таисья Кожевина да Ульяна Голубкова швейные машины купили. В колхоз, кроме газет, и журналы начали получать, в красном уголке книги завелись. По вечерам мы соберемся там, веселимся — кто во что горазд.

Один книжку читает, другой радио слушает. А я песню запеваю. Против паски и то на удивление старухам певала. В октябре ночи темны, тропы черны, ветры холодны, снежком порошит, а у нас в красном уголке и светло, и тепло, и весело.

Все шло хорошо, а под Октябрьские праздники покалечилась я. Авдотья Шевелева пошла домой ребенка грудью кормить, я ее и выменила. Заторопилась, чтобы успеть за себя и за нее все сделать, да в дикой торопне ошиблась, метнула сено с повети¹, да и сама в дыру провалилась. Полетела, так не ухватишься. Под самый бок попала мне колодка, на которой сидим, когда коров доим. Лежу, не могу встать. Испугалась сначала, а потом встала, думаю, пройдет боль. Постояла да потихоньку опять на поветь уволкалась. Наметала коровам сена, коров запустила, привязала их к стойлам и домой пошла.

Посмотрела, бок запух. Дня три я все еще в хлев обрядать скот ходила. А потом бок так распух, что я и дома на койке двигаться не могла. Утром кое-как сползла с кровати, а одеться не могу. Совсем слегла. Тюшиха с Лизаветой со мной билась. А потом говорят:

— То ли врача привезти, то ли саму надо везти в больницу.

Потом за врачом поехали. Велел он в больницу везти. А я тронуть себя не даю, реву. На другой день как-то поставили на ноги, одели и повезли. Всю дорогу я редела. Сани тряхнут—боль, колет, вздохнуть не дает. Лошадь все время ступью шла. Через виску Якунью, в которой я когда-то тонула, брат Константин да Хионья меня меж руками переводили.

В больницу на лестницу тоже на руках меня поднимали. Врачи не могут определить: то ли отшиблен бок, то ли ребра выкрошены. Через три дня опухоль спала, и врач признал растяжение жилья. Целый месяц я в больнице пролежала. В боку привал² разболелся, опять хуже стало. Прорезали его врачи,—полегчало.

В то время мы уже готовились к выборам. Пришел Андриуша навестить меня, а я его прошу:

— Принеси мне книжку какую-нибудь, про выборы.

Принес он мне «Положение о выборах». Вот я и начала читать. За неделю всю книжку разобрала. Рана у меня хоть еще и не заросла, а я домой прошусь. Дома Кирова и Клавдий одни живут. Отпустили меня.

Хожу я дома, на один бок нагнулась. А через неделю и снова в хлев пошла. За тяжелую работу взялась, у меня рана лопнула, второй нарыв получился. Даль-

ше—больше: один нарыв проходит, второй снова разживается. Рану возле раны наломало, терпеть невозможно. А я все работаю, не отступаюсь. Никто и не посылал, а я без работы не могу жить. Работа в глаза пихается, так разве утерпишь! Да и колхоз меня из больницы с часу на час ждал. Меня коренной обрядкой¹ считали и на подменьщиц моих не очень полагались. Да я и сама не надеялась на них: ответственность-то все равно моя. Сам худ, да будь тут...

За один год работы в колхозе меня выдвинули в ударницы и дважды премировали. В старое время, уж известно, какой мне да и любому простому человеку почет был: не вперед пропускали, а назад толкали. Да и я вперед не забегала, хоть и позади не оставалась: все куда-то промежу людьми совалась, все искала путь да дорогу, ходы да выходы.

Почеты мне прежде хорошие были: не величаньем, а обзываньем. Имени моего люди не знали, отчества не слыхали. Вокруг-то я и в людях жила, а не знала, как их определить: своими—сказать—не свои, чужими—писать—не чужие. А звались все-таки—чужие люди.

Вон, взять село Оксина, семь верст оно от нас, а звалось чужое село да дальнее. По году не выезжаешь из Голубовки. Особенно жена при муже: муж еще съездит, чего ли привезет, а ее и дело не касалось. Живи да ходи в четырех углах к пятому шестку—от печки до стола, а а от дверей до лавки. Печь да полати—наместо кровати.

Самая ближняя от нас деревня—за шестнадцать верст—Бедовое, а тоже звалась чужая деревня. И люди-то вроде не наши, не свои.

Да и своих-то соседей взять, тоже не каждого ближним называли: с искоса глядели да говорить не хотели. Самых ближних соседей чужими людьми звали. Недаром и поговорка у нас говорила: доходит нужда попросить топора, так и то в чужие люди итти надо. А эти чужие люди рядом жили. От них тот же почет: с ложки кормит, а чивьем² глаза колет. Встретись с ним,—под ноги не суйся, в ногах не мешайся, а сунешься—в ногах стончет.

¹ Поветь — сеновал над хлевом.

² Привал — нарыв.

¹ Обрядка — колхозница, обряджающая скот.

² Чивье — ручка ложки.

Взять такой случай: когда я ребенком на седьмом году ходила по миру, встрети-лась однажды на лестнице с Семеном Коротавым. Так он мне такую оплеуху за-катил, что я по лестнице на землю ска-тилась. Дома у него в семье что-то не поладилось, он в горячности и хлестнул меня. Вот тебе и сосед.

А при колхозе люди по-другому зажили. Один на другого по-людски да ладом нача-ли смотреть, зажили дружно да согласно.

Онаний Шевелев от меня особого доб-ра никогда не видел, а мне не раз помо-гал и уважение оказывал: то сани мне поправит, то валенки ребятишкам изла-дит. Он до колхоза тоже всю жизнь бедо-вал. А который человек сам все испытал, жизнь узнал, тот и людям верит. Васи-лий Марков, Игнатия Терентьевича сын, как вступил в колхоз, худого слова мне не сказал, да и другие колхозники по-человечески ко мне подходили, где делом, а где и добрым словом присноровят. Кол-хозная работа всех людей переменяла.

В единоличном житье каждый только свое дело, свою работу знал. Никто в чу-жое житье не совался, люди в чужом пиру своих свечей не жгли.

А в колхозном деле друг у друга надо спросить, да сказать, да посоветоваться. Не все за один конец беремся: тот — за тот, другой — за другой, работу ведем во всех сторонах, шире да боле берем да за-хватываем друг против дружки. И кто ши-ре дело захватит да ладом его сделает, тот и на виду в колхозе, честь-почтенье ему воздают, сыздаече шапку снимают, низко кланяются. Колхоз нас в одну семью свел, согласие между нами посеял, работу полюбить заставил. Работу робишь хорошо, — и стол пустой стоять не будет: попьешь да поешь досыта. А с сытым брюхом и на работу идешь весело: по пи-ще коса свищет, а по харчу и грабли во-лочу.

7

Перед выборами собрания у нас пошли. Стали мы обсуждать да намечать, кого нам выбрать. Разъяснили нам все дело Диомид Кожевин, брат Константин, Володя Марков да еще приезжал из райкома партии Куд-рявцев. Рассказали они нам про стаханов-ца Мусинского Василья Степановича с ар-хангельского лесозавода да про красно-флотца Пыстина. Узнала я, какие это до-стойные люди, и сразу у меня душа легла отдать за них свой голос. Почувствова-лись они мне близкими, как своими род-ными.

— Таким людям довериться можно, — говорила я соседкам и соседям на собра-нях. — Прежде, когда думных заседате-лей да старост выбирали, собирали в Пусто-зерке сходку. Вызовут повестками муж-ков, домохозяев. Иной поедет, а иной и плюнет, дома останется. А нас, женок, дело не касалось, как будто и людям нас не считали. Да кто и из мужиков по-едет, так пропыют да проспят — не зна-ют, чего велось и чего делалось. И без ни-выйдет, что выберут господ да полугос-подье, у кого пузо толстое, да казна в кармане густа, у кого не руки, а деньги работает. Рыбу они золотым неводом до-бывали, золотыми удочками промысляли, сено золотой косой косили, золотой дугой возили. Прибыли от них нам и не много же было: у кого брюхо толстое — совесть тонкая, у кого казна густа — голова пу-ста.

А при нынешнем времени не по брюху людей меряют, а по работе, по светлomu уму-разуму. У кого работа в руках родит-ся, тот и первым у нас почитается, кто идет с пути не отклонится, тот и отмен-ный. Вот такие и наши кандидаты.

Все эти думы я передумала перед вы-борами. И здоровью у меня не позавиду-ешь, а забот полон рот, а все-таки хоте-лось мне, чтобы у нас в Голубково выбо-ры не хуже, чем у людей, прошли.

И вышло не только не хуже, а еще лучше, наперед людей встали. В день вы-боров поднялись мы пораньше, чтобы до указанных часов все дела справить. Об-редню отвели, принарядились, самолучшие платья надели и пошли на избирательный участок. Помещался он в комнатах у Яко-ва Кожевина и у Хюньи Шевелевой. Про-голосовали, чаю попили. Константина мы еще раньше уговорили, чтобы буфет устро-ить. Чаепитие с Октябрьских праздни-ков мы на выборы перенесли.

Помещение разукрашено, как на самый большой праздник. На окнах занавески тюлевые. На одно окно еще нехватило, так я свою занавеску принесла. На сте-нах портреты вождей, лозунги с хороши-ми словами. Лозунги мой Андрияна с Ко-лей Пашковым вдвоем писали. Они же весь день на выборах и с патефонами во-зились.

— Какой праздник-то у нас, — говорю я жонкам. — Прежде насха за год первым праздником считалась, а понче у нас за век первый праздник.

Провели мы его с великой честью-радо-стью.

Неделей раньше подобрала я жонок по-
голосистей, уговорила в праздник песни
петь. И вот мы затынули песенку. Новых
песен, кроме частушек, еще не знали мы,
так старинку-матушку прихватили:

Не во далече-далече было во чистом
поле
Да еще того подале было во раздольице.
Разыгралась в поле куница, куна перед
сободем,

Прирасплакалась красна девица, девуш-
ка перед молодцем:

— Здравствуй, душечка, моя надежда,
мил сердечный друг!

Ты зачем, моя надежда, ко мне в гости
не жалуешь,

Неужели тебя, моя надежда, отец-мать
бранят,

Отец-мать тебя бранят, да род-племень
журят?

Не велят тебе, моя надежда, милый, со
мною знатися?

На дорожке, моя надежда, со мною не
встречатся?

На беседашке, моя надежда, со мною не
схоятися?

Велят, душечка, моя надежда, тебе
поженитися?

Уж ты женишься, моя надежда —
переменишься,

Повенчаешься, моя надежда, — вся лю-
бовь скончается.

Не жепу ты себе возьмешь, моя наде-
жда, а змею лютую.

День-то журить тебя будет, надежда,
а ночью спать не даст.

На песню люди дружной к избиратель-
ному участку потянулись.

Попели мы проголосных песен, потом
на игровые перешли.

И снова я призадумалась: время новое,
а песни старые. Не о том поем, что на
сердце лежит. Старые песни не подходят,
а новые не сложены. Какие знали, такие
и пели. Про выборы пропеть охота, вот и
свои своедельные частушки в ход пошли:

Петухи поют повсюду,
Ой, подружка, скоро свет,
Выходите спозаранья
Все на выборы в Совет.

Да частушка песню не заменит, не рас-
поешься.

До самой полуночи гостили мы на вы-
борах, чаи пили, песни пели. Последней
пришла голосовать старушка Марья Фо-
мична. Приплелась, идет да молитву тво-
рит. Опустила конверт в ящик, перекре-
стилась и говорит:

— Господи, прости мою душу грешную.
А я говорю:

— Да ведь нет его, Марья. Он и хотел
простить да уехал ребят крестить. У

Плюнула Марья да ушла.

Люди мне говорят:

— Ты, Маремьяна, сегодня как меду
нализалась да масла налакалась.

— Все, — говорю, — с одной тарелки
едим — масло и мед, все горстью в рот.

До первого часу мы не расходились.
С угощениями, с буфетами да с веселья-
ми мы день просидели да и ночи прихва-
тили. Пошла я, комиссию поблагодарила:

— Благодарю, товарищи, за веселье да
счастливые выборы. Про этот светел-кра-
сен день наши правнуки будут песни петь.

После выборов не могла я нигде найти
покою: в груди сердце заболело, в голове
мысли заходили. Видела я, как люди доро-
го расцениваются, как дела их беспро-
сечно учитываются. Чувствовала я, что
весь народ одной семьей жить начал, се-
мьей нераздельной, родней однокровной,
одноутробной. И я себя в этой семье по-
чувствовала не лишней, а ближней.

И хорошо мне стало, ровно я на теплом
солнце согрелась. Тут у меня кровь и во-
все живой сделалась, легко заходила, ве-
село запела.

И захотелось мне тоже песню запеть,
свою песню, какую кровь подсказывает.
Сижу я под коровой, дою, а мысли ходят.
Ум-то бродит, денно и ночью об одном:
как бы мне песню сложить, да как бы ее
запеть, да как бы на люди вывести али
вынести. Рассказать ли мне, описать ли
мне: не знаю — не ведаю. И столько я
мучилась с этой затеей!

— Вот, — думаю, — старое житье за-
ставляло нас старые песни петь, такие,
что людям сердце шевелили, слезы добы-
вали, тоски придавали. А нонче они при-
пелись. Новая жизнь, так новая и песня
нужна: жизнь хорошая, так и песня ве-
селая.

Надумать-то я надумала, а не знаю, как
за это дело взяться. Да и правильна ли
будет моя выдумка? С кем бы мне все
это обсудить да посоветоваться? Ни брату
родному, ни другу близкому рассказать
про свои мысли я не могла: они не боль-
ше меня знают да понимают.

И решила я выбрать как-нибудь время,
пойти в Оксино и поговорить там со зна-
комыми грамотными людьми. Думала я по-
ехать к моей знакомой Надежде Никола-
евне Морозовой. Она из таких же, как и
я, простых родов и работала в райкоме
партии. Полгода назад приходила она к

нам в Голубково с докладом, ночевала у меня и хорошо со мной поговорила, попростому, без гордости. Пойти к Морозовой я собралась, только из-за дел со дня на день все откладывала.

8

Однажды приходит в хлев на дежурство невестка Серафима и говорит:

— Моя Паша из Нарьян Мара приехала, а с ней какой-то мужичок. И чего-то он у Паши про тебя все расспрашивает. А сейчас меня за тобой послал.

Паша — Серафиминая дочь, работала в Нарьян Маре в типографии наборщицей.

— Какого-такого, — думаю, — мужика она привезла? Наверно, скотом интересуется.

Да как была в халате, так прямо и пошла. Прихожу, там сидит человек в лыжном костюме, что-то пишет. Поздоровались мы, заговорили попросту. Пригласил он меня чай пить и начал рассказывать, зачем он приехал:

— Фамилия моя Леонтьев. Записываю я, Маремьяна Романовна, всю вашу печорскую старину. Печора ваша песнями богата, былинами. А то есть еще люди, — причитать хорошо умеют. Не знаешь ли ты таких людей в Голубково? А, бывает, и сама ты кое-что знаешь?

Леонтьев работал в нашей окружной газете «Красный тундровик», и там Паша Голубкова, моя неродная внучка, уже рассказывала ему про меня, что я — песенный человек. Мне отказываться-то никак нельзя было, да и незачем: нехудое дело песни да плачи.

Я охотно согласилась. Когда он спросил, — какого я происхождения, я отвечаю:

— Не кулацкого, а бурлацкого. Песенная книга-то у меня немала, только на старые песни у меня что-то удача стала сдавать, голос слабый и духу нехватает мотив вести. Под старость человек всем калечится: силой и удачей, волосами и зубами и ясными очами: волосы седые, зубы худые. А что плачи старые, так я от них отстала: по новой дороге пошла, так и слезы утерала. Последний свой плач я три года назад проплакала, когда мужа хоронила.

Расспросил меня Леонтьев про всю мою жизнь и говорит:

— Так у тебя жизнь-то — сплошной плач. Вот бы ты свой рассказ на плач и перевела.

— Переведено уже было, — говорю. — На мужниной могиле я весь свой горький век в плаче изложила. Вот послушай-ко.

Да кряду и начала причитать все, что тогда выплакала, все вспомнила. Плачу, рассыпалась, как песок, разлилась, как вода, сомутилась вода с песком. А он каждое слово записывает.

Пишет, пишет да остановит:

— Погоди, Романовна, немножко: у меня твой плач кожу рвет.

И не может писать, вижу, что скоро я у него побегат слезы, весь изменился. И почувствовала я, что понял он каждое мое слово, что свои слова я не на ветер бросаю. И причитаю я, прибираю слово к слову:

Добрых дён я да не видала,
Во добре житье не жила,
Счастья-доли не испытала, —
Не утешена была, не унежена,
Не уважена, не углажена, —
Жила в горюшке во великом.
Я шаталась, бедна-злосчастна,
По чужим людям сиротинкой,
По рабам я да по холопам,
По кулацким да долгим срокам,
По тяжелым да по работам.

Скажу такое, а Леонтьев на месте сидеть не может.

— Откуда, — говорит, — ты берешь-то?

А я знаю, откуда взять и куда положить. Перекладываю на плач всю свою жизнь. Жалоблюсь на несчастную молодость, на неиздачливое замужье, на чужую работу:

Я не жизнь жила — горе мыкала
Во чужих людях, во работушке:
Утром рано была разбужена,
Вечер поздно была уложена,
Среди ночи потревожена...
Не заслужила я, не заработала
Я ни слова да себе гладкого,
Я ни куса да себе сладкого,
Я ни места да себе мягкого.

Записал Леонтьев весь плач про мой горький век и говорит:

— Ты, — говорит, — Маремьяна Романовна, рассказала о старой жизни, — не каждый сумеет так рассказать. А раз у тебя такая способность, то надо бы тебе подумать не только о старой жизни, а и о новой. Про что ты сейчас рассказывала, это уже позади осталось. Вот ты сама говоришь, что уже три года новой дорогой идешь. Подумала бы ты обо всем да и рассказала людям про новую жизнь так же складно и красиво, так же кругло и речисто. Если нужно тебе помочь, объяснить что-нибудь, — я помогу и объясню.

— А пошто,— говорю,— ты думаешь, что я не хочу рассказать? Я, может быть, такого человека, как ты, давно ищу. Вон я все время в Оксино собираюсь ехать, грамотных людей расспросить. У меня давно надумано рассказать про теперешнюю жизнь, да не было человека, который бы на ум наставил. А одна я не могу надуматься, как написать.

И рассказала я Леонтьеву, как у нас выборы проходили, как колхозы на Печоре устраивали, как я сама в колхоз пошла.

— В голове-то,— говорю,— у меня кое-что уже сложено, надо только мыслями присобраться. Зашел бы после обрядки ко мне в гости, поговорили бы. Для хороших дел мой язык развязан. Бывает, что-нибудь потихонько пешком обойдем, а не обойдем,— худу лошадочку принимаем.

Вечером обрядила я коров, только домой вернулась, а ко мне и гость пришел. Угостила я его чаем, и пачали мы беседу.

— Про что,— спрашивает Леонтьев,— ты вперед рассказать хочешь?

— Дай,— говорю,— про колхозы сначала сказать. Колхозы нам новую дорогу открыли. Вон моего мужа брат, Иван Федорович, до зла-горя не хотел вступать, а теперь живет да колхоз похваливает. А я к колхозу с самого начала, как лист к солнцу, тянулась.

И стала я сказывать, как после смерти мужа надо было мне подымать на ноги детей, как выбирала я дорогу и как выбрала. И, как прежде я плачи складывала, так и тут,— слово к слову кладешь, а и пропустишь, так воротишься:

Снова времячко пошло покатилося,
Надо думушку снова думать,
Надо деточек мне повырастить,
Мне повырастить да мне повыкормить,
Мне своим трудом да своей силою,
Мне своим умом да своей думою.

И вот растила я их, искала свое талан-счастье, и век бы его не нашла, кабы не колхозы. Талан-счастье нам на сердце Сталин положил:

Сталин кликнул клич, созывал народ,
Созывал народ во большой поход,
Во большой поход на кулацкий род,
На кулацкое род-племя злоехидное,
Злоехидное да само вредное.

Про кулаков-то у меня было чего сказать: поломила я на них дикой-то работы, а доброй не видала. Вот я про кулацкое род-племя и говорила, как сплеча рубила:

Навредило оно нам всем повсюдова,
Доводило нас до зла-горести,
Испивало из нас кровь горячую,
Иссушало нас до самой кости.

Леонтьев, как услышал эти слова, не утерпел, опять спрашивает:

— Откуда у тебя, Романовна, эти дорогие, верные слова?

— Оттуда же,— говорю,— из моей же головы. Раз так было, так должно и сказаться. Глаза-то у меня большие, так много моих глаз мало что проходило: не пропускала.

Хотела я в этом сказе про весь народ сказать, про партию, про Сталина, все свои давнишние думы выложить. А не знала — откуда мне пример взять: с листа ли, с куста ли, с белой ли березы, из земли ли, с неба ли, с красного ли солнца?

Хожу я по избе, вздыхаю, для чего-то малицу одела, а примера все не нахожу, с которым бы сравнить можно было и народ, и партию, и Сталина. Уж когда-некогда забрела мне в голову светлая мысль. И сразу сказ дальше пошел:

Много с гор ручьев по земле течет,
Из ручья в ручей, в реку быстрю,
Из быстрой реки в мать-Печорушку,
Из Печорушки в океан-море,
В океан-море Ледовитое.
Много думушек есть народных:
Мысли-думушки как ручьи текут,
Как ручьи текут да как вода бегут,
Они все-то думы стекаются,
Еще все-то они думы сливаются,
Как ручьи в реку, в мать-Печорушку,
Мысли-думы текут в нашу партию.
Как течет река мать-Печорушка,
Как несет свои воды полные,
Воды светлые в океан-море,
В океан-море Ледовитое,
Так же льют-текут думы партии
В море светлое — в думы Сталина.

Сравнила я колхоз с матерым лесом, а себя, единоличницу, с тонкой вербочкой:

Тут растет-цветет одно деревцо,
Как стоит оно да все шатается,
Ко сырой земле пригибается.
Как шатают его ветры паркие,
Пригибают его пурги северны,
Бьют-секут его да дожди резкие,
Дожди резкие, да они быстрые,
Они быстрые, да сами мокрые.

У того то ли у деревца
Листья-отрасли приосыпаны,
А вершиночка приобломана,
И стоит оно одиношенько,
Бесприютное да неуютное.

А про лес, будто как про колхоз говорю:

Не боится он бури-падеры,
Не страшится он пурги северной,
Ко сырой земле он не клонится,
От больших ветров он не ломится,
Разрослись его листья-отрасли,
Прираскинулись широкохотько,
Приразросцвели зеленехотько.
И стоит в лесу кажно деревцо
И приятное и уютное.

Тут каждый поймет, что в лесу лучше, чем на пустыне, в лесу тише, чем на буге¹. Потому я и очутилась в колхозе: рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Вот я и нашла.

Я дала себе слово накрепко:
Не сходить-то мне не сворачивать
Со пути своей со дороженьки —
Хоть широкой да неведанной,
Со неведанной дорожки да радостной.
Эта радость нам дана Сталиным,
Этот путь нам показан партией.

Когда я сказ закончила, Леонтьев долго не мог успокоиться, очень уж мои слова его обрадовали. Да и на квартире у невестки Серафимы ночью он никому не давал покою, всем перечитывал мой сказ. А на прощанье и говорит мне:

— Думал я в вашей деревушке такую голову найти! Как хочешь, Романовна, я от тебя не отступлюсь. Буду просить у председателя, чтобы тебя ко мне в гости в Нарьян Мар отпустили. А и председатель не отпустит, так я в райком партии пойду и добьюсь, чтобы тебе время дали для этой работы.

9

Леонтьев говорил про меня сначала в правлении колхоза, а потом и в райкоме партии. Только все это мне не помогло. В правлении колхоза не то поют, не то слушают.

Когда я подала заявление об отпуске, брат Константин дал ответ:

— Правление, — говорит, — тебя не отпускает, и я, значит, не могу отпустить. Была бы ты мне чужой — слово бы не сказал, а тут нареканья будут.

Успел Леонтьев по всем колхозам до самой Виски проехать, а я все еще не могу отпуска добиться. На обратном пути заехал он опять к нам в Голубково. Я была на скотном дворе, так он меня и там нашел. Лошадь уже ждала его, и он торопился. Успели мы только парой слов

перемолвиться. Обещала я ему приехать в Нарьян Мар, а он сказал:

— Ничего, Романовна, не беспокойся, — отпустят. В райкоме партии твой сказ всем понравился. Так что правление колхоза теперь тебя задерживать не будет.

И, верно, приехал как-то Константин из Оксино и говорит:

— Завтра поезжай в Оксино, тебя в райком зовут. И деньги на дорогу в Нарьян Мар выписаны.

Сборы у меня были недолгие, сряды небольшие. Шапку в охапку, рукавицы за пояс, поклон да и вон. Взяла в колхозе лошадь, возжей тряхнула, плетью махнула, была да и нет. Зашла в райкоме к Кудрявцеву, он меня хвалит:

— Ну, Маремьяна Романовна, слышали мы твою работу. Молодец.

Провел меня к секретарю райкома. А тот еще больше хвалит:

— Ай да и Романовна! И голова же у тебя.

Получила я деньги, справку в сельсовете и вместе с секретарем райкома поехала в Нарьян Мар. Дорогой объяснил он мне не хуже Леонтьева, что мое простое слово — не мусор, может оно людям службу служить.

— На правильный, — говорит, — путь ты выходишь.

И я, раз меня послали, считала, что не зря я еду. Все у меня — и мысли и разум и сила, — все к сказам катилось. Знаю: по какой реке плыть, такой и славе слыть.

Приехала я в гости к Леонтьеву. Показал он мои сказы, уже в газете напечатаны: первый — мой плач про старую жизнь назван «Я не жизнь жила — горе мыкала», второй — «Мы пошли в поход на кулацкий род». А внизу статья Леонтьева про меня напечатана. Удивиться я не удивилась, а только больше уверилась, что дело это не зряшное и что из меня тоже может выйти. Как-никак газета эта у нас в Ненецком округе почти в каждый дом, в каждый чум ходит. Все прочитают, старый и малый узнает — и все знакомые мои и незнакомые — какие я слова сказываю. Прочитают, хвалить будут али ругать, а все равно, мое слово что-то значит: с бухты-барахты его не пропечатали бы.

А все еще не на полный шаг ступаю. Сводил меня Леонтьев в редакцию, познакомил там с редактором. Ему тоже понравились мои сказы. Спросил меня редактор, о чем я еще сказывать думаю.

— Про выборы, — говорю, — сердце горит сказать. Они у меня великим праздни-

¹ Буг — чистое место.

ком были, перворадостным. Люди в тот день с подлетом ходили: крыльем небо доставали, погами землю не хватали.

— Да еще, говорю, про Красную Армию у меня в голову дума падает, мозги шевелит. Как-никак я пять сынов рошу. Старший скоро в армию пойдет, а за ним и остальные один за другим пошагают. У всех у них только и разговору, что о Красной Армии. Младшему, Клавдию, шесть годов, а и он себе шинель купить заставил и красноармейцем себя представляет.

И верно, о Красной Армии сыновья меня думать заставили.

Старший, Павлик, хоть и учителем работал, а обижался на отсрочку. Отсрочку ему ОкроНО выхлопотало, чтобы учительскую работу он вел. Не один раз Павлик вздохнул:

— Тянут до моржового загovenья.

И во сне-то ему снилась Красная Армия. Меньшой, Клавдий, вырвал у меня шинель:

— Купи да купи.

Купила я у Полинары Дитятевой шинельку. У них свой сынишка Герман носил эту шинель, да вырос скоро и вылез из ней. Вот Клавдий оденет шинель, застегнется на все пуговицы, подпоясается, чем придется, руки в бок, глаза в потолок и пойдет по деревне:

— Я, — говорит, — красноармеец.

И соседи его красноармейцем величают.

— Давно ли с фронта? — спрашивают.

Не сейчас уж я начала обдумывать да слышать — как прежде в солдатах служил и как нонче в Красную Армию люди идут.

Прежде, когда сыновей да мужовьей на царскую службу брали, матери да жоны горевали да печаловались. Сколько мученья там люди принимали, а не знали, за что, про что. Чтобы в солдаты не итти, большие выкупы платили, а потом зарабатывали! А кто не мог платить, тот шел. Долгие годы ходит мужик в солдатах, мытарится да позорится, всю свою молодую пору изложит, а вернется таким же мужиком, каким и ушел — темным да неграмотным. Придет да опять за ту же соровую¹ лопату возьмется.

Не любили люди царскую службу. Один оксинский мужик — Трифон Головин, сосед моей матери — своего сына Мануила от рождения дочерью, Олимпиадой, назвал. Растет парень, бегаёт в сарафане по деревне, и все его девьим именем, Лимоч-

кой, кличут. До полного возраста в сарафане он вырос. Парни за ним начали бегать, семеры подошвы истоптали, всех сватов притрудили да притомили, все Олимпиаду доступали. А Олимпиада руками от женихов отмахивалась, да и родители отказывали.

— Девка, — говорят, — не идет, да как мы отдадим.

Мануил и наделу сенокосного и пая семужьего не имел: девкам души не полагалось. Трифон головой качал:

— Бездушна тварь родилась, так всю жизнь и мучься с ней.

К девятнадцати годам у Олимпиады и боро денка и усишки прочиркнулись, сама баска¹, а грудь как доска. Женихи тогда бороды стали бояться. А все добры люди в один голос говорят:

— У Трифона Лимочка — полумужичье, двух сортов.

А когда борода до пупа выросла, Лимочка и вовсе в мужики перешел. А в солдаты итти он в ту пору уже из возраста вышел. Вскоре Лимочка и женился, два сына и дочь завел. Когда я после первого мужа в Оксину у Сумароковых жила, ходил к нам Лимочка в гости. Потом и внуки у него пошли. С лимочкиной старухой, Марьей Михайловной, я еще дружбу вела. Лимочкин внук, Ваня, на одном году с моим Павликом. И готовили его в Красную Армию, как и Павлика, растили да ждали год по году призыва, как внешнего дня...

Свой сказ о Красной Армии я не сразу сложила. Сначала спрашиваю Леонтьева:

— Я в Голубково не много видела да слышала. Ты уж мне пособи: ум хорошо, а два лучше того. На ликбезе нам про Красную Армию говорили, да, быват, не все, а которое я и не так поняла. А ты мне все спорядку² объясни.

Достал Леонтьев нужные книги, читал мне про революцию, про Красную Армию, как ее Ленин воспеленывал, как ее Сталин воспоил-воскормил, как Ворошилов докрепка укрепил. Наш Советский Союз Красной Армией, как железным тыном, огородили. Когда все это улеглось в голове и отстоялось, мысли прояснились; тогда и принялась я свой сказ сказывать, а Леонтьев записывать.

Два больших орла — Ленин со

Сталиным —

Всех своих орлят к себе кликали.

Что на этот клич вождей-орлов

¹ Соровую — навозную.

¹ Баска — хороша, красива.

² Спорядку — последовательно.

Слеталось тут племя орлиное,
Собиралась тут сила несметная,
Несметная да нескитана,
Всенародная Красна-Армия.
В Красну-Армию всенародную
Солетались орлы-соколы,
Самы лучшие да самы верные,
Они шли-пошли не неволюшкой,
А своей душевной охотушкой.
Им не жалко было жизнь отдать,
Что за Лениным со Сталиным,
За свою родну-советскую власть,
За свои заводы-фабрики,
За свою землю-матушку.

А недобитые генералы да недострелянные офицеры солетались злым-лихим вороньем и по-вороньи закаркали, что не летать молодым орлам высоко-далеко по поднебесью.

Уж как-то ли зло лихо воронье
Созывало оно силу заморскую:
Не званьем-звало — наймом-наймовало,
Что за те ли земли самолучшие,
Самолучшие да хлебородные,
Что за те ли богатства народные.
Приходила к генералам из-за моря
Иноземна сила-помощь великая
Со темá ли со гостинцами заморскими:
Со пушками да скорострельными,
Со танками да скороходными,
С кораблями да со черненными,
С самолетами да быстролетными,
С винтовками многозарядными,
С пулеметами многосмертными,
С генералами многоучеными.

Только не пособили им ни многосмертное оружие, ни генеральские головы. По указу Ленина, по совету Сталина, поднималась навстречу врагу-супротивнику сила храбрая красноармейская, стала рвать-трепать ту стаю полетную, бить-ломать ей крылье пустоперое, щипать-теребить перье со кожей до сыра мяса, ломать кости мелко-намелько. Не оставила она крыла неломана, пера нещипана, повыгнала зверя белого генеральского да змея лютого заморского людоедного, скосила всю силу вражескую, как в поле польнотраву горькую.

И пошла у нас тогда жизнь поладному.

По-ладному да по-хорошему.
Во спокойе народ взялся за работушку.
Что по всей земле по советской
Рассадили мы сады невиданны,
Стали строить города небывалые,
Стали накрепко крепить Красну-Армию;
Стали строить себе пушки скорострельные,

Стали делать себе танки скороходные
Да готовить самолеты быстролетные.
Да снастить себе кораблики черенные,
Да учить командиров ворошиловских,
Чтобы все мы могли на спокойе жить
Да растить-крепить дело колхозное,
Чтоб земля расцвела сливой-вишенью,
Сливой-вишенью да яблонью кудрявою.
Виноградами-кустами да зелеными,
Чтобы в нашем саду виноградовом
Мог народ век цвести в счастье-радости.

И думала я:

— Для нашей родной земли Красная Армия — каменна закрепа непроходная, защита крепкая, оборона непобедимая. Для всего народа Красная Армия — шуба теплая, рука правая, сила неиздержимая.

Работали мы над сказом больше двух недель. Немал он вышел, хоть Леонтьев и следил, чтобы не на девятой воде разводила. Если скажется что ли не так кругло, он говорит:

— Ты, Маремьяна Романовна, еще лучше сказать можешь.

И заставлял выискивать самые дорогие, твердые слова. Какое дело, такая и отделка. И я с ним согласна, что которое слово али строчка не подходят, так надо их отбрасывать: не клеится, так тут его приклеишь, — на нитку не привяжешь и иглой не пришьешь. И сама ему укорачивать велю.

— Тем, — говорю, — не приспоришь, что жидко растворишь, надо гуще замесить.

А из долгого короткое легче сделать, трудно короткое наставлять: там и прикроить, и приложить нужно, а уж когда пришивать.

Двадцатого февраля закончила я свой сказ, а двадцать третьего, в день Красной Армии, его напечатали в газете «Красный тундровик». А сама я над сказами талантливой сказительницей развелечена. Я всю жизнь обижалась, что таланта у меня нет, а тут люди какой-то талант нашли. Когда так человека ценят и хвалят, тут и мертвому можно поднять ся на ноги.

Поутру раным-ранешенько,
 До зари до бела-света,
 До петушья крику утрення
 Мы вставали-подымалися,
 За работу принималися,
 Поскорей с ней справлялися,
 Ключевой водой умывалися,
 Полотенышком утиралися,
 Мы на праздник собиралися,
 Хорошо мы одевалися
 Во одежду во лучшую,
 В платья шолковы да бархатны,
 Во платки цветасты гарусны,
 Во наши лучши малицы...
 Мы готовились к празднику
 С честью-радостью великою,
 Не варили пива пьяного,
 Не купили зелена-вина,—
 Мы пошли встречать праздничек
 С головами со светлыми,
 Со мыслями со верными.
 Мы не в церковь к заутрене,
 Мы не к звону колокольному,
 Не к четью-петью церковному,
 Не к попу ко духовному,
 Не молился — низко кланяться:
 Мы спешили-торопилися
 Ко часам ко указанным
 Во чисты-светлы горницы,
 Во палаты избирательны...

Когда я сказывала сказ «Про выборы
 всенародные» — брала я пример для на-
 пева из прежних своих плачей, чтобы
 строчка в этот напев улаживалась и что-
 бы с другой строчкой ровна была. Когда
 на свадьбе зарученье приводится утром,
 невеста пропеваает:

По утру раным-ранешенько,
 По рассвет ли до зари утренней,
 По подъем ли да красна-солнышка,
 По потух ли да ясных звездочек...

А дальше невеста «сдаст красоту», и
 жених просит невесту в свои сани. А она
 еще раньше брату в плаче наказывала:

Ты родимой мой брателко,
 Подпиряги ты добра коня
 В дорогу карету легкую,
 Довези до божьей церкви,
 Ты до звону колокольного,
 До четья-петья церковного,
 До попа до духовного.

А мне в сказе повернуть эти слова в
 другую сторону легче-легкого было.

Хороши слова и в песнях свадебных.
 Когда невеста поезжает к венцу, бабы по-
 ют песню:

Протекала-пробрызгала
 Там Ердань-река быстрая...

Из песен да плачей выбирала я хоро-
 шие слова, как морошку брала: хорошее
 да крупное, зрелое да спелое в туес кла-
 ду, а на худое да мелкое, незрелое да не-
 спелое не гляжу, мимо пробегаю, по заку-
 стышкам да по за сопочкам.

Все, что в выборы моя голова передумала,
 то я в этом сказе и выложила. Срав-
 нила я людей с людьми: которые прежде
 честью покрывались и которые нонче у
 нас в почете.

Прежде богачи почетны да породны счи-
 тались, честь и место им отводили, на
 руках носили. Иной и никуда не гож,
 кособоротый да криворотый, ничем не взял —
 ни плечом, ни лицом, ни кожей, ни рожей,
 ни умом-разумом, а богатство на виду, так
 он и породный да дородный, с первыми в
 ряду стоит папереду. Что бедняку не к
 лицу, то богачу по плечу. А уж тут я в
 своем сказе не жалеючи их высмеяла:

До советской-то поры-времени
 У кого в селе лузо толстое,
 Тот и первый был человек в селе,
 У кого в кармане казна густа,
 Тот и первый был по всей волости,
 По всей волости, по всей губернии.
 Только нам от них мало прибыли:
 Брюхо толстое, да совесть тонкая,
 Казна густа, да голова пуста.
 При нонешней поры-времени
 Не по брюху да казне людей меряют,
 Людей меряют по работушке,
 По светлу-уму да по разуму:
 У кого работа в руках родится,
 Тот и первым у нас считается,
 Кто идет — с пути не отклонится,—
 Тот отменным у нас почитается.

Рассказала я, как великую думу мы
 думали: кого нам выбрать, кого выдвинуть
 в наше верное правительство. Тут уж у
 всех у нас первая дума про Сталина. Я
 рассказывала я, как в песне, — за что мы
 его любим-жалуем, за что мы его с че-
 стью-радостью да первым-наперво выдви-
 нули да выбрали во правительство народ-
 ное:

Все-то реки текут в океан-море,
 Все-то думы наши народные,
 Будто птицы, летят в Москву-матушку,
 Ко тому ли Кремлю белокаменну,
 Ко тому ли отцу-вождю любимому,
 К дорогому товарищу Сталину.
 Мы за то его любим-жалуем,
 Что по нашей советской стране
 От его светла-разума
 Свету боле, чем от солнышка:
 Жить нам стало светлым-светло,
 Просветлели наши головы,

Просветлела жизнь народная.

По его великой мудрости

Дело правится правильно,
Дело наше большевистское.

Он ведет трудовой народ

По дороге по ленинской,

Он глазами орлиными

Смотрит будто из поднебесья

На пути-перепутьяца,

Выбирает-высматривает,

Будто в трубочку подзорную,

Путь-дорожечку верную,

Верную да неизменную.

Под его руководством

Мы по той ли путь-дорожечке,

Что нам Лениным указана,

Что нам Сталиным показана,

Мы идем — не отклонимся,

Мы растем — не остановимся...

Рассказала я о выборах, о великом нашем празднике.

Провели мы его с честью-радостью. Пива пьяного не варили, зелена-вина не курили, звону колокольного не звонили, четья-петья церковного не ждали, не молились да не кланялись, а праздник тот за самый светлый день нам показался. В голове светло, мысли свежие, на душе радостно и легко.

Уж мы пели да веселехонько,

Хорошо-то да хорошихонько

Песни звонки-разноголосы

И веселые и грустливые.

Вспоминали во тех песенках

Жизнь мы старую со слезами,

Прославляли мы во тех песенках

Жизнь колхозную с радостями.

Этот праздничек не забудется,

Не забудется да будет помниться,

Он, как солнышко, будет вечно греть,

Как солнце греть, да как луна светить.

Про этот ли светел-красен день,

Про наши ли первы выборы,

Про выборы всенародные

Наши правнуки будут песни петь.

И не могут они не запеть про наши червые праздники, про наши первые радости, про наших великих вождей.

Будут наши правнуки счастливы, будут они таланисты, а не устанут они вспоминать великую нашу пору. В каком-нибудь дальнем веке сядут они на зеленый луг во единый круг, потолкуют они про нас, а в какой-нибудь час споют и мою немудреную песню.

11

Сказ про выборы тоже без промедления в Нарьян Маре напечатали. Вижу я, что

мое слово к делу да к месту идет. И люди, слышу, обо мне хорошо отзываются. Встретила меня жонка Миши Конюкова — Павла Степановна, и говорит:

— Читала я твои газеты. Первый плач твой соседкам вслух читала, так и сама реву, и они около слез стоят. Я им и говорю: «Не напрасно Маремьяна это составила: все она переиспытала, все извела». И про колхозы мне поправилось: и баско, и складно, и правильно. Поездили кулаки на нашей шее, протерли загривок, как у оленя лямкой.

И выругалась она не по-хорошему. Она тоже лизнула соленого и горького: тоже на двенадцатом году в работницы к кулакам пошла и только при советском времени, когда Миша Конюков домой из армии пришел, вышла за него замуж. Теперь она работала продавщицей в ларьке. На прощанье Павла Степановна меня спрашивает:

— Ты как это додумалась, сказы-то сказывать?

— Чего тут додумываться? Все во своих глазах проходило и на язык выходило. Туда-сюда глаза кинешь, — чего ли да подметишь. А сказать-то не тяжело, только рот отвори да слово приготовь, а оно как по стружке пойдет. А чего таиться, если слово в рот катится да на языке вертится. У певчей птицы рот не на косице. Я и прежде, как могла, говаривала, только говорить-то мне доводилось на дороге да на пороге. И прежде наше слово мусором считали, а теперь оно к делу да к месту идет.

В тот же приезд водил меня Леонтьев по всему Нарьян Мару.

Повел он меня в окружной музей. Встретила меня там Лопатина, она раньше в Оксино моих ребят учила, а теперь сюда перебралась. Провела она меня по всему музею, показала мне все богатство, все, чем славится наш округ Ненецкий: где уголь добывают, где золото, где нефть. Тут же выставлены от разного зверья кости: и моржовая кость, и мамонтовая. Чучела оленей как живые стоят, шкуры песцовые по стенам висят. Завела она меня в одну комнату. На стене, вижу, висит портрет моего старого знакомого — Ивана Павловича Вучейского. Уже второй год проходил, как убили его троцкисты. Тут же под стеклом хранились все его документы.

Первый раз в жизни сходила я тогда в театр. До этого я видела только ребята постановки. Засмотрелась я: помещенье большое, людей много, играют арти-

ты совсем как на самом деле: плачут и жеселятся, дружатся и ругаются.

Первый раз в жизни я и кино тогда увидела. Показывали картину «Пугачев». Тут мне больше театра понравилось, только тяжело было смотреть на его мученья. И жену Пугачева мучили. А уж как ребята-то стали трепать за уши, тут у меня же нутро перевернулось, и слезы потекли: меня ведь тоже ребята есть. Пугачев с народом войной пошел на дворян-помещиков, народных кровопивщиков, на царщину. За народ и голову свою вольную на плахе сложил.

Насмотрелась я в нашем городе улиц широких, домов высоких, лавок торговых, издат устроивших, больниц и школ. И все это поставлено не на давней поре, на пустом месте, все выращено заботами Сталина, строено силушкой большевистской.

И решила я рассказать про Нарьян Мар в сказе. Сложила я его легко, скороделкой сделала. Немного годов я на путину не ходила, а тут в знакомых пустых местах не только деревня выросла, а уж городом зовут. Город ладом и недостроен еще, а все-таки видно, что город. Вот я и говорила про Белоцелье.

Те места мы знали-вызнали.
К океану морю ходючи,
Бечевою лодку тянучи
Парусами где-ка бегучи...
Уж мы клáli тут перекладывали,
На себе лодки перетягивали,
На желтом песку ноги вывертывали,
Себе веслами руки мозолили,
Бечевой себе плечи кровавили...
А теперь —
Посередке тундры Большой Земли
Не пыль в поле подымается,
Нарьян Мар чудный город разрастается.
Разстроился нов-хорош город
Добрим людям на дивованье...
И теперь те места оприюченны,
По Печоре они первы-напервы.
Из Москвы идет в Нарьян Мар-город
Путь-дорожечка прямоезжая,
Прямоезжая да прямолетная.
Что по этой то путь-дорожечке
Приезжают к нам люди ученые,
Прилетают к нам смелы-соколы,
Смелы-соколы да наши летчики.
Что из наших далеких краев,
Из далеких краев, из больших городов
Приплывают к нам в Нарьян Мар-город
Богатые корабли черненые,
Со товарами да со продуктами,
Со всяким разным богатством.

И знают все от старого до малого,
Что стоит на Печоре Нарьян Мар-город...

Погостила я в Нарьян Маре чуть не месяц, а потом поехала в Голубково.

Вез меня новый муж Ольги Совестики, какой-то заблудящий человек Иван Иок. Работал он баржевщиком в Нарьян Маре. А в ту зиму повыше Голубково замерзла баржа. Обжился Иван у нас и остался в Голубково. А Николай Совестя в прошлое лето помер. Осенью Ольга и прибрала Ивана к рукам.

Дорога из Нарьян Мара ведет шарами, лугами, озерами, наволоками. Вечером отъедешь от города, оглянешься,—позади светом-светит, огни электрические над тундрой, как звезды, сверкают.

А рядом с городом сполохи¹ в небе играют, по небу столбами перебегают. И столбы те — разного цвета: то зеленые, то желтые, то красные, со совсем белые. У нас по сполохам примечают погоду: белые — к морозу, красные — к теплу, а разных цветов — к снежной погоде, к большой поносухе.

Красивый у сполохов свет: то рядами столбы светлистые выстроятся и бегают друг за дружкой; то выше они подымутся, то ниже опустятся; то шире сполохи раздернет, как цветную завесу, то закроет, задернет, ровно их и не было; то, как цевки, бегают да играют, пляшут да кружатся в разнорядных да в разноцветных сарафанах. Любо на них смотреть. Старик раньше бранился, не велел смотреть на сполохи, боялся их.

А тут еще и от города лучи отливаются, прямо в небо упираются, со сполохами спорят,—кто кого переиграет,—как малые ребята. А свет да день придут — и все потеряется, как растает.

Ночами свет от города и лесозавода далеко видно, всю дорогу светит. Когда погода ясная, чистая, огни с лесозавода у нас в Голубково видны. И ко мне в окна городской свет попадает: далеко его разметывает, за сорок километров по всему нашему зашарью. И так близко оказывается, что думаешь — тут и есть, на колхозные луга город пришел.

Побывала я в Нарьян Маре, ровно на ступеньку выше шагнула. Мысли в голове порасторопней заходили: город расшевелил.

Город наш всю тундру красит. И по всей тундре за сотни километров — на Югорский шар, в Амдерму, Варандэй, Тобседу, на Индигу, на Канин Нос — наш город

¹ С п о л о х и — северное сияние.

светом, как росой кропит. Любой день из Нарьян Мара в тундру люди едут: экспедиции, учителя, доктора, оленьи фельдшера и всякие специалисты. Помогают они нецам наукой да грамотой, жизнь им устраивают да ухорашивают.

И вот в Амдерме свой город у рудников растет. В Тобседе культбаза красуется, ребяташки ненецкие в интернате на всем готовом живут и в школе учатся. До революции у нас по всему округу пять школ было, при церквях — по два да по три класса, а теперь — больше сорока школ, много девятилеток, совпартшкола, педагогическое и медицинское училище. Школы как грибы разросли да как цветы расцвели.

На Индиге консервный завод рыбу да куроптя людям готовит. Такой же завод и на Шойне в Канино-Таманском районе на полном ходу.

По всему берегу моря — от Кары до Канина Носа — на пустых местах поселки понастроены.

И все от Нарьян Мара света ждут.

И думала я:

— Один ли у нас этот город? Мало ли их теперь в Советском Союзе строится — и городов и пригородков? И каждый, небось, не хуже нашего Нарьян Мара. И все они тот же новый свет вокруг себя раскидывают.

12

В Голубково невестка Лизавета встретила меня радостно. Забегала с самоварами, а за чаем показывает две газеты с моими сказками.

— Мы, говорит, — уж без тебя тут читали. В нашем роду-то все доброе выходит. Вот и ты на вид вышла. Хорошо ты высказала, про старо и про ново — все нам в голову вложила. Добро-слово люблю слушать. Которые понимают — довольны, а иным и неладно, что ты выявилась.

Гриша Слезкин судачит: «Как она не выявится-то? Ведь она снарядно срядилась-то, в шолковое платье. Так себя и описала, штобы все знали, што в шолках ходит». Наталья Петровна говорит: «Маремяна, выдумщица. Тебе не приснится, а ей уж привидится. Захотела по городу погулять, дак будто и дело нашла, уехала. Вот она кошелей и наплела». А Настасья Кожевина уговаривает: «Никто никого не унимат кошелю плести, коли склад знать».

Целый вечер рассказывала мне Лизавета.

— Иван Коротаев говорит: «Муж был колдун, соколом летал, а жена в газете пишется, почетна стала».

А я отвечаю Лизавете:

— Пусть худую славу наносят, — не прильнет она ко мне. Прежде боялась я на свет глядеть да больше видеть. Что люди ни говорят, а от хорошего дела не побегу, неправильное слово не скажу. За большие деньги у меня неправильное слово не купишь. Рот открывала, так не закроешь.

Под Женский праздник в правлении колхоза проводили собрание. Тут все жонки собрались. Я свой хор снова подговорила песни петь. Надежда Николаевна Морозова пришла из райкома партии, доклад нам сделала.

— Нет ли, — говорит, — желающих слово сказать?

Никто не выискивается. А я и вывернулась, не усидела.

— Товарищи-жонки, — говорю, — прежде наше с вами житье было нам хуже лиха лихого, темней темной ночи, горче хрену горького, злее зелья лютого. Смозолила нам прежняя жизнь руки, протерла шею, нарастила горбы на спинах. Жили мы, как медь волокли. Работа кулацкая наскучила, да напрокучила. А чужая работа петухом поет да и спать не дает. На воле-то и рады бы жить, да не приводилось. Рад бы душой, да хлеб был чужой. А чужое страхом горожено.

Жили мы измучены да неучены. Много ли из нас здесь учеными жили? А дик да глуп, так больше бьют. Мы с ног падали, а богачи, небось, не под руки поддежат, а еще толкнут. Говорили: по пути сленцу к одному концу.

К примеру, взять мою жизнь. Разве я неверно сказала, что не жизнь жила — горе мыкала, одно мыкала, другое кликала. А кто из вас его не мыкал? Может быть, ты, Серафима? Мало тебя Прокопий тиранил? Али ты, Варвара? Не хлебнула ты горя, когда Константин на войне пропал? Мало у тебя заботы да печали было? Ребят замкнешь одних в избе, сама в лес едешь на целый день. Али, может, тебе, Ульяна Кирилловна, хорошо жилось? Считала ты при муже свои синяки? Мало тебя свекор изводил? Муж три года на войне шатался, а тебе с шестью ребятами легко вздыхалось? Мужа война доконала — мало слез ты пролила?

А ты, Хюнья, пошто не скажешь про свое мытарство? Али с ребятами ты не мучилась? Али здоровьем всю жизнь не

иялась? Али кто тебе пособлял десяти-
ых родить да семерых на ноги подни-
ать?

А теперь у каждой из нас сердце обра-
ло. За хорошие дни схватились.— пло-
ие отступились. Колхоз любому трудни-
у поможет, в кормлении-поении не отка-
ет. Я за себя с той поры, как в колхоз
ришла, просветлела. Детей моих госу-
арство учит, а старшего учителем сдела-
ю. Да и у каждой из вас, жонки не по-
тарому, а по-новому жизнь велется.
У тебя, Варвара, Константин весь колхоз
жет. У тебя, Ульяна Кириловна, вся
семья в колхозе, и сыновья и невестки,—
е у дела да у места. Онаний да Яков—
олхозники не последние. Сын Ефим в
расной Армии выслужился, на лесозаводе
млевищиком работает. И живешь ты без
ечали, все время по сыновьям да по
ючерям в разъезде. Хоть годами гости.

А вам, Хлюня да Серафима, да тебе,
евестка Лизавета, этот праздник и вовсе
непроменный. Советское государство вам
тысячи дает детей растить. А мало ли
таких в Советском Союзе? И все она вме-
е с нами один праздник празднуют и од-
ого человека величают. Человек этот—
Сталин.

И правда, жизнь у наших жопок пере-
енилась. Светлей стала. Когда вышел но-
ый закон о помощи многосемейным, мои
е невестки, Лизавета и Серафима, да
Хлюня Шевелева получили по две тыся-
и рублей на семью. Радовались жопки,
благодарили советскую власть, партию и
Сталина.

— Прежде,— говорят,— пропади мы
пропадом, никто бы не схватился добрым
словом найти, а не только куском. А тут
Сталин об наших ребятишках вои как
сердцем болеет.

А у меня из семнадцати только шесте-
ро ребят осталось, до пособия не дотяну-
а. Да я нисколько другим не завидовала,
за них же радовалась. Мне государство по-
другому помогало: всех детей учило.
Павлик в это время уже в Варандее в не-
едкой школе учителем работал, помогать
не начал: то сто рублей пошлет, то—
цвести.

— Ну,— говорю,— нынче у ясна-соко-
а крыльце отросло.

Жонки, которые пособие на детей полу-
чали, будто не те стали, весь характер
сменили. Раньше ребятишек и побранива-
ли, и поругивали, а придется, так и по-
колачивали. А тут и ласковы стали, и
жалостливы, милосердны да приветливы.

Хлюня раньше на ребят кричит:

— Накачались да навязались вы на
мою голову, съедите меня с руками и с
ногами и буйной головой.

Все казались едучи да хватучи. А тут
стала Хлюня ребят потешивать да поне-
живать:

— Ванюшка, рожоной, ешь пряничек.
Андрюшенька, бажоной, ты с конфеткой
пей.

Невестка Лизавета получила тысячи,
одела всех ребят. А больше всех младше-
го, Демидушку, тешила, так его «тысячни-
ком» и называла, а пособия — «Демидовы
деньги». Игрушек ему набрала, уголок
ему в горнице направила, около кровати
ему столик поставила:

— Демидушко, играй да Сталина вспо-
минай.

Морозова провела собрание и уехала.
А нас оставили на угощение. Я с хором
песни пела. И выбрала я среди других
старых песен такую, в которой про не-
счастную женскую долю поется:

Вылетала бедна птишка на долину,
Выроняла сизо перье на ширину.
Быстрый ветер их разносит по дубравы,
Слабый голос раздается по пустыни.
Не скликай-ко, бедна птишка, к себе
деток,

Злой стрелок убил малютку для забавы,
Все гнездо твоё рассеяно под дубом.
Бродит по полю несчастна горемыка,
Единешенька с печалью, со кручиной,
Черны волосы бедняжка вырывает,
Белу грудь свою лебедушка терзает:
— Расстужишь ты, мать сыра-земля

могила,
Пропадай ты, красота моя злодейка,
Онемей ты, сердце нежное, как камень.
Я пропала не виною — простотою,
Я не думала, что есть в любви измена,
Я не знала, что притворно можно
плакать.

Во руках его читала клятву сердца.
Через ты, тиран, я с матерью

рассталась,
От родных своих, от дому отказалась,
За бедой своей летела на чужбину,
За позором пробегала горы, степи,
Будто б дома женихов я не сыскала...
Не расти в пустыне хмелью без подпоры,
Не цвести цветку под солнышком
осепним.

Я пою и думаю:

— Без подпоры хмель не вырастет.
Сток сена без подпоры и то валится.

Осенью немногое цветет да растет, вянет, да и гинет. Осеннее солнышко светит, а не греет. А я вот живу ночью без подпоры — и не валюсь: советская власть поддерживает. Цвету я под осенним солнышком, ровно цветок лазоревый. Да и все люди живут, как цветы цветут. Греет всех нас одно солнышко. Сталин колхозы надумал и ровно красно-солнышко в окошницы¹ заглянуло.

И не одна жонка в тот день, наверно, то же, что и я, думала...

Зашел на наш бабий праздник Иван Федорович. Он в то время уж совсем обжился в колхозе и перестал его пугаться. А если спросит кто, так отсмеивался.

Пришел Иван и прямо ко мне. Поздоровался. Говорит:

— Приветствую тебя и твои хорошие дела. Читали нам здесь твои сказы. Всем понравились твои слова. За хорошие дела ты взялась.

В ту пору вздумали посылать меня в Оксину на курсы доярок. Константин спрашивает:

— Ты как думаешь? Поедешь, али нет?

А я, когда в Нарьян Маре гостила, показала врачам. Врач Сурмилский мне сказал:

— Тяжелую работу тебе нельзя делать. И лечиться надо.

И справку мне такую дал. И еще в Архангельск посылать на лечение хотели. Сказала я это в правлении колхоза, — решили Таисью Кожевину на курсы послать. А Настасью Кожевину назначили заведующей фермой. Стал Константин колхозниц спрашивать:

— Кто заменит Таисью, пока она на курсы ездит?

Все на меня налегают:

— Старая доярка, — говорят — справится.

И Таисья упрямится:

— Мне спокойней будет, коли ты останешься: другие непривычны.

И осталась я попрежнему дояркой. Снова я коров дою, сор мечу, за малыми телатами хожу, да еще и на ликбез поспеваю. Все еще хотела побольше грамоты добыть. Какой день схожу — мне же в пользу. А иногда и к учительнице на дом приду. В ту зиму мы проходили только арифметику, чтение и письмо.

Через две недели приехала Таисья с курсов, выменила меня. С тяжелой работы у меня открылась в боку рана, пуще прежнего разболелась, трет да рвет, терпенья нет. Голову кружит и ломит. В Голубково врача нет. В Оксину советно глаза показывать: врачи работать не велят, а я не слушаю их. Хожу в бинтах, а чую — скоро и ходить перестану.

И задумала я выехать в Нарьян Мар, подыскать себе там полегче работу и лечиться. Работу мне Леонтьев нашел, — уборщицей в окружной библиотеке, — писал-торопил, чтобы скорее приехала. И квартиру, пишет, подыскал.

Я собралась да прибралась, готова ехать.

А тут утром прибегает Настасья Кожевина, просит:

— Уж вижу, что болеешь, да как хочешь, подежурь еще в хлеве. Жонки все то болеют тоже, то по делам рассованы, то отказываются — на ударниц уповают. А ты, знаю, человек сознательный, хоть и через силу, а не откажешь.

Я и сама знаю, что не откажусь. Могу же могу, а итти надо, дело колхозное не бросишь, кому ли да быть в боярах. Ждут меня в хлеве мои коровушки: Пестронюшка, да Белонюшка, да Красуюшка.

Встала я с койки, оделась да поволокалась.

Пришла в хлев, на один бок пригибаюсь. А мне надо парево сливать, да ведра вздывать, натягаться к котлам. Навоз изпод коров весь вычистила, чувствую — кровь из раны протекла. Больно, так о корову обопрусь, повздыхаю, да опять за работу.

Утром пришли доярки обряжаться, я охаю, хватаюсь за бок, а все хожу да брожу.

Распростилась я с доярками:

— Счастливо, — говорю, — обряжаться, скота плодить да растить. Худом-то не поминайте, хоть добром-то бывает и не за чего.

Днем отдохнула я дома, а вечером Настасья опять бежит:

— И распрощались, — говорит, — мы, да опять снова пришли поздороваться. Стыдно мне, да делать нечего: пришла, да скажу. Подежурь ты еще ночь. Наташа Коротаева и слушать не хочет. Вернул носом: «Не я бы, — говорит, — дак больше бы и некого было послать?» Ко Грише Слезкину пошла Агриппину звать, у том короток ответ: «Без Агриппины у вас обойдется». Небось, ты в Нарьян Мар уедешь, дак и туда за тобой побежим.

Пошла я, слова не сказала.

¹ Окошницы — окна.

И уж не столько за наживой я гналась, сколько за хорошей славой. Раз пошла в колхоз да вывел меня колхоз в ударницы, так я ни временем не дорожила, ни здоровьем не стояла.

Ночь переколотала я в хлеву. Не делом, так хоть глазом скота-то караулила. А на утро то же прощанье с доярками. Говорю:

— Не надейтесь на меня больше, белые лебеди. Не волчье я дитя, в лес не глянжу, да великое мое нездоровье ехать заставляет. Путь широкая, дорога хорошая, погода езжальная,—видно, сегодня уеду.

Прямо из хлева села в сани да и поехала в Нарьян Мар. Заставила меня болезнь уехать из родного пепелища и еще раз переменить жизнь.

13

В Нарьян Маре я приехала на готовое, налаженное место. Сегодня приехала, а завтра и в библиотеку на работу пошла. Новая работа показала мне много легче, чем на скотном дворе: ходишь в чистой комнате, воздух легкий и теплый. Печку вытоплю, пыль сотру,—вот и все. В пятидневку раз пол вымою. Иду после работы в больницу. Назначили мне там мышьяковые уколы.

После больницы схожу я на квартиру, пообедаю и иду к Леонтьеву в гости. Сядем, разговор заведем. А разговоры у нас одни: про старинные песни, про пословицы, про побывальщины, про деревенские всякие приметы, про старушье шептанье да роптанье, про печорскую свадьбу, про наши причитанья. Ко всему этому у него душа лгнула. Все выспрашивал, да выпытывал, да записывал. Одних песен он у меня сотни две с лишним записал. А сколько я пословиц высорила, что из решета высевала. Только про былины промолчала. Говорят, не сложный, друга не узнаешь, а поживешь, так всего не изведает. Так и меня. Знала я былины не точно, из половины треть, и не решилась рассказывать.

Спрашивает меня Леонтьев:

— Неужели ты несколько не знаешь былин?

А я — запясная голова, думаю: «Был бы друг, а сказать время будет. Подсоберу в уме, так тогда ли их и скажу».

Целыми вечерами говорила я про нашу печорскую старину. То рассказываю, а то и пропевать начну. Иногда уже на утренней поро соберусь домой.

— Не пора ли,—говорю,—братцы, с

берегов сниматься? Путь да дорога, езжальная погода. Моим песням числа нет и конца не будет.

Скажу это, а Леонтьев опять к записным книгам кидается поговорки записывать.

Заведующий библиотекой, молодой парень Павел Николаевич Дьяков, взялся меня учить. То задание мне даст и проверит, то беседует, то прямо в библиотеке займется, то книжку на дом даст. А у меня учиться охота всегда была.

Рядом с библиотекой помещается окружной музей. Вскоре после моего приезда заведующим музеем назначили бывшего председателя горсовета Ивана Петровича Попова. Это очень хороший мужик, простой, сердечный, разговорчивый. Когда он пришел в музей, там все переменялось: направил он новые витрины, отремонтировал помещение, выбелил, выкрасил, любо-дорого зайти. Зайду я туда, он встретит, усадит, расспросит да выслушает. И хорошо мне стало: приятно, что кругом люди простые да хорошие, ровно я с ними век в соседях жила.

Встретила я в библиотеке жену Ивана Павловича Выучейского, Таисью Александровну. Много годов я ее не видела, обрадовалась встрече. Разговорились мы. Печалуется она, что мужа убили.

— Сижусь-ся,—говорит,—да пройду в музей, посмотрю на портрет,—полегчает, ровно я повидалась с ним.

Рассказала она мне про Павлика:

— Твой сын,—говорит,—чуть не каждый день к нам зааживал. Мой Вова уже начал его папой звать. А ты чего не заглядываешь?..

Под Первое Мая Леонтьев выхлопотал мне комнату на Оленьей улице, в доме номер тринадцать. Комната по моей тогдашней семье (я вдвоем с Клавдием жила) была просторная, четырнадцать метров. Вскоре я отдала Клавдия в детский сад и зажила совсем свободно. Изредка заглядывала и в кино, и в театр.

Познакомилась я как-то с одной ненецкой семьей, по фамилии Сядей. Живут они в большом доме Рыбтреста. Петр Сядей — сухой старик с седыми усами. А жена его, Феоктиста Титовна, толстая, как бочонок: сколь долга, столь и широка. Как-то разговорились мы с Феоктистой и рассказали мы друг другу про свою жизнь.

— От отца,—говорит Феоктиста,—мы тоже малыми остались и всю молодость по чужим людям работали, где из хлеба, а где и из платы. Когда я девкой была, повез

нас с матерью и братом купец из Мезени в Петербург на показ. Самоедами нас звали, так там думали, что мы людей едим, и боялись нас.

Дорогие деньги купец на нас выручал. Поставил в зоологическом саду чум, и жили мы там вместе со зверями, и, как зверей, нас за плату показывали.

А сейчас Феоктиста — почетный человек, пенсионерка. Сын у ней в Архангельске учился и работает в окрисполкоме секретарем. Дочь Ксения в педучилище учится. Любит она музыку. На стенах в комнате висит скрипка, гитара, мандолина — в премии ей за хорошую игру и за учебу дали.

И немало я таких людей встречала, которых, как и меня, прежде били, а нонче залюбили. И все они, как и я, рады душу свою изложить в работу. Которого человека почетом покрыли, у того душа вырастает: честь бесчестья лучше. Я с тех пор, как до почета дожила, каждый день себе твержу:

— На честь не пихайся, с чести не вались.

Вскоре приняли меня в союз политпросветработников. На собрании пришлось мне рассказать про свою жизнь. Не могу я про свою жизнь без слез рассказывать. И тут, только заговорила про детство, про работу на кулаков, про маяту с мужьями да с ребятишками, — не могла удержаться, заплакала. А как завела речь про колхоз, про теперешнюю работу, про свои сказы, — глаза подсохли.

— Прежде, — говорю, — росла трава — вянула, цвели цветы — сохнули. Некогда было ни траве вырасти, ни цветам зацвести. И все мы вяли как трава, красным солнышком несогретые. А нонче и травы растут, и цветы цветут. Народ ожил. И у меня кровь заговорила. Вон сказы стала рассказывать про все, что глаза мои видят, уши слышат, ум знает, сердце чувствует. Коли их читали — вам судить: гожий я человек али негожий.

В союз меня приняли.

14

Давно я думала про нашу мать-Печору песню сложить. А как приступить к песне — не знала. Ну, а теперь был у меня нехудой советчик, близкий товарищ. Он не меньше меня и песни любил, и Печору нашу, и могла я с ним во всякий час, во всякую пору слово перемолвить. Пошла я к Леонтьеву, посоветовалась. А он смеется:

— У меня, — говорит, — бумага с карандашом все время по тебе тоскуют.

В книжки мне смотреть не надо было: Печора и прежде и нонче у меня из глаз не выходит. Я говорю — Леонтьев пишет

Испокон-веку про Волгу поют песенки,
А никто не сумел про Печору спеть.
Мать-Печора была позакинута,
От больших городов позаброшена,
А теперь метит Волге во соперницы:
Не поддастся она шириной своей,
Не уступит она долиной своей,
Не уважит она водой полною,
Водой полною, рыбой красною,
Красотой ли своей распрекрасною.
Мать-Печорушка — всем рекам река...

Все, что хорошего есть на нашей Печоре, — все я вспомнила и в сказ положила: и луга сенокосные в наволоках, и боровые ягельные места на тундровых берегах. Рассказала, как весной плывут колхозники в легких стружочках по тихим вешним заводям с песнями да с баснями, охотятся на гусей-лебедей на серых утиц-касаютках. Как молодцы с девицами пляшут на лугах до утра, до-унаду и нонче новые веселые колхозные песни. Вспомнил я, как мы прежде ездили на низы, в морю:

Берега-то у моря студеного
Прежде были пусты, без строеньища,
Ни двора тебе, ни хижини,
Ни жилья человеческого.
Жили в лодочках, во суденышках,
Пи-ли-ели, отдыхали тут,
Тут все делали-обрабливали,
Тут и рыбу засаливали,
Тут тебе была и спаленка,
Тут — столова-нова горница,
Тут и нова светла-светлица.
Ни вымыться тебе, не высушиться
Мелкий дождичек — обмывка,
Красно солнышко — обсушка,
В лодке варбище¹ — обогрева,
Бочки с рыбою — тесова кровать,
Сетки с кибатами² — изголовьице.

Вспомнила я про нашу маяту на ловле: как раньше в плачах своих плакала, так и тут сказала. И сравнила с теперешней путинной. Каждый колхоз на своих участках у моря свои дома имеет и даже бани. Колхозники нахвалиться не могли:

¹ Варбище — в лодке место для варки пищи.

² Кибаты — груз у сетей; обычно — камни, зашитые в бересту.

— Комнаты, говорят, светлые да теплые, стены оклеены. Спим не вповалку на земляном полу, как прежде спали, а на хороших койках, на мягких матрацах, на чистых простынях. Придем с работы, вымоемся, убелимся, хорошо снарядимся, поьем да поедим — и в красный уголок, патефон, али радио слушать, в пешки-шахматы играть, беседы беседовать.

Когда я пришла к Фоме в дом, у него во всем дому одна комната была шпалерами оклеена — всей деревне на удивленье. А тут на путине жилье оклеено!

Рыбу им не надо убирать да солить, как прежде мы убрали да солили.

По ту рыбу добытую
Идут по морю студеному
Мотор-лодочки скороходные,
Не дают рыбе портиться,
Доставляют ее скоро-наскоро
На те ли пункты приемные,
Ко ледникам ко холодным,
Ко засолщикам ко ученым,
К обработчикам-то толковым...
А как домой собираются
Со богатого промысла,—
Не ждут в спину поветерь,
Не кличут в помощь ветричка,
Не гневают Север-батюшко,—
Они кличут мотор-лодочку,
Они едут вверх по Печорушке:
В руки весел брать не надобно,
Ноги резвые набивать-томить,
Свои плечики натруживать:
Они сядут отряхива-ногу,
Безо всякой побитости,
Они едут, только песенки поют,
Чай крепки с сахарами пьют.

Вспомянула я свою работу на кулаков по широким печорским лугам. Рассказала, розно плач проплакала. Мы тогда день перекоротать не могли, ночи не дождемся. Не вздымались глаза на красу-басу, некогда нам было глядеть на цветы лазоревы, на тихие заводы, на зори ранние-утренние, на закаты солнца красного: с устатку без питья падем, с работы без еды лежим. А теперь траву обкашивают не косами-горбушами, а самокосилками. Работа идет с радостью, от желанья ретива-сердца. По зеленым наволокам, по долгим покосам, по широким пограбам работают бригады. Каждое дело показано, каждое учitano, трудодни в книге выведены, сполна будут оплачены. Не знаем, как и день пройдет, не видим, как время катится, нехватает дня наробиться, по-работать еще хочется.

Прикатится день ко вечеру,
День ко вечеру, ко отдыху,—
Молоды ребята пляшут да поют,
Пожилы не поддаются,
Старики сказки рассказывают,
Побывальщики былинушки ведут.

Сказала я доброе слово про Печору, да тем и свой сказ закончила:

Мать-Печорушка — всем рекам река:
Реками она — во все стороны,
Ручьями она — несчетная,
Родниками она — несметная,
Ключевой водой — чистая,
Заводями она — спокойная,
Быстерами она — быстрая,
Заливными лугами — отменная,
Песками-тонями — удобная,
Рыбой красною — урожайная,
Красотой своей — прелестная.
Кто на ней живал,
Тот все сам видал,
А кто не был у нас,—
Просим в добрый час,
Не на час, не на денечек,—
Приезжать на годочек,
Хлеба-соли кушать,
Песенку послушать.

Довольна была я, что песня про Печору родилась, а пуще того доволен Леонтьев.

Вскоре Леонтьев ушел из редакции и поехал по Нижнепечорью, по всем деревням еще песенниц да былинщиков искать. Всех моих знакомых откопал: и былинщиков — ненца Тайбарейского, Василия Петровича из Лабожского да Осташева Ивана Кирилловича из Смекаловки, и слепую сказочницу Коткину Калерью Ивановну из Виски, и песенниц — сестру Калерью Безумову Лизавету Ивановну из Виски, Попову Анну Егоровну из Пылемца, и Суслову Марью Андреевну из Лабожского, и других людей немало. Ему не шло и не елось, не спалось и не сиделось, все песни шевелили.

Приехал Леонтьев с богатой добычей: и бумаги, и тетрадки, и книги — все записано.

Знала я, что в Москву он собирается. Жалковато мне было расставаться с ним, да семья его — и жена и дети похваливать начали: у нас в Заполярье не каждому наезжему человеку со здоровьем везет.

С первым пароходом привезли в Нарьян Мар газеты и журналы. Приносит как-то ко мне Леонтьев журнал «Народное творчество». Раскрыл и говорит:

— А ну-ко, взгляни.

Смотрю я, а там мой портрет, и подним сказы мои напечатаны. В архангельских газетах тоже, вижу, мои сказы есть. Тогда же и деньги немалые прислали. А тот нарядный журнал был послан и мне, да попал в Голубково. Там его все голубчане по рукам таскали, до того дочитали, что все истрепали, а отрезки потом мне прислали.

Со вторым морским пароходом уехал из Нарьян Мара Леонтьев со всей своей семьей.

15

Только проводила я Леонтьева, встретила Андрюшу. Он окончил семилетку и приехал из Оксино на пароходе. Дуня, Степа и Коля приехали в Нарьян Мар еще раньше. Вот и вся семья собралась, кроме Павлика.

Павлик прислал мне хорошее письмо:

«Читал твои сказы. Ты, мама, нас вывела на широкую дорогу и себе путь нашла. Радуюсь, что ты такие шаги шагаешь».

Опять я жизнь заново начинаю: не по-деревенски, а уже по-городски. Утром встаю,—не надо корову обрядать. Бегу на рынок. Там колхозники навезли и свинины, и оленьего мяса, и скотского, и рыбы разной, свежей и соленой, дешевой и дорогой. Из Макаровского колхоза — молоко, сливки, масло, сыр привезут.

До работы ребят накормлю, напою, побегут они на улицу играть. Рядом с Нарьян Маром тундра. Пойдут они грибов наломают, ягод наберут: голубели¹, вороники. А то ко мне в библиотеку забежат, книжки читают, в шахматы играют да меня ждут.

И я нет-нет, да тоже возьму книжку, какую-нибудь легонькую, все больше со сказками. Давал мне Дьяков и новые сказки читать. Тогда я и узнала, что есть у нас на Севере знаменитая сказительница, Марфа Семеновна Крюкова. Особенно мне понравилось, как она про Ленина говорит:

Не красно солнышко закатилось
Не за славны те горы Воробьевские,
Не за матушку каменну Москву,
Не за те ли леса темные,
Не за те ли сады все зеленые,
Не за моря оно да за глубокие,
Не за города да все за разные,
Не за села да за деревеньки,
Не за тихие за заводы.
Укатилось у нас да красно-солнышко,

Еще та ли луна да поднебесная,
Еще та ли заря, заря утренняя.
Еще та ли звезда вечерняя,
Укатилось красное солнышко
Как во матушку во сыру-землю,
Как во гроб оно-то положено.
Как положен все Ильич же свет,
Призакрит он доской гробовою.

Глянулось мне, что этот сказ словами на причитанье похож. А я тоже многое из плачей в свои сказы беру. И в Крюковой мне родня почудилась: об одном думаем.

Хотелось мне поведаться с ней да познакомиться, потолковать да поговорить, узнать — какого она роду-племени, какого отца-матери. А там, дальше-больше, — про дело да про работу: как сказы складывать, ходить — не запинаться, говорить — не затыкаться.

Казалась она мне большой, матерой, широколобой, с умными глазами, да с твердыми речами. У теперешнего сказителя глаза должны быть зоркие, — далеко смотреть, все видеть да понимать: сам не поймешь, так людям не расскажешь. А речи должны родиться ясные, складные да связанные, что овечье руно: шерстинка к шерстинке, словинка к словинке.

Поехала бы я к Крюковой, да, — думаю, — не допустят меня до ней, не покажут. Думала я, что таких людей под закрытием держат, чтобы такие бестолковые, как я, не мешали им думы думать да речи молвить. Собиралась я Крюковой письмо написать, да писательница-то я худенька. Так и не собралась, трепехнулась да не махнулась: худо не хочу, добро не могу.

Однажды сажусь я дома чай пить, а из театра прибегает билетерша и говорит:

— Тебя, — говорит, — к нам зовут.

Ну, а кликнули, так и откликнулась. В чем сидела, да в том и вышла. Иду за ней — не знаю, куда. Завела она меня в городскую театр, сунула в зал, а там концерт идет. Увидали меня и кланяются заведующий ОкрОНО, секретарь окружкома партии, зовут к себе. Посадили в середину, а я вся разволновалась, догадываюсь, что выступать надо будет. Они и говорят мне:

— Выступить надо, Маремьяна Романовна.

Да вкруте с разбегу и вытолкнули меня на сцену. Рассказала я отрывки из сказа про Красную Армию. А сама волнуясь хуже прежнего. Сказала, сколько могла, поклонилась, да и пошла. В глазах темно, никого не вижу, только слышу — хлопает народ в ладони.

¹ Голубель — голубика.

Евгений Матвеевич с Худяковым успокаивают меня. А потом пригласили меня в другую комнату и проверили — как я югу и другие сказываю. Евгений Матвеевич тут же и говорит:

— Надо Голубкову в Архангельск на олимпиаду послать. А оттуда ее в Москву пошлют.

В ту осень уехали на учебу в Ленинград несколько молодых ненцев и ненок. Среди них были мои знакомые, сестры Лайские. Они родились и выросли в Оксню. Отец у них жил бедно, с горя пил и играл в карты. Его и прозывали-то Проигрыш. А вот дочери поехали на артисток учиться.

В ту пору жена заведующего почтой Гудаева взялась хор мезенских песенниц налаживать. В Нарьян-Маре люди собрались из разных мест, так и с реки Мезени людей довольно было. Как-то Гудаева зашла в библиотеку и говорит мне:

— Присоединяйся к нам песни петь.

— Мезенских, — говорю, — песен я не знаю.

— Научишься, — говорит.

Я отвечаю:

— У меня своих печорских — всех перепеть.

Да вскоре и задумала я хор печорских песенниц собрать. Сговорила я свою старую подружку Полинару Дитятеву, Дуню Торопову с почты, Зою Попову. Потом пошла в общежитие связи, собрала в красном уголке на беседу женок да девок и поговорила с ними.

— Песня, — говорю, — нонче в чести. Прежде для песен рот был тесен, а нонче они сами от сердца идут. Вон мезенские жонки как воспевают. А у нас печорских песен не хватит, что ли? Давайте-ка устроим свой печорский хор.

Человек двенадцать согласились. Меня в руководительницы выдвигают, а я отказываюсь.

— Без меня, — говорю, — у вас руководитель найдется. Молодые да грамотные есть, их и выдвигайте.

Все они в связи работали, а я — посторонняя, мне и не хотелось. А другого никого не выдвигают. Так без руководителя и стали мы на спевки собираться. Записали у меня песни, перепечатали их в редакции на машинке и раздали тем, кто худо песню знает. Собирались мы через день. Подговорили мы баяниста к нам Ефтимия Лудникова — завхоза из больницы, и дело ходом пошло. Через месяц нас прослушала комиссия и выдвинула наш хор на окружную олимпиаду.

Олимпиада началась пятнадцатого августа и проходила три дня. Первой выступила семья колхозника Безумова из Виски. Муж, жена, сестра и невестка, — вчетвером пели старинные печорские песни.

Вторым вышел на сцену ненец Василий Петрович Тайбарейский, семидесяти пяти годов. Мать у него, Анна Ивановна, была русская, а отец, Петр, ненец. Анна на лицо была хорошая, красовитая. И любила она Петра. Тайком от родителей убежала она из деревни к Петру в чум, да по дороге еще ноги поморозила. Василий Петрович прожил свою жизнь уже в деревне, перенял там былины и перелал их своим сыновьям. И Гаврил, и Никандр, и Константин — все знают отцовы былины и иногда поют их хором.

Пел Василий Петрович на олимпиаде про Сокольника:

У того у моря у холодного,
У того у камня у Латыря
Тут живет один сын с родной матушкой.
Молода юность десяти годов,
Он замог детинушка конем владать,
Он немецким копейцом замог штурмовать.
Он вздымать замог палицу боевую,
Хоть не тяжолую палку — девяносто пуд.
И говорил тогда детинка таковы слова:
— Уж ты ой еси, мать моя родимая,
Мне-ка дай благословеньице великое
Ходить мне-ка ездить по чисту-полю.

Провожает его мать да наказывает:

Уж ты, ой еси, мое чадо милое,
Ты когда поедешь по чисту-полю,
Ты когда увидишь старого седатого,
Не доехав до старого — с коня вставай,
Кланяйся старому понизешенько,
Понизешенько старому, ниже пояса.
Ниже пояса старому, до сырой земли.
До сырой земли старому, в ногу правую...
Поехал детина по чисту-полю.
Со утехами своими потешается:
Впереди его бежит большой белый зверь,
Позади его бежит большой черной медведь,
По праву руку бежит черной выжлочек,
Как по левую бежит его серый волк.
На правом плече сидит млад-ясен сокол,
На левом плече сидит млад-сизой голубь.
Он и левою рукою нонь коня правит,
Правую рукою ярлык пишет,
Он разметывает по полю по чистому,
По тому ли раздолю по широкому.
Мимо едет крепку заставу великую,
Где стоят двенадцать русских богатырей,
Пасут-берегут стольный Киев-град.

Туда ясный сокол не пролетывал,
Туда серый волк не прорыскивал,
Добрый молодец удалый не проезживал
Эту крепкую заставу великую.
Он двенадцать богатырей ничем зовет,
Ничем зовет да ни во что кладет.
Стучит-гремит матушка сыра земля...

Не поглянулось Илье Муромцу бесчестье.
Посылает он Олешку Поповича спросить
молодца — как его звать-величать. А Олешка
сызда века заорал:

«Уж ты, серая ворона пустоперая,
Ты последняя птица волочажная,
По сметишам ты, птица, волочилась,
Поганой костью задавилася»...
Воротился удалый добрый молодец,
Приезжал к Олешке близко к самому,
Снимал Олешку со добра коня,
Во праву холку дал ему два отяпыша,
Во леву холку дал два оляпыша,
Посадил Олешку на добра-коня,
Стал ему тогда наказывать:
— Я старого возьму к себе в приказчики,
Я Добрынюшку возьму во писари.
Я Иванушку Горденова — во конюхи,
А тебя, Олешку, — чашки-ложки мыть.

Поехал Илья, бился с Сокольников, а
потом узнал, что это его сын: Илья по-
чечал как-то с его матерью паленицей
Златыгоркой в одном шатре. Отпустил
Илья Сокольника, а тот съездил, ссек у
матери со плеч голову, а потом к Илье
же за своей смертью приехал...

После Василья выступила я со своим
сказом «Про выборы всенародные». Хло-
пали люди много: я три раза выходила,
кланялась. А Андрюша мой сидел в зале
вместе со студентами: он в то время уже
учился в том же педучилище, которое
Павлик кончил. Ребята его и подтыкают:

— Смотри, — говорят, — как у тебя
мать-то отличается. Есть у тебя с кого
пример брать.

После меня выступали с новыми совет-
скими песнями два хора: редакции и пед-
училища, а потом и я со своим хором
выступила. Одеты мы по-печорски: в старин-
ных платьях, в кокошниках да в по-
войниках с кустами, девки — в тафте без
кокошника. И я молодой оделась: в фан-
шоне¹, волосы убраны по-старинному.
Нынче эту моду молодые стали похваты-
вать: две косы плетут да через голову
владут.

Пели мы, плясали под баян и под пес-
ни. Притопнем — сцена дрожит. А мы
поем-заливаемся:

Шила девица ковер,
Шила-вышивала.
Вышиваючи ковер,
Сама говорила:
Что кому этот ковер
Достается?
Доставался тот ковер
Стару-мужу.
Я для старого мужа
Ковра приубавлю
Я со всех-то сторон
По узору,
Шиту-бранному узору
Золотому.
Пойду, млада, по Дунаю,
Схожу-погуляю.
Зайду млада во беседу,
Во беседу,
Во беседе сидит старый,
Старый неудалый,
На коленях держит гусли,
Гусли золотые.
По гуслим бежали струны,
Струны звончатые.
У меня-то у младенькой
Сердце занывает,
У меня ножки подкосились,
Подломилась.
Белы ручки опустились,
Опустились.
Моя буйная головка
С плеч валится.

И все мы делаем вид, что у нас и ноги
подломились и руки опустились и голова
с плеч валится.

Эта же песня поется еще и на второй
раз, только не про старого мужа, а про
молодого, про ровню. Для него к коврику
девица принаставляла со всех сторон по
узору золотому. А когда он на гусли
звончатых заиграл, у ней и сердце вздро-
валось, голова взвеселилась, резвы-ноги
расплясались, белы-руки размахались, пара
с парой сохватались, пара с парой стан-
цевались.

Не только старые песни в почете у
нас были, а и новые в ход пошли. На
закуску мы спели «Если завтра война».

Артистка Валентина Анисимовна Ани-
драбик исполнила мой сказ «Среди тунд-
ры город вымахал». Сама-то я устала от
первого выступления да и уплясалась.
Нарьянмарцам про свой город слушать-то
и приятно. Хлопали Анидрабик, да и мы
не меньше.

¹ Фаншона — накидка, вязанная из
шелка.

С Валентиной Анисимовой я познакомилась осенью. Выхожу я из библиотеки, а она навстречу из гортеатра спускается и вглядывается в меня.

— Вы,— говорит,— Голубкова будете?
— Я.

Взяла она меня за руку, поцеловала.

— Я,— говорит,— хочу с тобой познакомиться.

Познакомились мы с ней, да с тех пор как сестры зажили. В городском театре местком проводил курсы ликбеза со своими уборщицами. Валентина Анисимовна посоветовала мне ходить туда же. Я и училась. А сама Валентина Анисимовна много мне книг читала и все советовала мне еще больше к сказам прилегать, чаще выступать и новые писать.

— Имеешь,— говорит,— талант, так не задерживай, а выявляй. Твое слово людям нужно.

Анирабик — член партии. Часто читала она мне газеты. Особенно, если где про сказителей пишут, про Джамбула, Стальского, Крюкову, тут она уж не пропустит.

Целых три дня пели и плясали люди на олимпиаде. Из Оксина выехал колхозный хор на десять человек. Руководил им Измаил Шальков. Из Пешы за триста километров вывезли другой колхозный хор. Из тундры два ненецких хора приехали. Дочь моей знакомой Феоктисты Сядей — Ксения играла на скрипке и пианино. Играл на скрипке и другой ненец — Миша Апицин. Играли оба они хорошо, весело, а хлопали им еще веселей.

Первую премию, триста рублей, получил хор редакции. Вторую премию — полтораста рублей — дали мне. Директор городского театра Ваня Иванов передал мне премию.

— Вот,— говорит,— тебе за твою службу. И вперед продолжай, только волнуйся меньше. А теперь сдавай свою работу и собирайся в Архангельск.

Кроме меня, в Архангельск хотели отправить Ксению Сядей и ненецкий хор.

17

Самолеты в то время не прилетели,— снегу вовсе не было,— и ехать нам в Архангельск не пришлось. Вдобавок, я простудилась и заболела, руки опухли — шевелить не могу. Пришлось мне лечь в больницу. Когда почувшело, я больным, соседям по койкам, да и сестрам — лежу да сказы рассказываю.

На коридоре было радио. Однажды я слушала концерт, вдруг объявляют мое имя:

— Хор Пятницкого исполнит песню «Ходил по границам Ворошилов Клим» из сказа Маремьяны Романовны Голубковой. Музыка Черемухина.

Взволновалась я, обрадела: в такой дали мои слова поют! Это — песня из сказа «Сила храбрая, красноармейская». И так хорошо поют, а я вслед за ними подголосничаю:

Ходил по границам Ворошилов Клим,
Запирал он границы на крепки-замки,
Выставлял он заставушки верные,
Посылал он охрапушки зоркие.
Посылал-то, он им наказ давал,
Наказ давал да такую речь держал:
«Уж ой еси, добры молодцы,
Вы, товарищи ребята-пограничники,
Вы храните-берегите мать родну-землю,
Мать родну-землю народну, советскую.
Уж как наша-то земля ведь не куплена,
Уж как наша-то земля кровью добыта,
Кровью добыта да кровью полита.
Вы смотрите не просите врага-ворога,
Чтобы он неожиданно в гости не пожаловал,
Не прошел бы к нам, разбойник, по чисту полю,
Не пролез бы иноземец по сырой земле,
По сырой земле да по под-кустышкам,
Не проехал бы по морю на корабличке,
Не пролетел бы в самолете по поднебесью».

С той поры стоят ребята-пограничники
На советских на крепких на заставушках,
Стерегут они границы от разбойников,
От разбойников-буржуев подорожников.

В дни олимпиады артист Корнеев слышал по радио другую мою песню из этого же сказа. Пел ее тот же хор Пятницкого, только музыка,— передавал он мне,— Захарова.

Не боится ветров гора каменная,—
От ветров, гора, она не сдвинется.
Не боимся мы врага-супротивника,—
От врага, как гора, мы не строимся.
Мы не тронем никого, да и нас не тронь:
Как подступит враг, мы дадим отпор,
Мы дадим отпор крепче старого,
Теперь силушка у нас небывалая.
Мы сомнем сокрушим врага-насилыника,
Как былиночку буря-падера.
Нет во чистом поле такой былиночки,
Чтоб стояла, не клонилась в бурю-падеру.
Нет на всей земле такой силушки,
Чтобы выстояла против Красной Армии.

— Ну,— думаю,— сколько людей сейчас мои слова слушают. Мои тихие разговоры докатились до Москвы. Значит, надо, что-

бы мое слово летело и птичкой, и ласточкой, и сизой касаточкой, чтобы слушали его большие народы. Сказы — дело мое и мысли мои, честь моя и слава моя.

Только вышла я из больницы, переслали мне из Голубково письмо. Пишет мне из Приморья незнакомый человек, заместитель политрука Николай Красильников:

«Дорогая Маремьяна Романовна!

Прочитали мы с товарищами в газете «Красная звезда» ваш сказ, посвященный Красной Армии. И вот решил я написать вам это письмо.

Сила нашей Армии не только в том, что мы имеем прекрасную боевую технику, но еще и в том, что мы крепко связаны со всем советским народом. Ваш сказ о силе храброй красноармейской подтверждает это еще раз. Мы знаем, что за нами стоит весь огромный советский народ. И, если вороны-стервятники попытаются напасть на цветущую нашу страну, мы их сметем и сокрушим, как сокрушает былинку буря-падера. Это доказала наша Первая Отдельная Краснознаменная Армия в боях у озера Хасан.

И правильны ваши слова о том, что «нет на всей земле такой силушки, чтобы выстояла против Красной Армии». Такой силы нет и никогда не будет! Сила Красной Армии — это сила всего советского народа, а советский народ непобедим.

Советский народ доверил нам самый ответственный участок — дальневосточную границу, и мы оправдаем его доверие...

Передайте, уважаемая Маремьяна Романовна, наш красноармейский привет колхозникам вашего колхоза. Мы заверяем вас, колхозники Голубковского колхоза, что советские границы закрыты на крепкие замки и сломать их мы никому не позволим.

Николай Красильников».

Припамятую, припамятую я — не могу припомнить, не знаю такой фамилии. А когда дочитала до того места, где он о сказах говорит, тогда я и поняла, почему я ему родной да знакомой стала.

Прочитала я письмо и сама себе удивлена и рада: будто у меня еще дети выискиваются, сыновья новые.

И думаю я:

— Мало ли ребят в Красной Армии, а небось, каждый мои слова тоже прочитал и каждый, как Красильников, мой сказ оценил. И любой красноармеец мне теперь вроде сына стал. Кто еще столько сыновей имеет? У какой матери теперь радости больше моей?

Прежде многодетную да многостадную семью горем считали, а у меня радость вместе с семьей прибывает.

На несколько раз письмо перечитала. Что сама не могу разобрать — ребят представляю. К Валентине Анисимовне сходила, и она прочитала. Радуетса она не меньше меня. Брат Константин приехал по делу в Нарьян Мар, зашел ко мне в гости — и того прочитать заставила. Константин у нас немногословесный: худо — не закричит, а добро — не объявит. А тот все же сказал:

— То и хорошо, что люди знают. У тебя теперь и дальние друзья завелись.

Отписала я Красильникову, что довольна и рада, и что подумано да нечато я в нем сына нового нашла. Послала я ему приветы, пожелала добра да здоровья, велела честно служить народу, границы крепить да хранить, врага-ворога следить. Вскоре от него снова ответ пришел.

И думаю я:

— Прежде так было: говори с подушкой, а не с подружкой. С подушкой-то много говорено, да ничего не сотворено. А теперь я с ближними и дальними друзьями да подругами говорю...

Первого апреля, когда я совсем выправилась, снова пошла на работу в библиотеку. Кроме работы, ходила я в неполную среднюю школу взрослых, а к первому морскому пароходу после испытаний получила на руки свидетельство об окончании трех классов. По русскому языку в свидетельстве стояло «хорошо», по арифметике — «отлично».

Сыновья мои не хуже меня учились: у них тоже немало и хороших и отличных отметок. Один Коля по русскому языку «плохо» получил. Так я его дома заставила заниматься:

— Бери, — говорю, — пример с матери...

Весной пришла мне телеграмма. Всесоюзный дом народного творчества устраивал первый слет сказителей в Москве и приглашал меня к 20 июня. Первый морской пароход пришел к нам 17 июня. Достать билет на него я не смогла: больно много с ним людей в отпуска ехало. Окрисполком помог мне достать билет на второй пароход «Вятка», который пришел 19 и уходил 21 июня.

Хоть и опаздывала я в Москву, а все-таки поехала. Думаю, что хоть до Архангельска доеду.

В день отъезда, 21 июня, дул ветер Север, с ног сшибал. Ребята из-за этого и

провождать не пошли. Первый раз они расставались с матерью и ревмя-ревели.

18

Два моря проехали — в Архангельск пароход «Вятка» пришел в четыре часа утра 25 июня.

— Куда, я,— думаю,— ночью денусь? Не бывала да не видала, в город, как в темный лес, зайду.

А не успела на берег выйти, знакомых как ветром занесло. Иду я с чемоданишком по пристани, а родня и выискалась: как с неба пали да на ноги встали. Стоят два незнакомых человека и перехватывают меня, руку подают. Это им Надежда Николаевна Морозова показала: она на курорт направлялась и впереди меня с парохода шла.

Эти люди поздоровались, именем-отчеством меня назвали, а я их в глаза не видала. Один из них оказался директором Дома народного творчества в Архангельске, Георгий Иванович Смельницкий, а другой — работник по народному творчеству Сергей Кузьмич Баренц. Повезли они меня на трамвае, отвели мне комнату и говорят:

— Спи-отдыхай, Маремьяна Романовна.

А мне уж не особенно спалось: в большой город попала, на трамвае в первый раз проехала, люди меня поздней ночью встретили, печалились да заботились пуще меня, квартиру отвели,— окна большие, светлые, кровать чисто заправлена.

На второй кровати спала какая-то женщина. Утром она проснулась, узнала, что я Голубкова, очень довольна.

— Я,— говорит,— вас, Маремьяна Романовна, знаю: читала ваши сказы. И Леонтьева хорошо знаю. Моя фамилия — Рождественская. Я из Москвы на реку Пинегу еду, сказки да песни собирать.

Расспросила она меня про печорские песни да плачи, сказ про выборы я ей рассказала.

На прощанье Рождественская дала мне свой адрес.

— Будешь в Москве,— говорит,— ищи меня, в гости заходи...

Смельницкий мне говорит:

— Ты,— говорит,— Маремьяна Романовна, в Москву уже опоздала, к шапочному разбору туда приедешь. Пока лучше погости у нас, а мы посмотрим: не можем ли тебе устроить путевку на курорт. Здоровьем скучаешь, так подлечиться надо.

И хотелось мне Москву посмотреть, а

осталась: с моим здоровьем я, пожалуй, и до Москвы не ходок.

Сергей Кузьмич сводил меня на комиссию. Признали у меня и ревматизм и болезнь нервной системы и дали путевку на курорт в Сольвычегодске.

Пока я собиралась да сряжалась, вернулись из Москвы со слета наши северные сказительницы — Крюкова и Суховерхова.

Крюкова остановилась в одной комнате со мной. Смотрю я на нее — такая же она, как и все мы, только орден от других отличает. Встретила я ее как знакомую, обняла, поцеловала, а она удивилась: какой, думает, человек ее так почетно встречает?

Сели мы чай пить. С приезда и Суховерхова тут же сидит. Стала я у них про Москву расспрашивать. Слушаю, как они на слете выступали, какие там сказители были: Барышникова, Морозова, Конашков, Ковалев.

А потом стали про свои места разговаривать. И я свое место помнюла. Марфа Семеновна прислушалась и переспросила:

— Откуда ты?

— С Печоры,— говорю.

— А как у тебя фамилия-то?

— Голубкова,— говорю.

— Да что ты не сказывала-то нам? Я не думала, что это Голубкова так встречается.

И на ноги встала, снова перездоровалась со мной: обняла в охапку и поцеловала. Суховерхова тоже вся прижалась.

— Да как же ты молчала? Ведь мы тебя хоть и не видали, а много слышали да поминали. Леонтьев в Москве только про тебя и говорит. Ждал он тебя, ждал, да все жданки съел. Все печаловался, что ты не приехала.

Прожила я с Марфой Семеновной больше недели. Познакомилась, да породнилась. Целыми днями мы с ней разговоры вели, речи молвили. Говорила я ей свои сказы, похвалила она:

— Хорошо,— говорит,— сказано, ладом да с умом, складно да связно. Слушаешь и пуще слушать хочется.

И она про свои новины мне рассказывала. Хоть и одобряет она мою работу, а я знаю, что еще не в полный шаг ступаю. Много еще,— думаю,— надо мне поработать. Работа будет, и люди не забудут. А пока и то за честь считала, что Крюкову увидела.

Познакомила я ее со своим племянником Колей Пашковым: он в Архангельске в сельскохозяйственном техникуме учился.

Сфотографировались мы втроем. Водил нас племянник в зверинец, показывал разных зверей: слона, льва, медведицу, белого медведя, пещов, лисиц.

Пришло время отправляться на курорт. С Марфой Семеновной как хорошо мы встретились, так и распростились. Поехал со мной Сергей Кузьмич: все он мне показывал да рассказывал.

Дорога на пароходе «Гоголь» — сначала по Двине, а потом с Котласа по Вычегде — хороша. Погода тиха, ехать спокойно. Двина красива: местами даже и на нашу Печору похожа — и берегами, и пещами, и разливами, и наволоками.

По воде лес плывет, пароходы идут — только гром стоит, друг перед дружкой посвистывают, словно здороваются. На песках чайки греются, в воде рыба плещется, над головой птица вольная летит. Из-за носков вывернется Двина, в ширину разольется как доброе море. В наволоках луга зеленые разрослись, травы стоят-колыблются, черемуха в полном цвету шатается.

На иной пристани выйдем в луга, пройдем по густым травам, цветы рвем, в пучки кладем. Кругом все солнцем облитое, воздух вкусный, как масляный, пахнет молоком, анисом, черемухой. От того черемухового духу как пьяный сделаешься, голову кружит и дух захватывает.

Ехали мы около трех суток.

В Сольвычегодске меня встретила Морозова из Оксина.

Приехала я и начала лечиться. Каждый день брала сероводородные ванны, ходила на уколы, пила минеральные воды.

После чаю до обеда ходила я иногда прогуливаться за город. Там первый раз увидела я настоящие поля, большие, ровные, и колосье шумит. Места за Сольвычегодском красивые, леса дремучие, высокие, берега на Вычегде песчаные, ровные да гладкие, пески сыпучие да широкие.

Около ванного отделения есть большое озеро. Вода в нем соленая, его так и зовут Соленое озеро. Прежде купец Строганов здесь соль добывал, а теперь оттуда воду и грязи берут и ревматизм и сердце лечат.

Строганов был очень богатый. Весь народ в его солеварнях работал. И сам он себя как царем представлял. В праздничный день он на особом клиросе как на тропе сидел. Когда причащали, он брал у попа из рук чашу и прямо из чаши причастье пил.

Выстроил Строганов большой собор с двойными стенами. Между стенами я хо-

дила и видела, что на улицу маленькие окошечки проделаны для стрельбы. В этом соборе и тюрьмы, и склады, все помещено. Под самым алтарем вкопаны в землю и выложены камнем помещения, каменные мешки. Сунут человека туда, да голодной смертью и морят, назад не выйдет. Хоть нищи, хоть верещи — не слышно. Спускалась я туда. В маленький проход надо в два ряда согнуться, чтобы пролезть. Воздух спертый, сырой, розно покойник рядом. Обратно выходишь, как угорел, шатает.

В одном месте поставлены статуи: — два мужика в цепях закованы, сидят они, приклонились головами к стенке, видно, что погибают.

В этот собор Строганов прокопал подземный ход из своего дома. Когда мужики поднялись да подожгли дом у Строганова, он подземным ходом убежал в собор. А верховодчиком у мужиков был какой-то Григорий: он из каменного мешка как-то сумел выйти.

Еще при Строганове в Сольвычегодске был девичий базар. У родителей он за долги девок отнимал и на базар выводил на продажу.

Страшно то время вспоминать, сколько народ муки терпел.

Сводил меня Сергей Борисович в Сольвычегодский музей. Там под стеклами в витринах хранятся документы о Ленине, Сталине и Ворошилове, где они в каких ссылках были. Вся их жизнь там показана. И портретов много, даже ихние матери и отцы сняты. Сталин да Ворошилов когда-то в наших краях в ссылке находились. Напротив музея — окна в окна — стоит домик. В нем Сталин жил, когда его царь сослал в Сольвычегодск. Домик этот невысокий, квартира неширокая, обстановка небогатая, кроватка простая, деревянная, как у бедных: постель немягкая, изголовье невысокое, одеяльцо нетеплое. Одни цветы стоят: столько всего и украшения, тут все его и веселье было. Сталин взглянет, так в глазах у него вроде будто сад.

Не между шелков да бархатов здесь Сталин жил, а между нужды да бедности, не в высоких хоромах, а в таких же бедняцких стенах, как, к примеру, и я жила. Когда он в ссылках был, вместе со здешними мужиками за просто время проводил. И красную и белую рыбу, наверно, ловил себе на пропитанье. Видела я на картине: сидит Сталин на ловчем берегу около огня с мужиками, рыбу варит. А на другой

картине он сетку из воды тянет, сапожонки худящие, наверно, вода в них хлюпает.

Всего тут Сталин хватил,—горького и сладкого, стужи и пужи. По-всякому привелось ему жить: недосыпая и недожая, походя ел и стоя спал. Да не боялся он с Лениным ни страсти, ни ужаси, знал свою дорогу, вел свое дело.

Пробыла я в Сольвычегодске месяц, поправилась. Перед отъездом выступала я на курорте в красном уголке на вечере самостоятельности со своими сказами.

Обратно ехали, чувствовала себя хорошо, хоть песни пой. В Архангельске меня ждала телеграмма. Смелницкий встретил меня и спрашивает:

— Ну как, Маремьяна Романовна, хочешь с Леонтьевым повидаться?

И сказал, что меня зовут в Москву на двадцать дней. Обрадовалась я: для того и с Нарьян Мара подымалась, чтобы как-нибудь до Москвы пробиться.

Достали мне билет, посадили на поезд и отправили в Москву.

19

В Москве на вокзале встретил меня Леонтьев. Не подумала я, что и в Москве вышла, все равно как в Нарьян Маре. В Архангельск ехала — страшилась, а тут никакой заботы и печали, как домой приехала. Увез меня Леонтьев на дачу в Раменское. Там для меня уже была снята комната, и зажила я по-домашнему.

Утром Леонтьев принес раменскую газету «Авангард». В ней напечатано, что я приехала в Москву и буду гостить в Раменском.

— Вот,—думаю,—все обо мне знают. Что я им за свет в окне?

И в Москве, куда ни пойду — встретятся люди, я их в глаза не видала, слыхом не слыхала, а они меня встречают да величают, все чего-то доброго от меня чают.

Пошли мы с Леонтьевым Москву смотреть. Я говорю:

— Веди меня на выставку: больно много про нее баского¹ сказывают.

На выставку ездил из Голубково Володя Марков, из Оксимо стахановка-доярка колхоза «Безбожник» Павла Тимофеевна Сумарокова, ездили колхозники из Макаровского и других колхозов. А из Нарьян Мара — агроном Василий Михайлович Крутильников. И все хорошо писали про выставку в нашей окружной газете. Расхваливали — чем она богата да чем красна.

¹ Баского — хорошего.

Билет на выставку мы не могли достать: не одни мы хотели смотреть-то,—народу съехалось много-много со всех концов да со всех краев. Поехали мы тогда в редакцию выставочной газеты. Там недели две назад был напечатан мой сказ про выставку. Хоть тогда я еще и не видала выставки, да больно уж просил меня Сергей Кузьмич, когда мы были на курорте:

— Расскажи, да расскажи.

Ну, я и рассказала то, что от людей слышала. Так вот эта газета и печатала мой сказ, только фамилию перепутала: вместо Голубковой — Голубцовой окрестила.

Там мы достали пропуск на выставку и весь день ходили да смотрели. Когда я слышала про выставку в Архангельске, я не думала, что ова такая. Казалась она мне чем-то вроде нашего нарьянмарского базара: ларьки кругом, а между ларьками все добро разставлено.

А тут посмотрела — глаза раскатились, душа прельстилась, сердце обзодорилось. Целый город стоит да еще и пригородков немало, высокие строения, узорчатые башни, терема с притеремками.

И чего только в тех теремах нет. Какого богатства навезли со всех сторон, со всех наших советских рек: с Волги-матушки, с Дону тихого, с Северной Двины и с нашей Печоры-реки. И все богатство не куплено, своими трудами найдено, на своей земле посеяно, своими руками собрано. Смотришь — глаза полны, и душа рада. Всего много, да все баское, хорошее: не выставка, а девка-красавица с богатым приданым. Раньше старики про небесный рай говорили, а тут на земле не хуже рая устроено. Богу-то еще не додуматься до такого устройства, до такой красоты. Трепетается мое сердце, радостью заливает его, как волной морской. И думаю я:

— Не ушел бы от этой басы да красы. Денно и ночью все бы смотрел да глядел. Да и то бы душа не насытилась: душа до красы у каждого человека жадна.

В дальнем углу нашли мы оленей. Ходят они прямо по улице за заборкой, как у нас в тундре. Не потерпела я, сказала руководителю:

— У нас такие же олени. Небось, из нашей же тундры вывели, с Печоры.

— Нет,—говорит,—это из Мурманска. Запомнились мне споны колосистые, хлопки шелчистые, яблоки сахарные, груши медовые, винограды зеленые.

Запомнились коровы холмогорские, быки кавказские, бараны не наших пород, птицы не наших краев. Всего у нас вдоволь.

Ходила я по выставке, глядела да разглядывала, смотрела да рассматривала. В каждой хорошине именья возами навожено, горами наложено. Живота-именья — не полтора пуда камня, а самолучшего добра, разной разности, всякой всячины.

Добра много, а людей не меньше того. Ходят по выставке разные народы, все званные гости да гости: колхозники, доярки, трактористы именитые, бригадиры знаменитые, и подумала я:

— Вот оно, куда я попала, на какую красоту! Во сне нам та краса не снилась, наяву не виделась. И все это не кулаками, а работными людьми, советскими нашими трудниками сделано, такими же колхозниками, как и я.

И веселилась, и радовалась я, ровно от жару выкупалась. И люблю мне смотреть на дела умные да умелые, на работу стахановскую, на хитрости мичуринские, на мудрости лысенковские.

И хотелось мне кричать на всю выставку:

— Руки проворные!

— Ладони мозольные!

— Пальцы цепкие да крепкие!

Все хорошее на свете вами понаделано. Не было бы вас — пропал бы человек. Наг и бос ходил бы он по матушке сырой земле, мерз на морозах, мок на дождях без пристанища. Ползал бы он червем земнородным и таким же червем помирал бы, не оставив ни людям следу, ни детям памяти.

Руки заботные!

Ладони работные!

Пальцы гибкие да хваткие!

Вашей силой да умением жив человек. Руками оп напоен и накормлен, обут и одет. Руками леса разрублены, земли расчищены, поля распаханы. Руками дома наделаны, деревни наставлены, города настроены. Руками каналы проведены, дороги просечены, пути проложены.

Руки человечьи золотые!

Ладони, силой налитые!

Пальцы задорные да проворные!

Сколько чудес на земле-матушке вашей заботой да работой сотворено! Подняли вы человека над дремучими лесами, над высокими горами, над ходячими облаками. Помогли ему пробраться до пучин морских, до глубин подземельных. Окружили его красой ненаглядной. Сколько красоты из-

под рук выходит. В дому, на улице, везде, где есть человек, везде краса насажена.

У человека смелей рук ничего нету. Глазами он видит, сердцем хочет, умом думает, а руки — главный хозяин, вся воля в них. Что бы человек ни вздумал, а если руки не вздымнутся — никакое дело не родится. А возьмутся руки — все им подначально.

На свете — работы на все руки хватит да еще останется. Иной час перед работой глаза оробеют, а руки учат их не страшиться, а дело делать. Так и пословица говорит: глаза страшатся, а руки делают.

И прежде работы рукам хватало, да не каждый радел хорошо делать. Иной и мог, да не старался: руки тогда не в почете были. Хоть того больше дикой работы они ломали, а почету не знали. Оттого работы чужой глаза не глядели и сердце не хотело: глаза видели и сердце чуяло, что от чужой работы не будешь богат, а будешь горбат. Вот руки и ленились.

А теперь работные руки в почет вошли. Заробят да заслужат — работные руки сам Сталин жмет. В старательные руки Калинин ордена дает. И сколько у нас в Советском Союзе этих знаменитых рук! Такие руки ближние и дальние люди хвалят. Про такие руки ласковые слова говорят, величальные песни поют. Вот руки-то и звеселились да расходились, ум да сноровку, науку да машину на помощь привели...

Хоть и поздно мы домой приехали, а в тот же вечер начала я в голову слова для сказа присобиживать. В опевальных свадебных песнях часто поминается рытый бархат. Я и применила это слово к выставке:

Уж мы шли по нову-городу
Как по рыту плису-бархату:
Вдоль дорожки дерева растут,
Под деревьями цветы цветут,
Разросли луга зеленые,
Расцвели цветы лазурьевы,
Разнесли духи анисовы.

Кое-что я прямо из плачей взяла:

Хорошо меня люди встретили:
Далеко они меня проводили,
Высоко они меня садили,
Пуще гости меня почитали,
Все по имени называли,
По отчеству величали.

Не знала я, как мне башню назвать, на которой тракторист с колхозницей стоят. Изукрашена та башня цветами да узорами.

Так я башню и назвала «узорчата».
Тракторист с колхозницей сноп пшеницы
белояровой по-над выставкой приподняли.
Про тот сноп у меня так сказалося:

Этот сноп дороже золота:
Ту пшеницу белоярову
Не в одном колхозе сеяли,
Не в одном конце вырастили,
Ее сеяли во всех концах,
Ее растили во всех деревнях,
По единому зернышку,
По одной колосипочке.
Уродился сноп красен-хорош
Добрым людям на дивованье:
В нем колосья — по четверти,
Скатны зерна, как жемчуги.
Этот сноп — чудо-чудное, —
Безотказный, безубыточный:
Всем людям будет есть не съесть,
Дороги хлеба пшеничные,
Бренделя с кулебяками,
Сладки булочки рассыпчатые.
Этот сноп на чудо-выставке
Надо всем возвышается,
Урожаем называется.

Пять дней подряд ездили мы на выстав-
ку. Разглядела я все, рассмотрела и стала
любимым людям рассказывать. Все я пере-
брала в своем сказе: и зеленые сады с
ягодами, и землянные плоды-овощи, са-
харники медовые, короневники пудовые, и
пшеницу кустистую, и жито-рожь коло-
сатую.

Прежде колос от колосу —
Не слышать было голосу,
А колхозные колосы —
На стеблю — по три колоса.

машины не забыла:

И еще всем колхозникам
В наученье поставлены
Там машины хитромудрые,
Трактора да самосейки,
Саможнейки, самовейки.
А одна машинишка
Похитрей-помудрее всех,
Разудалая работница,
До работы охотница:
И жнея она усердная,
Гребея она удалая,
Молотильница проворная,
Людям легкая замена,
Безотказна, бессменна,
День-денской она косит,
У людей есть не просит,
И молотит, и веет.
Отказаться не умеет.

И людей я одарила да оценила:

Не золото с золотом свивалось,
Не жемчуг с жемчугом сокатался —
Уж как это-то золото полуще,
Уж как этот жемчуг поскатнее —
Это наши советские люди:
Колхозники да бригадыры,
Агрономы да садоводы,
Люди новой породы —
Ударники да стахановцы.
Они нашей родной землей
Воспоены да воскормлены,
На хорошем солнце выросли,
На медовых росах выцвели,
Теплыми дождями поливаны.
Те дожди благодатные —
Золотое наше времячко,
Та роса сладка медовая —
Большевицка наша партия,
Дорогое тепло солнышко —
Наш родной отец Сталин-свет.

Сказала я, что наша чудо-выставка —
всем людям в наученье: по-сердцу ученье,
по уму посмотренье. Заграничные люди
грамотные — и те из-за дальних морей,
из чужих городов приезжают, поучиться
нашей грамоте, нашей мудрости советской.
И наши колхозники со всех концов да со
всех краев едут посмотреть-поглядеть на
чудо-выставку, перенять науки-хитрости:

Как получше поить-кормить,
Угощать мать сыру-землю,
Чтоб кормленье земелюшке
Было во пору да во-время,
Было по-сердцу да добыта,
Чтоб поенье земелюшке
В любой час, в любое времячко,
Без грозowego поливанья,
Без моления, без кланянья,
И без звону колокольного,
Без четья-петья церковного,
Крестна хода иконного.
Чтобы нам поля колхозные
И засухой не высушило,
И морозом не выжибило,
Лютым червем не выточило,
Чтобы дома любой колхоз
На поля урожай принес,
Чтобы сам урожай пришел.
Во колхоз не гостить зашел,
Он пришел не на час-часовой,
Он зашел не на год-годовой,
А на долгий советский век!

И думала я:

— Будет время, взойдет хорошее семя,
прорастет оно, проявится хлебородными
выходами — делами большевистскими.

И по всей по советской земле
Разрастут поля на завидность,

Расцветут сады невиданны.
И такой урожай пойдет —
Всеми миру в закрома не войдет.
Всеми миру в научение
Станет вся земля советская
Чудным садом виноградным
И всесветным чудом-выставкой.

Только для этого надо, чтобы руки работали, голова думала, сердце горело.

20

Еще перед поездом в Москву я печаловалась:

— Как я поеду на большие-то люди? Ведь я перед ними, как пунух¹ перед соколом. Перед ними ведь и слова-то никакого не скажешь.

Я думала, что в Москве живут какие-то особенные люди — многограмотные: много знают да все умеют. Заботило да забивало меня:

— Как я поеду да пойду, да на кого взгляну, да чего вымолвлю?

Поглядела да посмотрела, немножко подровнялась, и вижу, что я хоть лицом-то и похуже, хоть плечом-то и поуже, а такой же человек.

Отдали мы сказ про выставку в редакцию «Октября», да как было мной сложено, так и в печать в тот же день пошло. Ухватили, как лычки² удернули.

Хвалят меня, а я в ответ:

— Не хвали на приезде, а хвали на отъезде. К венцу-то везут — все похваляют, а от венца-то везут — все побранивают.

Была у меня еще одна большая дума: сложить сказ про нашего отца-родителя Сталина. А не уверялась — как мыслями наберусь да как словами соберусь.

Как детей учить я начала да стала мне советская власть помогать, с той поры у меня эта дума зашевелилась. Кабы не советская власть да не Сталин — кто бы нам стал помогать да заботиться? Снег от земли тает, лед от воды поет, а сердце наше человечье от заботы другого сердца трепещется. А чье сердце об нас больше всех заботы имеет?

Зачин — дела половина. И думала я:

— Не знаю — со старого, не знаю — с нового мне начать.

Старое мне никак нельзя было обойти. Из нынешних людей не каждый знает про старое, как мы ни сласти, ни сытости не видали: день ото дня да год от года перенимались с хлеба на квас. Решила я старое не обходить, покрепче про него сказать. А про новое, знаю, само скажется, коли оно сердцу да радостно.

Стала я из песен выбирать — как с чего начать. Ищу, перебираю в уме все песни наши печорские. И не нашла я лучше такой песни:

Выйдем-ко, братцы-ребятушки,
На зеленый луг,
Уж мы сядем-ко, братцы-ребятушки,
Во единый круг,
Запоем-ко, братцы-ребятушки,
Песню новую.
Мы которую, братцы, пели
На синем-море,
Как на том ли, братцы, на батюшке
Черном-корабле...

Поменяла я «братцы-ребятушки» в «товарищи» да и начала свой сказ:

Выйдем-ко, товарищи,
На зеленый луг,
Сядем-ко, товарищи,
Во единый круг,
Запоем, товарищи,
Песню новую
Про отца-родителя
Мудра-Сталина.
Много-много Сталину
Песен сложено,
Много речей ласковых
Изговорено,
Много слов приятливых
Ему сказано.
Что же я за песенку
Нонче пропою?
Как же ему попросту
Речь проговорю?
Я какое путное
Слово вымолвлю?
Я спою ту песенку
От простой души,
Я скажу речь попросту
От желанья,
Выну слово с донышка
Ретива-сердца.

Рассказала я про талан-счастье, как оно прежде нас обходило: вдруг да около шаталось, в руки нам не давалось, на постой в худую избу не просилось и харчами нашими погнушалось. Выбирала я самые тяжолые слова: которые пережиты да перевдыханы, те и выбраны:

¹ Пунух — маленькая птичка, прилетающая на весну в тундры.

² Лычки — мочала, надерганная из рожи.

ти. про не ре- та- ка- ся,
Жили мы захаяны
Да заграяны,
Жили мы запуганы
Да изруганы,
Жили мы неучены
Да измучены,
Жили мы избытые
Да забытые,
Жили необиитые,
Необмытые,
Жили необутые,
Неодетые,
Теплым красным солнышком
Несогретые...

Давно кем-то были вздуманы пословицы, а нынче мне и пригодились, помогли мне в сказе свои думы высказать. Еще старики наши все хотели от нужды избавить-ся, так надеялись: выйдет красно-солнышко на наше задворье, поднимется гора против нашего двора, проглянет красно-солнышко к нам в околицы. А я эти пословицы немножко переиначила, они и в дело пошли, уложились в сказе — хоть песней пой.

Пуще солнышка ждали мы разудала-любра молодца. Думали: пришел бы он. Любыл бы нам талап-счастьице, разделил всем бы поровну. Только талан-счастье народное во три погреба во глубоких было зарыто, во три ящика во замчехых было закрыто, были к тем замкам ключи неподобраны, во чистом поле позатеряны. А время надошло, и все наше ожиданье исполнилось:

Во ту пору, времячко
Несугревное
Жили два товарища,
Два приятеля,
Два хороших брателка
Два названные.
Как старшого брателка
Звали Лениным,
К людям он взмошел звездой
Поднебесною
Над крутым над бережком
Волги-матушки.
И, как Волга-матушка,
Ленин был велик,
И, как Волга-матушка,
Ленин был силен,
И, как Волга-матушка,
Ленин был волен.
Как меньшого брателка
Звали Сталиным.
Он поднялся к нам зарей
Ранней-утренней
Над горами гордыми
Над Кавказскими.

И, как горы гордые,
Сталин стал велик,
И, как реки горные,
Сталин стал силен,
И, как ветры вольные,
Сталин стал волен...

Слово по слову искала я да выискивала, речь по речи говорила-выговаривала. Нелегкая задача круглое слово искать, и все же пороюсь, так и дороюсь: без труда, говорят, спасенья не получишь. Недели три я свой сказ складывала да ухорашивала. Рассказала по-своему все, что сама раньше знала и что Леонтьев прочитал да объяснил. Читал и объяснял он мне и историю партии, и про жизнь Сталина, и про все наши дела большевицкие.

Поздно ночью записал Леонтьев последние мои, самые дорогие слова из этого сказа; я их внарок на самый конец приберегала: конец, говорят, всему делу конец:

Есть у нас заботливый
Родной человек,
Он и дни и ноченьки
Думает об нас,
Он в Кремле работает,
Не смыкая глаз.
Он — надежда верная —
Всех надеж верней,
Он — заступа сильная —
Всех заступ сильней,
Он — поенье сладкое,
Сердцу любое,
Он — кормленье вечное,
Всенародное.
Его светлым именем
Люди дорожат,
От его от имени
Вороги дрожат.
Человека этого
Сталиным зовут,
Про него по всей земле
Песенки поют.
И я спела песенку
От простой души,
Отдала словечушки
От сердечушка.
За житье хорошее,
Беспечальное,
Мое слово Сталину
Величальное.

Так я и назвала свой сказ: «Мое слово Сталину величальное».

Утром того же дня я уехала в Архангельск. За все время успела я сходить только в Третьяковскую галлерею, на выставку, да еще во Всесоюзный дом народного творчества. Там я проплакала свой

сказ про старую жизнь да пропела сказ про выборы. И хотелось мне в Москве погостить, да времени не было: подошла осень, пароходы к нам на Печору по морю последние фазы дохаживали, надо было торопиться.

В Архангельске Дом народного творчества выхлопотал мне пожизненную персональную пенсию.

21

Северное сине-моряшко нас четверы сутки начало. Все время до самой Печоры на девять баллов шли. Лежала я ни жива, ни мертва, пить-есть не хотела и вставать не могла.

Когда на свою родную воду попала, тогда и ожила, пить-есть захотела. На ноги встала, в столовую пошла, поела. Знакомые увидели меня там, смеются:

— Что это тебя не видно было всю дорогу? Зашла в пароход, да как запряталась.

— Тяжела, — говорю, — была, укачало.

Только в Печорскую губу зашли, — вижу, — каждое место знакомо. Под Иевкой, у бара пароходы стоят, перегружаются. Напротив этого бара, на печорской стороне, мы прежде рыбу ловили, все берега, носки, лахты¹ — все знакомые места. Дальше — Болванский Нос, Пнево, Бородастое, Зеленое, Юшино, где теперь рыбоприемный пункт, Кореговка, где теперь стоит поселок ненецкого колхоза «Харп». А потом и деревни пойдут: Куя, Никитца, а оттуда и лесозавод покажется, труба дымит. А от лесозавода до Нарьян Мара недалекое расстояние: с лавки встать да рукой достать.

На пристани народу полно встречает. Меня встретили ребята: натасковались они, повесились на мне, хоть на шее неси, да сила не берет. Мимо библиотеки иду, оттуда Нина Стукова да Нюра Кононова да Леся выскочили, здороваются да с приездом поздравляют. Спрашивают меня о том, о сем, я и отвечать не успеваю: их много, а я одна. Да все еще от моря меня покачивает да пошатывает, со старого похмелья.

Б Анидрабик на минутку забежала, она целует да милует.

В нашем доме тоже все в охапку хватают.

— Походила, — говорят, — да поездила, далеко была да много видела.

И каждый меня спрашивает:

— Сталина-то видела ли?

¹ Лахта — залив.

— Нет, — говорю, — пока не видела, не знаю, что дальше будет.

Под Октябрьские праздники мне дали новую квартиру из комнаты с кухней в Доме учителя. Этот дом только-что выстроили и, хоть я не учитель, поместили меня с учителями.

Вскоре на новоселье из Голубково стали гости поезживать. Приехал брат Константин с Диомидом Кожевным. Не нашли меня на старой квартире и смеются:

✓ — За летучей птицей не угоняешься.

Приходит как-то ко мне рассыльная из горкома партии и зовет:

— Зайди в четыре часа к нам в горком, зовут тебя.

— Зачем, — думаю, — зовут?

Пришла, там Шмаков и Звягин сидят.

— Проходи да садись, — говорят, — Маремьяна Романовна. Дело есть. Просят нас посоветовать — каких людей депутатами в наш горсовет выбрать. И думаем мы тебя выдвинуть. Выбирают лучших да почетных людей, а ты у нас тоже на виду стоишь. Как ты думаешь: не откажешься?

Заволновалась я.

«Слыхалое ли дело, — думаю, — меня на такую честь поднимать. Ведь я знаю мало, умею того меньше. Какой из меня депутат? Мне способней коров пасти, чем дела вести».

А самой и любо, уму и сердцу мило, что такой честью опочетили. И думаю я другим-то умом:

— От хорошего дела отказываться нельзя: надо хвататься да не отпускатся. Чего не знаю — скажут, чего не умею — научат.

Подумала я и согласилась. Велели они мне коротенько про свою жизнь написать, чтобы люди меня знали да обсуждать могли.

Дома я совсем разволновалась. Будто какая слабость на меня нашла. То ли от радости, то ли от заботы сердце забилося. Дуня да Андрюша видят, что я вся сменилась, спрашивают:

— Чего ты, мама?

— Великой, — говорю, — честью меня сегодня опочетили: хотят выдвигать в депутаты. Люди меня не вниз толкают, а кверху поднимают, не ругают, а хвалят. Так же вот и вы похвалы делами добивайтесь. Скажут люди про вас доброе слово, так мило и глядеть-то на вас.

Ребята заулыбались, заплясали. Я же их и останавливаю:

— Вперед времени славы-то хоть не проводите. Бывают, обсуждают люди да перо-

думают. А то вы уху варить начнете, а рыба еще в воде ходит. ✓

Вечером пошла я к Валентине Анисимовне Анидрабик. Описала она с моих слов мою жизнь: каких я родов, какого отца-матери, где и как жила. Про свои мытарства описала, про свою грамоту помянула, а на другой день и в горком отнесла.

Тогда же меня в участковую избирательную комиссию выдвинули, а потом и в газетах про меня печатать начали, что намечена сказительница Голубкова кандидатом в депутаты горсовета.

В Доме Советов открылось предвыборное собрание. К началу я опоздала. Когда я пришла, там уже говорили обо мне. Посадили меня в президиум.

Выступил Анатолий Иванович Рожин. Он на год впереди моего Павлика кончил педтехникум, потом работал там же учителем по ненецкому языку. Рассказал он избирателям про меня, как я детей растила, как учился и работает учителем мой сын Павел.

— Третий год,— говорит,— Павел Фомич работает учителем, премию получил и благодарностей немало. Это,— говорит,— учитель-отличник. Вот каких сыновей Маремьяна Романовна вырастила, добрую дорогу им показала. А сама Маремьяна Романовна далеко своими сказами известна. И она вместе с лучшими людьми должна быть выбрана в наш горсовет.

На том и все согласные были.

Мороз у нас стоял кипучий, градусов на сорок, с пылью да с копотью, тут никакого тепла не хватит. Кто мог — в буфете чаем отогревались. Я проголосовала, дала Андрюше денег.

— Ты за меня,— говорю,— гости.

А сама набрала в буфете гостинцев и домой пошла других детей угощать и сама угощаться. Пирушку добрую устроила.

Угостила я детей за свою честь, за свой великий праздник. Поговорили весело да приятно.

— Пейте,— говорю,— деточки чаек, грызите сахарок, ешьте прянички медовые, растите бедовые: чтобы не вы беды, а беда вас боялась, от вас пряталась да в сторону металась. Нонче беды под ноги не суются, далеко нас обходят. Навстречу нам счастье идет. Загостились оно у нас по-домашнему, не на день, не на два, а, видно, на весь наш долгий советский век.

А на другой день узнала я по радио, что не обошли меня избиратели, выбрали депутатом горсовета. Вскоре дали мне на руки депутатский билет.

Горсовет решил организовать в Нарьян-Маре хор печорской песни. Старый хор после олимпиады рассыпался: никто его в руки не взял, он весь сам собой и вытек. А тут назначили руководителем меня и сказали:

— Собирай людей, проводи спевки — и чтобы Печора наша песнями гремела.

Пошла я по знакомым, разговорилась.

— Хочу,— говорю,— собрать хор. Препоручение от горсовета имею.

Собрала я не только наших нижнечорских жонок, а и из других краев.

Много мы песен перепели. Спевки проходили дружно, весело. Жонок между собой согласно жили, собирались ровно к указанным часам.

Захотели в нашем хоре участвовать две усть-цилемки¹, Дуня Носова да Нюра. Вечера два послушали, голос печорской песни взять не могли. Я и дала им совет:

— Усть-цилемских,— говорю,— жонок в Нарьян-Маре немало. Соберите их, поговорите, да если они согласны, я помогу вам дело вести.

Они так и сделали. Дуня Носова приходит однажды ко мне и зовет:

— Жонок есть, приходи слушать.

Она сторожихой в порту работала — уже на шестом десятке, а ее за веселье все еще Дуней зовут.

Собрались у Дуни, попели песен. Дала я им совет — которые песни петь, которые оставить. А потом начали они собираться в клубе Печорского порта. И наш печорский хор туда же спевки перенес. Так по очереди и вели дело. С одним хором отведу да к другому бегу. Потом уж подумались собираться в разные вечера.

К десятилетию Ненецкого округа собрали в Нарьян-Маре городскую олимпиаду. Прошла я со своими хорами все комиссии. Похвалили нас и выступления наши одобрили.

На олимпиаду срядились мы в своих печорских да усть-цилемских костюмах. Вышла я с печорским хором красной молодой. И все разодеты в шелка разноцветные, в платках, в кустах², в наколках. Грнули мы свою печорскую:

Молодой донской казак во лужках гуляет,
Он во скрипочку играет, девок утешает.

¹ Усть-цилемы — жители Усть-Цилемского района, Печорского округа Коми АССР.

² Кусты — косынка, завязанная над кокошником в виде банта.

А я своего негодяя к дубу привязала,
Его к дубу привязала, все сама гуляла,
Сама ходила-гуляла ровно семь денечков,
На восьмой-то я денечек к дубу приходила,
Подходила к дубу близко, кланялася низко:
— Каково тебе, невзгодный, у дуба

стояти,
Тебе у дуба стоять — не пир пировати.

— Государыня-жена, мне-ка не до пиру:
Летучие комарочки плечи искушали,
Свыстучне соловьюшки голову клевали,
Земляные червоточки ножки источили...
— Ну, так будешь ли, невзгодный,

хлебом-то кормити?
— Государыня-жена, буду кренделями.
— Ну, а будешь ли, невзгодный, гулять-то
пойти?

— Государыня-жена, буду кофеями.
— Ну, а будешь ли, невзгодный, женой
меня звати?

— Государыня-жена, буду госпожою?
— Ну, будешь ли, невзгодный, гулять-то
спускати?

— Государыня-жена, гуляй, сколько
хочешь,
Уж ты гуляй сколько хочешь, люби, кого
знаешь...

Я скорошелько бежала, комаров спахала,
Я скорее того бежала, соловьев стонала,
Много соли присолила, все червей кормила.
Я своего негодяя от дуба отвязала.
Я от дуба отвязала, все я с ним гуляла.

Когда про комаров помянем, — плечами
шевелим, про соловьев — головами мотаем,
про червей — ногами переступываем. А
потом комаров платками спихиваем, на со-
ловьев руками машем, червей кормим,
будто солим на них.

Понравилась эта песня всей публике.
Пели мы еще «Шили девицы ковер», «Хо-
рошо было детинушке».

Переделалась я на скорую руку в усть-
цилемский сарафан и с усть-цилемским хо-
ром на сцену вышла. На жонках большие
шолковые цветастые платки и кокошни-
ки. Пели мы усть-цилемскую «Прялицу».

23

В ту зиму такие морозы ударили, что
сороки на лету замерзали. Рах¹ у нас зи-
мой не бывает. Улетают они от морозов
еще в октябре и прилетают в апреле.
Только три птицы остается у нас на зиму:
сорока, куропатка да полярная сова.

Знали мы, что в эти морозы далеко в
Финляндии идет война. По снегам, по ле-

сам, по болотам идут на врага наши
красноармейцы. Нарьянмарские жонки одна
перед другой готовили подарки на фронт.
Я тоже снесла в горком партии пятьдесят
рублей от себя, от Дуни — теплые пер-
чатки, от Степы и Коли — папиросы. И
Клавдия зубной порошок. Степа и Коля
завернули папиросы в пакетик и надели
сами:

«От братьев Голубковых».

Я на фронт письмо написала. Отдал
его тоже в горком партии, а оттуда пере-
дали в Архангельск и там в газете на-
печатали.

Однажды утром в магазине узнала я
что мы разбили белофиннов и заключили
мир. Во многом народе сначала я еще не
могла толком распонять: тот — то гово-
рит, другой — другое. Пришла домой, за-
вернула к соседям Аксеновым и говорила
бабушке Марье:

— Говорят, что мы замирение сделали.
Включи-ко радио.

По радио я уже все в точности узнала.
Невдолге прилетели с фронта счетовод
Зотий Онуфриев, почтарь-ненец Макси
Хотайзейский, Артемий Безумов из редак-
ции. Ходят они гордовато. Артемий ране-
 был и отличие имел.

Рассказали они, как белофиннов бил
как с морозами воевали.

Посмотришь на этих ребят и подумаешь:

— Молодцы-ребята! Не дадут они на-
родну-землю ни буйну-ветру дунуть, ни
тучну-дождю кануть, ни лиху-врагу гря-
нуть...

Молодежь наша нижнепечорская замечательная. Один к одному, и баски и ужны, и все в люди вышли. Свои трактористы у нас, свои мотористы, свои учителя и счетоводы, свои врачи и фельдшера завелись. В Голубково Ивана Коротаева сын Федя, мой сын Павлик — оба учителя. Старухи Тюшихи дочь Симма да мой Андриша — на учителей учатся.

Племянники мои тоже не хуже людей. Коля Пашков, невестки Лизаветы сын, Севастополе в военно-морском училище учится, в дальнее плавание ходит. Пякандр — в Нарьян Маре инспектором. Пясынок мой Федор — военный фельдшер.

Неродным моим внукам да впучкам счету-смету нет. И правнуки растут.

У снохи Серафимы: Анисья — колхозница, у ней — правнучка моя Клава. Наша — наборщица, у ней правнук Родя. Сын Санька, Петька, Марфа, Аристарх по че-

¹ Рах а — ворона.

тыре класса кончили и в колхозе работают, дочери Санька да Фанька и сейчас учатся. Да и самая малая — Агньюшка, на седьмом году в школу просится.

У пасынка Александра — Володя, Геннадий и Манька в Оксино учатся, Роза в этом году в школу пойдет.

У падчерицы Трофены дочь Таня курсы кончила и продавщицей в своей деревне работает. Вася да Онань в Оксино учатся. А двух меньших я не помню, как и живут. Своих-то детей боюсь как бы не перезабыть.

У падчерицы Павлы сын Коля в Красной Армии, Иван — в колхозе, дочь Александра — в Макаровском колхозе.

У падчерицы Ольги дочь Марья в Лабожском колхозе, она еще четырех моих правнуков растит. Другая неродная моя внучка Шура в Архангельске на врача учится.

У падчерицы Олимпиады дочь Марья — в колхозе, двое учатся в Андеге, да еще прошлым летом она двойню, двух девочек, родила.

В нашем голубковском роду жопки друг перед дружкой двойнями рожают: у меня двойни были, у матери моей тоже, у первой жены моего мужа — тоже, у падчериц — у Ольги, у Анны, у Олимпиады — тоже двойни получились. А Трофена три раза двойнями рожала.

У пасынка Федора, который в Красной Армии фельдшером служит, еще три моих внука в городе Пскове растут. Фотографию одного, Витей зовут, послали мне, — здоровый, крепкий, как чурак.

Да всех и не перечесать! Всего у меня пятнадцать неродных внуков, пятнадцать внучек, пять правнуков, пять правнучек, восемь племянников и семь племянниц, а всего пятьдесят пять человек. А с братьями да с сестрами да с невестками — полсела, а не то что полдеревни. Род мой большой, а все у дела да у места.

И весь печорский наш народ плодovit да даровит.

24

Весна в прошлом году пала протяжливая, проволоочная. Тепло невраз пришло: то растает, то замерзнет. Вороны прилетели поздно. Люди говорили:

— Ворона — вешна птица — не торопится весну нести.

Гуси летели, тоже не торопились, заси-верок¹ боялись. Когда-некогда пришла

весна. Оттепло, снег сначала на пригревниках, а потом и по всем местам стаял. Печора прогремела, лед в море унесла. Птица днем и ночью над Нарьян Маром летела. Только в самое глухое время ночью сядет на проталины, отдыхает да ест.

С первым пароходом поехали отпускники на родину да на курорты, командировочные в Архангельск да в Москву на выставку.

Ребят на каникулы отпустили. Степу да Колю отправили в Виску в пионерский лагерь на целый месяц. Андрюша с Дуней летом ездили на колхозном моторе в Голубково. Мотор колхозу на все лето МРС² давала. Брал колхоз из МРС на лето и трактор, семгу ловить. Прежде мы бились, руками невод выбирали из воды, а тут невод трактором вытягивают.

Мимо Нарьян Мара вверх по Печоре баржами везли машины, рельсы, вагоны, паровозы. Говорили, что вверху строят железную дорогу с Котласа на нашу Воркуту. Говорили, что у деревни Кожва через Печору мост пройдет и там город строится. Говорили, что скоро с Печоры прямо в Москву можно будет по железной дороге ездить.

На зональной станции хотелось мне побывать. Слыхала, что зональная станция в полутора километрах от города стоит. Знала я, что там растут овощи, что дело там ведет Василий Михайлович Кругликов.

И вот однажды попала я туда. Шел дождь.

Заводил Кругликов в стеклянную теплицу. Там помидоры созревали и цветы цвели. Теплица большая, как дом. А рядом с теплицей две грядки стоят и на каждой из цветов живых вырисовано слово —

СТАЛИН.

Ходили мы по дождю. Потом Кругликов домой завел, дождь переждать. Жена его Гликерия Григорьевна угощала да потчевала чаями с сахарами да с конфетами, белым хлебом с маслом, яйцами, помидорами, огурцами.

Повел Кругликов на свои поля широкие, на гряды долгие, показывал, как он овощи охраняет от червей, от мух, от морозов. И все у него растет: и картошка, и капуста, и репа, и лук, и морковь, и брюква, и огурцы, и горох, и помидоры, и пшеница, и цветы разные, и даже яблони.

Смотрю я, слушаю да думаю:

— Вот этого у нас прежде и в заведенье не было. Землю свою мы неродимой

¹ Засиверка — похолодание.

² МРС — машинно-рыболовная станция.

считали. А вот наш человек чего добился. Не зря он на Всесоюзной выставке гостил, в почетную книгу там занесен, и большую серебряную медаль получил. И люди советские у нас даровиты, и земля советская богата.

25

30 ноября получила я телеграмму:

«Срочно вылетайте Архангельск Деньги высылаем».

Утром улетал самолет. Тогда я в первый раз самолеты вблизи увидела. Сверху-то они летят, так маленькие кажутся, как птицы, а на земле стоят, как пароходы большие.

Завели мотор, пропеллер закрутился, самолет забегал да и вверх поднялся. Был — да-нет, одно место знатно.

Летела я спокойно, не боялась, не страшилась. Ни страсти, ни ужаси никакой не впала. В Усть-Цильме мы посадку сделали. В Усть-Цильму я всю жизнь прежде думала хоть с извозом съездить, да и то не удалось. А теперь, вот, самолетом прилетела.

Погода к вечеру переменилась, лететь нельзя. Остались мы в Усть-Цильме ночевать. Село это в долину на много километров растянулось, дома двухэтажные. Ходила я по магазинам, смотрела на учреждения, все глазами обвела, чем Усть-Цильма славится.

Утром погода прояснилась, полетела я дальше. Через два часа прилетели мы в Лешуконское, Мезенского района. Опять из-за погоды пришлось ночевать, да не одну ночь, а целых две. Только на третьи сутки добралась я до Архангельска. Тысячу километров пролетела.

Вечером прилетела, а утром на поезде в Москву поехала.

Поезд опаздывал, приехали мы уже ночью, и боялась я, что придется мне ночевать на вокзале. Да не успел поезд остановиться, а перед моим окном Николай Павлович Леонтьев стоит. Узнала я от него, что на-днях будет проходить в Москве Всесоюзное совещание фольклористов и буду я там выступать со своими сказами.

На совещании выбрали меня в президиум, усадили вместе с учеными, многоумными людьми. Рядом со мной сидел седатый, седоусый, да седоволосый старичок с веселой поглядочкой. И все время он на меня глазом косил. В перерыв я спрашиваю Леонтьева:

— Кто этот старичок?

— Это, — говорит, — академик Соколов, Юрий Матвеевич.

Потом мы с ним и познакомились, разговаривались. Он меня уж раньше, позаглаз, знал и мои сказы читал. Как-то в перерыв мы с Соколовым да с другими сказительницами сфотографировались. Тут меня Юрий Матвеевич и спрашивает:

— Спой-ка мне, Маремьяна Романовна, твою любимую песню, али сказ Расскажи. Тогда мы веселей снимемся.

Сказала я ему свой любимый сказ — «Про выборы всенародные». Три дня и три вечера шло совещание, и все время сидела я с Юрием Матвеевичем. Ровно ближе, знакомей мы стали.

На совещании докладчики рассказывали о своей работе, — как они помогали сказителям, — и советовали, как вперед вести работу. Кто с кем работал, тот о том и речь вел: писатель Викторин Попов — о Марфе Крюковой, Эфенди Кашиев — о Стальском, а Леонтьев — обо мне. Говорили и другие.

Выступала я на совещании со своими сказами: про выборы, про выставку, про Сталина.

Пока я не была знакома с другими славными сказительницами, думалось мне, что они как лани златогорие передо мной. А тут посмотрела их да послушала, такие же они простые жонки, как и я. Ничем я их не хуже: ни плечом, ни лицом. Так же они глядят да так же говорят. И речи у них такие же простые. Познакомилась я там с Барышниковой Анной Куприяновной. Орденоноска она: орден за сказки получила. А уж простая она, — проще ее и быть нельзя, маленька да старенька, щеками щечиста, речами речиста. Со мной она в одночасье подружилась. Шутейна она, мертвого рассмешит. Говорит она как-то еще с одной сказительницей, бабушкой Двинской. Двинская и спрашивает Барышникову:

— Ты платила за зубы-то, как вставляла?

Анна Куприяновна головой мотает:

— Нет, ни копеечки не платила. Мне вот глаза скоро новые вставлять будут, и то бесплатно.

Удивилась бабушка Двинская.

— Да разве новые-то глаза теперь уж вставляют?

Послушала она мои сказы и говорит:

— Твои бы слова да мне бы в зубы.

А потом подумала да еще сказала:

— Вот вишь, тебя какую нашли. Пусть ищут песенников побольше. Пусть ищут

сказочников побольше! Пусть они лучше меня оказывают! Веселей народу заживется...

26

Возили нас во время совещания к мавзолею Ленина. Народ к мавзолею как вода течет: всем охота повидаться с дорогим вождем. Примкнулась я к людям, встала в черед, подвигаюсь. Глаза раскинула, думаю: только супу голову в мавзолей, сразу и увижу Ленина. Спускаюсь я по крутым лесенкам, по гладким ступеничкам, жду — не дожусь. Боюсь, как бы не проглядеть. Меж людьми, думаю, просунусь, и не увижу. Одна бы шла — ладом бы посмотрела да поглядела, постояла да подумала, все равно, как будто поговорила. А тут все смотреть хотят, не одна я. Когда подошли поближе, на глазах у меня слезы навернулись, мысли замutilись, вздохи во груди поднялись, ретиво-сердце разболелось. Увидела я Ленина — в голове у меня плач складывается.

Он не спит ведь спит, как живой лежит, как живой лежит, а ничего не говорит. Всем смотреть-то нам его хочется, Говорить-то с ним нам охотушка. Да лежит молчит дорогой Ильич. Слово ласково не воспроизводится: Очи ясные призакрылись, Уста сахарные призамкнулись, Дороги слова приумолклися.

А той порой и прошла я его: как из рук опустила, как из глаз потеряла.

В тот же день я сказала Леонтьеву:

— Запиши, — говорю, — у меня про Ленина плач складывается.

А тому некогда, он все еще с совещанием крутится. Уж когда совещанье закончилось, сел он записывать.

Я речь веду, как по дороге иду. Если где и проступился, Леонтьев меня поддержит. Или объяснит, по какому пути можно идти, а какой — обещать.

Выбирала я слова про Ленина самые ударные, чтобы прямо по сердцу секи:

Сызмалетства он о людях радел,
Зорким глазом он все вперед смотрел,
За болыши века далеко глядел,
Со веками он разговаривал.
Не страшили его тучи грозные,
Не пугали его грома-громучие,
Не палили молоньи палючие...

Слова эти я из песен печорских выбирала. Есть у нас старинная песня:

Из-за лесу-то было, лесу темного,
Из-за садику, саду зеленого

Накатилась тут туча грозная,
Со громами-то она со громучима
С молоньями-то со палючима...

Брала я с этой песни пример и складывала свои строчки:

Он сквозь грозы-то прошел мудростью,
Он сквозь громы-то прошел мужеством,
Он сквозь молоньи прошел силушкой.

— Так, — говорю, — прошел, что не подумаешь, что и гроза была.

Он совет держал с другом Сталиным.
Думу думал он с нашей партией,
Речи молвил он со всей силушкой,
Со всей силушкой всепародною.
Мы со Лениным подружились,
Меж собою все породнились.
У нас семья стала нераздельная,
А родня стала однокровная,
Однокровная, одноутробная,
Одного отца, одной матери:
Наша мать родна — наша родина,
Наш отец родной — Ильич дорогой.

Когда я выходила из мавзолея, с часowymi приворотниками ничего не говорила, только подумала. А в сказе-то я эту свою думу и на словах сказала:

Вы храните-берегите света-Ленина,
Вы на долгие века нашим деточкам,
Нашим внучкам, нашим внукам, нашим
 праподам.
Всем народам, дальним родам, дальним
 праподам.

Сказ этот мне легко дался. От самого сердца он шел.

27

Вскоре после совещания начали меня всюду звать да приглашать. Ездил я с Леонтьевым в Институт истории философии и литературы. выступала там перед студентами. С нами ездила и Барышниковва. Попросили меня плач проплакать. Я и проплакала: наместо подружечки задушевной и соседочки прибиженной плакала я Анне Куприяновне. Выговаривала я те слова, которые невеста говорит своей задушевной подруге на девичнике. Попросили меня песен попеть, пела я им свадебную песню «Не на улице дождь поливает», про Стеньку Разина — «Отколь взялся-проявился чуж-незнаем человек», и другие песни. А потом сказ про выставку прочитала. Студенты довольны остались, благодарили.

Куда я ни пойду — везде моими песнями, плачами да сказами интересуются,

В союзе композиторов пела я и плакала. В консерватории больше десятка песен на пластинки записали, на радио да в Доме звукозаписи мои сказы тоже на пластинках оставили.

В Комитет по делам искусств приехали гости из новых республик. И меня туда пригласили. Выступала я перед дорогими гостями дальними со своим сказом «Чудовыставка». Почему-то он людям больше других нравился, все его выбирали. Вместе со мной выступала и Куприяниха, и ашуг Мирза, и украинские бандуристы.

И думала я:

— И везде же у нас, по всей стране, песня-то в почете, везде она в чести да при милости.

Перед новым годом как-то ехали мы с Леонтьевым по Москве. По середке больших площадей стоят лапчатые елки. Разукрашены они, рассвечены. Я возьми и скажи:

Елочки пушистые,
Огоньки светлистые,
Красотой обвешаны,
Басотой украшены,
Флагами наряжены,
Звездами обсажены.

Леонтьев тут же ко мне, как сера еловая, привязался:

— Составь, да составь сказ про новый год.

Присобрала я в голове свои мысли про новый год, заприметила слова покруглей. А потом и за сказ взялась.

Рассказала, как в новогоднюю ночь веселую на советской путь-дороге прямоезжей новый год со старым встретились, как два брата однокровные, как два друга ровнакие, два товарища хорошие. Старший младшему наделил велик-надел ума и разума, удачи и славы, красы и богатства.

В новогоднюю ночь веселую
Звезды на небе числом не счесть,—
Как морошки звезд насыщено.
Видно, быть году богатому,
Видно, быть тароватому,
Видно, будет Печорушка
На песца плодовитая,
На морошку урожайная,
На куроптя добычливая,
На семгу удачливая.

Еще говорила я, что когда мы новый год встречаем — планы намечаем, а год

прокатится — вдвоем проявится: на полях — урожаями, на тонях-промыслах — уловом, в колхозах — достатком.

Хорошо мы живем,
Новый год зовем:
— Дорогим гостем приди,
Нову радость приведи,
Неси талану доверха,
Пой-корми досьята,
Тепло обувай,
Щегольно одевай.
Мы тебе оддружим,
Сполна отдарим
Дарами богатыми,
Делами достойными:
Не меркой отмеряю,
А сыпом насыплю,
Не щепотками, а охапками,
Не возом, а стогом.
Новый год будем встречать —
Все будем плясать.
Будем рюмками звенеть,
Будем песни петь.
Ну и я тогда спою
Песенку свою.

Новый год я встречала — плясать ваплясала, а рюмками звенела и песни пела...

Однажды сию я в гостях у Юрия Матвеевича Соколова. Еще не угощалась. и вдруг с чего-то начала плач плакать. Слова и сейчас помню:

Я заезжа да дальня гостыюшка
Не в частом у тя спобываньице
Во твоём ли высоком тереме...

Только начала, да сразу лицо все в слезах, сердце заволновалось.

А я во сны да предчувствия до последнего времени верила. Думала, что покойника видеть — к переменной погоде, морошка снится — к нездоровью, серебряные денги да вороница¹ — к слезам, смородина — к печали. И тут по-старому подумала: «Не к добру я этот плач выплакала». Матвеевич на самом деле скоро помер.

Руки у меня опустились. Жалко мне Юрия Матвеевича: едва успела встретиться, близенько с ним сидела, милехонько говорила, — и вот уже нет его.

Помер он крутым-круто да скорым-скоро, нечато да не думано, не знато да не ведано, не на мягком месте, не на крутом изголовье, а на хорошем деле.

¹ Вороница — тундровая ягода.

Богца Соколова хоронили, проплакала
я над его гробом плач:

Уж ты, свет ли да ясный сокол,
Дорогой ли наш друг-товарищ,
Уж ты, Юрий да свет Матвеевич,
Я дошла к тебе, достушила
По гладку-полу, по елову,
По дорогим коврам бархатным,
Я до убранного твоего места,
До украшенного твоего гроба.
Сунувшись тебя становилась...

Жизнь теперь наша светлая, да корот-
ким веком человек наделен. А жить, ох,
как хочется...

28

Задумала я рассказать в сказе про свое
депутатство. Ведь, как-никак, я — совет-
ская власть. Прежде меня к власти-то
близко бы не подпустили. У нас в Пу-
стозерске главная власть была в исправ-
нике. Видать-то его я и видала, а слова
со мной он не вымолвил. Приезжал он из
Усть-Цильмы, покажется однажды в год,
да и то мимо рот. А тут мне самой в руки
власть дана.

Если мы с Леонтьевым за этот сказ, а
никак он у меня не получается. Слова-то
ведь о таком деле с выбором выбираются,
как капли каплют. Я всегда норовлю ска-
зать пусть и немножко, да на ножках и
на час да вскачь.

Начала я рассказывать про старую
жизнь. Говорю, как съездов соломку тяну,
выбираю такое, чтобы у людей на сердце
мутило да слезы добыло. Леонтьев послу-
шал и говорит:

— А что, Романовна, если тебе про всю
свою жизнь спорядку¹ рассказать. Ведь
целая книга получится.

— Рассказать, — говорю, — у меня есть
чего, научить есть чему. Жила я — все ви-
ды и огляды знала. Все, что кругом дея-
лось, — зорко зрила, ничего не пропустила.
Мой глаз, как алмаз: один зорек, — не
надо сорок.

И стала я с того дня про свою жизнь
рассказывать.

Над книгой о моей жизни мы дни и ночи
просиживали: есть не садились, и спать
не ложились. Сядем за работу часов в
восемь-девять утра да иной день часов в
шесть утра спать ляжем.

Подходил день открытия Всесоюзной
партийной конференции. К этому дню я

¹ Спорядку — последовательно, одно
за другим.

тоже сказ складывала. Что думала, то и
сказала:

Беспечальное мое сердце взрадовалось,
Седея моя голова взвеселилась,
Глядучи на наше житье полное,
На житье-бытье на волю дорогую,
На велико талан-счастье всенародное,
Наше понешно житье-бытье устроино,
Наша воля всем людям она привольна.
Талан-счастье наше твердо да надежно.
Я за все это сегодня низко кланяюсь
Большевистской нашей славной-верной
партия,

Я клоню седую голову пониже.
Становлюсь я к нашей партии поближе.
Я с партийными людьми хлеб-соль кушаю,
Справедливы я партийны речи слушаю:
Приближенные мои, соседи — в партии,
Однокровный родной брат — тоже в
партии,

Да и сын мой идет по тому пути,
По тому пути хочу и я итти.
Я про партию ночи думаю,
Ночи думаю, дни размышляю:
Она каменна гора нерушимая,
Она крепка стена городова.
Нашу землю она огораживает,
Нашу родину-мать она ухранивает.
Наша славные дела она устраивает,
Нашу жизнь она ухорашивает.
В нашей партии люди отборные:
Из сильных людей они сильные,
Из честных людей они честные,
Из верных людей они верные,
Из лучших людей они лучшие,
Из самолучших они самолучшие.
Из наших они трудовых родов,
На нашу пользу стараются,
Счастья нашего добиваются.
Среди-то их вижу Сталина:
Он в кругу своих товарищей похаживает,
Он очами соколиными поглядывает.
Соболиными бровями пошевеливает,
Он черные усы ириразглаживает,
Дорогую седую трубочку покуривает,
Золотые свои мысли приобдумывает,
Драгоценной своей речью разговаривает.
Я тебе, товарищ Сталин, низко кланяюсь,
Честь-почтенье воздаю да благодарствую.
Ты живи на радость людям, на страх
ворогам,
Просекай, товарищ Сталин, шире просеку,
Ты веди родную славну-верну партию,
А от партии и все мы не останемся.

29

Первого марта исполнилось мне сорок
восемь годов. Отметила я этот праздник
пирושкой. Собрала в гости своих знако-

мых. А знакомых у меня в Москве нонче не пересчитать. Нанесли они мне даров да подарков.

Радовалось мое сердце, что сижу я в Москве-матушке, во большом пиру за честным столом с дорогими людьми и слушаю их почетные речи. И не хотела, да выронила я слезу. А эпромесь со слезами нела и плясала, вспомянула молодость.

И весь вечер вертолись у меня в голове слова из моего сказа:

— Родилась ты, Маремьяна, походочкой в тятеньку, поступочкой в маменьку, белым лицом в дяденьку, умом-разумом — сам в себя. Изобидели меня родители: таланом да счастьем обделили, капиталом богатством не наградили, кунью шубу не надели, цветно платье не купили. Наделили они меня ясными очами, чтобы видеть, чуткими ушами, чтобы слышать, крепкой думой, чтобы думать, красной речью, чтобы молвить, звонким голосом песни петь. Когда девкой я ходила, всех за песней водила, а как на возраст пришла, — всех за словом повела: слово к людям примериваю, хороших людей словом поддерживаю, худых людей словом одергиваю: хоть кум, хоть сват, хоть невесткин брат, — не сердись и не гневись, с моим словом согласишься.

Мысли — не птицы, а быстрее птиц летят. Слово не стрела, а пуще стрелы стреляет. Золотая речь скажется, — упадет опа к листу и к дереву, подойдет она к другу и недругу: друга тянет ближе, недруга толкает дальше, всех друзей за собой ведет, недругов всех по рукам секет, врагов всех беспощадно бьет — тем же концом да по тем же зубам.

И мою седую голову сыздадека видно, и мое простое слово сыздадека слышно. И вперед мне надо мысли-думы собирать, в золотые слова одевать, украшать их поприглядней, снаряжать их доснарядней, для людей чтоб было любо, для всего народа мило, для соседей приглядно, для друзей приятно.

В песнях — ухватка, в словах — смекалка. По веку — песня, по времени — речь...

Скоро мне стукнет полвека. Время катится, дни торопятся, годы копятся, волос к волосу прибывает частая сединашка.

Была я еще цветком на расцвете, а на мою голову выпала бела-пороша. С двадцати четырех годов талась она да пря-

талась в волосах, говорила людям про горькое мое гореванье. Не от красных дед седина мечется, не от радости выступает. Иную пору в воду, али в огонь скочить мне за радость великую казалось.

Можно бы теперь эти слова и без слез говорить: горе свое я сладким запила и вкусным заела. А я вот говорю и каждое слово слезами обмываю: что в сердце проросло да болью наболело — не смоешь оно, не сполочется. Слово говорила, а слезы как горох роняла. Обиду я из сердца горстью беру, когда про горький век подумаю. За что мы пропадали? За что мы погибали? Перед кем виноваты были: перед добрыми людьми, али сами перед собой? И никто нам не мог про то поведать.

Рассказывала я про свою жизнь — снова пережила все свои горькие дни, все свои обиды, всю маяту и позор. Разволнуюсь, — говорить не могу. И в болезнь меня кидало, и в хворость метало.

И вот вся моя жизнь рассказана и записана в книгу добрым людям на вспоминанье, моей ровне — на вздыханье, молодежи — в науку. Читайте, люди добрые! раскидывайте умом, шевелите памятью: легко ли и вам жилось, сладко ли нилось, вкусно ли елось, весело ли гулялось? У кого из вас, люди добрые, прежняя жизнь сердце не рвала так, что ключья летели?

Давно ли вы, люди добрые, глаза открыли? Давно ли вы свет увидели? Давно ли вас красным солнышком обогрело? Давно ли вы от полной души вздохнули?

Открыты наши глаза. Видят они чистое небо, в чистом небе красно-солнышко катится, лучи мечет, родную землю греет. На родной земле мы с вами, люди добрые, хорошую жизнь устраиваем.

Живем мы, землю радостью засеваем.

Набегит радость на сердце, как волна морская, залет его дополна, да и через край перельется. И где человек ступает, там оставит свой глубокий след.

По тем следам узнают нас другие народы и пойдут той же новой дорогой, которой и мы идем. По тем следам наши внуки и правнуки, наши роды и прароды узнают нас, первых советских людей. Много они будут знать да понимать, и узнают, и поймут — до чего был хорош, красен и счастлив наш теперешний сталинский век.

Записал и обработал НИК. ЛЕОНТЬЕВ

В начале осени

Р а с с к а з

Всю ночь падала тяжелая, как дождь, роса, и желтая песчаная дорога, по которой шли броневики, не пылила.

На одном из броневиков, испаранном пулями, рядом с водителем сидел инженер Бергер, пожилой человек с карими грустными глазами. Он задумчиво глядел в смотровую щель на дорогу, по которой двенадцать лет назад уходил с последним красноармейским отрядом; и тогда была такая же долгая сентябрьская зоря, так же из низины тянуло гарью, а где-то затихал пулемет, снова дал сердитую строчку и умолк; и Бергер с мокрым от слез лицом в последний раз оглянулся на местечко, где остались самые близкие ему люди: жена и ребенок. Четыре года он ничего не слышал о них, а когда появилась надежда, что их можно будет вытребовать из Польши, он узнал: мальчик умер, а Эстер вышла замуж.

И потому, что воспоминания были такие суровые, и потому, что он был утомлен, и потому, наконец, что за время похода он увидел новое и значительное, на сердце у него было тревожно. И бог знает, в который раз возникала незабываемая картина: в том месте, где срыли первый пограничный столб, граница шла по реке, на одном берегу которой расположена была советская деревня, на другом — польская, удивительная польская деревня: все избы ее были повернуты к реке задними стенами, кое-где виднелись заколоченные почерневшие проемы окон; и первое, что увидел Бергер, перейдя границу, — это простого крестьянского парня, с безмолвной и счастливой яростью прорубившего окно в задней стене своего дома.

Жители местечка поголовно высыпали на улицу, нигде не видно было запертых ставней, радостный и бурный гомон сотен

голосов не смолкал в ленивом, чистом воздухе, пахнушем яблоками.

Броневики стали на базарной площади, еще хранившей следы резво бежавших польских уланов.

Отсюда хорошо виднелся весь центр местечка. Ничто не изменилось: те же дома, та же булыжная мостовая, те же деревянные мостки. Вот синагога с потемневшим венцом Давида, с узкими окнами в разноцветных стеклах; в детстве Бергер часто смотрел сквозь эти цветные грязноватые стекла, и мир вставал сумеречный, как перед дождем; а насмотревшись, мальчик с радостью и облегчением выбегал во двор, над которым сверкали солнце, небо и кисти спелой рябины; вот тут был мучной лабаз старого Копелянского, долго не желавшего породниться с сыном бедного кантора; а вот дом, в котором они с Эстер прожили год; худенькая, небольшая, с пышными черными волосами, искривившимися в темноте, когда она расчесывала их гребнем, с черными удивленными глазами, со складкой над переносьем, когда задумывалась, и веселыми морщинками на лбу, когда флибалась, — такой ее сохранила ему память; однако дом и тогда был совсем ветхий, а ведь стоит, и даже появилась в нем какая-то кокетливая молодость: подмалеван, крыльцо новое, на двери богатый лакированный ящик для писем.

Но людей Бергер не узнавал, и его тоже не узнавали. А когда он заговорил по-еврейски, они взволнованно обступили его. Они хотели что-то узнать от него и что-то сказать ему.

Броневик задержался, так как нужно было произвести небольшой ремонт, и тогда рыжеватый великан озабоченно спро-

сил Бергера, не может ли он чем-нибудь помочь:

— Я силен и здоров, как два быка. Скажите мне: Мендель Сойфер, впрягись в плуг, и пусть на тебе землю пашут. Но что толку в силе, когда нет работы!

— А давно вы без работы?

Мендель Сойфер невесело усмехнулся.

— Торговал понемногу порохом и дробью. Так вызывают меня в староство и говорят: пан Мендель Сойфер, порох, дробь — дело военное, пускай этим делом лучше занимается поляк. Слыхали, товарищ?

— Да.

— Легко сказать «да», когда нет жены и троих ребят.

Бергеру очень хотелось спросить об Эстэр, но почему-то не решался. Надо ли, думал он, ему, имеющему жену и двоих детей, чьи фотографии он бережно хранит в боковом кармане, тревожить такую даль?

— А что, жив старый Копелянский? — спросил он погодя.

Мендель Сойфер удивился.

— Это вы про Шолом-Ошера? Четырнадцать лет уже... чтоб земля ему была, как свинец. А откуда вы его знаете?

Но Бергер не ответил.

— Жил, как свинья, и умер, как свинья, — продолжал Мендель Сойфер, спокойно улыбаясь. — Оставил дочери целое состояние в царских процентных бумагах, хоть оклеивай отхожее место.

Весь день Бергер бродил по местечку, незаметный среди множества военных. Он побывал на кладбище у родных заброшенных могил с повалившимися, заржавевшими камнями. Справа от могилы матери возвышался маленький холмик, на черном камне поблекла надпись: Вечиамин, сын Иосифа.

«Ему бы теперь было двадцать лет», — подумал Бергер с волнением.

В этот день на кладбище никого не было, только одна старушка причитала над могилой сына и разговаривала с ним, как с живым.

Бергер узнал старую Рахиль, сын которой погиб в бою девятнадцать лет назад. Бергер медленно удалился. Он шел понурый, глубоко нахлобучив фуражку, шел среди спокойного шума деревьев; солнце дробилось в ветвях, и каждый упавший лист сохранял цвет и блеск солнца, а сухая крупная трава — (такая крупная всегда бывает на кладбище) — ложилась под

ноги на коричневую тропинку и уже больше не распрямлялась.

Под вечер Бергер спросил у прохожего, где живет Эстэр, дочь Копелянского. Ему указали невзрачный домик, вид которого говорил о прочной бедности его жильцов. Бергер постоял у низенькой двери, затем в темных сенях; вдруг услышал тихий, мелодичный голос Эстэр и почувствовал, что бледнеет.

Эстэр прибирала на столе, ее изможденные руки были освещены закатом. Она повернула голову на скрип двери; ее лицо побелело, она поискала руками, обо что бы ей опереться, потом в изнеможении опустилась на стул.

Бергер молча подошел к ней и сел на соседний стул.

Они долго и тихо плакали.

— Не надо плакать, не надо плакать, — прошептала она, вытирая глаза рукой и улыбаясь сквозь слезы. — Это ты спрашивал о моем отце? Мне сердце подсказало, что это ты. А мой муж испугался.

Бергер вначале не понял, потом вспомнил добродушного великана и сказал:

— Хороший он человек.

— Да, отец. Его замучила безработица. Пробовал торговать — не получается у него.

— Да, да, он говорил. Но теперь все переменится, все будет по-другому.

Они помолчали.

Теперь, когда прошли первые минуты большого душевного напряжения, оба почувствовали себя неловко: им как будто не о чем было говорить.

Как она постарела! Волосы выплели, лицо покрылось морщинами, только вот складка над переносьем прежняя. Но Бергер уже не мог вспомнить, представить себе, какой Эстэр была когда-то, и от этого ему стало горько.

А Эстэр было стыдно и больно, что Иосиф увидел ее такой, увидел ее бедность... Какой он строгий в своей военной форме: это бритое лицо, назад зачесанные волосы, поредевшие на висках, и суровый взгляд — все было незнакомо и чуждо ей. Эстэр ощутила робость перед ним; она не знала говорить ему «вы» или «ты».

Маленькая девочка, незаметно возмущаясь в углу с пестрыми тряпками, беспокойно подошла к матери. Девочка удивительно кого-то напоминала, но кого — Бергер понять не мог: у нее были черные волосы и немного удивленные глаза.

— У тебя ведь трое, Эстэр? — сказал он.

— Да. Мальчики на улице,— ответила она.— Сегодня такой день, никому дома не сидится. Я тоже недавно вернулась.

Бергер осмотрелся: ему были знакомы и эти портреты в золоченых рамках на стене, и этот желтый дубовый буфет с резьбой на дверцах; только почему так много в окнах пустых квадратов, заклеенных звенящей от ветра бумагой? Он с недоумением сказал: пальба была не настолько сильная, чтобы полопались стекла.

— Прошлую ночь мы просидели в погребке. Поляки не успели устроить погром,— сказала Эстэр.— Ну, а сегодня некогда и некому вставлять выбитые стекла. И совсем это не важно... когда люди плачут и ноют,— сказала она с улыбкой.

Ее слова взволновали Бергера. Он встал и прошлепал по комнате.

Он всегда ходил из угла в угол, когда волновался, вспоминала Эстэр с внезапной нежностью. Она припомнила сырой рассвет и как она бежала, не слыша свиста пуль, к базарной площади, где, как ей сказали, лежит убитый красноармеец. Она никогда не могла объяснить себе, откуда у нее взялось тогда столько силы и смелости. Но когда она увидела странно и неподвижно застывшего сына старой Рахили, с которого кто-то уже успел снять сапоги, то лишилась чувств. Три недели она пролежала в горячке; потная с постели зимой, окаменевшая, безжизненная и старая, и время для нее как бы остановилось.

Иосиф стоял у окна. Свет вечерней зари потухал; в сумерках Иосиф не казался больше ни строгим, ни чужим. И тогда Эстэр почувствовала, что ей необходимо рассказать ему все. Ей казалось, что она будет говорить без конца.

— Ты ушел,— проговорила она.— Так было нужно. Они убили бы тебя. Да, да. Но я осталась одна с маленьким на руках. Меня объявили вдовой. А потом ребенок умер... целую ночь я носила его по комнате, так ему было легче... Потом раввин дал мне развод.— Она устремила взор на портрет своего отца, висевший на стене.— Он настаивал. Он кричал, что его разоряют: взятки: всем плати, всем плати... они ведь хотели меня засадить в тюрьму.— Она испугалась, что посмела так гневно говорить о покойном отце, она умолкла, сгорбилась; ей больше нечего было сказать.

Бергер, пока она говорила, подошел к ней. Он тоже взглянул на портрет старого Копелянского и быстро отвел глаза.

Этот благочестивый и жадный старик был так скуп, что покупал лишь те коробки, которые содержали не меньше пятидесяти спичек; с утра до ночи корпел над своими книгами, куда собственноручно заносил имена должников, суммы их долгов и сроки платежей, а утомившись от своих занятий, аккуратно гасил огарок: ведь думать можно и в темноте.

Четыре года Бергер не переставал думать о том дне, когда снова увидит Эстэр и сына, и все, что делал, он делал для них, чтобы им жилось лучше, когда они, наконец, соединятся с ним. Но однажды в полдень, это было именно в полдень 8 июня, он пришел в Наркоминдел,— он часто приходил,— и девушка, как всегда, приняла от него бумажку, на которой он написал фамилию Эстэр, имя сына, название местечка. Девушка велела ему подождать, потом дала ему пропуск и сказала, что товарищ такой-то хочет его видеть. Бергер был счастлив: раз его вызывают, значит, дело его решено, ясно. Ему нужно было перейти в другой подъезд, и несколько минут он простоял на тротуаре, любуясь безоблачным, ярким небом.

Двадцать минут спустя он вышел из Наркоминдела, и небо показалось ему черным и душным: сын его умер, а Эстэр вышла замуж. Какое это было злое горе! Он проклял свою жизнь и возненавидел Эстэр.

И вот она сидит перед ним, печальная, измученная, прижавшись лицом к своей дачурке, и сумерки скрадывают, что у нее седеющая голова. Бергер ощутил вдруг стыд, жалость и боль.

Он сел подле нее и заговорил негромко, без горечи. Он ведь тоже не мало переживал. Он уехал тогда в Сибирь. Бывало, ночи напролет он все пагал из угла в угол. А однажды посмотрел в окно: заря, и такая тихая, светлая, и земля вокруг зеленая, и трава подымается, и подорлик в небе кружит. И как-то утихли у него в душе и обида, и злоба, только боль осталась.

Девочка сошла с колен матери, подвинулась к Бергеру и сказала по-детски серьезно:

— Можно потрогать твои ремни?

И пока она трогала его ремни, он гладил ее по голове с таким чувством, будто родную дочь.

Эстэр искоса смотрела на него: как молодо выглядит, а ведь он старше ее мужа.

— А ты как живешь? — спросила она.

Иосиф помедлил с ответом; сказать, что

он инженер,— это, пожалуй, будет жестоко. Но ведь она научила его читать и писать по-русски. Он напомнил ей об этом, напомнил о той поре, когда она мечтала стать учительницей в еврейской двухклассной школе: теперь-то она легко может это сделать, и нужно сделать.

Она слушала его, смущенная и благодарная. То, что он говорит, прекрасно и невозможно, куда уж ей в сорок лет чего-то добиваться.

«Все переменится, все будет по-другому»,— думала она, безотчетно повторяя слова Иосифа. Ей, верно, станет легче жить. Жить! Нет, ее жизнь прошла. И она задумалась о сыновьях.

— Ты женат? — спросила она погодя.

— Да.

Ей мучительно захотелось увидеть лицо его жены, наверное молодой, красивой, быть может даже русской женщины. А ведь она, Эстэр, могла быть на ее месте.

— У тебя есть ее карточка?

— Нет,— поспешно сказал он.

В комнату шумно вбежали мальчики.

— Мама, кушать!

Они смешались, увидев постороннего.

— Вот они, мои сорванцы, Иосиф,— сказала Эстэр с гордостью.

Она зажгла керосиновую лампу, в тусклом свете которой вещи приобрели угрюмый вид, и Бергеру неприятна стала эта

тесная комната с низким, давно небеленым потолком, длинными тенями на обоях, отставших от стен какими-то уродливыми припухлостями, с бумажными пластырями на окнах.

Вошел Мендель Сойфер, он побледнел при виде Бергера, и ярче выступили на его лице веснушки.

— Это Иосиф,— сказала Эстэр таким тоном, точно его имя было хорошо знакомо ее мужу.

— А-а,— растянул он, просяив.— Желанный гость, желанный гость! — Он подал Бергеру руку, жесткую, как дубленая кожа.— Ради такого праздника надо, необходимо выпить.

— Нет, нет, я ведь в походе.

— И то правда. Ну, тогда чаю. Чаю, чаю, Эстэр! Разве можно гостя морить голодом?! — сказал он, ласково и жалко глядя на жену, на ее спокойное и печальное лицо.

Час спустя Бергер ушел.

— Спасибо, Иосиф,— сказала ему на прощанье Эстэр.

Он не знал, за что собственно она благодарит его; ему казалось, что это он должен благодарить ее. И, может быть, никогда еще не было у него так хорошо и грустно на душе.

Во тьме роились огоньки, в осеннем небе горели звезды, млечный путь подымался прямо с земли.

Иван Вуколов и „Фриц Вернер“

С Балтики Григорьевым пришли письма: одно было от сына Павлуши, а другое — от Героя Советского Союза, капитана-лейтенанта Вершинина. Письмо сына было короткое: его беспокоило здоровье отца и матери, кое-что он рассказал о своей жизни, просил передать привет товарищам по заводу и в первую очередь тем, чьи станки он налаживал и которые, вероятно, еще помнят Павла Григорьева....

Более подробно писал Вершинин, командир подводной лодки — знаменитой «Щука», на которой плавал бывший рабочий с «Шарикоподшипника».

«Уважаемые Александр Петрович и Екатерина Ивановна! — писал капитан-лейтенант. — Горячо поздравляю Вас. Партия и правительство наградили вашего сына Павла Александровича орденом «Красная Звезда». Ваш сын участвовал вместе со всем Красным Балтийским Флотом в боях с финской белогвардейщиной, где проявил себя смелым бойцом».

Командир рассказывал о славных качествах Павла Григорьева — его стойкости, выдержке и отваге, сочетающихся со знанием дела. Заканчивалось письмо словами:

«От души благодарю вас за воспитание такого сына».

Стариков несказанно обрадовал и взволновал такой отзыв о сыне. Письма с Балтики они отнесли на «Шарикоподшипник». Григорьевы понимали, что Павла воспитывали не только они — отец и мать, но и его товарищи по труду, рабочий коллектив.

Письма были напечатаны в заводской газете. Полгода спустя о них напомнил товарищ Павла — наладчик Савушкин, партийный агитатор.

Савушкин имел свою аудиторию, маленькую, но постоянную. Был он не бог

весть какой оратор и называл себя беседчиком. Длинных докладов он не делал, больше беседовал с рабочими, рассказывал им, о чем узнавал и читал, вызывая у слушателей желание поделиться своими мыслями, настроениями, думами. Был Савушкин наладчиком станков — строгим, вдумчивым и в то же время терпеливым в отношении новичков. Очевидно по ассоциации с его профессией, рабочие прозвали агитатора наладчиком человеческих душ.

В своем маленьком лектории Савушкин проводил беседы на самые жгучие вопросы дня — международного и внутреннего характера. Темы бесед подсказывались самой жизнью — событиями мирового масштаба и, маленькими, на первый взгляд, случаями из жизни цеха, которые волновали и не могли не волновать Савушкина и его товарищей, обрабатывавших на четырехшпиндельных полуавтоматах кольца для подшипников.

В этот ноябрьский день Савушкин решил посвятить беседу животрепещущей теме — культуре труда или, как он говорил, нацелить рабочих на борьбу с грязью, за культурное обхождение с оборудованием. Необходимость этого вызвана была в частности одним печальным фактом, который огорчил и возмутил Савушкина. Молодой рабочий Кузин нарушил производственный порядок, им внедрявшийся: станки после работы должны быть тщательно очищены от грязи. Операция эта занимала минут десять, но проводить ее нужно было изо дня в день. Кузин поленился. Он ушел из цеха, оставив свои два станка «Питлер» грязными, необработанными.

Станки «Питлер» были умными, сложными и в то же время капризными машинами, быстро реагирующими на дурное обращение. Это хорошо знал наладчик Савушкин, который вообще ко всякой маши-

не, созданной умом человека, относился с уважением и почтительной нежностью, а тем более к своим «Питлерам». Он их годами налаживал, изучал и с уверенностью говорил о них, как о станках «с высшим образованием». При этом добавлял, что «Питлер» требует к себе уважения и не переносит хамства.

Очистить станок от грязи — вот то минимальное требование, которое Савушкин предъявлял каждому рабочему на своем участке. Но Кузин в один прекрасный день нарушил хорошую традицию. И душа Савушкина загорелась гневом, обидой и болью. Он очищал кузинские станки от грязи и в сердцах поругивал молодого рабочего, что тот-де человек пустой, что так настоящий металлист не поступает... Савушкин и себя винил в том, что он как наладчик и беседчик не доглядел за Кузиным, не сумел воспитать в нем должного духа культурного металлиста. И, возясь со станками, бормоча себе что-то под нос, он порешил, что одним дисциплинарным взысканием тут не обойдешься, что с Кузиным придется крупно поговорить, и не один-на-один, а в присутствии всего народа.

Так и сделал.

Еще накануне он стал готовиться к беседе. Из своей заветной тетрадки, в которой хранились газетные вырезки, чертежи приспособлений, изобретенных много-станочниками, выдержки из прочитанных книг, Савушкин извлек письма с Балтики, брошюру с докладом Калинина о коммунистическом воспитании. Он велух прочел то место в докладе, которое особенно отвечало его настроению. Правдиво, остро звучала калининская мысль о том, что было бы куда лучше, если бы люди больше совестились, если бы им больше претило выпускать недоброкачественную продукцию.

«И когда мы говорим о коммунистическом воспитании, то это значит,— убеждал Калинин,— прежде всего, внедрять в сознание каждого работника ту мысль, что он должен хотя бы элементарно добросовестно относиться к своей работе. Мы должны внушать ему: если ты считаешь себя большевиком или просто честным советским гражданином, то изволь и свои изделия делать элементарно добросовестно, чтобы они были годны по качеству».

Почему Кузин ушел из цеха, забыв почистить свои станки? Почему некоторые люди,—спрашивал себя Савушкин,—делают брак, работают без души? Да потому, должно быть, что они не вдумываются

в цель и назначение своего труда; у таких людей плохо развито чувство элементарной добросовестности в отношении своей работы. Но Савушкин отлично понимал, что люди живут и работают не в безвоздушном пространстве, что психология — как бы урвать побольше, а там хоть трава не расти — может быть преодолен только усилиями и воздействием всего коллектива. Вот почему поступок Кузина не позабывшегося о своих «Питлерах», рисовался наладчику вопросом принципиальной важности. Тут нельзя было ограничиться только взысканием! Людям надо показать, что это значит, дать им почувствовать на ярком примере, что все разговоры и уговоры работать элементарно культурно и добросовестно ничего не стоят, если находятся работнички, для которых не существует общепринятых правил производственной чести...

Вот из каких соображений исходил наладчик и агитатор Савушкин, когда поставил вопрос о Кузине перед рабочими участка. По заведенному обычаю, Савушкин сперва сделал короткий обзор международных событий. Кузин выразил желание услышать подробности о военных действиях в Греции, но Савушкин стоически выразительно взглянул на него, что тот смешался и замолчал.

— Грецией интересуешься, а вот «Питлере» не заботишься,— строго сказал Савушкин и перешел к «вопросам внутреннего характера».

Он пояснил, что отчетливо видит связь между событиями мирового порядка и тем, что творится в жизни нашего цеха. События мирового порядка, по словам Савушкина, ставят перед каждым советским человеком задачу быть еще более мобильным и собранным, проявлять огромную энергию, рвение к труду, сознательность, твердость и преданность общему делу.

— Взгляните, что делается в Красной Армии,— сказал Савушкин.— Каждый боец должен отработать свои нормативы. Это закон. Но ведь и мы — люди труда, металлисты, должны отработать свои нормативы — работать с элементарной добросовестностью, честно, на-совесть... Ленин говорил, что коммунизм начинается там, где проявляется самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд, забота рядовых рабочих об увеличении производительности труда... А это рвение в труде,— отметил Савушкин,— начинается, в первых порах, хотя бы с заботы о чистоте и налаженности своего станка

га. Но, к сожалению, об этом кое-кто из нас частенько забывает и, вероятно, думает: «И что ты, Савушкин, привязался ко мне. Подумаешь, дело-то какое пустяковое — станок позабыл почистить...» Ну, а мы в свою очередь скажем такому человеку: «Ошибаешься, товарищ! Большое начинается с малого...»

Савушкин не назвал имени Кузина, но все знали, о ком идет речь. Знал и понимал это и сам Кузин. Сперва он сердито надулся, ожидая, что Савушкин вот-вот назовет его и всенародно осрамит. Но Савушкин почему-то так и не назвал его. Да, собственно говоря, это уже не имело значения для Кузина. Он чувствовал себя крайне неловко перед товарищами и перед наладчиком, который говорил вещи правильные, хотя и обидные... А Савушкин, потирая рукою коленку побаливающей ноги, так же негромко продолжал:

— Станки «Питлер» — тонкие машины, требующие внимательного, вежливого обращения. Это то оружие, которое государство нам доверило. И как любое оружие, его нужно беречь, ухаживать за ним. Работать нужно так, чтобы подводник Павел Григорьев, обслуживающий сложные аппараты, был полностью уверен в качестве наших подшипников, знал, что они его никогда не подведут.

Вот когда Савушкин пустил в ход письма с Балтики. Многие из рабочих хорошо знали Павла Григорьева.

Зачитав письма с Балтики, Савушкин поставил вопрос: а как работал Григорьев, какими чертами в характере обладал их товарищ, показавший высокую моральную стойкость, выдержку и храбрость в дни решительных испытаний?.. Савушкин напомнил: Павел Григорьев ничем как будто бы не выделялся. Этот был рядовой рабочий. Он любил свою страну. Трудился тихо и без шума, благородно и на-совесть. Помните: станок, инструменты, рабочее место у него всегда находились в полном порядке. Такой человек, конечно, легче нашел себя и на подводной лодке, где от слаженных действий всего коллектива зависят жизнь экипажа, успех боевых операций.

— У нас, — сказал Семушкин, — много таких рядовых рабочих, которые трудятся тихо, благородно и на-совесть.

Он с особенным чувством повторил понравившиеся ему слова:

— Да, благородно и на-совесть!.. Я расскажу вам кое-что о «Фрице Вернере» и Иване Вуколове.

И он рассказал обыкновенную историю из жизни шлифовальщика Ивана Вуколо-

ва, работающего в отделении приборов инструментального цеха. В этой истории нет каких-нибудь особо выдающихся событий, шумных эпизодов. Скорее всего — это будничные факты из жизни обыкновенного, рядового рабочего. Что же такого существенного сделал Вуколов? Он трудился, по словам Савушкина, честно, благородно и на-совесть. Известно, что «Фриц Вернер» принадлежит к типу сложнейших станков. Это шлифовальный, универсальный станок, который дает микронную точность. Вернее, такой точности можно добиться в том случае, если человек овладеет искусством управления сложным станком, познал его душу. В данном случае имелось полное взаимопонимание: «Фриц Вернер» подчинялся искусному, вдумчивому шлифовщику Ивану Вуколову. Между ними установился тот постоянный контакт, который давал возможность Вуколову по звукам, по искрам, по мельчайшим штрихам угадывать, понимать станок, исправлять погрешности в работе, добиваясь нужной точности шлифовки.

— И вот, представьте себе, — поблескивая глазами, рассказывал Савушкин, — представьте себе: Иван Вуколов познакомился с «Фрицем Вернером» в октябре 1937 года. Заметьте эту дату: октябрь 1937 года. «Фриц Вернер» только-что вышел из ремонта. Вуколов принял его от слесарей и больше он их не видал... слесарей-то... Они, конечно, приходили к нему, к Вуколову, но им абсолютно делать было нечего: «Фриц Вернер» работал, как часы. Слесаря, вроде как врачи, наведываются каждые три месяца, здороваются с Вуколовым и вежливо спрашивают: «А как здоровье «Фрица Вернера»? Конечно, бывают и такие рабочие, которые любят жаловаться на станок, сваливать на него свою вину. Вуколов же любил своего «Фрица Вернера», заботился о нем. Но на всякий случай Вуколов, бывало, скажет слесарям: «Я так думаю, что «Фриц Вернер» здоров... У меня к нему никаких претензий нет, поведение его отличное. Но, может быть, я чего-нибудь там не доглядел, может быть, он работает через силу и нуждается в диете, в лечении, так уж вы, будьте добры, внимательно осмотрите его и скажите нам свое веское слово». Слесари внимательно выслушивают «Фрица Вернера» и потом сообщают свой диагноз: «Вполне здоров, может и дальше работать». Вуколов просветлеет лицом и сдержанно скажет: «Благодарю вас. Я так и знал». Вероятно он испытывал большую гордость при мысли, что его «Фриц Вер-

нер» обходится без лечения, не нуждается ни в среднем, ни в капитальном ремонте, хотя по закону, так сказать, имел право на то и на другое. Да, представьте себе: с октября 1937 года и по сей день, т. е. свыше трех лет, станок Ивана Вуколова ни разу не останавливался, «Фрица Верпера» ни разу не сдавали в капитальный ремонт.

Савушкин видел, что рассказ его произвел должное впечатление. В самом деле, нужно быть очень толковым, искусным рабочим, чтобы так работать на станке...

— Может быть, иной человек на месте Вуколова зачванился бы,— произнес Савушкин,— глядите, мол, какой я есть... Но мне думается, что Вуколов принадлежит к другому сорту людей, а именно к тем, которые бесшумно трудятся и, как зенницу ока, берегут доверенное им государственное состояние. Вот уж, поистине, такие люди работают честно, да они и не могут по-другому работать, потому что вся душа, все сознание их направлено к одной цели: работать благородно, па-совесть...

Вуколов был до крайности удивлен, когда из соседнего цеха к нему вдруг пришла группа рабочих во главе с наладчиком. Склонив голову, шлифовщик насто-

роженно прислушивался и внимательно всматривался в работу своего «Фрица Вернера», окрашенного в дымчатый цвет.

Один рабочий, кажется Кузин, спросил шлифовщика в зеленой гимнастерке: правда ли, что за три с лишним года станок ни разу не был в ремонте?

— Правда,— сказал Иван Вуколов, не сводя глаз с искры, которая то вспыхивала, то исчезала.— А завтра мы его ставим на ремонт.

— Капитальный?

— Средний,— ответил шлифовщик.

Рабочие ушли, оставив вдвоем Савушкина и Вуколова.

Савушкин некоторое время молча присматривался к Вуколову, затем тихо сказал:

— Тебе, Вуколов, пора прочесть лекцию...

— О чем?— машинально спросил Вуколов.

— О себе. О том, как ты работаешь. Но мы еще подробно поговорим об этом...

Вуколов поднял голову. Он удивленно посмотрел на агитатора, которого в цехе звали наладчиком человеческих душ.

— Главное, не тушуйся,— сказал Савушкин.— Помни, тебе есть что сказать людям.

Твердые деньги — твердая почва для смычки крестьянина и рабочего

Каждый знает:
 водопады бумажные
 для смычки с деревней
 почва не важная.
 По нужде
 совзнаками заливала казна.
 Колебался,
 трясся
 и падал совзнак.
 Ни завод не наладишь,
 ни вспашку весеннюю.
 Совзнак —
 что брат
 японскому землетрясению.
 Получалась не смычка,
 а фразы праздные.
 Даже
 руки
 не пожмешь как надо.
 С этой тряски
 в стороны разные
 рабочий
 с крестьянином
 лез от разлада.
 Так
 никто
 связать и не мог
 цену хлеба
 с ценой сапог.
 Теперь,
 после стольких
 трясущихся лет,
 Серебро
 и твердый
 казначейский билет.
 Теперь
 под хозяйством деревни и города
 Фундамент — рубль —
 установлен твердо.

Твердо
 на дырах
 поставим заплаты.
 Твердые
 будут
 размеры зарплаты.
 Твердо учтя,
 а не зря
 и не даром,
 твердые цены
 дадим
 товарам.
 Твердо
 крестьянин
 сумеет расчесть,
 с чего ему
 прибыль твердая есть.
 Труд крестьян
 и рабочий труд
 твердо
 друг с другом
 цену сведут.
 Чтобы
 не только
 пожатыем слиться,
 а твердым
 обменом
 ржи и ситца.
 Твердой ценой
 пойдут
 от рабочего
 сахар,
 соль,
 железо,
 спички.
 Твердые деньги —
 твердая почва
 для деловой
 настоящей смычки.

Стихотворение В. В. Маяковского «Твердые деньги — твердая почва для смычки крестьянина и рабочего» было напечатано 1 апреля 1924 года в бело-русской республиканской газете «Звезда», куда, новидному, попало через «Бюллетени Прессбюро Агитпропа ЦК РКП(б)». Ни в один сборник и ни в одно полное собрание сочинений В. В. Маяковского стихотворение не вошло.

Публикуется по тексту газеты.

Сонеты

Вольные сонеты



Сонеты — как рабы. В них мысль
Тисками строк и трепетом объята
Так новобранца меряют — солдата,
Так новобранцу форма тесновата.

Сонеты — господа. В угодку моде
Мысль предадут, чтоб следовать погоде.
Они цветов великолепных вроде,
Которые бесплодны по природе.

Рабы и господа! Сошлись, вступают
Друг с другом в спор. Еще несмелы
речи,—
Ведь сил своих рабы еще не знают.

В строй, мужики! Сомкнув с плечами
 плечи,
 Восстанут, волею одной согреты,
 Живые и могучие сонеты.

1880

Перевел НИК. УШАКОВ



В снах юности так жарко мы желаем
Прямых путей, и молодым умом
Так хорошо дела распределяем,
Так справедливо боремся со злом...

Но в жизнь, как в пьяную толпу,
вступаем:
То здесь, то там толкнут, не прямым
Мы движемся, ударов избегаем
И сами оттолкнуть непрочь плечом.

Оглянемся — куда наш план девался!
Жизнь наша, как тропинка, неверна,
Тот счастлив, кто не слишком
заблуждался.

Пусть волны мутны. Будь — как бы
Где вал прошел, там щедрый ил волна!—
остался,
Там будет почва силами полна.

1880

Перевел НИК. УШАКОВ



Сажу в тюрьме, как бы стрелок в кустах,
И разный зверь передо мною мчит,
Меня не видит он и не боится
Быть уличенным в воровских делах.

Лиса — разбойник здесь, а не монах,
И волк — не музыкант, простой убийца;
Медведь здесь — не шутник, а кровопий-
ца,
Не пляшет с бубном, — нагоняет страх.

Здесь без прикрас, здесь голым виден
Они свой человеческий образ даже
Утратили, мундиры сняв и фраки.

И я точу в своей засаде стрелы,
Натягиваю лук, всегда на страже,—
Смотрите, звери! Я стрелок умелый.

9 сентября 1889

Перевел НИК. УШАКОВ.



Стихи умолкли: не взмахнет крылами
 Рожденная на воле песня-птица
 В ловушке хмурой за семью замками,
 Где человек растоптанный томится.

Писать об этом даже не годится,
 Как шарит стражник медными руками
 В моих карманах, сапогах, в тряпицах,
 Как занят он и складками и швами.

Бумагу, спички, карандаш, табак —
 Все ищет власть и в душу влезть
 желает,—
 И песня вольная уже не лется.

Так соловей свое гнездо бросает,
 Своих птенцов он оставляет так,—
 Как только человек к ним прикоснется.

16 сентября 1889

Перевел НИК. УШАКОВ

Эпилог

Посвящается авторам украинских сонетов

Украинские милые поэты,
 Нет образцов пред вами неужели,
 Что возводить, друзья, вы захотели
 Четырнадцать случайных строк в
 сонеты?

Ямб — словно медь, катренов параллели
 И рядом с ними парные терцеты —
 Их спаянные рифмами куплеты
 Приводят вас к сонету, — то есть к цели.

Пусть содержание с формой будут схожи.
 Конфликты чувств, природы блеск
 погожий
 В восьмерке первых строк пускай
 сверкают.

Страсть, буря, бой, как тучи, налетают,
 Блеск затемняя и грозя оковам,
 Чтобы в конце пленять согласьем
 новым.

Прерыв, 6 мая 1893

Перевел НИК. УШАКОВ



Бывают миги: в сердце — жало,
 И скорбных мыслей рой летит,
 И будто небо черным стало,
 И в черной туче гром гремит.

И взором сокровенной злобы
 Встречаю твердь и мир живой
 И жду, что из земной утробы
 Огонь прорвется винтовой
 И спалит землю всю, изложет

Ее неправды, — той порой
 Возникнув, хаос уничтожит
 Всю землю с твердой скорлупой.

И, точно золото в горниле,
 Весь мир очистится огнем,
 И встанут в не вечерней силе
 Свобода, правда, счастье в нем.

2 апреля 1880

Перевод АЛЕКСАНДРА ГАТОВА

По дороге в Кемптен

Дорога ввысь. И в синий небосвод
Стремится все: поля, деревья, травы,—
Здесь целый край свершает свой полет.
Взберешься вверх: на диво величаво

Стоит гора. Вся в трещинах, разъята,
Она отважно — дерзостный кристалл —
В обитель света взносит оба ската,
Из недр ее шумит гремучий вал.

О, если б стать мне этой далью гордой
И в ней себя из виду не терять,
Парить в лазури и держаться твердо,

И вырастать горой, за пядью пядь,
Чтоб звезды в путь меня сопровож-
дали,

Чтоб взор мой шел все дале, дале, дале
Перевел Б. Н. ЛЕЙТИН

МИХАИЛ ЛЬВОВ

Ломают дом

Ломают дом. Обломки стен. Вода.
Уют, распавшийся кусками.
И свежий ветер кинулся. Сюда
Его сто лет не допускали.

Ломают дом. У нас всё впереди.
Другой построим — окнами на площади
Поближе к небу. Ветру на пути.
И окна солнце прополощет.

Освобождение

Знамен свободных первое движенье
Над площадью широкой городской.
И танки, возвестив освобожденье,
Прошли перед восторженной толпой.

Немало перед ними и земли,
И грозных взрывов, и дорожной пыли.
Они придут, как раньше корабли,
Весь шар земной объехав, приходили.

ЛЕВ ЧЕРНОМОРЦЕВ

★

В долинах синих Абатака
Мы спим среди клыкастых гор —
И, точно верная собака,
У наших ног лежит костер.

И промысловую зиму,
Над ним ладони отогрев,
Толкаем котелок с водою
В его широкий жадный зев.

В глухом урочище Алтая,
Где по камням гремит поток,
Мы смотрим долго, не мигая,
На золотой его цветок.

И лишь в степи порою мнится,
Что, не подвластный никому,
Костер — чудесная жар-птица —
Шумит крылом,
Чтоб в небо взвиться,
Исчезнуть в голубом дыму.

Во время эпидемии

Рассказ

1. МЕСТЕЧКО В СТРАХЕ

— Она идет!
— Она уже близко!

— А что делается вокруг в деревнях! Оттуда живым не уйдешь.

— Владыка мира! Что же делать?

Назвать эпидемию по имени нельзя: — «Да не отверзнешь уст сатане» — но страх ложится камнем у всех на сердца.

И каждый день приходят известия одно хуже другого. В Афте водонос вместе с бидонами свалился посреди улицы... В Островце вскрыли трупы двух евреев. В Браткове сидит доктор и студент из Варшавы. Рахов закрыт, не пускают ни туда, ни оттуда.

Весь Радом охвачен цепью казаков. В Цойзмире, упаси бог, люди падают, как мухи... Ужас!

Торговля слабеет, благочестие крепнет. Торговцы зерном боятся тронуться с места. Длинный Иосель уже продал коня и повозку — жаль овса. Хлебные маклера с каждым днем все туже стягивают пояса на пустых желудках. В квартирах с каждой неделей становится все просторней: то ни пятница, то закладывают какую-нибудь другую вещь, чтобы было на что справить субботу! Ремесленник, а зачастую даже почтенный хозяин нет-нет да зальет лишнюю рюмочку — для куражу, чтоб облегчить себе душу... Но шинкарю от этого не много прибыли, а крестьянина редко увидишь теперь в местечке... Зато — жена фельдшера сняла парик и надела головной платок. Тайный маскил¹ сжег на

глазах у всех «Любовь Сиона»¹ и принялся за чтение псалмов. Банщица явилась к раввину и покаялась в том, что... она каждую пятницу заглядывала через щелочку в мужское отделение... Какой-то молодой человек — не станем разоблачать его имени — постится уже целый месяц и думает вовсе стать «порушем»², — оставить все суетные дела мира и засесть за Талмуд. Бог его знает за что, за какие грехи! Кое-кто из портных стал приносить обратно остатки; мясники дают больший поход. Один лишь Иерухим Халфон все еще не сдается, берет не меньше десяти процентов за ссуду под вексель, с залогом... Ну, и сердце, — кремьень!

А лица у всех — желтые и бледные, губы — синие, глаза — большие и круглые, головы — опущены... А на улице — тишина. Там и сям маленькие кучки людей, мужчины отдельно и женщины отдельно, стоят и безмолвно сетуют, покачивают головами, размахивают руками и каждый раз поднимают полные слез глаза к свинцовому небу, которое низко простерлось над местечком... Тихо даже в синагоге во время предвечерней и вечерней молитв... Зато женское отделение синагоги полно даже этой вечерней порой. И оттуда чрез железные решетки ежеминутно вырываются такие рыдания, что у мужчин волосы

¹ «Любовь Сиона» — роман еврейского писателя Ману, одного из первых еврейских просветителей. Роман, как и другие произведения Ману, вызывали недовольство наиболее реакционно настроенных кругов еврейства.

² Порош — отделившийся; человек, который, не уходя от мира и семьи, всецело предавался изучению талмуда и других религиозных книг.

¹ Маскил — просветитель, считавшийся у ортодоксальных евреев вольнодумцем.

становятся дымом! Каждый вечер — канун Судного дня, — утопают в слезах.

Что делать? Какой найти выход? Какое придумать спасенье?

В Варшаве, — рассказывают, — открыли чайные для бедняков, дешевую столовку устроили; уголь, одежду, еду — раздают бесплатно. Все это «их» средства... Все это в подражание другим народам, а может быть, в угоду полицмейстеру! Здесь в ходу иные благочестивые дела: «Меир-чудотворец», праведники... И даже совсем верные средства! В пятницу вечером выставляют в окна свечи, зажженные в честь субботы... На окраине местечка у Василя есть мельница; ночью стащат у него заборы от запруды и закопают их на кладбище. Поженят сироту на сироте. Отправятся на могилы родных взывать к покойникам, просить их защиты. Будут все делать! К сожалению, хотя эти средства известны испокон веков, все же при первой эпидемии, в году 5590 от сотворения мира, весь рынок зарос травой и по нему тянулось только несколько тропинок, протоптанных членами погребального братства.

Но есть вещи еще страшнее самой эпидемии: дезинфекция, изоляция и, упаси господи, вскрытие... Человек живет не вечно, умирает не больше одного раза. Но жизнь и смерть в руках Милосердного; помогает и плач, и молитва, и покаяние; милостыня — тоже средство... А «то» дело в руках человеческих; вынимают мозг из костей, истражишь целое состояние, и — вскрывают! Разрезают мертвеца, бедняжку, на кусочки, погребают без савана, в смоле... В госпитале, опять же, отравляют... Сжигают ни в чем неповинную постель, а то устраивают цепь из казаков, хоть помирай все от голода или пожирай друг друга... А! Необходимо что-нибудь предпринять, — врага нельзя допустить в местечко!

Стоят уже субботние свечи благословения в окнах, уже посматривают на мельницу Василя, уже поговаривают о том, чтобы повенчать сироту на сироте! И страх растет ото дня в день... Надеялись, что опасность уйдет вместе с летом, исчезнет вместе со зноем...

Все уже минуло, прошли осенние праздники... Уже, слава богу, после Кущей... Холода уже пронизывают до костей, часто выпадает снежок, а эпидемия все приближается и приближается! Да охранит и защитит нас бог!

2. ДВОЕ НЕ БОЯТСЯ

И все же в местечке есть две личности, которые не боятся, более того, — они возлагают на эпидемию какие-то надежды!

Эти две личности суть: молодой врач Савицкий, католик, и, простите за сравнение, Иосель-ешиботник!

Савицкий явился в местечко два с половиной года тому назад, сейчас же по окончании университета... Когда он приехал, он был таким хорошим — алмаз! Прямо сказать, один из праведников среди народов мира!.. Все желали бы, чтобы войт был таким же хорошим; ни капельки чванства не было в этом человеке; он нисколько не был заносчив; каждому кланялся, даже ребенку, даже женщине! Старым людям уступал дорогу... Еврейскую рыбу он любил, как жизнь. И все хозяева оказывали ему большое почтение: ему кланялись, почти совсем снимали шапку пред ним. Ему посылали халу на субботу, приглашали часто на фаршированную рыбу. Ему желали всякого добра, но услуги его не пользовались...

Кому нужен здесь доктор? Фельдшер разве недостаточно? И в особенности такого фельдшера! Только взглянет на больного — и уже знает, чем тот болен. Потому и ничего удивительного нет, что аптекарь готовит лекарства по его рецептам! Конечно, возможно, что другой врач скорей получил бы практику. Приехал бы, к примеру, старый доктор, представительный, давно практикующий... А тут, видите ли, явился молокосос, у которого даже усы на верхней губе не отросли, с юным, бледным, как у девицы, личиком. Одет, как по картинке, франтик; только что со школьной скамьи! И так как яйца всегда хотят быть умнее курицы, так он должен спорить со старым фельдшером, который уже зубы проел на своем ремесле! Он должен говорить, что больные принимают слишком много касторки, что кровососные банки опасны, особенно для роженцев, и пьявок он велит ставить на стекла — там они не будут вредить людям... Над сухими банками он издевается и не верит даже в мази!.. Слышали вы такое, — доктор без мазей, без малейшего кровопускания, даже без банок? И пожалуйста, пользуйся его услугами! Сам аптекарь отворачивает нос от его рецептов. Лекарство, которое стоит двадцать копеек!

Савицкий держал себя так с полгода: вел открытую войну с фельдшером и скрывтую — с аптекарем. С жителями он жил все еще хорошо.

Так продолжалось до тех пор, пока он не проел свои несколько червонцев, которые откуда-то привез с собой. Через некоторое время он еще задолжал за квартиру, за мясо, за продовольствие, за одежду; повсюду он оказался должником, и кредиторы с каждым днем становились все нетерпеливей.

И однажды, когда мясник отослал обратно служанку без мяса, Савицкий опустил крылья и начал признавать, что пускать кровь необходимо, что касторку можно принимать каждую минуту... Этим, однако, он ничуть не улучшил своего положения. Ибо — во-первых, ему не поверили, что он думает это серьезно, — может быть, он только хочет заманить этим народ; а во-вторых, далее, ежели он сам признает, что фельдшер прав, то уж на кой чорт он тогда нужен?

Савицкий опять откуда-то достал несколько червонцев (у христиан случается часто, что они получают наследство от богатых дядюшек и тетюшек), опять бился полгода напрасно, а потом напал на мысль: он вдруг стал антисемитом, но очень ярым антисемитом.

Он перестал здороваться. А иногда, бывало, он даже отскакивал и отплевывался при встрече с евреем...

Он подготовил войта, чтобы тот, несмотря на приближение зимы, согнал нескольких еврейских семейств с крестьянской земли... А когда приезжал новый стражник (старые уже получили свою постоянную мзду), то он сам водил его во все дворы и указывал, как всюду грязно... Аптекарь Савицкий однажды сказал, что, будь он на его месте, то он отравил бы всех евреев!.. И еще, и еще тому подобное...

Этот ход Савицкого уже немного помог. Некоторые жители стали приглашать его, платили ему за визиты, хотя рецепты его рвали, микстуры выливали, а мази выбрасывали, — врагу Израиля необходимо замазать рот... Это была своего рода взятка, своего рода мзда... На жизнь все же этого Савицкому не хватало!

Никаких других удачных идей у Савицкого не нашлось, и никакой надежды уже не было, чтобы положение его улучшилось.

К тому же в практике Савицкого произошло несколько несчастных случаев. Он не сумел вынуть у какого-то мальчика горошину из уха... Какой-то больной все-таки однажды рискнул жизнью и принял его лекарство, так он ровно через неделю умер! Но серьезней всего было то, что однажды Савицкий не удержался и заявил,

что жар вовсе не болезнь — это, мол, своего рода оружие, посредством которого тело само старается победить свою болезнь!.. Кто это слышал, чуть не лопнул от хохота... И прямо со смеху катались, когда случилось, что однажды его позвали к роженице извлечь послед. Местечковая повитуха как раз выехала в деревню, и вынуждены были прибегнуть к его помощи! Какие дурацкие приготовления он делал! Он велел принести таз с водой, кусок мыла! В таз он влил что-то из бутылочки, которую принес с собой. Народ стоит все и наблюдает, — думали, что назло аптекарю он готовит лекарство дома, или бог его знает, что здесь будет... А в конце концов он просто моет руки! А руки у него были как раз чистые, что золото, как это принято у христиан. Но мало этого, так он ножичком чистит ногти, словно — простите за сравнение — благочестивая еврейка, когда она собирается в микву¹! Потом он засучивает рукава и опять моет руки... Да разве можно все это передать? Приготовления какого-то фокусника... Правда, потом он все-таки счастливо вынул послед. Роженица, которой это было не впервые, даже говорила, что у него более узкая рука, чем у повитухи, и делает он это, если б не сумасшедшие повадки, быстрее, чем она. Но кто может выдерживать такие приготовления? А что делать, когда в доме нет мыла? Здесь как раз была стирка, ну, а не будь этого?

Все это вместе привело к тому, что Савицкому везло, как грешнику на том свете. И через два с половиной года он убедился, что не выдержит здесь, что, к стыду его, штаны уже плавают на нем. С каждым днем он все больше худеет и, чего доброго, еще может заболеть. И, было, хотел уже удрать. А в это время — она идет!

Нет! В такое время не уезжают из такого местечка! Это будет золотое время! Уже получен приказ, чтобы построили «барак» для больных холерой и выделили дом для их семей. И хотя община пошла на издержки и подкупила войта и стражников, чтобы этот «расход» только записали и не перепугали местечко, — все же каждый чувствовал, что «она» идет, что «она» приближается, что для всех — это смертельная опасность, а для Савицкого — счастье! Он будет получать от правительства три-четыре рубля в день, а больные бу-

¹ Миква — бассейн с проточной водой, в котором религиозные евреи совершали омовение.

дут платить особо... Здоровые тоже будут платить, чтобы, сохрани бог, их не посчитали больными. И все еврейчики будут платить: за то, чтобы делали дезинфекцию, и за то, чтобы не делали дезинфекцию, за то, чтобы устраивали изоляцию, и за то, чтобы не устраивали изоляцию, за то, чтобы их впускали, и за то, чтобы их выпускали, за то, чтобы можно было говорить, и за то, чтобы можно было молчать, а главное — «похоронные деньги»! Чтобы хоронили без вскрытия, без смолы...

Савицкий оживает. У него душа радуется!

Он разгуливает по улицам, насвистывая веселенькую песенку; он весело заглядывает каждому в лицо; он заглядывает во все двери, во все окна: еврейчики любят таиться. О! он не допустит! Они ему заплатят за все эти годы! Он возьмет свое!

Потом он уберется из этого проклятого местечка и женится! Ибо, кого он здесь имеет? Аптекарьскую дочку, эту уродину?

3. ВТОРОЙ, КОТОРЫЙ НЕ БОИТСЯ

Жениться хочет также Иосель-ешиботник и тоже надеется поэтому на эпидемию. Он — единственный бедный сирота в местечке. Если бы хозяева даже захотели, они не могли бы достать другого сироту; его вынуждены будут поженить!

А ему очень хочется жениться. И не удивительно! Это перешло к нему по наследству: и отец его, и дед в его годы уже даже детей хоронили. Ведь ему уже восемнадцать лет! Он стал посмешищем для городка. «Старым холостяком» зовут его, «старой девой»... Днем в синагоге ему нет покоя от злых шуточек по его адресу, они колют его, как булавки. А ночью еще хуже! Один-одинешенький лежит он в синагоге на твердой скамье и не спит целыми ночами... Злые сны не дают ему спать; он па стены готов лезть...

Он просит, умоляет соседей, чтоб его сосватали. Как милости просидит он сосватать его и слышит от каждого один и тот же ответ:

— Разве только с царицей Савской! Кто выйдет за тебя, парх?

Парха у Иоселя как раз не было; зато у него были другие достоинства...

Сюда явился он лет четырнадцать тому назад с отцом-носильщиком, который проездом куда-то заболел здесь и, не про вас будь сказано, умер. Матери Иосель не знал, а потому и шатался сызмальства вместе с отцом.

Община сжалилась над сиротой. Хозяе-

ва купили все фолианты его отца, на эти средства за полцены похоронили покойника, даже приличную могилу дали. А сироту засадили за талмуд и велели спать в синагоге. Кушал он «дни»¹, как и по сей день.

Полгода спустя, Носель переболел в синагоге корью, потом — оспой, и лицо у него стало рябое, как терка.

Год спустя его постигло другое несчастье. В синагоге стояла старая потрескавшаяся печь, а он уже тогда был официальным истопником. Печь была старой развалиной и не держала тепла. Днем еще можно было кое-как терпеть, но ночью он промерзал насквозь. Из лохмотьев, которые хозяева дарили ему накануне праздников, он едва мог смастерить себе какую-нибудь одежду, но укрыться у него было нечем. Однажды Иосель надумал и украд ключ от дровяного сарая. Он стал воровать дрова и топил с каждым днем все сильнее и сильнее, усаживался против огня и грелся. Однажды бог, как утверждает народ, наказал его за воровство. Печь внезапно треснула, из нее вывалился кусок стены и перешиб Иосель ногу... Хотя городской фельдшер и вылечил ему ногу, но она так и осталась короче другой, и с тех пор Иосель хромает.

Ко всему этому — гением он не был, большим прилежанием тоже не отличался. Кто такого выхватит? Кто позарится на такого? Даже водовоз такого зятя не возьмет. А тут, как назло, глаза у него горели, как раскаленные угли, сердце шемило, и страдало, и тосковало по чем-то. Часто голова у него кружилась, в ушах как будто гудели колокола, и его бросало, как в лихорадке, то в жар, то в холод, то в жар, то в холод...

Но кто обращает внимание на сироту!

Хозяева отделиваются тем, что дают ему «дни»... И что за еду, — не согрешить бы, — ему дают! В чем дело? Царствие небесное заслужишь благодаря ему? Парень не хочет учиться; сидит над талмудом, а сам витает где-то в облаках; с ним говорят, а он и не слышит! Ни с того, ни с сего он вдруг вскакивает с места, оставляет фолиант незакрытым и носится, как сумасшедший, по синагоге, переворачивает пюпитры, толкает людей, словно чорт его носит...

¹ «Дни» — ешиботники, слушатели высшей религиозной еврейской школы, лишенные материальных средств, пользовались питанием у жителей поселения — у каждого по одному дню в неделю или в месяц.

Сумасшедший, шальной! Поношенную тряпку, кость, заплесневелую корку, даже прокисшую кашу и то грех ему давать... Что пользы от него? Его счастье еще, что он сирота!

Когда у отца-матери вырастет такой «сын», то подобное добро отдадут к какому-нибудь ремесленнику. Но чужим ребенку никто не хочет распоряжаться. Кто пожелает брать такое на свою душу? Отец его был еврей-ученый, до последней минуты беседовал с людьми о святом учении, о талмуде; умер, как праведник, — в месяц Нисон... Ну-ка, осмелся, отдай его ребенка к ремесленнику! Кто возьмет на себя такую ответственность перед почившим во прахе?

И Иосель растет один-одинешенек в синагоге. Днем отравляют ему жизнь грустные шуточки; ночью — злые сны вытасывают из него кровь... Вот уже два-три года, как он не знает покоя!

Сначала он не поддавался; он знал, что это нехорошие мысли, грешные помышления. Однако мысли эти с каждым разом — все сильнее, а воля его все слабее и слабее, и он стал соблюдать все посты. Но это не помогло! Он читал псалмы — никакого результата! Учиться? — но он и букв не разбирает, — пред глазами у него вертятся огненные колеса!

Иосель видел, что Дух Зла сильнее его, и опустил крылья, перестал сопротивляться! Он лишь утешал себя тем, что может когда-нибудь жениться. И он ждал сватов, а когда они не пришли к нему, он пошел к ним, — стыд по боку! Но не так быстро преодолевают стыд.

Долгие месяцы прошли, прежде чем он решился заговорить со сватом, — сначала с одним, потом — с другим, потом — с третьим, пока он не обошел всех сватов в местечке... И когда последний сват дал ему тот же ответ, что только царица Савская выйдет за него, он впал в ипохондрию.

Ему опротивела и надоела жизнь.

Однажды ночью в его пылающем мозгу мелькнула мысль, что уж лучше смерть, чем такая жизнь.

У него началась новая война с этой новой грешной мыслью, и он опять потерпел поражение! Первый раз она, эта мысль, пронизала его, как молния, и исчезла... На следующий день она, однако, вернулась и задержалась подольше. В третий день он думал об этом еще дольше. Он вспомнил, что на той неделе был сильный ветер, — вероятно, кто-то повесился... Может быть,

какой-нибудь гой¹? Нет! Из-за гоя никакой ветер не поднялся бы; вероятно, еврей! В прошлом году утонул в микве еврей — портной Хаим. Кто знает, может быть, он нарочно утопил себя? Что делать портному среди года в микве? Допустим, в канун Судного дня все идут в микву, но ни с того, ни с сего лезть туда в обыкновенную среду?

Несколько дней спустя его тоже, как клещами, потянуло в микву. «Разве это может повредить? Пойти ведь я могу?» И он пошел. Правда, он даже не разделся. Он чувствовал, что если войдет в воду, то уж не выберется оттуда; он там и останется. Все же он с добрый час простоял над миквой; он не мог оторваться от нее, смотрел на грязную воду и наблюдал, как его бледное отражение дрожит на поверхности воды. Потом ему вдруг показалось, что это вовсе не его отражение, а лицо Хаима-портного, что портной Хаим улыбается и зовет его: «Иди, иди! Здесь так тихо, так прохладно, — наслаждение!»

Его бросило в жар, и он убежал в страхе! Лишь на улице он пришел в себя. Проходя мимо веревочной мастерской, он заметил, что веревки лежат без надзора — веревочник куда-то ушел... «Почему он ушел? Куда?» Несколько таких дурацких вопросов промелькнули у него в мозгу в то время, как руки сами по себе, помимо его сознания, стащили веревку, которая, словно нарочно, лежала отдельно у порога.

Покражу он заметил лишь в синагоге и очень удивился. Он никак не мог понять, как веревка попала к нему в карман!

— Это божий промысел! — подумал он со слезами на глазах. — Сам бог хочет, чтобы я лишился себя жизни, чтобы я повесился! — И какая-то скорбная жалость к самому себе наполнила его сердце. Сам бог, который сотворил его, который сделал его сиротой, который наслал на него оспу, свалил на него печь, теперь хочет еще, чтобы он повесился! Э тот мир он, бог, ему, Иоселю, не дал, и хочет еще, чтобы он, Иосель, и тот свет потерял! За что?

Неужели за то, что он не мог одолеть Духа Зла?

Каким образом? Одному-одиному... без отца и матери, без товарищей? А Дух Зла, как никак, все-таки ангел и правит своим царством с первых шести дней сотворения мира...

¹ Гой — дословно «народ». Шовинистическое наименование не-еврея.

И Иосель чувствует себя страшно одиноким и несчастным... Сам бог неправ пред ним, если хочет, чтобы он повесился! Иосель видит это ясно, никакого сомнения нет. И что можно сделать? Если бог этого хочет, то чем он может помочь себе? Он, червяк, сирота!

Он Духа Зла не в силах одолеть, как же он может осмелиться даже подумать о том, чтобы пойти против самого бога?!

Он берет веревку и взбирается на чердак молебни,—синагоги он не хочет осквернять! Он не хочет повеситься против священного ковчега.

На чердаке он находит крюк, который тоже приготовлен для него! Иначе, каким образом попал туда железный крюк? Может быть, бог приготовил этот крюк раньше, чем создал его, Иоселя, в утробе матери!

Так размышляя, он привязал веревку. Однако ему пришлось в голову:

«А может быть, наоборот? Может быть, это вовсе проделки сатаны? Тот самый сатана, который наводит меня на те мысли, может быть, навел меня и на эту?»

И он опустил веревку,—нечего спешить, он должен подумать! И этот свет и тот свет потерять — не такой уж пустяк...

В это время синагогальные часы пробили четыре. Время обеда, и он почувствовал вдруг, что судороги сводят у него желудок от голода!

И он сошел с чердака и оставил веревку привязанной...

Каждую ночь его тянет вверх к веревке. Он борется за свою жизнь изо всех сил. Он подбегает к священному ковчегу, припадает головой к священным свиткам и жалобно плачет, моля, чтоб они спасли его. Зачастую он обхватывает поюитр, чтоб ему труднее было двинуться с места, опирается изо всех сил о синагогальную печь...

И кто знает, чем бы кончилась эта война, если б не эпидемия!

О! Теперь он вздохнул свободно! Конечно с самоубийством, конечно с ипохондрией, конечно, конечно! Его должны будут поженить, и не с царицей Савской,—он все-таки единственный сирота в местечке!

4. САВИЦКИЙ ОТСТУПАЕТ; ИОСЕЛЬ УЕДИНЯЕТСЯ

С тех пор, как усилился страх перед эпидемией, народ за версту обходит Савицкого... Его боятся... Мало ли что,—человек ведь не больше, чем слабая плоть!

Человек может почувствовать себя плохо, а в нынешние времена вся власть в руках у такого Савицкого... Он может приказывать, чтобы при помощи стражников тебя уложили в постель, мазали, растирали, вливали микстуру, чтоб выгнали всю твою семью, сожгли мебель, чтоб отравили тебя, а потом еще — вскрыли! Когда доктора хотят знать, в чем состоит болезнь, то они отравляют первых попавшихся больных и ищут у них во внутренних органах червячков! Но что поделаешь? На чужбине — как на чужбине!

В Афте какой-то фельдшер проболтался, что доктор отравляет, так его посадили на три месяца на хлеб и воду... Вы думаете — доктора? Сохрани бог,—фельдшера!

И поэтому, когда Савицкий показывает на улице, то становишься вдруг сам не свой. Стоит ему только бросить взгляд на окно, как там опускается занавеска или окно закрывается простыней, подушкой, чем попало!

В одно прекрасное утро переулком, где жил Савицкий, опустел. За ночь все домохозяева и квартиранты выбрались оттуда,—не хотят они жить в одном квартале с ним. Вот уж поистине: «Увы! злодею, и увy! соседу его!»

Савицкий это заметил, но молчит. Больше того, он на время уступает горду. Так иногда кошка отскакивает от мыши,—она ведь все равно не убежит!..

Савицкий сидит по целым дням дома или гуляет за городом по грязи. В своем он уверен; зачем же ему дразнить народ и выслеживать? Когда что-нибудь случится, это уже станет известно. Это вырвется через двери и окна; будут вопли, как в Судный день; еврейчики не могут сдержаться себя. Это — народ, который от странности боится смерти и беспомощен перед болезнью! Савицкий уже присутствовал при одной смерти. Он уже видел, что здесь вытворяют, какие при этом бывают крики и вопли. Ему тогда показалось, что он тонет в море горьких рыданий и жалоб. О, нет! Они не удержатся!

И он отступил от улицы.

А Иосель тоже отступил и от улицы и от синагоги! Савицкий делал это по собственному желанию; Иосель — поневоле.

С тех пор, как чаще стали говорить об эпидемии, у него пропала вся ипохондрия, будто рукой сняло! Наоборот, с каждым днем он становится все веселее, радостнее и, помимо своего желания, то дело раздражается смехом. Он не может удержаться; смех из него прет; он до-

жен рассмеяться, точно его всего щеко-
тут! Чем бледнее становятся хозяева, тем
все румяней и оживленней становится его
лицо; чем ниже они опускают головы, тем
выше поднимается его голова; чем глуше
становятся их голоса, тем его голос ста-
новится яснее и звонче, и — чем больше
синагога вздыхает, тем все выше его
«ха-ха-ха»! И он вовсе не виноват: смех
сам прет из него!

Кучками стоят люди, как истуканы, с
открытыми ртами и боятся шевельнуться,
а у него пляшут руки и ноги... Он бы рас-
целовал каждый попитр; печку, стены
изнал бы!

— С ума он сошел? — спрашивают во-
круг. — Или чорт в нем?

— Наверное с ума сошел! — отвечают.

— Без сомнения, его нужно отправить
в сумасшедший дом!

Дома для умалишенных Иосель, впро-
чем, не боится; он знает, что община не
захочет нести расходы. В прошлом году
какая-то сумасшедшая замерзла на улице,
после того как она всю зиму проплясала
полая по снегу, и никому не пришлось в
голову — нанять подводу, чтобы отправить
ее в больницу. Ее очень жалели, — другая,
когда в нее входит нечистый, разъезжает
по свету, собирает хоть гроши...

А у нее и на это нехватало ума!

Хозяева только вздыхали, и больше ни-
чего! Почему он, Иосель, должен быть при-
легливым? Он не хочет теперь
сердить хозяев: другого сироты в местеч-
ке, действительно, нет, но — чем чорт не
шутит? — если община придет в гнев, то
она может привезти себе сироту; так-
же — может кто-нибудь стать сиротой,
тоже забота! А если этого и не случится,
то хозяева ведь должны будут дать брач-
ные подарки... Так лучше жить в ладу с
людьми. Во-вторых, он боится, чтоб его
однажды и вправду не приняли за сумас-
шедшего и не вынуждены были
тогда достать себе другого сироту. Не
станут же венчать настоящего сумас-
шедшего! Это, возможно, и не оказало бы
надлежащего действия. И еще нечто — и
это главное: ему нужно уединение,
это ему нужно! Он должен быть один со
своими мыслями; он должен думать, раз-
мышлять, грезить ночью и днем.

Ночью в синагоге он уже имеет покой.
Когда парод расходится и он остается
один с попитрами и скамьями, он тот-
час подбегает к окну, прижимает пылаю-
щий лоб к холодному стеклу; в мозгу
становится прохладно, мысли идут строй-
ной чередой... За стеклом — звездное не-

бо, и ему кажется, что луна подмигивает
ему. Это значит, что Иисус Навин говорит
ему пантомимой: «да» или «нет» — так,
как это ему хочется.

Днем шлепает он один-одинешенький
за местечком. Он не чувствует сырого хо-
лода, который прокрадывается через все
дыры в его одежде; он не чувствует гряз-
ной влаги, которая вольно и свободно про-
никает в его наполовину открытую обувь;
он размахивает руками, разговаривает сам
с собой, со свинцовыми тучами или с хо-
лодным, белым зимним солнцем... Ему о
столько многого надо передумать! О столь-
многом поговорить! Он — один с сирота-
юноша, а девушек-сирот — три, и он
хочет знать, какая же из них — его су-
женная.

На первом плане стоит Двоя, дочка
покойного сапожника Иереми.

Сапожник Иереми, до самого послед-
него своего вздоха, жалел его, часто звал
к себе домой и чинил ему сапоги. Однаж-
ды он подарил ему пару ботинок. Он уго-
щал его — иногда куском хлеба с салом,
иногда — луковицей. Иосель в это время
глаз не спускал с Двоя. О, он помнит ее
хорошо! Она стоит у него пред глазами!
Толстая здоровая девица, красная, как
яблочко на детских флажках в праздник
Торы... Кровь с молоком! Когда она хва-
тает топор в руки, то от липовой колоды
щепки так и летят в воздух. Не умри
Иереми, он бы сосватал их. Он, Иосель,
любит такие здоровые создания. Когда он
вспоминает ее, у него слюнки текут! Од-
нажды — этого забыть он не может — он
встретился с ней на лестнице. Его при-
тянуло как магнитом! Он тронул ее за
платье, так она совсем легким толчком
чуть со всех ступенек не сбросила его.
Счастье, что он ухватился за перила! Не-
которое время ему стыдно было показаться
на глаза сапожнику. Он боялся, как бы
она не рассказала отцу... А позже, когда
он решил рискнуть жизнью и зайти, Ие-
реми уже был болен. Каких-нибудь двад-
цать дней он проболел — и умер. Потом
жена его свалилась и тоже умерла. Те-
перь Двоя — прислуга у ростовщика Са-
ула. Когда он ест там «день», он часто
застает ее совершенно одну в комнате, но
у него нехватает смелости даже словом
перемолвиться с ней, — такой уж взгляд
у нее! Но если община прикажет, у нее
не хватит дерзости отказать! Община —
все-таки община!

«Двоя, — думает он, и рот его напол-
няется слюной, — это было бы хорошо!»
Лучшей жены он и пожелать себе не мо-

жет! Возможно, иногда она смажет его по щеке, ну, ладно, это дело житейское, и это он примет с любовью... Он еще будет целовать и обнимать ее за это. Он будет смывать пыль с ее ног. Он будет ходить за ней следом, как малый ребенок. Он будет ее слушаться. Он ее будет гладить, нежить, прижимать к сердцу — крепко, крепко... Еще крепче, хотя бы сердце стучало еще сильнее, чем сейчас. Хотя бы оно разорвалось, выпрыгнуло, хотя бы душа из него вылетела, хотя бы он умер у ее ног, а прижимать ее он будет!

Ах! Если б община остановила свой выбор на ней! Ведь ее мизинец стоит больше, чем любая другая жена! Пока он и не хотел бы большего, чем ее мизинец!..

Но если община выберет другую сироту?

Вон на кладбище тоже есть сирота; есть, хоть он не знает, как ее зовут... Она, правда, полусирота, только без матери, отец у нее есть. Однако, чем такого отца, лучше никакого не иметь! Приятный субъект этот Берль-могильщик; весь день он пьянствует в городе во всех кабаках и оставляет ее одну на кладбище среди могил... Иногда он и домой приходит пьяный и еще избивает ее, говорят; таскает ее за косы, выметает ею все могилы... Весь город говорит об этом. Но никто не вмешается, — его боятся: пьяница, и силач к тому же! В прошлом году он по-дружески ударил в бок стекольщика Мойше, так тот навеки получил болезнь легких. С каждым днем Мойше становится все желтее, худеет, едва дышит! Если дочь еще жива, то, значит, она — железная. Мать ее он-таки вогнал молодой в могилу. И чего он хочет от дочери?

У Иоселя начинается больно щемить сердце! Один лишь раз он видел ее и не может уже забыть... Увидел он ее как раз на похоронах сапожника Иеремии. Он тогда боялся подойти ближе к могиле. Он боялся встретиться у могилы с Двосей: она плакала, наверное, и ее слезы, как расплавленный свинец, падали бы ему на сердце... И он отошел, вертелся вдали возле мертвецкой и несколько раз прошел мимо окон могильщика Берля. Он увидел девушку, когда она стояла с опущенными ресницами и чистила картошку. Бледная, нежная! Одной рукой он мог бы обнять ее... Но она, должно быть, добрая, — уж такие у нее глаза, такой взгляд! Один раз она подняла ресницы, и он вмиг совер-

шенно забыл о Двосе, о всех похоронах, — такая доброта излучалась из ее синих глаз и такая сладостная симпатия была разлита у нее на лице... Такой привлекательной могла быть только царица Эстер. Но царица Эстер была зеленая, а она бела, как алебастр. Волосы у нее черные, как уголь. Ах, как она красива! Сразу за душу хватает.

И она оказывает на него совсем другое влияние. Когда он видит Двосю, у него закипает кровь! А на нее когда он смотрит, ему становится почему-то так хорошо, так легко, так тепло!

С тех пор он стал ходить на все похороны и бросал взгляды в окошечко...

Да, на нее он тоже согласен. Почему же нет, пусть будет она... Пожалуй ста... Наоборот, может быть, даже лучше — она...

Он бы носился с ней, как с игрушкой, он бы целыми днями наряджал ее и все бы для нее делал. Он бы не позволил ей пальцем о палец ударить! Он будет рубить дрова, варить, печь, стирать белье, он все будет делать для нее. Но с одним условием, — чтобы она стояла и смотрела на него и улыбалась! Когда у него будет время, он будет носить ее, как малое дитя, на руках. Утром он бы просыпался вместе с зарей. Зимой он тотчас же затопил бы печку, летом — тотчас же поставил бы горшочек с водой для чаю. Ходил бы он тихо, на цыпочках. Тихохонько он бы почистил ей платье, обувь... Тихохонько он бы подставил ей одежду в кровати. Лишь после этого он подошел бы тихо, совсем тихо к постели. Он бы нагнулся над нею и долго-долго смотрел бы... пока солнце не взошло бы на небе, пока совсем не рассвело бы и солнце не засияло бы в окнах, — лишь тогда он разбудил бы ее поцелуем! Это была бы жизнь, как под солнцем.

И это также выгодный брак! Ой, ой!.. У Двоси, должно быть, есть несколько червонцев, она копит! А у этой ведь привилегия, профессия в руках! Ведь всем известно, что Берля сжигает водка; фельдшер говорит, что он уже не может есть, что он ходит с продырявленными кишками, бедняга... Так он, Иосель, через сто двадцать лет получил бы в наследство место могильщика... Почему бы нет? Вначале он, допустим, боялся бы мертвецов, но ведь привыкают... С ней вместе он бы и к аду привык! Это не очень приятная профессия, но зато он жил бы за городом, особняком, никто не следил бы за ним! Вот житье было бы — рай на кладбище!

А если жребий падет на «Лапай»?.. «Лапай» — прозвище третьей сироты. Когда он эту вспоминает, его пробирает озноб! Она — уже городская сирота... Она — сирота с тех пор, как он помнит себя. Больная, с большой головой, вылезшими волосами и какими-то странными ногами. Она ходит не на ступнях, а на пальцах, пятками вверх. Идя, она шатается и качается, как пьяная... Ее он часто встречает уж на улицах; своего уголка у нее нет. Она ходит из дома в дом, обслуживает всех служанок; этой приносит она воду, той — дрова, этой она помогает наколоть немного лучин, там она вынесет шкап, здесь она нальет ванну... Когда у нее нет работы, она попрошайничает. Раз в году она вымывает пол в синагоге. Где она ночует, он не знает... Лапай, Лапай! Она встает пред его глазами, и его охватывает жуть...

Его пробирает озноб! Ей уже должно быть лет сорок; с тех пор, как он помнит ее, она выглядит все такой же старой...

— Владыка мира! — вскрикивает он в страхе.

Это было бы хуже, чем повеситься. Его испуганные глаза с мольбой обращаются к небу. На бледном лбу показываются крупные, с горошину, капли пота.

Но в сердце у него просыпается жалость. Лапай тоже жаль. Она наверное тоже хочет выйти замуж... Она тоже блуждающая овца, тоже сирота! У нее тоже нет никого, кроме бога в небе! Ему хочется плакать заодно и над ее и над своей судьбой!

Он раздумывает и предает себя в руки господу! Если бог захочет, чтобы... — сохрани от этого всевышний! — ...то была Лапай, пусть будет она! Он полагается сперва на бога, а потом на общину. Стой, которая будет суждена ему богом и дана общиной, с той он будет жить, ту он будет честно содержать, той он будет верен, той он будет мужем, как все мужья, — прочих он забудет...

Но пробуждается в нем другая забота. Если его суженая — Лапай, то куда они денутся? Где они будут жить? Что они будут делать? У нее нет и трешки за душой, ходит раздетая, разутая... Служанки откупают у нее первородство за миску вчерашней картошки; за мытье пола в синагоге она получает два гривенника! На хлеб мало! А что он умеет делать? К чему он годен?

Не будь он хром, он бы устроился посылным... Никакого ремесла он не зна-

ет... Разве, — утешает он себя, — стать меламендом! К свадебному ужину горожане преподнесут свадебные подарки; на эти деньги он купит себе хатенку и сядет учительствовать! Почему бы нет? Столько знаний, сколько это требуется меламену, особенно для начинающих, у него еще есть... Но что бы там ни было, лишь бы жена! Есть ведь евреи, у которых еще более некрасивые жены и которые сами еще больший калеки... И живут! Жена есть жена... Лишь бы не быть одиноким, лишь бы не «дни»!

А может быть, ему еще посчастливится получить одну из тех двух... И он опять рисует себе рай... И он опять улыбается грязи и беседует со свинцовыми тучами...

Стой! В нем заговорила совесть: знай он наверное, что бедной Лапай суждено, упаси бог, погибнуть во время эпидемии, то он хотел бы жениться на ней... Пусть бы она хоть пред смертью имела мужа, хотя бы на месяц! Почему нет? Все-таки еврейская дочь! Ему это не повредило бы, а со стороны бога, да будет благославлено имя его, это было бы справедливо... Он, сохрани бог, не желает ей смерти... Наоборот, он жалеет ее... Он чувствует и знает, что это значит одиночество, когда ты одна-одинешенька, постоянно одна...

5. САВИЦКИЙ И ИОСЕЛЬ — ВМЕСТЕ

Однажды, шлепая по грязи, углубленный в свои мысли, ешиботник Иосель почувствовал вдруг, что кто-то схватил его за рукав. Он обернулся испуганный и испугался еще больше, увидя, что это доктор Савицкий.

Савицкий и Иосель довольно часто встречались за местечком. До того дня Иосель всякий раз торопливо срывал свою разодранную шапку и сгибался до пупа пред католиком; Савицкий — первый раз плюнул, во второй раз бросил злой антисемитский взгляд, в третий раз посмотрел ему прямо в глаза, в следующие дни уже слегка улыбался, и лишь сегодня впервые схватил его за рукав.

Оба они по глазам друг друга поняли, что между ними есть что-то общее! Они во взорах почувствовали, что у них обоих есть какой-то общий интерес, одна надежда, что их что-то связывает вместе.

Савицкий совершенно одинок в местечке. Прежде он бывало заходил к аптекарю, но тот недавно дал понять, что он, Савицкий, мешает его торговле, что из-за Савицкого публика боится покупать слаби-

тельную воду и касторовое масло, которые составляют главную статью дохода аптекаря...

Мещане, христиане несколько позже тоже стали избегать его; они тоже верят, что доктора отравляют больных и что Савицкий тоже не лучше других...

Прошел также слух, что в каком-то местечке сожгли «шпитальный барак» и побили камнями доктора. В глазах у мещан очень часто стал зажигаться огонек, который ничего хорошего не обещал.

Иосель обходится без людей, но Савицкий уже сильно заскучал по человеку. Его самого удивляет, почему рябое лицо хромого еврейчика кажется ему таким приятным; между прочим, у него есть к нему дело: возможно, что эпидемия уже здесь, но ее скрывают! У этого еврейчика можно кое-что разузнать.

Схваченный за рукав, Иосель задрожал. Однако он тотчас же пришел в себя и даже не заметил, как поспешно Савицкий отдернул свою руку от его грязного рукава; он видел только то, что Савицкий в этот момент не был сердит, что он улыбался.

— А цо,— спрашивает Савицкий,— а цо, нема холеры?

Иосель несколько раз ездил с еврейским местечковым судом в деревню на мельницу—стеречь пшеницу для мацы на пасху—и выучился там несколькими польскими словам. Вопрос Савицкого он понял. Правда, слово «холера», даже при той надежде, которую он возлагал на эпидемию, кольнула его «под седьмое ребро» и лицо у него перекосилось,—но он все же успокоился и ответил:

— Нема, вельможный пане, нема!

Помимо его воли ответ этот прозвучал печально.

Они тотчас же разошлись.

На другой день Савицкий и Иосель опять встретились. Они опять шли навстречу друг другу. Иосель остановился в сторонке, как солдат «во фронт»—только что не держал руку у козырька; Савицкий несколько замедлил шаги и спросил:

— А цо? И дзесь нема? ¹

— Нема, вельможный пане, нема,—дал Иосель тот же ответ.

На третий день они опять встретились и уже дольше постояли вместе.

Савицкий расспрашивал, не слышно ли чего-нибудь насчет поносов и рвоты, холеринки или вообще о желудочных и кишечных заболеваниях.

Не все из речей Савицкого Иосель понимал, но все же правильно догадывался, что он спрашивает о болезнях, которые обычно являются чем-то вроде предисловия к эпидемии.

— Нема, вельможный пане, нема! отвечал он все одно и то же. Он знал, что в местечке все еще совсем спокойно.

— Нема, але бендзе ¹! — уходя, бросил ему Савицкий в утешение.

Прошло некоторое время, и при встрече они уже шли часть дороги вместе. Савицкий все расспрашивал, постоянно выслушивал все тот же ответ: «Нема, пане, нема», и постоянно утешал себя: Иоселя своим «Але бендзе»...

— Муси пшийсть! ²—произносит он: уверенностью, а Иосель переводит это для себя на язык священного писания: «Да если она и задержится, я буду ее ждать»,—и сердце в нем ликует.

Ничего худого, упаси бог, он, Иосель, не желает местечку. Савицкому, может быть, и хочется большой эпидемии... Ему, Иоселю, достаточно маленькой эпидемии, маслину. И чтобы даже никто, упаси бог, не умер бы! Несколько жителей чтобы только начали... как-нибудь, и уже будет достаточно! Большого он не хочет. Своему худшему врагу не желает он смерти.

Так продолжалось месяц. Савицкий стал уже терять терпение и предложил Иоселю одно дельце: он, Савицкий, уверен, что в местечке что-то должно происходить, но что это скрывают... Остерегаются говорить что-либо об эпидемии... Евреи всегда боятся... А посему он предлагает Иоселю, чтобы он разведал, разузнал и сообщил ему хотя бы об одном скрытом случае, хотя бы каких-нибудь признаках... Он, Савицкий, будет ему очень благодарен...

Савицкий разговаривает с Иоселем слишком быстро и на слишком изысканном польском языке, но все же Иосель почувствовал, что Савицкий своим предложением хочет сделать из него доносчика. Хочет, чтобы Иосель доносил ему на захворавших евреев.

«Нет,—думает он про себя,—нет Иосель не будет доносчиком. Ни слова не скажет он Савицкому». Однако помимо своего сознания он, ради приличия, кивает головой в знак согласия, и Савицкий уходит.

Иосель укрепляется в своем решении—ни слова Савицкому не говорить. Но для

¹ Нет, но будет!

² Должна прийти!

самого себя он станет выпрашивать и пытать, — может быть, действительно скрывают, так он должен знать.

Иосель начинает толкаться среди молящихся от начала до конца молитв, высматривает — все ли налицо. Когда он замечает, что кого-нибудь нет, то начинает тотчас же выпрашивать и пытать, в чем дело. Это, однако, ни к чему не приводило; всегда кончалось ничем. Оказывалось, что один рискнул жизнью и поехал в деревню кое-что закупить; второй, после ссоры с женой, стыдился показаться в синагоге с распухшей щекой; третий вырвал себе зуб у фельдшера, и у него почему-то не могут так быстро остановить кровь, — и еще тому подобные пустяковые мелочи, которые никакого отношения к тому, что интересовало Иоселя, не имели.

И он каждый раз совершенно честно отдавал Савицкому все тот же рапорт:

— Нема, пане вельможный, нема!

При этом они уже изо дня в день поджидали друг друга и с каждым днем все больше разговаривали.

Иосель помогал себе всеми членами своего тела, чтобы Савицкий мог понять его; он орудовал и руками и ногами. И Савицкий, который уже привык к его жестикуляции, все же частенько должен был отскакивать от него, от его рук.

Савицкий никак не мог понять, в чем здесь так заинтересован Иосель, почему Иосель держит себя так отчужденно от еврейской общины, почему он тоже, как это ясно видно, хочет, чтобы пришла эпидемия. Однако у него не было времени заняться этой загадкой... Вероятно, у него с этим связано какое-то дело! Может быть, он торгует льняным полотном для саванов! Может быть, делает гробы!

Савицкий не стал ломать себе голову над этой загадкой, но зато заметил однажды, что Иосель приуныл, что он не так, как Савицкий, уверен в том, что сегодня-завтра «она должна прийти». И тогда он поговорил с ним по душам, поддержал его и уверил, что община не может ждать спасения, что эпидемия должна притти!

Савицкому ясно, как солнце, что она должна притти. Ведь с каждым днем она придвигается все ближе! Об этом пишут ведь во всех газетах!

И так продолжалось еще месяц, полтора. Сильные морозы, на которые надеялась еврейская община, не наступили; но и

эпидемия, на которую надеялись Савицкий и Иосель, тоже не появлялась. Савицкий тоже начал сомневаться. Однако, утешая Иоселя, он сам укреплялся во мнении, что все-таки невероятно, чтобы она сюда не пришла! Разве есть где-нибудь еще такое грязное местечко?! Где еще едят столько огурцов, сырых овощей и лука? Где еще так неосторожны с сырой водой? Во всем местечке разве только у двух-трех богачей имеются жестяные самовары, всего в двух-трех домах готовят чай. Остальное население пьет грушевый отвар после соленого чолонда, рыбу продают вольно и свободно, — лежащую, гниющую...

Она должна притти!

Действительно, есть такие города, над которыми эпидемия не имеет власти, например, — Аахен, Бирмингем и другие, чьи названия Иосель не может даже разобрать; но там не едят чолонда, а чай пьют из дистиллированной воды — это нечто другое!

Пока что, минула еще неделя, и все-таки ничего не слышно! Наоборот, пришло известие, что в Афте «она» стала утихать, Рахов уже открыт... В Цойзмيره даже закрыли чайную, которую в угоду губернатору устроили в последнее время для бедняков... Иосель начинает думать, что так-то уж его злосчастная судьба и все кончится ничем... Или что его местечко — тоже своего рода Бирмингем, что и над ним эпидемия не имеет власти. Он снова стал беспокойно спать, он стал беспокойным даже днем. Невесты отодвигаются от него все дальше и дальше, и, кроме того получаса, когда он встречается и разговаривает с Савицким, он не знает ни минуты покоя.

Он ясно видит, что горожане с каждым днем становятся все спокойнее и спокойнее... А тут еще пришло известие, что в окрестных деревнях уже совсем спокойно. И местечко ожило. Женщины перестали устраивать всеобщий плач и стенания в женском отделении синагоги; те, кто помоложе, приходят на молитву уже не каждый день, а как прежде — от субботы к субботе. Жена фельдшера уже подумывает опять надеть парик; про банщицу снова рассказывают такое, что стыдно выговорить, и на нее уже даже донесли раввину. Что-то и маскил вновь начинает писать по-древнееврейски. Торговцы зерном опять понемногу выезжают в деревни, маклера зарабатывают, по воскресеньям на рынке полно крестьян, бойко торгуют шинки. Выручают также за соль, за ке-

росин и другие товары. Местечко вновь приобретает свой прежний облик, занавески с окон исчезли, улица, где жил Савицкий, опять ожила.

Иоселю с каждым днем становится все хуже!..

На него уже опять по временам находит прежняя ипохондрия. Вместо невест он постоянно видит перед собой веревку на чердаке молельни. Он видит, как она качается. Она подмигивает ему, она зовет его: «Иди сюда, иди сюда! Избавься от общины, избавься от горькой сиротской жизни!» Но он еще крепится: Савицкий все-таки — доктор, он ведь должен знать! А Савицкий все твердит свое!

Однажды Иосель не встретил Савицкого за местечком, и как раз в самый тяжелый для Иоселя день за все это последнее время.

Совсем рано утром, едва только он проснулся — в синагоге было еще темно — явился синагогальный служка с радостью, с ликованием:

— Слышишь, Иосель! Из Браткова доктор и студент уже уехали! А ночью — слышишь? — в час новолуния хватил сильный мороз, лютый мороз! Конец эпидемии! — выкрикнул служка и побежал с доброй вестью стучать в окна, звать: «В синагогу, в синагогу!»

Иосель быстро оделся — то есть набросил на себя капоту, которой укрывался, — и стал метаться по синагоге. То и дело он подкакивал к окну — посмотреть, не светает ли, не пора ли уже бежать навстречу Савицкому. Едва лишь рассвело, он помолился и помчался натошак за город. Он чувствовал, что без утешения Савицкого он не выдержит — у него разорвется сердце.

Голодный бродил он до самой обеденной поры — Савицкий не пришел, так он должен ждать! Часто случалось, что Савицкий приходил лишь после обеда.

Он голоден, страшно голоден. Но ему и в голову не приходит — вернуться в город поесть; он должен ждать Савицкого. Без него, без его утешений кусок не полезет ему в глотку; у него, Иоселя, опять будет страшная ночь, его снова будет тянуть к себе веревка... Нет, один раз он может и попоститься!

Проходит еще час, уже темнеет. Матовое пятно зимнего солнца, скрытого за тучами, опускается все ниже и ниже, и вот-вот исчезнет за мельницей Василия. Иосель дрожит от холода; он делает пробежку, хлопает руками друг о друга, что-

бы согреться, а Савицкий все не показывается! Так он еще ни разу не запаздывал!

Иосель начинает думать, что с Савицким, должно быть, случилось несчастье, — он, верно, заболел, свалился... «Или, может быть, — думает Иосель и приходит в ярость, — он вовсе играет в карты, — мало ли что можно ждать от гоя!»

А солнечное пятно садится все ниже и ниже, и на второй, более чистой стороне неба показывается другое — белое пятно, узкое, как серп, — это молодой месяц. Уже пора предвечерней молитвы.

Иосель теряет надежду, — Савицкий, верно, не придет. Его начинают душить рыдания. Голодный и замерзший бежит он в синагогу — не опоздать бы на предвечернюю и вечернюю молитвы.

На улицах он почти никого не встретил. Мужчины на молитве. Сквозь застекленные двери маленьких лавчонок то и дело вырываются веселые женские голоса, которые преследуют его вплоть до ступени синагоги. Ноги у него дрожат от усталости и от страха. Наверное, пришло какое-то радостное известие, если женщины разговаривают так громко и смеются!

Он с трудом поднимается по ступенькам. У двери он остается стоять. У него не хватает духа поднять щеколду. Еще не молятся, но народ разговаривает так дружно, так весело; бог знает, что за радость у людей!

Внезапно его охватывает гнев, и он распахивает дверь.

— И Савицкий, — были первые слова, которые он услышал, — уже тоже, слава богу, уехал, удрал!

— Верно? — спрашивает кто-то.

— Сам видел! — отвечает второй. — Собственными глазами.

Иосель больше не слышал. Ноги у него подкосились, все тело его стало дрожать; он едва дотопался до скамьи и остался сидеть, как окаменелый, с большими, выпученными глазами...

6. КОНЕЦ

Радостно настроенный народ этого не заметил. Все вышли после вечерней молитвы (некоторые лишь после прочтения отрывка из Талмуда или главы из Мишны) и оставили Иоселя одного, как всегда. Даже хозяин, у которого он должен был в тот день столноваться, не догадался подойти и спросить, почему Иосель не явился к обеду и не идет к ужину. Наравно со всеми он спешил домой, рассказы

жене и детям добрую весть, что Савицкий удрал.

Лишь на другой день заметили, что Иосель отсутствует. На третий день, когда многие стали спрашивать, куда он делся, отвечали, что чорт его не взял, и синагогальный служака сам затопил печку. Печь дымила, и весь день вспоминали Иоселя: растапливать, нужно признаться, он мастер. Начинали подумывать, не отправился ли он в Палестину или, может быть, в

Аргентину? Правда, у него не было и трешки на расходы, но чего не бывает,—так он в пути будет побираться!

Лишь на шестой день, когда стало известно, что приезжает ревизор по патентам, первый купец, который полез на чердак молельни, чтобы спрятать там кусок заграничного бархата, увидел, что Иосель висит и уже окоченел.

Перевел с еврейского СЕМЕН РОДОВ

Л. КВИТКО

Колодец

Колодцу по сердцу, когда берут в нем воду,
Когда ведро, гремя, спускается на дно,
Где, жесткою губой впиваясь в грунт, оно
Влечет студеной ключ из недр на свободу.
Как светится лицо колодца, как дрожит
От звонкой болтовни ведра в прохладе темной,
Когда с поклоном, в жажде неуемной,
Оно, танцуя, по воду бежит!
А как лицо колодца вспыхнет в брызгах радуг,
Когда Маруся погрузит в него ведро.
Она, как серебро, вытаскивает влагу,
Чтобы, избави бог, не расплескать добро!
И всадник как-то раз, издалека приехав,
Вспотевшей лошади своей здесь дал попить,
И в гулкой глубине колодца стук копыт
И шелест пьющих губ подхватывало эхо.
Но вот случилось так, что осенью унылой
Колодец был заброшен. Он заглох,
И ясное лицо покрыла плесень, мох,
И стала гниль точить его живые силы.
Колодцу по сердцу, когда берут в нем воду,
Когда ведро, гремя, спускается на дно,
Где, жесткою губой впиваясь в грунт, оно
Влечет студеной ключ из недр на свободу.

Перевел Б. ИРИНИН

Крамской

Повесть¹

УЕЗДНОЕ

День начался как всегда. Настасья Ивановна Крамская проснулась на рассвете, разбуженная пастушеской свирелью. Пастух медленно шел по длинной улице, останавливаясь против дворов, где держали скот. У Крамских его не было. Но в пригородной казачьей слободе Новая Сотня все женщины-хозяйки вставали рано. Настасья Ивановна торопливо поднялась. Оберегая спокойный сон мужа Николая Матвеевича и троих сыновей своих — Миши, Феди и Вани, она старалась бесшумно затопить печь, не стукнуть дверью, не зазвенеть посудой. Солнце светило все ярче, забиралось выше; на крашенных полах лежал пучок лучей, проникших в щели глухих ставней. Настасью Ивановну особенно беспокоило крайнее окно, в которое больше всего попадало света. В углу спал хозяин дома — Николай Матвеевич. Настасья Ивановна завесила окно. Открывать ставни пошла Крамская только после того, как в стенных часах зашипило полчас седьмого, из будочки над циферблатом показался носик кукушки и она закуковала.

Настасья Ивановна не знала тишины и мира в своей семье. Николай Матвеевич обладал несносным характером. Жена покорно и беззаветно переносила нескончаемые придирки и брань мужа. Но ничто не могло успокоить его. Писец Городской думы города Острогожска, Воронежской губернии, приниженный на людях, Крамской дома, в маленькой своей хате, был деспотом. Самые близкие и родные ему люди расплачивались за все обиды, унижения и неудачи на службе, которые испытывал

каждый день бедный мелкий чиновник. Настасья Ивановна как будто была виновата во всем, чем обидел Николая Матвеевича этот неприветливый и несправедливый ко всякому маленькому человеку мир.

Крамская открыла ставни. Солнечный свет хлынул в дом. Опрятно прибранная квартирка из трех небольших комнат ожила. Николай Матвеевич спустил ноги с кровати, поморщился и сразу пожаловался на холодный пол. Настасья Ивановна молча слушала, как муж журил ее, обвиняя в том, что плохо протоплена печь, никто не наблюдает за подпольем и, не спросив хозяина, открыли с улицы люки, когда открывать их еще совсем не пора. Молча одевались старший сын Миша, служивший вместе с отцом в Городской думе, и Федя, учитель русского языка в приготовительном классе Острогожского уездного училища.

Вставать не надо было одному мальчику Ване, меньшому из Крамских. Он проснулся, крадучись выглядывал из-под одеяла на недовольного отца и старался понять, почему тот сердится каждое утро, — сначала брюзжит потихоньку, потом кричит и громко ругается. Мальчик с сочувствием наблюдал за тихой и безмолвной своей матерью, что с раскрасневшимися щеками хлопотала у печки, готовя завтрак отцу и старшим братьям. Сама она завтракала с Ваней. Мальчик сравнивал отца и мать. Сердце его лежало к матери. Он никак не мог согласиться с ней, что надо любить отца, когда любить его не за что, когда он всем в доме делает одни неприятности. Вот и сегодня тоже. Мать подала на стол розовые, поджаренные блинчики, прямо со сковородки, в паре; они еще немного потрескивали, и из них плавились пузырьки душистого масла. Блинчики показались Ване такими вкусными, что он еле удержался, чтобы не вылезть из-под одеяла и не сесть за стол вместе со всеми. Миша и Федя оценили

¹ Печатается с сокращениями. Не вошли главы: «Грое» (Крамской, Репин, Васильев), «В квартире Менделеева», «У Стасова», «История одной незавершенной картины».

машину стряпню. Мальчик это видел по их довольным лицам. Отец, наморщив брови, повернул на тарелке блинчик, потыкал в него вилкой и покачал головой. Он ел нехотя, укоряя стряпуху в том, что блинчики пережарены и совсем испорчены. Ваня с возмущением смотрел на хмурое, в глубоких морщинах, лицо отца, на его большие серые глаза, полные скуки и злости, обращенные на маму. Мальчик вспомнил, как третьего дня на завтрак были оладьи, отец бранил маму за то, что она их не допекла, наелся и последнюю бросил на пол. Когда мама заплакала, отец стал кричать на нее, пнул оладью, пнул кошку, подвернувшуюся под ногу, и ушел в присутствие, хлопнув дверью. Мальчик закрылся с головой одеялом, чтобы не видеть и не слышать отца. Так надо было лежать до тех пор, пока кукушка из будочки не прокукует восемь раз. Во время боя часов отец с Мишей и Фёдей непременно уходили. Ваня нетерпеливо дожидаясь этой приятной минуты. Тогда наступала свобода.

Мальчик представил себе дорогу, по которой шел отец, удаляясь от дома. Улицы, где жил Ваня, была самая крайняя к реке Сосне. Отец должен был отсюда повернуть направо, пересечь перекресток, пройти один переулок — и тогда свобода. Новая Сотня оставалась позади. Вот папа вышел на огромный, широкий выгон в несколько верст длиной. Он отделял родную ванину свободу от города Острогжска. Там, на Центральной площади, высокий старинный собор и еще какие-то церкви, желтый с белыми колоннами гостинный двор, лавки, присутственные места под двуглавым орлом, большие красивые дома. От Центральной площади до выгона протянулась самая лучшая в городе — Харьковская улица. Она кончалась у городской околицы. Дальше столбовая дорога на Харьков. По сторонам ее, по пустынному выгону, стояли кузины. Мимо них, ускоряя шаг, отец добрался до заставы и скрылся из глаз. Теперь до шести часов вечера, а иногда до самой ночи, можно было жить спокойно, дружно и весело с одной мамой.

Пока мальчик дожидаясь знакомого писка кукушки в часах, по циферблату, расписанному желтыми цветами, какие никогда не растут на земле, стрелка медленно ползла с одной черной ступеньки на другую, подбираясь к цифре «8». По своему рисунку восьмерка походила на два бублика, спекшихся вместе. Ваня так ее и называл «бубликами», старательно и красиво

выводя повсюду на глине, на стенах и заборах и даже на печке. Час расставания с отцом так интересовал мальчика, что Ваня с удовольствием научился раньше других цифр писать восьмерку.

Боясь выглянуть из-под одеяла, мальчик с лукавой усмешкой писал пальцем у себя на груди заветные «бублики». И, наконец, кукушка носиком открыла дверку своей будочки, откуковала, в старом механизме часов что-то неповоротливо зашевелилось, глухо кашлянуло, и начался долгожданный бой. Николай Матвеевич не договорил последнего бранного слова и шагнул за дверь. Ваня замер, выждал, быстро откинул одеяло и радостно воскликнул:

— Ушел-таки па свою должность! Мама, давай завтракать! Теперь тебя никто не будет ругать.

Настасья Ивановна привыкла к таким выходкам своего маленького сына, несколько раз за них шлепала его, внушала к отцу любовь и почтение, но и шлепки и все слова ее были напрасны: мальчик не признавал за собой никакой вины. И мать стала кормить Ваню завтраком, как будто не слышав, что он сказал сейчас.

Мальчик торопился. Последний блинчик он зажал в руке и вместе с ним выскочил на улицу. Там поджидали слободские ребята: мешчане и казачата. Отец Ваши был мешчанин, мать — казачка. На улице проходила вся жизнь мальчика, привольная, свободная, увлекательная. Домой прибегал, когда проголодается да к приходу отца со службы. Николай Матвеевич почти не замечал сына. Повертевшись немного у него на глазах, мальчик снова исчезал за дверью.

Вдоль выгона тянулись глубокие овраги, где ребята играли в прятки, жгли костры, пекли в золе картошку, сражались артель на артель, наступали, отступали, брали штурмом крепости, пленных, несли убитых и раненых, пугали проезжающих по столбовой дороге задремавших ямщиков, внезапно с пронзительным свистом появляясь из-за кустов у обочины дороги. Эта игра была самая соблазнительная. Коня шарахались в сторону, вздымались на дыбы, россыпью звенели бубенцы на лошадиных крутых шеях и тревожно, звонко, точно напуганный досмерти, заливался колокольчик под расписной дугой. Ребята смело вылезали из оврага на дорогу, не выпуская пальцев из рта и провожая по несущуюся птицей тройку оглушительным свистом. Ямщика швыряло в тарантасе из стороны в сторону, растерявшийся и обремененный ямщик не мог справиться с обез-

умевшими конями, напрасно натягивая возжи. Кони мчались в облаке пыли, тарантас гремел по камням, подпрыгивал в колдобинах. Вместе с ним высоко возносило вверх беспомощного ямщика в красном кушаке. Кони и колеса разбрасывали направо и налево все, что могло лететь. Позади оставался огромный серый хвост пыли. Ребята весело смеялись, долго наблюдая, как неслась все дальше и дальше неукротимая тройка, пока не скрывалась где-нибудь за поворотом.

Здесь, на выгоне, на дне обширного оврага, поросшего густой ивой и шиповником, однажды Ваня Крамской так зашпался, что не заметил приближения чего-то необычайного и странного. Накануне прошел сильный дождь. Он смыл с деревьев и цветов всю пыль. Чистая, освеженная листва благоухала. Солнце, тоже как будто вымытое и начищенное, в блеске и сиянии, медленно катилось по своей ровной привычной дороге. Было ясно, тепло, пахуче. Ваня и его закадычные друзья Гриша Турбин и Петя Бравый расставили между кустов силки и нетерпеливо дожидались, когда в них попадут птички. После долгого подсиживания попалась какая-то желтокрылая, пестренькая пичуга, даже названия которой мальчики не знали. Они посадили ее в общую клетку, принесенную с собой. Немного помаяв клетку они подобрали еще в прошлом году: кто-то обронил ее с воза на харьковской дороге. Посадили и уселись вокруг своей редкой добычи, восхищенные и взволнованные.

Вдруг где-то в конце выгона, в дальнем овраге, затрубил бык, силую и жалобную трубу его тревожно подхватили коровы, в слободе затаивали по-ночному собаки, и — будто на рассвете — заперекликались встревоженные петухи. Над оврагом махнули где-то темным и сразу стали надвигаться сумерки, окрашенные отблесками громадного далекого пожара. Быстро потухал день. В потемневшем овраге резко и сильно запахло сыростью, в прохладной волне начинавшегося ветра закачались ветки кустарника, и в ребячьей клетке желтая птичка взерошенно прижалась на жердочке в углу, закрыв глаза. Спускалась внезапная ночь, наполненная колеблющимся жрновым дымом. Ваня Крамской с товарищами не могли ни понять, ни объяснить этого. Мальчиков обуял ужас. Забыв силки и клетку свою, они кинулись бежать домой. Наверху по выгону уже неслось ревущее стадо. Его обогнали два пастуха, растерявшие на бегу картузы свои. Едва мальчики выбрались

из оврага и увидели перепуганных животных, ужас ребят увеличился. Дальше они мчались без памяти. Навстречу ребятам из слободы доносился вой собак, каким они зимой в метели встречали волков, идущих из-за реки Сосны к скотным хлевам на приречной улице. Ваня Крамской растерял своих товарищей и, ничего не помня, едва добежал до своего крыльца. Здесь стояла мать и улыбалась.

— На вот закопченное стеклышко, — спокойно сказала она, обнимая перепуганного сына и подавая ему маленький осколок, — простыми глазами нельзя смотреть: ослепнешь. Не бойся, это солнце затмевается.

Солнце мальчику казалось всегда не таким, как говорили о нем взрослые. Ваня думал, что это совсем не огненный шар, а огромная золотая булава, с которой шел по небу какой-то неизвестный великан. Сейчас мальчик наставил на солнце стеклышко и поразился: солнца-великана не было, от него осталось только тонкое-тонкое кольцо, внутри же бывшего солнца лежала черно-красная плотная, круглая ставня.

— Страшно? — спросила мама.

— Да, — прошептал мальчик. — Неужели его больше никогда не увидим? Всегда будет ночь?

— Нет, — успокоила мать, — солнышко скоро опять выйдет, все посветлеет, и беги играть в овраги, сколько хочешь. Оно только подпугает, а ничего людям не сделает.

Когда же снова занялся еще более лучезарный день и закопченное стеклышко Настасья Ивановна убрала подальше, чтобы не порезался сын, он, на всякий случай, не хотел никуда уходить от дома. За силками и клеткой собрались трое друзей на следующее утро.

Из оврагов шли на Сосну, просиживали на берегу подолгу, любовались ее свинцово-бурой гладью, кидали через реку камни, пускали по глади тонкие плитки. У кого прискочит плитка до десяти раз, тот считался самым ловким, победителем, коноводом. Ему и подчиниться сладко.

Над Сосной стоял большой купеческий дом с широким двором, где было много злых и опасных собак, лязгающих своими длинными цепями. Сквозь проверченные дырки в высоких заборах просовывали соломинки. Собаки были всегда настороже, все видели, все слышали. Они кидались на неуловимые соломинки, точно на перелезшего через забор вора. По бокам дома купец выстроил большие амбары, складывая в них хлеб, соль, лен. Между амба-

рами, почти до крыши, навалено было много толстых гладко выструганных бревен. Ваня Крамской задумался — для чего купцу столько свежего леса, лежавшего без употребления несколько лет подряд? И никто не понимал. Бревна от времени темнели, потом стали сизыми, как вычесанный лен. Около них было удобно играть и в дождь и в ветер. От ливня можно спрятаться, ветер не продувал крепких деревянных штабелей. Никто из взрослых сюда никогда не заходил. Не бывал и сам купец. Здесь ребята играли в мяч, в свайку. С бревен пускали белого змея с рыжим хвостом. Месяц подымался за Сосной, когда расходились по домам, чтобы завтра снова с утра до вечера гонять возле амбаров деревянный шар, метя попасть им в круглую ямку в земле, зорко и ловко охраняемую противником.

Иногда Ваня Крамской забывал обо всех играх и не выходил из своего сада за хатой. Плетень к плетню жил регент кладбищенского хора. В доме регента всегда толпилось много народа — мужчин и женщин. Через открытые окна отсюда часто слышались хоровое пение и музыка — скрипка, флейта. Один из братьев регента любил играть на флейте в глубине густого, заросшего без призора вишневого сада. Играл флейтист поздним вечером, даже среди ночи. Ваня Крамской подкрадывался к плетню и слушал с восторгом, со слезами, обожая артиста и преклоняясь перед ним. Днем мальчик забирался на старую вишню с раздвоившимся стволом, почти на самую ее вершинку. Флейту Ване заменяла гребенка, обернутая по зубцам толкой папиросной бумагой, утащенной у брата Федя-курильщика. Что-то похожее на звуки флейты можно было передать на гребенке. Мальчик подолгу играл, наслаждаясь и радуясь своему искусству. Но он портил дерево. Настасья Ивановна, выйдя из дома и услыша сыновью музыку, спешила к погибающей вишне. Ваню насильно стаскивали на землю. И не всегда ему это обходилось даром.

По родной слободской улице вихрем скакали казаки, низко пригибаясь к шее коней своих. На казаках были высокие черные шапки набок. Удержаться они могли на голове только потому, что были прикреплены двумя узкими черными ремешками, застегнутыми под подбородком. На коричневых лошадях, с длинными пиками, несущиеся вперед, точно по воздуху, казаки завладели сердцем Вани. Он забирался на свой плетень, почти ложась

на него грудью, и пускал во весь опор деревянную лошадь.

Семи лет мальчик начал рисовать и лепить казаков из глины, благо ее было много под погребом. Тогда же Ваня у соседа-музыканта выучился читать по псалтырю и часослову. В уездном училище, куда поступил мальчик, рисовали с первого класса. До сих пор Ваня учился плохо, просидев два года в приготовительном. Только теперь, переведенный в первый класс, мальчик преобразился. Старик, учитель рисования, почуял в ученике способности и поощрял их, насколько умел. Но умел он немного и часто сердился на мальчика, слишком долго возившегося над заданными ему уроками.

— Я тебе дал литографию «Святого семейства» чуть не год назад, — укорял учитель, — ты все тушуешь, тушуешь, и неизвестно, когда кончишь. Тебя вон уж обогнали все, кому никогда и художником настоящим не бывать. Ах ты, капля такая, настойчивая в одной лени!

Ваня Крамской был маленький худенький мальчик с голубовато-серыми глазами, настолько застенчивый и скромный, что он краснел и смущался при всяком разговоре о нем, особенно же о его рисунках. Если бы только было не стыдно показать старику большую плетеную корзину, стоявшую дома под кроватью Вани и полную рисунков — домиков, деревьев, казаков, учитель не стал бы сердиться.

— Что молчишь? — сурово спросил старик: — Не стыдно? Талант свой зарываешь в землю! Лентяй! Как же ты будешь делать большие картины или образа по церквам, если ты с простой тушевкой, с готового, не можешь справиться?

— Тушевка мелкая, — возразил мальчик, не подымая глаз от парты, — очень тонкая...

— Я знаю, что даю! Ты еще спорить со мной будешь! Сделать ж следующему уроку!

Но мальчик так и не окончил «Святого семейства»: старик учил скучно и не тому, к чему стремился юный ученик. Дома, на свободе, мальчик рисовал все, что видел его глаза. Он любовался переливами света вдаль, за рекой Сосной, на деревьях, не мог оторваться от цветущей вишни, от баб у колодца в цветных шалих и юбках. Мальчика привлекало все живое, реальное, настоящее.

Ваня учился немудрым наукам, преподаваемым в уездном училище, легко и шутя, шел из года в год первым учеником. Это примирало с ним Николая Матвеевича, ко-

со поглядывавшего на занятия сына рисованием и живописью.

— Эй ты, будущий Петр Агеевич, — иногда раздраженно говорил Николай Матвеевич, недружелюбно смотря на сына, перепачканного красками. — Почерк надо иметь хороший. Это главное. В каллиграфии упражняйся. Мазня твоя ничего не стоит. Живописцы без сапог ходят.

В опорках и халате, без шапки, нищий и несчастный, бродил по Острогожску художник-неудачник Петр Агеевич Истомина. Он колол глаза Николаю Матвеевичу. Отец задумывался над судьбой сына и осуждал склонность его к такому ремеслу, которое не кормило.

— Есть художник Карл Брюллов в Петербурге, — отвечал мальчик. — Он знаменитый и богатый. С вельмож портреты пишет.

— Небывалые рассказы! Откуда ты знаешь? Не Петр ли Агеевич тебе наболтал об этом спьяна? Ты у меня не смей к нему даже подходить.

— Я не подхожу. Он старей. Я мальчик.

— От кого же ты наслушался о каком-то выдуманном Карле Брюллове?

— Я не наслушался. Я сам читал в журнале.

С тех пор как мальчик научился грамоте, он пристрастился к чтению. Брат-учитель Федор Николаевич для себя приносил домой книги из училищной библиотеки. Но первым их захватывал Ваня. Мальчик перечитал много старых журналов — «Отечественные записки», «Библиотеку для чтения», «Современник», «Вестник Европы».

— Я вот Федору скажу, — ответил Николай Матвеевич с сердцем, — чтобы не давал тебе читать без разбору всякие пустяки. Мал еще отца оспаривать. Раз говорю — не пусти тебя в нищие, значит так и будет. Х-художник! Письмоводителем сделаю в думе или магистрате. Потом благодарить будешь. Почерк у тебя подходящий, лучше моего.

По Николаю Матвеевичу не только не удалось убедить сына бросить ничего не стоящее «худое» ремесло, а пришлось постепенно узнать о существовании, кроме Карла Брюллова, еще более знаменитого художника. — Владимира Лукича Боровиковского.

— Он, папа, уроженец Острогожска, — сказал однажды мальчик. Владимир Лукич родился в 1757 году, умер в 1825. Петр Агеевич сам по себе. Бывают всякие художники.

Николай Матвеевич на минуту растерялся, потом нахмурился и резко ответил:

— У тебя, должно быть, никогда не выйдет блажь из головы! Покойников-художников каких-то сыскал. Кто о нем помнит, кроме таких негодных мальчишек, как ты? Никто. Твой дед в то же самое время жил. Был войсковой житель. Простой писарь. Вон откуда наш род писарские должности занимает. Больше ста лет. Твой Боровиковский, может быть, деды тоже не ел, как и Петр Агеевич, а писаря Крамские никогда без ужина спать не ложились. Высечь тебя следует, тогда забудешь глупые примеры приводить отца. Зло неискоренимое!

Распря между отцом и сыном неожиданно прервалась. В 1849 году, когда мальчику исполнилось двенадцать лет и он начал уездное училище, Николай Матвеевич умер. Так отец и не увидел ни аттестата сына с отметками «5» по всем предметам, ни похвального листа его, выданного первому ученику.

Старшим в семье стал Михаил Николаевич, заняв и должность отца своего в Городской думе. Писаря Крамские несли родовую службу! Ваня с гордостью принимал домой все свои школьные отличия — книжки, карандаши, голубой пенал, еще пахнувший свежей краской и деревом. Мальчик разложил аттестат и похвальный лист перед Настасьей Ивановной. Но она была неграмотная. Мать только любовно подержала в руках толстую гляцевую бумагу с золотой каемкой по сторонам, всплакнула от радости и горячо обняла своего хрупкого сынишку.

— И какой же ты у меня еще маленький, — сказала она, утирая слезы, — не знаю, куда тебя и девать такого. Поучись еще годок в том же классе...

И Ваню оставили. Ему нечего было делать в училище. Он иногда заменял учителя. Тот же самый аттестат с теми же отметками выдали мальчику следующей весной, только переправив года. Тесерь и жалчивая мать решила, что Ваня достаточно возмужал и мог помогать семье. Писарей Крамских прибыло. Не зря покойный Николай Матвеевич верил в хороший почерк своего младшего сына. Постаревшая кукушка начала куковать из своей будочки полчаса седьмого для троих молодых Крамских. Никто не обижал Настасью Ивановну, печка топилась спокойно, завтраки дети хвалили, — и ровно в восемь часов по-отцовскому торопились на центральную Острогожскую площадь.

Юный писец Иван Крамской, сидя на прохудалом стуле в Городской думе, целый день переписывал набело какие-то непонятные ему и ненужные бумаги. Ваню даже отличало начальство. Мальчик сочинил разным превосходительным и важным лицам длинные рапорты. Служил он за два рубля пятьдесят копеек в месяц.

Настасья Ивановна не радовалась. Мальчик прибегал домой раньше братьев и, едва переступив порог, забывал, где был, чем занимался поневоле. Схватив краски и карандаши, он жадно, не уставая, рисовал, писал, иногда дома, иногда отправляясь в свободные окрестности.

— Не в коня корм, не в коня корм, — говорила мать, недовольно провожая сына. — Это же наказание какое-то. Будто ты у меня пьяница, и запой у тебя, и хмелеешь ты, как от водки, от пустого дела твоего.

— Не вылечить, мама, — твердо отвечал мальчик, — ни за что не вылечить. Только и отрада у меня — порисовать. Учиться нет денег у нас. Рисую я — никто на меня денег не тратит.

Настасья Ивановна безнадежно махнула рукой и сердито ворчала:

— Крестили тебя 29 мая твоим именем Ивана Блаженного... Так тебе блаженным и быть.

В конце концов мать поняла, что ее последний сын несчастен: его заставляли делать ненавистную ему работу. Мальчик давно знал, что в Воронеже, недалеко от Острогожска, была живописная мастерская какого-то мастера Боброва.

— Пойдем, — однажды сказала мать. — Учись. Помру, — не скажешь, что век твой заела, как злодейка какая-то.

С котомками за плечами они пришли в Воронеж. Мечта мальчика исполнилась. Бобров выслушал Настасью Ивановну и согласился взять Ваню в ученики на шесть лет.

— Контракт только через три месяца я заключаю, — предупредил Бобров. — когда малость присмотрюсь к мальцу. Может, у него и способностей нет к живописи. А такой нам совсем не нужен.

Ваня был уверен в себе и весело поглядывал на мать. Настасья Ивановна заплакала на плече у своего мальчика и отправилась в обратную дорогу одна: устроила.

Три месяца юный художник растирал краски, носил обед мастерам, расписывавшим одну воронежскую церковь; потом хозяин заставил ученика вместе с подмастерьями залезать по пояс в холодную

осеннюю воду в реке, — замачивать бочки для разных хозяйских солений на зиму и прикатывать бочки обратно на высокую гору, где находилась мастерская. Мечта Вани обучаться живописи рассеялась. Настасья Ивановна получила отчаянное письмо обманутого сына и в тот же день вышла в Воронеж. Бобров не отпускал способного ученика, требовал деньги за прокорм, грозил, ругался, совал для подписи заготовленный контракт. Настасья Ивановна привела сына обратно. В родном городе снова пригодился только писарь Иван Крамской. Неудачного художника взял на службу мировой посредник по полюбовному межеванию — Аким Петрович Лавров.

Искусство Вани понадобилось для дочерей посредника: Крамскому заказали сделать формы модных воротничков. Мальчик исполнил, довольные и благодарные девушки сделали ему реверанс, а сам Аким Петрович после занятий остановил удивленного художника и сказал:

— Извольте-ка взять!

И подарил ему два яблока.

Петр Агеевич все еще бродил по Острогожску голодный и раздетый, служа живым предостерегающим примером всем, кто мечтал о звании художника. Никто серьезно не относился к увлечению мальчика Крамского искусством. Родные и знакомые верили, что с годами он забудет свои детские забавы. Ваня чувствовал себя одиноким. Он не потерялся среди всеобщего равнодушия. Оно даже вызывало в нем еще большее упорство, настойчивость, любознательность, желание добиться своего, наперекор всем неудачам и препятствиям.

Мальчику исполнилось пятнадцать лет. Он рисовал, писал стихи, вел дневник, искал по всему Острогожску книг. Мечты и стремления Вани были близки и понятны его товарищам — Грише Турбину и Пете Бравому. Они тоже рисовали, любили читать и, вместе со своим другом, подчиняясь ему во всем, хотели стать живописцами. Старый учитель рисования, отец Гриши Турбина, писал акварелью, имел небольшую собственную библиотеку. Ваня Крамской кой-чему научился от акварелиста и постоянно брал у него книги, пока не перечитал их все.

Поддержка пришла случайно. Однажды у Федора Николаевича Крамского собрались гости, его товарищи по Острогожскому училищу. Среди них новый знакомый Федора Николаевича, художник-самоучка и любитель-фотограф Михаил Борисович Тулинов. Он никогда не бывал еще у Крамских и никого из них не знал, кроме учи-

теля. Федору Николаевичу захотелось показать Тулинову рисунки своего брата. Но когда Ваня услышал об этом из соседней маленькой своей комнатухи, он без памяти бросился бежать из дома. Тулинов показался мальчику таким страшным судьей, что единственное спасение от стыда и позора было в бегстве. Михаил Борисович заинтересовался: через несколько дней нарочно пришел к Крамским, чтобы познакомиться с Ваней и посмотреть его работы. И во второй раз он почти насильно добился от смущенного мальчика согласия вынуть рисунки из корзины под кроватью. Руки у Вани дрожали; корзина была на замке, он еле понал ключом в замочную скважину. Мальчик долго рылся в большом ворохе рисунков и акварелей, никак не находя того, что он искал. Михаил Борисович присел на корточки около корзины и сказал:

— Ты мне покажи все. Я сам отберу лучшие.

— Если они есть, — глухо ответил Ваня. — Я не хочу показывать такие, какие сам считаю дрянью.

— Вот ты какой сердитый, — сказал Тулинов с улыбкой. — Я читал, что художники часто ошибаются. Они ценят у себя далеко не лучшее и бракуют самое хорошее.

Мальчик задумался и нехотя пробурчал:

— Ну, уж смотрите. Все равно не поправится. Мне негде было учиться. Я сам. Все смеются над моей мазией.

Пока Михаил Борисович разглядывал рисунки, мальчик следил за выражением его лица. Тулинову было тридцать лет, он умел владеть собой, и Ваня никак не мог понять, произвели ли его рисунки впечатление или никакого. Но вот Михаил Борисович начал раскладывать их на три пачки.

— Вы это зачем? — спросил мальчик.

— Да вот хочу им отметки поставить, — ответил Тулинов. — Я ведь тоже самоучка. Могу и ошибиться. Не взыщи. Мы с тобой сейчас проверим. Эти, например, мне кажутся лучше, эти хуже, эти еще слабее. Как, по-твоему?

Мальчик заулыбался.

Только один рисунок он переложил из худшей пачки в среднюю.

Тулинов еще раз, внимательнее, рассмотрел его, медленно пронес по воздуху, точно колеблясь, куда опустить, и признался в ошибке. Ваня покраснел и облегченно вздохнул.

— Ну, вот видишь, — сказал приветливо Михаил Борисович, которому с первого

взгляда полюбился мальчик своей серьезностью и пытливостью. — Отыскались и лучшие, а ты сомневался. Ты видел в Острогжске у кого-нибудь картины?

— Нет. В соборе и в кладбищенской церкви я образа смотрел. И на стенах и на холсте.

— Значит, ты видел настоящие картины. Их писал художник из Харькова, Величковский, когда еще нас с тобой на свете не было, в восемнадцатом веке. У нас ведь и собор незаурядный. Выстроен по плану знаменитого Растрелли. В таком соборе место и хорошим иконам-картинам. А чем тебе понравились картины Величковского?

— Очень уж выразительно написаны. И рисунок какой-то особенный, и краски, и все. Я думал — вот бы так научиться. В других церквях не то: там богомазы работали.

— Я знаю еще лучше, — сказал Михаил Борисович, любясь задумавшимся мальчиком. — Целый иконостас знаю. Мастер-то какой делал! Наверное, не слыхал о Боровиковском, а ты ведь с ним земляк.

Ваня поднял на Тулинова глаза и посмотрел лукаво.

— Вы про село Тишанку говорите, под Острогжском? — сказал он. — Мы с Гришей Турбиным и Петей Бравым туда пешком ходили. Я про Владимира Лукича Боровиковского давно читал, в третьем еще классе. Иконостас мы три раза видели.

— Э, да ты, Ваня, молодец! — вырвалось у Тулинова. — Ты уж, оказывается, человек бывалый.

Мальчик пошел провожать своего гостя. Дорогой Михаил Борисович спросил у Вани, почему он мало пишет красками.

— У меня, кроме туши и французского карандаша, ничего нет, — стесняясь, ответил мальчик. — И ни одной хорошей кисточки. Гриша Турбин, правда, одну подарил, да случилось несчастье: я не убрал с окна кисточку — кошка Тигрушка всю ее истрепала.

— Плохо, — сказал Михаил Борисович, — придется пособить. У меня есть краски Аккермана и недурные кисточки. Заходи ко мне, поделись.

Мальчик не поверил сначала такому счастью. Как-то пытливо взглянул на Тулинова, успокоился и, запинаясь, поблагодарил. Почти всю ночь Ваня не спал, думал о красках Аккермана. Настасья Ивановна уже вставала под привычную свирель пастуха и шелканье его стреляющей плети, когда мальчик только засыпал. Но в девять часов он услышал кукушку и вскочил. За-

пыхавшийся, подбежал к дому Михаила Борисовича и остановился у закрытых ворот, испытывая неловкость. Было еще рано, и Тулинов мог спать. Ваня походил с полчаса по улице из одного конца в другой и, наконец, не вытерпел. Он застал Михаила Борисовича за работой. На большом листе бристоля Тулинов оканчивал акварелью знакомую мальчику вещь — «Молящегося царя Давида», с соборного Величковского.

— Милый друг, — встретил его ласково Тулинов, — очень хорошо, что не откладываешь дела в долгий ящик. Я почему-то был уверен: непременно придет Ваня. — Мальчик стоял посреди комнаты красный, взволнованный, теребя за козырек свой картуз. — И хорошо сделал. Я тебе еще вчера приготовил и краски и кисточки. Работай. Когда все выйдут — скажи. Дам снова. Сядь со мной рядом. Я сейчас окончу работу и покажу тебе мою маленькую библиотеку. У меня кое-что есть о художниках. Бери домой книги и читай.

Ваня тихопоко уселся возле Михаила Борисовича, и не отрывая глаз, стал смотреть за его рукой. Несколько минут Тулинов работал молча, потом неожиданно для мальчика спросил:

— Ты о чем сейчас думаешь, Ваня?

— О вас.

— А не о Величковском?

— И о нем.

— Что же ты думаешь?

— Я хотел бы научиться вполниту так писать акварелью, как вы.

— Я не стою твоей похвалы, Ваня. Это далеко не так хорошо, как тебе с неприщипки кажется. Лучше меня будешь работать. Лучше даже Величковского, если захочешь. Если художник с талантом, ему нужна только настойчивость, упорство, воля, работа, работа и работа. А ты, кажется, из таких.

Окончив писать, Михаил Борисович показал мальчику свои рисунки, акварели, фотографии, вынул из книжного шкафа несколько книг и предложил на выбор любую. Ваня замаялся.

— А нельзя посмотреть другие? — спросил он.

— Тебе эти не нравятся?

Тулинов с удивлением глядел на мальчика, даже немного разочаровавшись в нем: Ваня не сумел оценить хороших книжек.

— Я их читал.

— Когда же ты успел! — воскликнул, волнуясь, Михаил Борисович. — Я сам недавно познакомился с ними.

— Если вы не верите, я могу рассказать, что в них написано.

Тулинов широко раскрыл стеклянные створки шкафа.

— Верю, Ваня. Выбирай сам, — сказал Михаил Борисович. — Я уж боюсь, что у меня ничего не найдется для тебе незнакомого.

Незнакомых книг нашлось порядочно. Мальчик бережно понес их домой.

Так началась дружба между Ваней и Тулиновым, бывшим вдвое старше мальчика. Она не прерывалась тридцать пять лет, не омраченная ничем, до конца жизни Крамского.

Друзья часто встречались. Мечты, чувства и думы мальчика нашли в Тулинове горячую и сердечную поддержку. Ваня много узнал об искусстве и жизни от своего старшего опытного товарища, многому научился от него, с чем не мог справиться самостоятельно. Но Тулинов был самоучка. И скоро наблюдательный мальчик понял, что научиться от него настоящей живописи он не может. Недоставало школы, учителя. Понял Ваня и то, что содержать его старшему брату Михаилу Николаевичу трудно. В уездном городе Острогжске хлеб был считавый и живопись не в ходу. Ваня мечтал вырваться из родных мест. Но куда? Но как? Этого не знали ни он сам, ни родные, ни преданный друг.

Осенью 1853 года, в дождливый день, возвращаясь от Михаила Борисовича продрогший и унылый неудачник-юноша. Он с ненавистью в душе проходил по знакомой улице. Какие облезлые, тусклые, словно в серых халатах колодников, дома! Какая вокруг мокрая, печальная земля с черными, будто обгорелыми, деревьями! Все вымерло — ни травники, ни птицы, ни людей! Все надоело, все опротивело. И не было выхода. Вдруг в серой, тусклой мути дождя, струившегося со звоном по железным крышам, клокотавшего в водосточных трубах, шлепавшего о землю, в шуме и плеске воды где-то заиграла музыка. Нельзя было понять, откуда она взялась в такое неподходящее время. Удивленный мальчик огляделся по сторонам, ничего не видя. Но постепенно он начал различать вдаль, в самом конце Харьковской улицы, окутанной дождливым туманом, какое-то неясное движение. Оттуда, постепенно возникая из тумана, показалась кавалерия. Наконец, с мальчиком сравнялся оркестр. Музыканты на конях, сами кони — все было мокро, трубы запотели, с них капало. Это вступал в город перед Восточной вой-

ной первый драгунский полк, за ним пошли и пошли другие. В Острогжске и его окрестностях расположились тысячи военных. Начались ежедневные учения, маневры, смотры, балы, вечеринки, попойки. Захолустье ожило. В город, вслед за армией, понаехало всяких ловцов легкой наживы.

Среди жадных проходимцев явился в Острогжск бывший часовщик в Риге, а теперь фотограф, Яков Петрович Данилевский. Опытным глазом он окинул острогжские улицы и безошибочно выбрал место для своего ателье против городского сада. В нем было полно разгуливающих военных, и они повалили в фотографию. Прошло только несколько дней; сметливый фотограф наснимал столько портретов знатных и незнатных особ, что не мог справляться с заказами. Генералы ждали! И это уже никуда не годилось. Предприимчивый делец терял верные деньги. На беду его, запил горькую единственный ретушер, привезенный из Харькова, — запил и неизвестно куда скрылся.

Данилевский обрыскал весь город и, конечно, узнал о любителе-фотографе Тулинове. Но тот не соблазнился никакими предложениями и наотрез отказался заменить запойного ретушера. Данилевский пес убытки, в уме подсчитывал их, ужасался, и отделаться от хищника так же было трудно, как не пустить его в дом. Он бы залез в окно, в трубу, в любую щель.

В конце концов Тулинов уступил, обещал найти ему ретушера и взял несколько портретов на пробу. Соглашаясь, Михаил Борисович уже думал о Ване Крамском, хотел ему помочь, верил в него. Мальчик, при помощи Тулпнова, горячо взялся за работу. Вместе они быстро сделали ее и принесли портреты Данилевскому.

— Что я вижу! — закричал довольный хозяин ателье, сладко прижмуриваясь и прищелкивая языком. — Какая экспрессия! Их превосходительства, мои бравые и боевые генералы, будут в восторге больше, чем я! О, этот мальчик за пояс заткнул моего знаменитого негодяя-ретушера из города Харькова! Вы только подумайте, что он со мной сделал! Какое вероломство и насмешка надо мной! Я ли не платил ему больше, чем любой, даже столичный фотограф! Я вас завалю работой, Иван Николаевич! — Мальчик покраснел, а Тулинов улыбнулся: Ваню еще никто не называл по имени и отчеству. — Вы будете работать день и ночь. Но, конечно, я не могу давать столько же денег за ретуширование вам, как знаменитому харьковскому ретушеру, хотя этот пьянчужка и надул

меня и я бы никому не посоветовал брать его на службу.

И Данилевский заплатил Ване одну треть. Суя деньги и не спрашивая его согласия, Яков Петрович уже свободно поряжался мальчиком.

— А теперь мы попробуем вас с акварелью по фотографии. Вас ждут несметные заработки.

Мальчик угодил и акварельной работой.

Выручая своего хозяина-«благотетеля», Ваня успешно справлялся с заказами. Яков Петрович Данилевский был бы не самим собой, если бы упустил пригодно мальчика. Разведав о семье юного художника все, что требовалось, ловкий человек повидался со старшими братьями Крамского и получил от них согласие на отъезд Вани с фотографом на три года, когда настанет время закрывать ателье в Острогжске.

Накануне отъезда юноша записал в своем дневнике:

«Настал для меня последний вечер. Я должен завтра выехать из города в Харьков. Последний вечер я провожу в кругу своих родных и знакомых. В последний раз я вижу знакомые предметы: комнаты, мебель, гитару. Картины обвожу грустным взором, вот одна из них моей работы: «Смерть Ивана Сусанина». Вот и табачница, корбочки и прочие безделицы, вот, наконец, и любимые мои книги: «Отечественные записки» и «Современник»... Все это я вижу в последний раз, и при этой мысли мое сердце болезненно сжимается... Положим так, что мне будущее очень и очень льстит, потому что я в нем предвижу конец всех моих стремлений, но как сказать в последний раз «прости»? Как я люблю живопись! Милая живопись! Я умру, если не постигну тебя хоть столько, сколько доступно моим способностям. Как часто случалось мне, сходясь с каким-нибудь человеком, испытывать чувство, говорящее не в пользу его! Но при первом слове: «он рисует», или «он любит искусство» — я совершенно терял это враждебное чувство и, в душе уважая его, я привязываюсь к нему, и привязываюсь сильно, сильно! Я привязываюсь к нему только потому, что он любит живопись, я уважаю его в душе за то, что он уважает это высокое и изящное искусство, я его люблю и привязываюсь к нему за то, что он не отвергает его, за то, что он понимает эту стихию живописи, без которой внутренняя моя жизнь не может существовать. Живопись! Я готов это слово повторять до изнеможения, оно на меня

имеет сильное влияние; это слово — моя электрическая искра, при произнесении его я весь превращаюсь в какое-то внутреннее трясение. В разговоре о ней я воспламеняюсь до последней степени. Она исключительно занимает в это время все мое внутреннее существо — все мои умственные способности, одним словом, всею меня. Живопись я люблю почти до безумия. Я люблю мою Россию, ее песни, ее характер народности!»

«Счастливец! Счастливец! Едет в Харьков!» — слышал Крамской среди провожающих, уже садясь на подводу у раскрытых ворот родного двора. Настасья Ивановна повисла на сыне и рыдала на всю улицу. Ямщик надвинул глубоко на уши меховую шапку и отвернулся в сторону, чтобы не слышать и не видеть материнского горя. А отъезжающий старелся бережно освободиться от матери и не мог согнать счастливую улыбку с лица, думая только о том, как бы скорее уехать. Вперед, вперед навсегда! В сборах к отъезду Крамской написал на новой странице своего юношеского дневника: «Начинаю жить». И вот оно пришло, это долгожданное начало. «День-день», гремел колокольчик, заливаясь на кромке того оврата по выгону, где когда-то Ваня пугал задремавших ямщиков, выскакивая со свистом из кустарника на дорогу. Теперь никто не помешал проехать. Юноша с грустью посмотрел на знакомое место. Но он не оглянулся на родную Новую Сотню.

И начались долгие странствования из конца в конец по огромной бездорожной крепостной николаевской России. Яков Петрович Данилевский всюду искал деньги и подолгу не засиживался в малоприбыльных городах. Фотография была еще молода. Ёбс и Дагерр в Париже изобрели ее в 1838 году. Светочисные портреты на бумаге из серебряных пластинок стоили дорого, не всякому по средствам, заказывали их одни достаточные люди. Данилевский должен был искать заказчиков. Орел, Тула, Бурск, Харьков, Москва, Нижний-Новгород, Казань; тысячи верстовых похотатых столбов, тысячи нищих придорожных деревень, тысячи бурлаков, тянувших по малым и большим рекам России груженные баржи, тихвинки, расшивы; тысячи сытых, самодовольных, глупых, бессмысленных и круглых, как «месяц в полнолунии», лиц, отретушированных Крамским, — прошли перед ним. Три рубля серебром за портрет, разделанный в красках! Полтора рубля за портрет — в туши! Это была плата Крамскому. Сверх того, Дани-

левский обязался платить за уроки профессорам, у которых юноша найдет нужным учиться рисованию. Платить пришлось недолго. Профессора-художники были редки в крепостной России и почти не встречались на извилистом и беспокойном пути довольного хозяина.

В Харькове профессора заменил гимназический учитель рисования Бесперчий. Он когда-то был учеником Карла Брюллова. Услышав об этом великом и таинственном имени, о котором в острогожских заголустах рождались легенды, Крамской с волнением переступил порог Бесперчий. Даже на ученика Брюллова и то падал отраженный свет мастера! Но уже после второго урока Крамской убедился, что ученики мастеров бывают разные. Бесперчий порядочно писал акварелью, и юноша надеялся поучиться у него. Бесперчий — или не желая заниматься, или не интересуясь учеником, или по уговору с Данилевским, оберегавшим себя от излишних затрат, — вскоре грубо отказался давать Крамскому уроки. Оскорбленный юноша не знал, как он нашел дверь на улицу из негостеприимной мастерской бывшего ученика Брюллова.

Акварелист-фотограф Левдик поступил проще. Он не прогнал юношу, разрешил ему иногда стоять за своим стулом во время работы и... не произнес ни одного слова. Левдик не хотел чему-нибудь научить Крамского, открыто побаиваясь найти в нем конкурента. И действительно, меньше чем через год Левдик не мог слышать имени соперника-самоучки, обогнавшего его своим искусством. Предприимчивый Данилевский истратил на уроки талантливого юноши гроши.

С таким мастером странствующий фотограф смело колесил по России. В Харькове у Данилевского появился каменный домик, чадолюбивый предприниматель обучал свое потомство в гимназиях и университетах. Крамской должен был добиваться всего сам, напряженным трудом, бессонными ночами, отказываясь от молодости с ее обычными удовольствиями. Крамской был слишком страстно обуреваем своими мечтами и стремлениями, чтобы расстаться с ними и отступить перед трудностями. Он старался победить их. В погоне за наживой Данилевскому было мало дня; хозяин заваливал юношу работой. И редкие скупые досуги свои, выпадавшие лишь по ночам, Крамской наполнял еще более неутомимым трудом для себя.

Странствуя из губернии в губернию, корня по двенадцати часов в день над обя-

зательной работой для хозяина, ненавидя то, что приходилось делать, Крамской беспрестанно читал, писал акварелью, рисовал. Он все крепче и крепче чувствовал себя на земле, много узнал, продумал, понял, выработал непреклонный характер, научился отличать мечту от действительности.

Крамской не утратил своей юношеской страстности к искусству. Наоборот, она теперь стала настоящей, уверенной в себе страстью, пламенем ярким и никогда не угасающим. Крамской прошел трудную и опасную школу у Данилевского, выдержал три года ее, как было написано в кабальной.

В 1857 году на Нижегородской ярмарке, в разгар ее, в тот день, как окончился срок по договору с Данилевским, двадцатилетний Крамской заявил хозяину:

— Я еду в Петербург поступать в Академию художеств. Вы мне должны восемьдесят семь рублей сорок две копейки. Прошу вас рассчитаться со мной.

Несколько дней Данилевский неотступно ходил по пятам за своим взбунтовавшимся мастером, грозил ему, умолял его остаться, предлагая любую плату за работу. Крамской ее уже бросил, не появляясь в ателье.

— Все, как по контракту, — сухо отвечал Крамской. — Я вам ничем не обязан. Обязательства мои в точности выполнены мною. Дело только за вами.

Они расстались не простившись, как будто никогда не знали друг друга.

ГОЛОВА ЛАОКООНА

Академия художеств... Вот этот таинственный дом, в стремлении к которому, терпя унижения и лишения, колесил по огромной, нищей, несчастной России юноша-самоучка из захолустного Острогжска! Ничего Крамской не встретил на пути своем радостного, о чем мог бы вспомнить с удовольствием и признательностью. Везде было одно и то же. Мрак, невежество, водка, крепостной парод, казенные, мупишные люди, бездушные, хищники всех мастей и званий, бездельники-помещики, бездумно поглядывавшие из усадебного окна на отъезжее поле для псовой охоты. Ужас и жалость! Огромная страна, освещенная тысячелетней лучиной, сумеречная, грязная, вымирающая от болезней и побоев, запомнилась Крамскому навсегда. Объехав так называемые лучшие губернии, наглявшись на родной народ, придавленный крепостной зависимостью, бесправный, безгра-

мотный, в невежестве слепорожденный, Крамской глубоко понял и оценил знание и силу просвещения. Он приехал в Петербург не тем пассивным, беззаботным восторженным юнцом в двадцать лет, в клх было большинство в Императорской Академии художеств. Крамской мог разорваться в окружающем, отвергнуть его и принять.

Юноша отчетливо сознавал, что он обязан быть гражданином своей страны, нести перед ней ответственность, не может и не служить. И на свое образование и свою работу Крамской смотрел как на общественное дело. Юноша приехал вдумчивый, серьезный, беспокойный, много желавший и также много требовавший и от самого себя.

На душе было немного тревожно. Начавшись в своих странствованиях разными книжками по искусству, Крамской представил себе Академию художеств похожей на знаменитые мастерские великих художников итальянского Возрождения. Здесь вдохновенные учителя какими-то неслыханными раньше, но все объясняющими словами откроют цели и смысл искусства, на совершенных образцах покажут, как надо делать прекрасное произведение искусства — картину, скульптуру. Как это хорошо! Существовали же такие оазисы Италии, Голландия, Испании сотни лет назад? Академия в Петербурге еще лучше, она же — наследница прежних академий, она, конечно, воспользовалась опытом великих предков и, обогащенная, создала еще более удивительные и безошибочные приемы обучения учеников. Крамской был не сказано обрадован, когда возле самой Академии, в первой линии Васильевского острова, снял две маленькие комнаты. Она уж близость к храму искусства радостно волновала.

Крамской пришел в Эрмитаж. Никогда ничего подобного он даже не мог бы вообразить. Никакое описание картинной галлерей, о которой он читал раньше, не могло сравниться с впечатлением, полученным юношей непосредственно. Потрясенный, он долго стоял перед полотнами Рафаэля, Тициана, Веласкеза, Тинторетто, Рембрандта, Придя к самому открытию Эрмитажа, Крамской покинул его при огнях, последним из посетителей. За весь день он только и осмотрел два зала. С утра юноша снова был здесь. И так десять дней подряд, не насыщаясь, Крамской все ходил и ходил по Эрмитажу, похудел от сильных переживаний, вдруг накопил целый рой каких-то неожиданных, новых

мыслей об искусстве. Он стал еще строже и придирчивее относиться к себе. Года за два до переезда в Петербург, в Орле, Крамской познакомился с учеником Академии Александром Дмитриевичем Литовченко, который обещал Крамскому помочь при поступлении в Академию. Теперь, встретясь с Литовченко в Петербурге, Крамской не вспомнил о давнишнем разговоре.

Юноша осмотрелся на новом месте. Все, что он увидел вокруг себя, — величественный город, Эрмитаж, Академия — подавило его. Он безнадежно нахмурился и решил, что пока еще не готов переступить порог великолепного храма искусства. Решив так, юноша не стал предаваться унынию и отчаянию. В Петербурге было столько книг, как ему еще недавно и не снилось. Крамской с жадностью набросился на них, не тратя ни одной минуты своего досуга без пользы.

Быстро завязалось у Крамского знакомство среди учеников Академии и студентов университета. В уютных комнатах юноши начали по вечерам собираться разные люди. Шумели, спорили, вместе читали, обсуждали прочитанное, рисовали. Так хотел молодой хозяин, сумевший направить свои вечера в деловую сторону.

Скоро Крамской, особенно для учеников Академии, явился привлекательным и незаменимым человеком. В Академии училась голытьба, не каждый день видевшая хлеб. Положение Крамского было другое, лучше. Он работал ретушером у первоклассного столичного фотографа Александровского, перейдя к нему от Данилевского. Юноша очень скоро выдвинулся и прославился своими фотографиями, работал на дому, почтучно, получал от ста до трехсот рублей в месяц. Крамской многих товарищей выучил ретушировать по фотографиям. Сначала они помогали ему, потом не особенно важные портреты получали уже от него для самостоятельной доработки. Около Крамского подкармливался ряд академических учеников. Постепенно все они через своего юного учителя устроились у того же Александровского и у других видных фотографов — Денъера, Левицкого. Само собой случилось, что Крамской на самых первых порах — еще до Академии, еще не обживаясь по-настоящему в Петербурге — занял место руководителя в своем маленьком товарищеском кружке.

В один из редких свободных вечеров в квартиру Крамского вошел Тулинов. Немного позже юноши он переехал в Петербург, приглашенный работать в фотографическом отделении Главного штаба.

Старые друзья переписывались, но три года не видались.

— Отец! Брат! — крикнул Крамской, срываясь с места и обнимая гостя. — Михаил Борисович!

Они оба расплакались. Тулинов не сводил глаз с бывшего острогожского мальчика, разглядывая его с нежностью и гордостью. Мальчик возмужал, окреп, у него изменилась прическа, он как-то иначе стал произносить слова, он переоблачился в другой костюм. Словом, прошло только три быстрых года, и разница в годах между друзьями как будто уменьшилась.

— Ну, уж и отец, — сказал Тулинов, довольный всем тем, что он видел и слышал. — Скорее — брат! Что, что ты надеялся, Иван Николаевич! Ты же ухитрился сделаться взрослым.

Друзьям было что вспомнить и о чем поговорить. Судьба Михаила Борисовича сложностью не отличалась. Нескільки минут понадобилось Тулинову, чтобы рассказать все, с ним происшедшее. Зато юноше не хватило и всего вечера для рассказа.

— А это что у тебя? — спросил Михаил Борисович уже после полуночи и с улыбкой взял потрепанную книгу философа Спинозы.

— То, что видите, — немного недовольно ответил Крамской.

— А помнишь, как я тебя однажды еще в Острогоске застал за чтением Гегеля? Я у тебя спросил: «Что ты тут понял?» А ты засмеялся и ответил: «Ровно ничего не понял».

— Теперь я понимаю больше и скоро примусь изучать Гегеля.

— Ну, дай бог, — не совсем поверил, но одобрил Тулинов. — Ничем мне больше нельзя угодить, как твоими успехами.

Друзья стали встречаться почти каждый день, попеременно бывая друг у друга. Между ними была одна размолвка, к которой возвращались при каждом новом разговоре. Михаил Борисович был человек с ленцой, спокойный, уравновешенный, подчас даже сонливый, за что Крамской называл его «хомяком». Но теперь Тулинов старался расшевелить своего обычно смелого, энергичного и горячего молодого друга, охваченного неожиданным неверием в свои силы.

— Когда же ты серьезно решишься поступить в Академию? — однажды недовольно спросил Михаил Борисович. — Я от тебя до тех пор не отстану, пока ты не окажешься на том месте, где тебе следует быть.

Крамской подумал и вдруг с какой-то сухостью в голосе спросил:

— Вы, Михаил Борисович, любите живопись?

Тулинов удивленно посмотрел на него. — Чего же ты спрашиваешь? Ты это знаешь!

— Ну, так вы мне и покажите пример. Вы хороший акварелист. Вы человек опытный. Удастся вам — я следом за вами.

— Ты, Иван Николаевич, что-то не то придумал. Мне, пожалуй, уж поздненько. Порядочно перевалило за тридцать. Тебе двадцать. Самый академический возраст.

— Вам поздно, а мне рано. Я не тотов. Я не хочу напрасно обивать пороги. Я сюда ехал — думал, только бы добраться, а здесь передумал. Я никогда не рисовал с гипса или с натуры. А без этого в Академию не берут. Мне страшно попробовать. Чтобы хорошо выучиться рисовать с гипса или с натуры, надо иметь много свободного времени. Нужны средства, чем жить. Ни того, ни другого у меня нет.

— Эх, это одни отговорки, — не согласился Михаил Борисович, — преувеличение. Ты понемногу деньги можешь откладывать от заработка. И быстро накопишь. В фотографии одни часы для работы, в Академии другие. Ты всегда о этом устроишься. Я у Литовченко спрашивал, трудно поступать или легко? Александр Дмитриевич мне говорил, что пустяки. Нужен только порядочный рисунок с гипсовой головы — и Академия твоя. Я верю, что для тебя этого достигнуть ничего не стоит.

— А я не верю, — уперся Крамской. — Когда человек не верит в дело, нельзя за него приниматься. Наобум я не хочу и не могу. Вы говорите, что я молод, — значит, время у меня в запасе.

Тулинов, по привычке заботиться о юноше, неотступно добивался своего: подготовил Литовченко, и они вместе достали гипсовую голову Венеры.

Крамской сделал несколько неоконченных пробных рисунков, остался ими недоволен, разорвал их и повернул Венеру лицом в темный угол. Друзья поссорились из-за этого. Михаил Борисович несколько вечеров не был у Крамского. Наконец, не вытерпел и как-то зашел днем.

— А я изучаю Гегеля и рисую голову Лаокоона, — сказал весело Крамской. — Должно быть, трудное мне делать легче: как будто бы оно выходит...

На окне стояла белоснежная, новенькая гипсовая голова Лаокоона. Перед ней сидел Крамской и стремительно, смело,

рельефно «лепил» на бумаге лаокооновского двойника.

— Идет, идет! — радостно воскликнул Михаил Борисович, повернулся и убежал.

За ним кинулся вдогонку Крамской и не мог удержать.

— Нет, нет, — говорил Тулинов, отмахиваясь от юноши. — Работать, так работать! В такую минуту мешать тебе может один враг!

Крамской представил в Академию рисунок. Никаких других экзаменов не требовалось. Юношу приняли в класс гипсовых голов. Через треть года Крамской был переведен в класс гипсовых фигур, еще через треть — в натурный класс.

Увлеченный успехом молодого друга, Михаил Борисович оставил службу в Главном штабе, тоже поступил в Академию и через год за акварельную живопись получил звание неклассного художника.

УЧЕНИК АКАДЕМИИ

Тяжелые академические двери открылись перед ним. Открылись просто и заурядно. Совсем не так, как он представлял в мечтах своих. И ему показалось, что достиг он этого почти шутя. Никто не препятствовал ему войти в храм искусства, куда попадают только избранные. Наоборот, он еще никогда в своей жизни не встречал более свободного учреждения в России, чем Академия художеств. Это удивило его и насторожило.

Крамской не умел безраздельно отдаваться воображению. У него никогда не было восторженного тумана в голове. Исера-синие глаза Ивана Николаевича помимо его воли несли бессменную службу, зорко всматриваясь в окружающих людей и вещи. Проницательные глаза видели, уши слышали, постоянно напряженная мысль не знала успокоения, точно вечно журчащий ключ.

На первых же порах, когда академические юноши шумной и довольной гурьбой проходили по коридорам, торопясь в аудитории, когда все торжественно смолкало с появлением профессора, в Крамском начало просыпаться беспокойство. Он привык добросовестно и аккуратно относиться ко всякому труду. Иван Николаевич посещал все лекции, все уроки, был самым внимательным и старательным слушателем. Но домой он возвращался не удовлетворенным своими профессорами.

Только к вечерним рисовальным классам с самого начала Крамской испытал привязанность. Ему нравились эти вечер-

не оживленные собрания молодежи. Они и походили на обычные академические занятия. Вечером за небольшую плату допускались в рисовальные классы, кроме учеников Академии, все желающие учиться рисовать: «с улицы», как их называли. Приходили студенты, офицеры, моряки, были девушки, великосветские щеголи. Крамскому была любя та вольность, свобода, независимость, какую вносили в занятия приходящие в Академию любители-художники. Он вместе со всеми, неся вышколенную палку над головой, чтобы в тесноте и давки не скомкали приготовленную для рисования бумагу, врывался в класс. Дверь открывалась в пять. Рисовали до восьми. Еды не хватало. Сидели на полу, на полах, принесенных с собой, плечом к плечу, молча, торжественно, только слышался шипучий шелест и скрип карандашей. Класс был устроен амфитеатром, загроможденным вышью круглым пьедесталом под натурщика. Ловкий, подвижной Крамской всегда успевал сесть ближе к натурщику, занять выгодную позицию. Три часа работы проходили незаметно, оставив приятную усталость. Даже обычный ответ рисунки после вечерних классов до сих пор отзывался склонности Крамского к какой своей работе относиться серьезно, придирчиво. Иван Николаевич подолгу, тщательно изучал свой рисунок.

Усталость и скуку приносили занятия пех. Проходил месяц за месяцем; Крамской искал и не нашел среди профессоров ни одного, кого бы с открытой душой мог брать в постоянные свои руководители. Ни одного взволнованного и горячего слова о искусстве, о живописи, о скульптуре не услышал Иван Николаевич от знаменитых академиков — Бруни, Пименова, Басина, Тона, Нефа, Маркова, Гагарина... и ниже.

Однажды Крамскому посчастливилось попасть в квартиру одного прославленного академического профессора, про которого давно ходили слухи, что он создает какое-то удивительное произведение. Профессор был болен, принимал в халате, в мягких пухлых туфлях, недовольный, что его беспокоили несрочным делом.

— Вы могли подождать, пока я поправлюсь, — сказал профессор. — А вы неотступны, словно ваш рисунок не мог полежать лишнюю неделю в канцелярии Совета. Никакой «гибели Помпеи» не произошло бы...

Крамской умилился академиком тем, что, бормоча извинения, неотступно разглядывал эскиз будущей картины, превоз-

несенной услужливой молвой задолго до ее окончания.

— Ага! — воскликнул профессор. — Я вижу — у вас губа не дура. Вы заметили мое неродившееся дитя. Вас, конечно, заинтересовало достоинство моей композиции. Я вам могу приоткрыть эту маленькую тайну. Ею владеют только опытные художники. Когда вы доживете до моего возраста, как знать, может быть и вы окажетесь настоящим композитором. Да, да, молодой человек, это очень трудно и дается не всякому. Работы, работы как можно больше! Я прочел очень много трактатов о сочинении, сиречь композиции, все продумал и все понял. Смотрите, как я расположил группы: величественное и прекрасное рядом с ужасным, движение рядом со спокойствием, смешное и трагическое тоже рядом. Вот как надо делать.

Крамской неловко отвел глаза в сторону и, напуганный профессорским ласковым потрешиванием по плечу, постарался скорее уйти. Спускаясь по лестнице, освещенной тусклым фотогеном, Иван Николаевич покачал головой и усмехнулся: самовольную знаменитость окружали другие, не менее ничтожные. Постепенно Крамской стал с тревогой вслушиваться в их объяснения законов искусства.

— Что мы себе прежде всего воображаем, когда хотим творить? — сказал как-то румяный, чистенький, ангелоподобный Тимолеот Андреевич Неф. — Мы прежде всего воображаем простое пятно, а потом уже в этом пятне людей...

Крамской с усилием сдерживался, чтобы не засмеяться. Вдумываясь, он испытывал горечь разочарования. Вот один из учителей, у которых он пришел учиться! Неф был искусен в своей живописи, хотя и слащавой и чуждой Крамскому, даже талантлив. Но холодно, механически, без вдохновения работал этот техник в искусстве.

Сам Федор Антонович Бруни, ректор Академии, задумчиво говорил:

— Старайтесь располагать группы пирамидально. Не ставьте фигуры задом. Главная фигура в картине никогда не должна быть профилем. Посмотрите да попируйте с эстампов: Пуссена, Рафаэля...

Слова ректора повторялись и другими профессорами точно, без малейшего сомнения в их справедливости. И Крамской подметил, что каждый непременно рекомендовал за образец Пуссена, прежде Рафаэля.

Все это никак не удовлетворяло Ивана Николаевича, не затрагивало его души, не

могло возбуждать к подлинному творчеству. Учителя презирали свободное воображение учеников, поиски своих собственных приемов, считая их вредными, ненужными и разрушительными для безупречной академической школы. Все было давно найдено, взвешено, применялось на практике с блистательным успехом, не подлежало никаким изменениям, сохраняло на вечные времена чистоту и непорочность высокого стиля. Крамской очень рано с болью понял тяжелое бездушное мертвое механизма академического преподавания. Человек живой, общительный, ищущий проверки своим мыслям, Крамской не мог молчать. В товариществе, в споре, свободном и независимом, искал Иван Николаевич ответов на свои неразрешенные вопросы. И товарищество давало знания, приемы работы, помогало справляться с трудными задачами. Академическую выучку старались осторожно обойти, где это удавалось. В кружке Крамского постепенно накапливалось против Академии сильное раздражение, недовольных ею становилось все больше и больше. Крамской первый разочаровался в ней и начал отрицать необходимость такого казенного учреждения. Но не все товарищи обладали стойкостью и решимостью своего руководителя.

На одном из вечеров у Крамского, после долгих и согласных разговоров, вдруг Литовченко устало и недовольно сказал:

— Ну, нельзя же быть требовательными чересчур. И, наконец, Академию можно легко обмануть. Я знаю товарища, который делает это очень удачно. Эскизы он сочиняет так. Берет лист бумаги, пачкает его углем, карандашом, как придется, — туда, сюда, вправо, влево — потом по мазне растирает пальцем, ладонью, тряпкой. Повесит эту чертовщину на стену, ляжет на кровать и смотрит, не отрываясь, до тех пор, пока ему пятна не начинают казаться людьми. Это возможно. Каждый из нас смотрел подолгу на облака. Сначала они бесформенные, но вот выплыла тучка, похожая на башню или на корабль, вот появился какой-то косматый зверь, огромная человеческая голова... Когда мой товарищ доведет себя до подобного состояния, он быстро вскакивает и старается поймать видение краской, карандашом, чем попало. Представьте, он получает за такие эскизы первые номера. Вот виртуоз!

Кое-кто засмеялся, Крамской нахмурился и сердито сказал:

— Я тоже знаю одного виртуоза. Он на листе бумаги проводит к р а с и в у ю

кривую линию или несколько таких. И них виртуоз во что бы то ни стало раслагает фигуры. Совет Академии и этот жонглера жалует высшими отметками. И обвиняю ни первого, ни второго виртуоза. Их научила этим чудачествам Академия. Если Неф толкует о пятне и возникающих в нем фигурах, а Бруни, как портной в мдельной мастерской, расставляет человеческие фигуры на картине, удивляться нечему: ученики фокусничают из подражания. Смеяться тут не над чем. Это — беда. Можно сочинить эскиз по заказу? Эскиз делаю, когда у меня есть какая-либо идея, мысль в голове. Облюбованная мысль меня беспокоит, волнует, я ищу средств, чтобы выразить ее, страдаю, мучаюсь. Эти виртуозы словно с готовыми набойками досками обращаются: нажал — и отщипнул. Это надувательство самого себя. Это не искусство осмысленное, сознательное, умное, это дерганье за ниточку какого-то игрушечного чортика. Каковы приемы, таково и содержание. До нашего и ображения, наших собственных чувств, идей, образов, оригинальных или нет, нет дела. Я уверен, что у Бруни есть клякса с сюжетами. Он оттуда будет черпать пока жив, — думать-то не о чем.

Завсегдатаями вечерних собраний у Крамского были Журавлев, Литовченко, Корзухин, Е. Маковский, Дмитриев-Оренбургский, Шустов, Песков, все — ученики Академии, плохие и хорошие художники, сильные, слабые, половинчатые и непреклятые молодые люди. Крамской выделял среди них своей неистощимой энергией, волей, умением понимать окружающее глубже и вернее, умением нападать и защищаться, находить выход из самых, казалось бы, безнадежных тупиков. Как Корзухин назвал Крамского «докой», в тех пор за ним осталось это прозвище.

— Чего же ты хочешь, дока? — спросил Журавлев. — Никто против истины не спорит. Но и ты, и я, и все мы вынуждены все-таки программы, эскизы, рисунки, третные экзамены и прочие требования Академии выполнять.

— А я разве говорю — не надобно этого делать? — возразил Крамской. — Я прекрасно сознаю, как трудно притворяться, как мучительно делать нелюбимое; но делать необходимо. Но все-таки я не ставлю тряпкой пачкать по бумаге или рисовать бессмысленные кривые линии, или колдовать над дурацким пятном, чтобы замутить свой ум допыяна. Я же искусством занимаюсь, а не от запоя страдаю, когда в гл

и двоится и какой-нибудь зеленый чорт разнит человека из-под стола. Как я могу оставаться спокойным, когда о рисунке, о живописи, о композиции я узнаю больше от старого нашего натурщика Тараса, чем от казенных академических богов? Недавно один из наших светил говорил опытного ученику-живописцу, мельком взглянув на его прекрасную работу: «Плоско, колена дурно нарисована, и чулок вместо следка. Это не так, да и это не так. Все не так». А как надо, того не объяснил. Не зная ничего сам, он волен болтать все, что подвернется ему на язык. Что такое «живопись», что такое «краски» — ты мне объясни! Это целый большой мир. И мы — как слепые. Что нас заставляет рисовать и писать? Моисеев, Силоамскую купель, Ирода, толкования снов Иосифом, хлебопаша и виночерпия и всякую иную ветхозаветную прелесть. Какой это нашей душевной потребности отвечает? У меня — никакой. Мне некуда деваться без Академии, но я чувствую, что она вредит мне, она мешает во мне художнику. Я ищу спасения от гибели, мне негде учиться. Помните, как Академия встретила картину «Явление Христа народу» великого нашего Иванова? Двадцать лет работал над ней человек! Мир не выдал такого трудолюбия и пламени. Весь низменный муравейник поднялся против Иванова. Спрашивали: «Почему недалеко от первого плана посадил Иванов раба с зеленым лицом и деппю? Почему Христос некрасив? Почему испровергнуты правила композиции — пирамидальность не соблюдена?» Одни ноги и колени увидели в картине! Убили художника! Не выдержал такой тупости. Сердце разорвалось у него. А они живут и здравствуют и делают ордена, кафедр, бриллиантовые перстни и всякие дары за пухлых ангелочков, вакханок, красивых Христов, пышных царей в пышных парчевых одеждах.

Вечерние собрания на квартире у Крамского, если не могли заменить Академию, то дополняли ее. После вечерних классов часто весь кружок спешил сюда. Иван Николаевич завел обычай полезно проводить время. По очереди товарищи были обязаны читать вслух что-нибудь выдающееся из произведений тогдашней литературы. Остальные слушали, каждый занимаясь своим делом. Одни работали для добывания средств, другие оканчивали академические рисунки, третьи готовили эскизы. Работы осматривались всеми товарищами. «Общий глаз» был полезен для всякого. Товарищество подкрепляло силы каждого,

веру в себя; более сильные, талантливые и знающие передавали свои знания отстающим.

В Петербурге было два дома, где Ивана Николаевича охотно принимали и любили: острогожцы Николай Иванович Второв, этнограф и лингвист, открывший поэта Никитина, и Александр Васильевич Никитенко, академик, историк литературы, знаменитый цензор, поддерживали талантливого земляка. У Никитенко Иван Николаевич бывал как свой человек. Брат Крамского был женат на сестре Никитенко. Бывший «крепостной раб» графа Шереметьева, Александр Васильевич Никитенко благодаря своим блестящим способностям достиг известности и влияния. В доме его собирались литераторы, общественные деятели, представители аристократических кругов, сенаторы, видные бюрократы и чиновники, помещики. Никитенко недолгое время был редактором журнала «Современник», которым еще в Острогожске зачитывался мальчик Крамской. Некрасов и Панаев пригласили Никитенко редактором из страха за судьбу своего журнала. Влиятельный в самой верхушке бюрократического общества, редактор Никитенко отводил грозу от ненавистного правительству журнала. Никитенко знал великого Чернышевского, на защите диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» Чернышевского Никитенко выступал официальным оппонентом. Чернышевский послушался благожелательных советов Никитенко и вычеркнул из диссертации ссылки на «крамольных» в то время немецких философов Гегеля и Фейербаха. Упоминание о них могло повредить опубликованию диссертации. Никитенко хорошо помнил свое тяжелое прошлое, ценил все незаурядное, разгадал в Крамском будущего замечательного художника.

Бывая постоянно на вечерах Никитенки, Крамской познакомился здесь со многими своими будущими заказчиками портретов. Молодой художник жадно прислушивался к разговорам гостей, все подмечал, запоминал, старался прочесть те книги, что занимали внимание общества Никитенки. Прочел он и Чернышевского. Стремился разобраться в философии Гегеля, Спинозы, Фейербаха. Никитенко охотно помогал ему. Но философия была трудна для молодого человека-самоучки. Легче понимал он художественную литературу, нежели философию. Никитенко это знал и чаще разговаривал с Крамским о Пушкине и Лермонтове, чем о Гегеле и Спинозе. Под влиянием этих бесед и по собственной

склонности к великим художникам литературы Крамской на четвертом году пребывания в Академии написал небольшую картину «Смертельно раненный Ленский» на сюжет из «Евгения Онегина» Пушкина и «сделал рисунок «Ангела» на сюжет из Лермонтова.

«Ленский» был первым опытом собственного сочинения. Необычный сюжет, выбранный художником, ярко говорил о его настроениях, враждебных Академии: Крамской думал, чувствовал, всякий же заказной академический сюжет вызывал в нем отвращение и отчаяние. Для первой же самостоятельной вещи он избрал сюжет, совершенно чуждый Академии. Художник очень удивился, когда неожиданно получил вторую серебряную медаль за свою работу. Совет Академии поморщился, осуждая выбор учеником неподходящего «героя» для высокого искусства живописи, но прельстился исполнением, понятным и близким сердцу академиков. Отрицая и не любя Академию, молодой художник только и сумел выбрать «героя», а передал его по живописи и композиции, как полагалось в академических правилах. Одновременно с «Ленским» Крамской сделал карандашный портрет Никитенки и подарил его своему давнишнему покровителю и родственнику.

Скучное свое образование пополнял Крамской и в доме Второва, где бывали ученые этнографы и лингвисты, университетские профессора, общественные деятели.

Крамской не умел отдыхать. Всякое безделье было для него наказанием и почти несчастьем. Он ненавидел бездельников. Товарищи, прокутившие ночь в трактире «Золотой якорь», позади Академии, скрывали это от него.

Еще со времени Карла Брюллова был обычай «обмывать новую медаль» в «Золотом якорь». Корзухин и Песков намекнули Крамскому, что надо бы, по-старинке, «пропить» «Смертельно раненного Ленского».

— Нет уж, друзья, — ответил полушутливо, полунедовольно Иван Николаевич, — подождем золотой. Кутнуть придется за какого-нибудь Олега, Моисея или Силоамскую купель. Лучше приходите ко мне сегодня вечером на новоселье. Мне стало неприятно жить бок-о-бок с Академией, и я переехал от нее подальше, в восьмую линию. Во дворе, во флигеле, в саду, три уютных комнаты. На одну комнату я разбогател. Кстати я хочу предложить новый метод скоро и хорошо писать поясные

портреты в натуральную величину в 4 часа. Работать карандашом, карандашным соусом, растушкой и гаушными белилами. Долой древнее жульеновское штрихование! Я уверен, что мы соворим в Академии либо каждому художнику приятно сделать рисунок по упрощенному и скорому способу.

На новоселье Иван Николаевич начал портрет Григория Григорьевича Мясоедова. Товарищи дружно обступили Крамского и наблюдали, как он рисовал.

— На сегодня довольно, — вдруг сказал художник, встал и приколот к большому полотняному щиту, приваленному в углы комнаты, неоконченный портрет.

— Вот так способ! — разочарованно воскликнул Корзухин. — Песков, ты слышал, как «дока» обещал за три часа окончить портрет. Это что же — надувательство?

— Явное и открытое — поддержал Песков. — Прошел один час только. Долой почти ничего не сделал путного. Ручаясь, что он долго провозится с Мясоедовым. Это Крамскому не фотографию расписывать.

— А я настаиваю, — серьезно возразил Иван Николаевич, — что, работая только по часу в вечер, — больше не надо и не зачем — в три вечера я совершенно окончил своим способом любой портрет. Даю обязательство всем товарищам написать каждого портрет, не прибавляя, не убавляя времени для работы над ним.

На третий вечер Иван Николаевич минут за минуту окончил портрет Мясоедова и, низко кланяясь, подарил его своему теплему и усидчивому натурщику.

— По бедности своей, — сказал, улыбаясь, Крамской, — я вынужден выпускать портрет без рамы. В будущем, когда мы будем платить тысячи за штуку, я, конечно, не позволю себе таких ошибок. Раз всегда необходимо выбирать самому художнику. Рама — это последний наш заказ.

Из вечера в вечер по часу работал Крамской и написал портреты почти всех товарищей, бывавших у него, — Корзухина, Венига, Крейтшала... Способ Крамского победил.

Напряженный труд приносил Крамскому успехи и удачу во всем, за что бы он ни брался. Ивана Николаевича окружала художническая беднота. Академическая молодежь перебивалась кое-как, случайными заказами, уроками, но не все были тверды и экономны в расходовании своих трудно добываемых средств к существованию.

многих знали в лицо в трактирах «Золотой якорь» и «Олень». Иван Николаевич многим близким товарищам помог, выучив их своему ретушерскому ремеслу. Сам Крамской не оставлял своей профессии до тех пор, пока искусство его — портреты и картины — не стали кормить художника. Не только не оставлял, а совершенствовался все больше и больше. Крамской, ученик Академии, среди петербургских фотографов приобрел славу «бога ретуши». Самые видные фотографы столицы гонялись за ним, переманивая к себе на службу. У кого из них работал Крамской, тот привлекал в свою фотографию всю петербургскую знать, императорский двор и царствующую фамилию.

Однажды на восьмой линии, у ворот дома, где жил Крамской, остановилась коляска знаменитого петербургского художника-фотографа Денъера. Крамской понял, зачем приехал Деньер. Три месяца назад Александровский всякими правдами и неправдами, не жалея денег на взятки, проник в Зимний дворец и получил «высочайшее дозволение» снять портрет с государя императора Александра II. Крамской так тщательно отделил этот портрет, что во дворце были поражены. В одну ночь предпринчившему «счастливцу» высочайшие мастера изготовили шикарную вывеску, на которой под огромным золотым орлом крупной золотой вязью было написано: «Фотограф его императорского величества государя императора». К Александровскому повалили заказчики. Фотография его стала первой, оставив позади более старую, Денъеровскую.

— Чем могу быть полезен? — спросил Крамской, вводя гостя в свою рабочую комнату.

— Вы, конечно, знаете, Иван Николаевич, что я Деньер, — ответил гость с хитринкой в глазах, мельком осматриваясь в скромном помещении художника.

— Да, знаю, — сказал Крамской, — хотя мы до сих пор и не встречались. Так же знаю, как вы меня.

— Очень хорошо. Мы пожмем еще раз друг другу руки, как старые знакомые. Это делаю с охотой и удовольствием.

— Я тоже.

— Ну и прекрасно.

Деньер взял Крамского за руку и, не выпуская ее, серьезно и немного волнуясь сказал:

— Когда император играет даже на трубе геликоне, то все придворные делают то же самое... Вы понимаете меня?

— Не совсем. Вы касаетесь таких osób,

имена которых я настолько не привык произносить, что... нахожусь в затруднении...

— И совершенно напрасно.

Деньер весело засмеялся, закрутил на палец массивную золотую цепочку от часов, ожерельем свисавшую по небольшому брюшку, и прямо, почти по-солдатски громко, произнес:

— Александровский — скряга. Он вас ценить не умеет. Орла он получил благодаря вам и никогда этого не поймет. Я люблю разговаривать по-деловому. Предлагаю вдвое против Александровского. Надеюсь, вы не отличаетесь такой привязанностью к своим хозяевам, что согласны работать у них из одной сердечной доброты.

— Совершенно правильно. Я ни в чем с Александровским не связан.

— Голубушка, едемте ко мне скорее! — воскликнул нетерпеливо Деньер. — Вам нечего раздумывать! Вы ребят с Александровским не крестили. Вы — художник, а не жалкий подмастерье, который без хозяина пропадет. Вот подпишем контракт на два года. Я его заготовил и привез с собой.

Деньер вынул из кармана большой кожаный бумажник, расстегнул пуговку, раскрыл его на обе половинки и достал вчетверо сложенный лист бумаги.

— Я могу работать только поштучно, — нахмурился, сказал Крамской. — Контрактом я не хочу себя связывать.

Деньер охотно и моментально убрал бумажник.

— Поштучно, так поштучно. Я на все согласен! Вы будете главным ретушером.

— Можно мне отложить окончательный ответ до завтра? — попросил Крамской. — Я должен посоветоваться...

Деньер испуганно и недовольно перебил его:

— Ох, как я не люблю тянуть со всяким ясным делом! Надо действовать по-суворовски. Уважаю Суворова! Всегда поступал быстро, смело, решительно!

— То ведь Суворов... — неохотно ответил Крамской.

— С кем советоваться? О чем советовать? Зачем советовать? У вас есть жена? Вы без нее не делаете ни одного шага в жизни? Так уверяю вас — это напрасно! — не унимался Деньер. — Честное слово, никогда не надо никого слушаться, кроме самого себя! Сам всегда с усами!

Деньер долго не давал произнести ни одного слова Крамскому. И, наконец, дол-

жно быть истерпав все свои доказательства, выкрикнул:

— Решайте сейчас или я уеду на моей коляске с Васильевского острова навсегда!

В это нельзя было никак поверить, видя настойчивые домогательства Денъера разом окончить наем ретушера, нужного ему до-зарезу.

— С опытным человеком всегда не мешает посоветоваться, — уперся Крамской, — у меня есть большой друг Михаил Борисович Тулинов, художник-фотограф, я без него не решаюсь что-либо предпринимать важное...

— Он свободен? — быстро спросил Денъер. — Может быть вашим помощником?

— Не только может, но мне бы у него состоять в помощниках.

— Беру Тулинова в главные лаборанты! Чего вам еще нужно? Где вы найдете второго такого Денъера?

Когда Иван Николаевич согласился изменить скраге Александровскому, Денъер предложил новому своему служащему подвезти его на коляске, и они поехали. Денъер высадил Крамского на Невском, Иван Николаевич успел дорогой договориться с хозяином о приглашении работать в фотографии некоторых учеников Академии, своих лучших товарищей, и устроил на место даже своего учителя по гипсу.

Денъер не прогадал.

Профессора Академии не признавали фотографии. Это великое открытие казалось им даже почему-то кощунством над истинным искусством. Денъеру удалось залучить в фотографию знаменитого старика-профессора гравера Уткина. Кисточка Крамского заставила замечательного гравера признать свой портрет удачным. Бруни, Пименов, Марков, Гагарин переснивались у Денъера вслед за Уткиным. Портреты понравились. Крамской, посмеиваясь, приложил все свое старание, чтобы профессора одобрили фотографию Денъера. Поднялся трезвон на весь Петербург об успехе Денъера у академиков, высших ценителей всего прекрасного в искусстве. Трезвон услышали.

Однажды дверь в фотографию Денъера отворилась и впустила графа Адлерберга, министра императорского двора, со свитой. Через несколько дней в фотографии начался переполох. Все входы и выходы из нее заняли жандармы. Денъер, бледный и усталый, дожидался самого императора! Этого никогда раньше не бывало: самодержец пожелал войти в скромное жилище фотографа Денъера! Государь приехал. Сни-

маться ему понравилось. Он охотно поворачивался во все стороны, куда его верно-подданные просили соизволить повернуться, снялся в разных видах и повелел изготовить карточки. Геликон затрубил, и скоро у Денъера переснимались вся царская фамилия, сановники, армия, флот, сенаторы и даже все пристава города Петербурга. Крамской ретушировал только портреты императора, князей и лишь по особому заказу Денъера — частного пристава того околотка, где помещалась фотография.

На вывеске Денъера был водружен двуклювый, двуглавый орел такой величины, что перед ним совсем померк орел Александровского.

Тяжелым, нелюбимым трудом занимался Иван Николаевич, но все во имя того лучшего, чему готовился служить остальную свою жизнь.

СОФЬЯ НИКОЛАЕВНА ПРОХОРОВА

Летом 1859 года Крамской приехал в родину. Острогжск был все тот же. Несчастный художник Петр Агеевич в ночном халате странной тигровой раскраски и в опорках на босу ногу продолжал странствовать по улицам. Он мельком оглядел незнакомого молодого человека с длинными волосами, в черном бархатном пиджаке и длинных разутюженных брюках в полоску. И как будто бы что-то дрогнуло в лице седого старика, он неловко шарткнул опорком и поспешил вперед. Крамской опоздал поклониться, — и ему стало больно.

Мать, Настасья Ивановна, позировала для карандашного рисунка сына, и он долго не мог нарисовать ее такой, какой знал и любил с детства. Вид ее — остоленый, удивленный, даже почтительный — раздражал Ивана Николаевича. Настасья Ивановна сидела, словно не перед родным сыном-художником, а дожидалась приема в какой-то важной и равнодушной ко всему на свете канцелярии.

Крамской встретил Машеньку Кевролеву, из углового дома на самой дальней улице Новой Сотни, куда он, крадучись от любопытных и осуждающих глаз слобожан, пробирался на свидание почти каждый вечер шесть лет назад. Накануне своего отъезда из Острогжска к Данилевскому Крамской пришел в последний раз на знакомое место за плетнем, окружавшим кевролевскую усадьбу. Он долго потом помнил голый, черный, осенний сад, мокрый плетень, неистово дующий ветер с пустого выгона и жалобное, унылое мяуканье котенка на крыше соседнего сарая.

Машенька целовалась и плакала. Когда он ей сказал последнее «прости», Машенька даже легонько вскрикнула, крепко прижалась к нему и долго не хотела оторваться от любимого. Всю дорогу до Харькова Крамской сравнивал себя с Арсением, а Машеньку с дочерью боярина Орши. Незадолго до расставания юноша прочел поэму Лермонтова и находился под впечатлением ее. Колокольчик под дугой звенел, летели «версты полосаты», и Крамской бормотал в свой поднятый воротник:

Глаза их встретились — и вмиг
Мучительный, ужасный крик
Раздался, пролетел — и стих.
И тот, кто крик сей услышал,
Подумал, верно, иль сказал,
Что дважды из груди одной
Не вылетает звук такой.

Машенька не совсем так вскрикнула, но что значат преувеличения для юноши-мечтателя в шестнадцать лет, которому хочется быть героем любимым и единственным!

И... все прошло. Машенька Кевролева стояла смущенная перед бывшим Арсением, не узнавала в этом по-столичному одетом молодом человеке своего простого, скромного, в залатанной на локте рубашке, Ваню Крамского. Машенька выросла, похорошела, ярким светом вспыхнули ее нежные с золотистым пушком щеки, — и Крамской залюбовался ею. Но, видно, что-то чужое, непонятное видели в нем прежние друзья и знакомые, даже любимая девушка. Машенька с такой робостью подала ему руку, словно это была для девушки невиданная честь, подала, сейчас же рвала к себе и неестественно засмеялась. Крамской не находил слов, которыми бы можно было вернуть прежнюю Машеньку, заставив ее отвечать искренне и сердечно. Машенька ломалась, говорила невпопад, была польщена разговором с ней столичного приезжего и даже тщеславно поглядывала по сторонам — видят ли ее, Машеньку Кевролеву, соседи по улице рядом с человеком в шляпе, в бархатном пиджаке, каких нет ни у одного молодого человека в Новой Сотне. Острогожск на каждом шагу причинял неприятности и приносил разочарования! Крамской больше не встречался с Машенькой. Он не долго побыл в родных местах и без сожаления оставил их.

На обратной дороге в Петербург, на одной из почтовых станций, Крамской познакомился с художником лет на пять себя старше — и они отправились вместе. Но-

вый знакомый — Сергей Петрович Иванов — недолго учился в Академии, оставил ее и жил на случайные заработки. Он был очень общителен, весел, часто смеялся, с жаром и почти со слезами на глазах говорил об искусстве, говорил путано и не совсем понятно, но казалось, если заблуждался, то совершенно искренне. В дороге Иванов и Крамской подружились, стали встречаться в Петербурге, бывая друг у друга. Иванов усердно рисовал на вечерах у Крамского, был одним из самых шумных спорщиков, единомышленник и поклонник гостеприимного хозяина. Иногда Иван Николаевич заходил к Иванову, и они дружно и приятно проводили время. Никого Крамской обычно не встречал у Сергея Петровича и думал, что Иванов жил одиноким.

Как-то в конце осени, почти около полудни, в комнату Иванова постучались, и Крамской заметил досаду на лице друга и некоторую растерянность. Вошла молодая девушка лет девятнадцати, стройная, красивая, высокая, с большими удивленными и замученными глазами. Она попала под дождь. Пальто ее блестело от дождинок, намокло. Прядка темных волос выбилась из-под шляпы и прилипла к виску причудливым завитком. Она сняла совершенно мокрые перчатки.

— Софья Николаевна Прохорова, — представил девушку Иванов.

И Крамской сразу заметил, что Сергей Петрович не сделал ни одного движения, чтобы помочь девушке раздеться, как-то по-другому, более внимательно, принять ее. Иван Николаевич постарался заменить невежливого друга, протянул к ней руки за шляпой, перчатками. Взглянув на безмолвного Сергея Петровича, он как бы прочел в глазах его: «Зачем ты все это делаешь, она разденется и сама, если уж ей это так необходимо». И словно бы почувствовав плохо скрываемое недовольство, Софья Николаевна покорно сказала:

— Вы заняты, Сергей Петрович. Я в другой раз. Не буду мешать.

Крамской ожидал, что Иванов начнет удерживать ее, но он вдруг, повеселев, воскликнул:

— Ну, как хотите, Софья Николаевна! Я провожу вас.

Девушка кивнула Крамскому и быстро вышла. За ней лениво побрел Сергей Петрович. Из приемной раздался громкий недовольный его голос, ее словно не было там, и лишь послышалось Крамскому, что кто-то тихо всхлипнул и осторожно приоткрыл наружную дверь. Сергей Петрович

появился обратно взъерошенный, с брезгливыми губами, скуляющий.

— Натурица одна, — сказал он, — должен ей. Вот и ходит день и ночь. — Посмотрел на Крамского и засмеялся. — Не веришь? Не буду врать. Живу с ней... Так, одна мешаночка. Когда-нибудь расскажу, если захочешь.

— Но ты же мог бы мне сделать какой-нибудь знак, и я бы ушел, — сказал Иван Николаевич с неудовольствием, — а то выгнал девушку снова под дождь. Я думаю, у нее и ноги промочены.

— А что ей сделается, — пробормотал равнодушно Сергей Петрович, — по привычке. Так условлено у нас. При гостях у меня — я ее близко не знаю. От тебя только не захотел скрывать.

Крамской, все еще находясь под впечатлением неожиданного появления девушки и такого же ее исчезновения, испытывая жалость к ней, подумал и сказал:

— Неловко как-то так... Прошу меня не стесняться. Когда бы я опять у тебя повстречал Софью Николаевну, или я могу сейчас же уйти, или она может и при мне у тебя побыть.

— Хорошо, но пусть это будет между нами. Неприятно, знаешь, лишняя разгласка в таком щекотливом деле.

На правах друга Крамской засиживался в гостях у Сергея Петровича, Софья Николаевна не дичилась, пила гостя чаем, участвовала в общей беседе, иногда поднималась раньше, собираясь домой, чаще оставалась после его ухода. Крамской долго и пристально наблюдал за нею — как она ходила, сидела, смотрела, говорила. Он так это осторожно делал, что она не замечала. Сергей Петрович не обращал на Софью Николаевну никакого внимания. Он или держался так, точно ее не было в комнате, или говорил друбости, капризничал, придирался, не стесняясь Крамского. Софья Николаевна застенчиво усмехалась, заглаживала, упрямно и не отрываясь смотря на Иванова. Крамской с легкой завистью в сердце думал о Сергее Петровиче, как об очень счастливом человеке, которого так открыто, глубоко любила эта, пренебрегаемая им, женщина. Однажды, сидя у Крамского, Сергей Петрович пожаловался:

— Мне, Иван Николаевич, стало скучно с моим созданием. Я тебя люблю и прошу твоего совета, как мне быть.

Крамской молча рисовал, ниже наклонясь к бумаге и стараясь крепче держать карандаш, который у него дрогнул в руке. И сразу пронеслась в голове мысль, в пер-

вый раз после нескольких месяцев знакомства с Софьей Николаевной: «Что если бы такое создание встретилось в моей жизни?»

— Что же я тебе могу посоветовать, не погрешив против совести, — тихо ответил наконец Крамской. — Тебя Софья Николаевна любит: иначе бы она не была твоей. Значит, Софья Николаевна безупречна. Все дело в тебе, в твоём к ней отношении. Тут я ничего не могу подсказать. Ты это один должен решить.

— Но как бы ты поступил?

— Не знаю...

— Пока и я ничего не придумал.

Поздно ночью Крамской вышел проводить Сергея Петровича, и с разговором они дошли до его квартиры. В комнате горел огонь. Крамской первый увидел его. Прячась от товарища боль, которую вызвало освещенное окно, Иван Николаевич указал на него.

— Ждет! — с неприязнью сказал Иванов. — Давай еще погуляем. Не хочет домой. Я люблю иногда одиночество, мне мешают. Она ходит слишком часто. Ничего не понимает. Придет и смотрит мне глаза, настойчиво, неотвязно. Ничего не спрашивает, словно молча изучает, о чем я думаю: о ней или не о ней?

Они повернули обратно. Крамской вдруг затаился весь внутри и почувствовал, что ему было необыкновенно приятно уходить от освещенной комнаты и увести с собой Сергея Петровича.

— Зачем, зачем я сошелся с ней! — сказал с сердцем Иванов. — Такая теперь обуза!

— Я вот тоже думаю об этом, — заметил Крамской, освобождаясь от руки его под предлогом, что нужно достать платок, — у тебя такая не первая встреча?

— Нет, — небрежно ответил Сергей Петрович. — Я уж попадаюсь в третий раз! Захотел во что бы то ни стало обладать ею. Мне она досталась трудно. Она живет с матерью. Люди небогатые. Никаких расчетов у меня не было. Только одна страсть. Девушка молоденькая, несамостоятельная. Женщин надо брать, удивляя их чем-нибудь необычным. Бывая у них и ухаживая за Софьей Николаевной, я, конечно, и не думал жениться. Когда мать намекнула мне о женитьбе, я сказал, что женат, что жена у меня красавица и, видно, суждено мне мучиться от безнадежной любви. Мать, конечно, и слышать не хотела отдать женатому свою дочь. Потом я сознался, что вовсе не женат. И дело пошло быстрее. Софья Николаевна — меч-

тательница. В мечтах своих она выдумывала какую-то особенную жизнь, какая только и бывает в наивных девичьих мечтах. Оглянется — и все кругом не такое, не нравится. Грязь и низость. Жила среди мещанства. Я первый, кто не походил на людей ее общества. Я разгадал девушку, словно решил легкую арифметическую задачу. Вел я себя без всякой пошлости, умно и благородно, с самыми серьезными намерениями. Я, например, потребовал от нее рассказать мне — что она за человек. Рассказать она не сумела. Тогда я совсем поразил ее, предложив написать для меня свою биографию. Софья Николаевна списала несколько детских тетрадей и все их исписала. Правда, смешно? Словом, я добился своего, и... она пала. Мать нас благословлять, а я только обещал матери заботиться о ее дочери, как бы о настоящей моей жене, и не больше. Я привел всякие соображения, что мне мешали жениться. Когда Софья Николаевна стала моей, весь туман, в котором я ходил, рассеялся. Наверное такие же чувства у всех мужчин, пока они не победили. Это — грустно, но это так. Я ее брошу.

— Ты не подумал, что будет с ней? — тихо спросил Крамской.

— Ну, если я еще об этом буду мучиться, мне тогда совсем не жить на свете, — сказал Сергей Петрович. — Я ничем помочь не могу. Что будет, то будет. Все так поступают с тем, что плохо лежит.

— Но ведь это же называется... — горячо начал и не докончил Крамской.

Сергей Петрович равнодушно перебил его:

— Никак не называется. Обыкновенная история. Не мы первые, не мы последние. Так всегда будет, пока существуют невинные девушки. Мы не виноваты, что у всех нас есть естественные потребности... Пусть сама природа изменится.

Они долго гуляли и часа через два подошли опять к дому, где жил Иванов.

— Смотри, — сказал он, иронически посмеиваясь, — огонь в лампе меркнет, а Софья Николаевна все сидит и сидит. Не пойти ли нам еще погулять?

Крамской отказался. Всю ночь он не спал, горько и враждебно думая о том, что с ним случилось. Теперь уже он не сомневался в своей любви к Софье Николаевне. Любовь была мучительная, даже оскорбительная. Его беспокоили темные и смутные чувства, поднимавшиеся откуда-то из душевных тайников. Он хотел люб-

ви чистой, какая могла бы быть у него к Софье Николаевне до встречи ее с Ивановым. И вот, он полюбил ее совсем не такую, вопреки всем своим мечтам о женщине. Софья Николаевна любила другого, любила рабски, унижительно, не подозревая, что ее любовь никому не была нужна, кроме Крамского. Иван Николаевич не мог удержаться от слез. Кажется, он еще никогда не плакал так долго и бурно, потому что никогда раньше не был таким несчастным, как в эту тяжелую минуту. А потом слезы остановились, и Крамской забыл о своих терзаниях. Его охватил ужас: что будет с ним, когда она узнает, кого она любила, как ошиблась, как была обманута низко и жестоко?

Презирая, испытывая отвращение к Сергею Петровичу, насильно, против всех своих чувств, Крамской стал убеждать Иванова не делать того, что он задумал. Сергей Петрович не соглашался.

— Найди ей жениха, — издевался он, — наконец, женись на ней сам, если уж тебе так ее жалко. Но только не советую. В ней есть что-то такое, не располагающее к любви простой, легкой, воздушной, какой должна быть любовь. Не все ли равно — любишь ты жену или любовницу? Нет, ей нужна какая-то прямота, честность, чувства до гроба. Как это, чорт возьми, скучно! Шампанского в ней нет! Не искрится она свободно и бездумно!

Крамской бывал у Иванова только из-за Софьи Николаевны. Казалось, никогда, ни одним взглядом, ни одним словом он не выдал своих чувств, хотя прошло около двух лет с той ночи, в которую Ивану Николаевичу стало ясно, что произошло с его сердцем.

Сергей Петрович старался бывать меньше дома, и Крамской заставлял в комнате одну Софью Николаевну. Женщина была неизменно одинакова — радушина, проста, скромна, никогда не жаловалась на Сергея Петровича, как будто жила в полном неведении, что над ней нависала неизбежная беда. Бывали минуты, когда вдруг Крамской не владел собой, решался сказать об ожидающем ее несчастье, признаться в своей настоящей, честной, большой любви, какую искала она и заблуждалась, думая, что имела ее. Решался, и язык не выговаривал последнего слова.

Никто из друзей не знал, что переживал все эти годы энергичный, смелый, решительный, блестящий ученик Академии художеств, глава и руководитель кружка художников на Васильевском острове, ко-

пивших гнев против Академии, мечтавших о реализме в искусстве, о русской национальной школе, об ответственном служении своему народу. Личное мешало самому главному в жизни — искусству, но не могло захватить Крамского всего. В мучениях и тоске своей неудачной любви он находил время развивать себя самостоятельным чтением, не пропуская очередных вечеров у Никитенки и Второва, зарабатывать на хлеб, с успехом делать один за другим академические школьные рисунки, эскизы, этюды, получать за них первые номера и переходить с курса на курс.

Всего этого еще было мало Крамскому. Для каждого своего особенно дорогого ему чувства, мысли он искал выражения в стихах. Стихи ему заменяли дневник. Личное не закрывало перед ним окружающей действительности, которая не удовлетворяла его. Он находил в себе силы думать о своем общественном долге в самые тяжелые часы своей личной жизни.

А катастрофа назревала: Иван Николаевич каждый день ожидал, что при новой встрече с Софьей Николаевной она уже будет одна, покинутая и несчастная. Что-то должно было произойти, как-то он был обязан помочь, что-то сделать для нее. Но нужна ли его помощь, примет ли ее эта любимая им, но любящая другого женщина?

В эти дни Петербург жил напряженной и тревожной жизнью. Это был январь 1861 года. Императорскую столицу наполнили самые разнообразные слухи. Каждый день назначали и каждый день откладывали опубликование царского манифеста об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Все прочило смерть крепостнической России, и Крамской волновался, ожидал этого события, торопил его в своих смятенных любовью мыслях.

Однажды в конце января Иван Николаевич вернулся поздно ночью от Сергея Петровича. Вечер прошел очень трудно, больно. Вдруг Иванов повеселел, он смеялся, был нежен с Софьей Николаевной, и Крамской с ревнивой тоской наблюдал, как она оживилась, обрадовалась тишине и миру в своей неудачной семье. Придя домой, Иван Николаевич долго ходил по комнате взад и вперед, прилег, не мог успокоиться, принялся снова за ходьбу и, наконец, вынул свою маленькую в тридцать две странички тетрадь, на обложке которой было написано: «Собрание стихотворений Ивана Крамского». Иван Николаевич перелистал ее, остановился над

некоторыми из старых стихов, потом закрыл руками лицо и, не двигаясь, просидел несколько часов. Наконец, он принялся работать, и к утру написал:

В стране роскошной, где природа
Была прекраснее людей,
Слова пророка, вопль народа
Не достигал царя ушей.
Да он и не был в состоянии
Ввести порядок и покой
В своей монархии пространной
Своею царственной рукой.
В те дни разбой и грабежи
Не находили наказания.
И сны детей в ночной тиши
Бывали полны предсказания.
Людей же добрых труд дневной,
И их заботы без изъятья,
Все чувства лучшие, душой
Греха обречены проклятьям.
А он, властитель, горделивый,
Лишь приказанья отдавал,
Чтоб завтра, день и ночь счастливый
Он как сегодня пирувал.
И сонм придворных, сонм рабов,
Ночью ли, днем, без замедленья
Одно лишь это повеленье
Исполнить был всегда готов.
Однажды ночью звезды неба
Покрылись тучами, грозой...
А царь, забывши подданных без хлеба,
Приготовлял свой пир большой...
В развратных дев своем кругу
Хотел пробыть он до рассвета.
Уж песня страшная пропета
Была содомскому греху.
Но правосудье в этот миг
Над Валтасаром начертало
Судьбу его, судьбу всех их...

Иван Николаевич перечитал написанное, назвал стихотворение «Пир Валтасара» и спрятал в стол тетрадку, которую ни один человек не держал в своих руках до самой смерти художника: «Собрание стихотворений Ивана Крамского» нашли следовики.

В отчаянное для себя время, когда другой человек не смог бы ни о чем думать, кроме как о своей неустроенной личной жизни, Иван Николаевич, глубоко страдая, не позволял никакой слабости нарушить заведенный порядок работы. Крамского волновала судьба крепостного народа, и библейский Валтасар в неуклюжем ученическом стихотворении был только условным обозначением деспота. Библейская легенда о вавилонском царе, с такой легкостью обращаемая против любого из властелинов, была любимейшей темой в Ака-

демии. Ежегодно в разных видах задавали ее ученикам то для третьего экзамена, то для эскизного рисунка. Иван Николаевич не случайно сосредоточился на Валтасаре. В отношении к нему, караемому за народ, он выражал несогласие с Академией, которая хотела видеть в мифе одну его поэтическую сторону, трагедию, действие «божественных» сил, благожелательный рок, наказующий «павших во зло». Крамской разрабатывал легенду остро, реально, находя за нею злую действительность, наблюдаемую им на земле, по-новому проникал в этот облюбованный Академией сюжет. Страдающий от личного горя, Крамской продолжал борьбу за живое, реальное, нужное и понятное обществу искусство. Как оно могло быть иным, когда родина оставалась крепостной?

Катастрофа наконец произошла. Сергей Петрович уехал из Петербурга. Крамской виделся с Софьей Николаевной вскоре после этого. Свидание было очень грустное. Оба они не знали, что происходило в душе каждого, оба ошибались, и разговор не ладился. Неловкость прервала Софья Николаевна. Резко встала и подала руку Крамскому. Иван Николаевич взглянул в глаза бледной взволнованной женщины, заметил в них две светлые, скупые слезы и с болью подумал: «Как она сильно любит этого уехавшего от нее человека! За что же, за что?»

И он перестал с ней встречаться. Крамской старался не думать о Софье Николаевне, гнал от себя всякие воспоминания. В доме Никитенко как будто бы он нашел другую, которая чем-то напоминала ее, насильно позабываемую. Софью Николаевну оставили все, кроме художника Михаила Михайловича Панова — острогожца, которого ввел к Иванову Крамской почти в начале своего знакомства с Сергеем Петровичем. И вот Ивану Николаевичу месяца через четыре после катастрофы пришлось выслушать исповедь своего земляка. Он, оказывается, просил руки Софьи Николаевны и получил отказ.

— Ты понимаешь, — обиженно и удивленно сказал Панов, — в ее ли положении ошибаться в людях. Я же ее люблю не так, как тот первый, не хочу называть его по имени. Мне нужна жена, а не любовница. Я бы никогда ни одним намеком не укорил ее за прошлое.

— Выбор жены — это самый важный шаг в жизни, — ответил задумчиво Крамской. — Я верю, что ты бы никогда не оскорбил ее памятью о ее несчастье. Если бы я полюбил такую, то только всеми си-

лами моей души, честно, по-человечески. Она бы вдохновила меня, если не на подвиги, то на самый серьезный труд. Когда по-настоящему любишь, то можно забыть о нашем маленьком, неугомонном самолюбии. Ведь оно же, подлое, при всяком удобном и неудобном случае говорит в подобных обстоятельствах — тебе выпало на долю в жизни подбирать на дороге, в пыли, в грязи затоптанное, то, что другие бросили. Тяжело! Но подлинная любовь может это ничтожное чувство самолюбца победить. Она сделала ошибку, что не согласилась быть твоей женой.

— Как это замечательно, Ваня! — воскликнул Михаил Михайлович. — Ты говоришь решительно так, как я думал обо всем этом сам. Слово не я, а ты ее любишь.

— Ну, это понятно, — серьезно, нахмурившись, ответил Крамской. — Всякий порядочный человек, для которого жена — это человек, идущий с ним рядом, родной, друг, с общими интересами и запросами в жизни, иначе и сказать не может. Я только повторил один за всех или за очень многих.

— Ваня, милый! — горячо сказал Михаил Михайлович. — Помоги мне! — Крамской неловко пошевелился и незаметно отодвинулся от него. — Уговори ее согласиться. Ты можешь. Ты такие найдешь хорошие слова, что она все поймет на свете лучше, глубже, оценит меня, перестанет во мне сомневаться. Обманувшись раз, Софья Николаевна, понятно, относится к нам с предубеждением. Это надо в ней заглушить. Мне жалко на нее смотреть. Как, как она переменялась после отъезда того отвратительного человека! От нее остались одни глаза и смотрят прямо, не мигая, спрашивают, заглядывают в душу, огромные, вопрошающие, полные отчаяния и такой тоски, что они могут тебе приказывать сделать все, что она захочет. Ты один можешь с ней разговаривать, как равный с равным. Она меня спросила, где ты и что делаешь. Ни о ком кроме тебя не узнавала. Ваня, спаси меня от горя, в котором я нахожусь!

Крамской вдруг засмеялся, обнял Михаила Михайловича и стал говорить ему совершенно противоположное, отзываясь враждебно о Софье Николаевне.

— Я тебя не понимаю, — с трудом сказал Панов.

— Она так тебе и сказала — не люблю вас?

— Да.

— А знаешь почему?

— Нет.

— Она же ждет возвращения Иванова...

— Не может быть!

— Женщины, как Софья Николаевна, никогда не забывают своего первого. Поэтому тебе и помогать не хочу, что, удайся мне уговорить ее, ты не будешь счастлив.

Михаил Михайлович ушел несогласный, расстроенный, обещал снова поговорить с ней сам. Он заходил опять к Крамскому. Через него Иван Николаевич узнавал о Софье Николаевне.

Прошло пять месяцев. Летом, вечером, Иван Николаевич, отдыхая от работы, сидел на скамье под окнами своей квартиры. Крамской не видел, как к нему подошла Софья Николаевна. Он на мгновение растерялся. Лицо у нее было измученное, похудевшее, и вся она стала тоньше, беднее одета, холоднее, увереннее в себе. Они сидели рядом на скамье, отчужденные и неловкие, и Крамской невольно заметил, чего не замечал раньше, что скамейка была неестественно длинная. Иван Николаевич с тоской внутри подумал — как они занимали мало места на этой скамье, какие они оба одинокие, и у каждого свое горе. Софья Николаевна заплала, разыскивая адрес какой-то общей знакомой, которая неизвестно куда переехала со старой квартиры. Иван Николаевич знал новый адрес. Не пригласив ее к себе, он поднялся в комнаты, разыскал записную книжку и списал адрес. Софья Николаевна холодно поблагодарила и стала прощаться.

— Я вас провожу, — сказал Крамской.

— Проводите, — согласилась она, — если вам не жалко вашего времени на прогулку.

Часа через полтора они оказались у ворот деревянного домика на Галерной, где жила Софья Николаевна с матерью.

— Спасибо, Иван Николаевич, — произнесла женщина каким-то безразличным и холодным тоном, — мы хорошо прощались. Я столько от вас узнала нового о вашем искусстве, словно мы только вчера расстались. К нам я вас не приглашаю. У нас вам скучно будет. Прощайте.

Софья Николаевна скрылась внутри двора, сразу с кем-то там встретилась и начала громко, весело и приветливо разговаривать. Крамской быстро пошел прочь, обиженный, даже разозленный, что женщина забыла о нем, едва только закрылись ворота за ней. Чем дальше удалялся он от хорошо знакомой Галерной гавани, куда иногда приводила его тоска по Софье Николаевне, тем больше и больше

мучился. Домой он вернулся таким разбитым, как будто целый день носил на спине какой-то тяжелый груз. Протосковав до середины ночи, он уснул, часто просыпался, и эти пробуждения были самыми тяжелыми. Как только возвращалось к нему сознание и глаза открывались, тотчас возобновлялась унылая сердечная грусть о Софье Николаевне. В темноте почти он слушал тиканье карманных часов, лежавших на тумбочке у кровати, и горько думал о том, как стремительно уходило время вперед. Даже не уходило, а бежало: трескучий звук секунд нагонял один другой. И так без остановки будет идти жизнь, которая никогда не возвращается назад и бывает один только раз для человека, летучая и неудержимая. И Крамской едва дождался утра.

Ивана Николаевича охватило почти безумное желание непременно сказать Софье Николаевне о том, как давно мучился он, как любил ее, как завидовал счастью Сергея Петровича, не умевшего понять, от чего он отказался. Крамской поспешно оделся, остановился посредине комнаты и передумал, испугался, что Софья Николаевна не захочет его слушать, возмутится от его неожиданного, негаданного признания, не нужного ей, не поверит, так жестоко обманутая товарищем Ивана Николаевича. Крамской решил написать ей. У него дрожали руки. Он не узнавал своего четкого красивого почерка, за который его так всегда хвалили еще в острожской Городской думе. Иван Николаевич написал много, несколько страниц, строчки бежали криво, словно ему, как мальчику-школьнику, не доставало линеек на бумаге. Крамской писал о том, что он ничего не добивается от Софьи Николаевны, знает, какой бы ответ она дала, потому что не может дать другого. Но любовь его, тайная и давнишняя, мешает ему жить, он не может больше молча носить в себе это неизлечимое, проверенное за три года, болезненное, вспеняющее его чувство. О нем она должна узнать, хотя бы только для того, чтобы легче перенести свое горе, чтобы снова верить в себя — какую неизгладимую, преданную, огромную любовь могла она вызвать, чистая, хорошая, незапятнанная своей любовью к недостойному человеку.

Крамской прочитал написанное, несколько раз закрывал глаза и останавливался, не умея совладать с собой, ничего не видя на бумаге за пеленой серых, тусклых, отчаянных слез. Наконец, он запечатал письмо и понес сдать его на по-

ту. А у самого входа в здание представил, как, получив письмо, будет поражен Софья Николаевна, никак не ожидающая ничего подобного, раскроет широко свои встревоженные скорбные глаза, вдруг заподозрит его в низких желаниях и домогательствах к «падной» женщине, какой ее однажды назвал при нем пьяный Сергей Пестрович. Иван Николаевич мгновенно разорвал письмо на мелкие кусочки, стиснул в руке, как горсть конфетти, понес до дома и швырнул в мусорную кучу на собственном дворе. Нет, письмо не пошло! Разве могут написанные слова передать весь трепет души его? Надо, чтобы она услышала его голос, поняла, что в нем не было ни одного лживого звука, все открыто и правдиво, как она сама.

Когда Иван Николаевич уверенной, быстрой походкой, точно по какому-то спешному, неотложному, но спокойному делу, приблизился к дому Софьи Николаевны, друг его оставила решительность. Как только он подумал, зачем все это делал и не знал, что себе ответить, понял, как будет жалко, объясняя свой поступок женщине, которая никогда его не любила и не могла любить, Иван Николаевич трезвел.

Он еще машинально шел вперед, и дом Софьи Николаевны был все ближе и ближе. Но Крамской уже знал, что он пройдет мимо жилья своей любимой, готовился, что сказать, какую выдумать причину, объясняющую его появление здесь, если бы Софья Николаевна случайно оказалась на улице. Крамской почти проскользнул около ворот, за которыми все было тихо и спокойно, ускорил шаг и облегченно завернул за угол. Иван Николаевич презирал себя весь день, дурно работал, издевался над Михаилом Михайловичем, надоедавшим ему своей безнадежной любовью к Софье Николаевне.

Вскоре Крамской обрадовался удобному поводу бежать из Петербурга. Академия объявила сюжет картины на вторую золотую медаль: «Поход Олега на Царьград». Иван Николаевич решил ехать в Киев и там работать. Путь лежал через Москву. В ней жил Михаил Борисович Тулинов, открывший здесь собственную фотографию года два тому назад. Предупрежденный о приезде, Тулинов с нетерпением ожидал своего молодого друга и воспитанника. Крамской явился к нему исхудалый, изможденный, с ярко проступавшими синими жилками на руках.

— Такие из тюрьмы выходят,— встретил его Михаил Борисович встревоженно.— Что случилось, дорогой мой человек? Ты не влюблен?

— «Олег» мне не дает покоя,— ответил Иван Николаевич.— Верьте или нет, других причин худобы не было. Да и климат петербургский для тех, кто видал украинское солнце, мало подходящий. Вот погошу у вас немного и переберусь в Киев. Оттуда возвращусь с запасом здоровья на три Петербурга. Да и когда в моей жизни я скрывал от вас что-либо важное— укажите? Наоборот, без вас не предпринимал ни одного ответственного шага.

Михаил Борисович до сих пор не мог его укорить в этом, и разговора не продолжали, обрадованные встречей.

Прошло несколько дней. Иван Николаевич начал собираться в Киев, Тулинов не разделял его планов, и Крамской, привыкнув всегда советоваться с опытным другом, забеспокоился.

— Историческую картину надо писать так, чтобы художник был близок к истине,— недовольно сказал Иван Николаевич.— Он обязан, по возможности, даже местность передать, где происходило действие. Местность, типы, одежды. Иногда историческая мелочь, только бы ее правильно угадать, может рассказать многое, всю картину осветить. Ненавижу академические привычки. Наши профессора воспитывают нас так, чтобы мы, не выходя из мастерской, могли наляпать любую историческую картину. Но это же фантазия, а не история. Картинка, а не картина.

Михаил Борисович стал возражать:

— Но ведь ты никакого Олега в Киеве не найдешь. Киев совсем не походит на тот город, каким был при Олеге. Ты потратишь много времени, произведешь лишние затраты, а цели не достигнешь. Образ твоих мыслей об Академии мне известен, тут и спорить не о чем. Я не о том говорю. Не надо писать «Олега», не вылезая из пыльной мастерской на четвертом этаже Академии, и неизвестно, что выдумывая, но его вполне доступно написать в Москве, с Воробьевых гор. Место высокое над Москвой-рекой, вроде киевских гор. Не ездят, Ваня, зря. Я не свой, твой кошелек берегу.

— Так рассуждать— с любой колокольни «Олега» напишешь. Лишь бы было высоко,— возражал Крамской.

— Это от силы художника зависит.

— Ну, вот вы и одобряете наших академических фантазеров.

— Ничуть. Я тебе помогу здесь. Мне хорошо знакомы профессора школы живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой — Рамазанов и Зарянко. Щиты, мечи, кольчуги дадут. Укажут настоящих натурщиков. За рубль будут ходить на Воробьевы горы. Южные одежды я тебе подыщу сам.

— Воздуха, воздуха исторического не будет такого, как в Киеве! Земля не та, не то небо, река другая.

— Зато там нет Тулинова, Зарянко, Рамазанова. А еще важнее: на Москве-реке ты сколько хочешь увидишь плотов и всякие ладьи. Съезди посмотри. Флот этот древний, приходит с лесной глухой стороны, из Костромской, Вологодской губерний. На Днепре такого что-то я не видал.

Иван Николаевич заколебался, раздумался, в Киев не поехал, снял на Воробьевых горах место у одного крестьянина и выстроил у него в вишневом саду барак-мастерскую, затратив на нее больше трехсот рублей, большие деньги по тому времени. Доверчивого Крамского всю жизнь обманывали разные подрядчики, вздувая цену за всякую безделишную работу для него.

Только осенние холода выгнали Ивана Николаевича из легкого сооружения, промерзшего и протекавшего со всех сторон. Художник был доволен. Он часто смотрел на причудливые расшивы и узорные баржи, тнявшиеся по Москве-реке из глубин Вологодчины и Костромских краев. Древние формы судов, лубочные паруса на них, огромные в три сажени правила-рули за кормой, верви из лыка взамен пеньковых веревок — все это как раз напоминало Крамскому давно умершую историческую эпоху.

— Взгляните, Михаил Борисович, — сказал однажды Крамской Тулинову, приводя его на берег Москвы-реки. — Вчера вон те три корабля новые приплыли. А? Каковы? Я думаю, если бы Олег встал из гроба и увидел их, то и тот бы воскликнул: «Экая старина матушка глубокая!»

— То-то! — с удовольствием согласился Тулинов. — А как я твоего Олега одел! Какое у него снаряжение, доподлинное — копье, щит, кольчуга, шишак, нарочно не сыщешь. Не зря я ходил по антикварам. Для милого дружка и сережка из ушка.

— Вы меня в обиду не дадите даже от меня самого. Зачем мне было быть киевлянином, когда и москвича для «Олега» за глаза довольно!

Крамской не был историческим живописцем, картина «Поход Олега на Царьград» осталась недооконченной, в том самом виде, до какого ее довел Иван Николаевич на Воробьевых горах.

Все лето радостный, живой, незадолго отъезда Крамской загрузил. Михаил Борисович справлял отвалную: завтра предстояло расставание с другом.

— Помните, Михаил Борисович, — спросил Крамской, — вы заподозрили — не влюблен ли я?

— Помню, помню, — с тревогой сказал Тулинов. — Неужто же это так?! Ты же должен сперва окончить Академию. Всякому житю свое время.

Крамской засмеялся, увидав, какой не поддельный испуг появился на лице Михаила Борисовича.

— Нет, конечно, — успокоил его твердо и уверенно Иван Николаевич, — я позвонил себе было немного увлечься, это теперь прошло. Пять месяцев просидел на «Олегом». Так влюбленные не поступают.

— Не похоже, слава богу! С чем только могу поздравить тебя. Вот зато Михаил Михайлович Панов проезжал прошлой весной в Острогжск, заглянул ко мне и рассказывал, как потерял голову от любовницы твоего друга Иванова, Софьи Николаевны.

Иван Николаевич неприметно поморщился и закрыл лицо рукой.

— Почему же любовницы? Софья Николаевна была верной женой этого, настоящего ее, ничтожного человека.

— Верной и любовница может быть. Иногда даже вернее жены.

— Тогда она настоящая жена.

— Хорошо. Согласен с тобой. Правда ее ни в один дом не примут, так заведомо, но уважать молча могут. Бедняга Панов, не скрыл от меня, как ты отчитал его и отказался вязываться в эту историю улаживать с Софьей Николаевной его немыслимый брак.

Иван Николаевич замолчал. Он в самом деле думал, что за лето отвык от привычных мыслей, занятых Софьей Николаевной. Как будто бы она куда-то все дальше и дальше уходила от него. И вот это оказалось некрепко. Опять он почувствовал к ней огромную, неразделенную, обидную, все разрастающуюся любовь. По дороге в Петербург Иван Николаевич считал станции, думал, что их очень много и никак не доедешь до Галерной гавани. Где-то, под самым Петербургом, Крамской решил, что больше он не может выносить этой внутренней своей пытки. А вдруг

Софья Николаевна иногда думала о нем иначе, чем только о своем хорошем знакомом? Может быть, горе ее от утраты Сергея Петровича начало утихать. Она хочет жить снова, любить, быть женой, матерью, как все здоровые и разумные женщины?

Все планы, задуманные в дороге, оказались гораздо труднее исполнить, когда от восьмой линии Васильевского острова до Галерной гавани было только рукой подать. Иван Николаевич прособирался встретиться с Софьей Николаевной три недели.

В конце октября Софья Николаевна пришла сама. При виде ее у Крамского больно стиснуло сердце. По какой-то случайности опять был дождливый вечер, как три года назад, когда в первый раз Иван Николаевич увидел ее. На Софье Николаевне было другое пальто, шляпа. Но тот же завиток волос выбился наружу, на нем дрожали дождевые капли, и мокрые перчатки она снимала с еще большей робостью, чем тогда. Крамской кинулся к ней, взял ее намокшее пальто, шляпу, перчатки, суетливый, взволнованный, задышающийся.

— Вы мне рады? — вдруг, дрогнув, спросила она, удивленная, обмякшая, в своей скромной полосатенькой блузке, с белыми манжетами на руках, в сером платье, в лакированных туфлях, потускневших от дождя. — Вы мне рады? Я не ошибаюсь?

— Нет, не ошибаетесь, — ответил Иван Николаевич растроганно. — Как вы могли подумать, что я могу быть иным? Мы же друг друга знаем давно, Софья Николаевна. — Он усадил ее на диван, придвинул ближе лампу и, весь в тревоге, нежный и внимательный, сказал: — Вот потому, что мы старые знакомые, я прошу вас, Софья Николаевна, почувствовать себя, как дома. У вас же ужасно проможены ноги. Согрейтесь, согрейтесь, ради бога. Я прошу вас. Забудьте, что я здесь. Снимите туфли. Надеть вам у меня, конечно, нечего. Подожмите ноги под себя и сидите, сидите так. Я вам дам плед, закройтесь. Нельзя так пренебрегать собой!

Софья Николаевна вдруг радостно, звонко засмеялась, быстро сняла туфли, подожала ноги под себя, закрылась пледом и, дрожа, попросила:

— Мне холодно. Дайте мне что-нибудь на плечи.

Иван Николаевич беспомощно оглядел комнату, не знал, что предложить, Софья Николаевна подсказала:

— В передней у вас висит черная бархатная куртка. Я ее надену и согреюсь.

Крамской торопливо принес. От волнения она не сразу нашла рукава, спутав левый с правым, как бывает с детьми. Вдруг он стал недогадливым, смотрел, как надевала она его рабочую куртку, восхищенно улыбался и не помог. Наконец, справившись с трудным делом, Софья Николаевна похвалила теплую вещь, взглянула на непонятного ей сегодня Ивана Николаевича и не смогла от него оторваться. Грустные глаза Крамского сияли таким мягким и ласковым светом, какого она давно не видела ни в одном человеческом взгляде.

— Странно, — сказала Софья Николаевна, — я всего второй раз вижу с вами после многих месяцев... когда вы перестали со мной встречаться... Помните, я была у вас и... мы сидели на скамейке под окнами... Я разыскивала адрес знакомых... Как это трудно сказать!..

Софья Николаевна покачала головой, провела по своему бледному лицу маленькими ручками и, содрогаясь, засунула их глубоко в рукава.

— Почему трудно? — спросил Крамской встревоженный.

— Но вы помните этот день?

— Да.

— И все помните?

— Что все? Я вам дал адрес. Потом провожал вас, и мы немного погуляли. И простились у ворот вашего дома.

— Только?

Крамской с нарастающей тревогой в душе задумался, и свет в глазах его погас. Иван Николаевич с усилием припоминал.

— Нет, ничего больше, — сказал он.

— Вы тогда даже не пригласили меня в комнаты...

Крамской вспыхнул, опустил глаза и молчал.

— Вы приняли меня как жалкую просительницу, хотя ничего я у вас не просила. Я едва удержалась, чтобы не убежать, пока вы писали мне... ненужный адрес в этой комнате. Сегодня же вы почему-то мне рады. Не понимаю. Вы не могли мне простить... того... чего уже не было в живых?

— Нет, нет! — воскликнул Иван Николаевич, и снова преобразились его глаза. — Совсем, совсем не то! У меня не выговаривает язык, почему я это сделал.

— А я ведь, — горько сказала Софья Николаевна, — ни в чем перед вами не виновата... Должна ли я поступать всегда вопреки тому, что я чувствую, или я

уж ни на что в жизни не имею права, кроме как на покаяние?

— Что вы говорите, Софья Николаевна! Неужели я вас так оскорбил! Я никогда не мог подумать! Если бы вы знали, чем вызван этот поступок мой!

— Чем бы он ни был вызван, наверное только не тем, что меня и тогда и сегодня привело к вам.

Софья Николаевна вдруг резко выдернула руки из рукавов, судорожно растегнула ворот куртки, сбросила ее с себя, быстро спустила ноги с дивана, надела туфли, встала и почти с негодованием закричала в самое лицо Крамского:

— Я совсем не по делу к вам пришла! Я терзаюсь и мучаюсь! Ответьте мне прямо и честно, и я больше не буду проситься к вам в комнату. Я три года люблю вас!

Утром Михаил Михайлович Панов зашел к Крамскому, как они условились накануне, чтобы вместе идти в Академию. Переступил порог и опустил глаза. На диване, покрытая полосатым пледом, спала Софья Николаевна.

— Не разбуди мою жену, — волнуясь, сказал Иван Николаевич. — Я нарочно пустил тебя, чтобы было все ясно между нами.

БУНТ

В осеннее петербургское утро 1861 года, придерживая черные широкополые «художнические» шляпы от неистово дующего ветра с Финского залива, Крамской, Маковский, Вепит, Корзухин и Литовченко быстро шли по набережной Невы, торопясь в Академию художеств. Это был особенно торжественный день открытия ежегодной академической выставки. Его ожидали с нетерпением, и, когда он наступал, каждый из учеников волновался уже с самого пробуждения своего. Однообразной и замкнутой жизни учеников выставка являлась большим событием. Равнодушные к ветхо- и новозаветным мифам и легендам, фантастическим богам на фантастическом Олимпе, среди которых заставляли жить почтенные академические старцы, ученики искали на выставках произведений живых, реальных. После севастопольского разгрома старая николаевская Россия зашаталась, вместе с ней дрогнула казенноконштная императорская Академия. Люди разных сословий и возрастов были допущены свободно заниматься искусством. Затхлые до реформенные коридоры Академии напол-

нил жадный к знанию свободолюбивый разночинец. Он шел на выставки со своими новыми вкусами и взглядами на искусство. Несколько лет подряд ученики видели на академических выставках жаровые вещи, глубоко волновавшие их. Они появлялись не только со стороны, что было понятно, но нет-нет да и в самой Академии какой-нибудь молодой ученик неожиданно создавал вещь, не похожую на его классные обязательные работы. Живопись быта, ее острая правдивость затмевала искусное, мертвое рукоделие художников-академистов, творивших в свое время. Выставка 1861 года вызвала особые ожидания. В академических коридорах распространился слух о каких-то боевых картинах, равных которым еще никогда и никто не видел. Крамской шел впереди и недовольно подгонял товарищей:

— Эй, ходоки! Вы ступаете, как ступахи, которым пора ходить к ранним утрениям, а богомолкам не хочется!

— Не верю слухам, — сказал Маковский, ежась от холода. — Всякий слух как детский змей. Сам маленький, хвост преувеличенно длинный.

— Говорят, Перов привез удивительно злые вещи.

— Не верю в Перова, — заметил Литовченко, — он все-таки только подражатель Федотова. В третьем году Перов вступил со своим «Приездом станowego следствия». Не бог весть какая картина! Плохо и серо написана.

— Смотрите на него, друзья, — насмешливо сказал Крамской. — Я помню, как мы были в полном переполохе от «Приезда станowego». Это я Перова тогда так выругал, а ты запомнил и повторил через три года.

— Это он от зависти, — небрежно воскликнул Корзухин, подталкивая вперед Литовченко. — Сам не может так сделать, надо же на ком-нибудь сорвать злость.

— Хотя и недостатки и заметил, — серьезно продолжал Крамской, — но, думаю, на всю мою жизнь запомнил их хитительных понятий, приведших подудимого, комического письмоводителя с подвязанной щекой и самое страшное на чальство — господина станowego. Странствуя с Данилевским по матушке России, встречал и такие сцены и таких живых людей. А в прошлом году какую вещь дал Перов! Его «Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы» кому очень не понравится. Обличает, и шутя, с мясом и кровью дерет. Душу из

дощника чувствуем, волнение его, темперамент.

Над подъездом великолепного здания, сооруженного гениальным русским зодчим Александром Филипповичем Кокориновым, извивались и трещали от ветра, точно крылья огромного трехцветного орла, два императорских штандарта. Лакированная барета, сверкающая, новенькая, везома парой белых, как пена, лошадей, поровнялась с художниками.

— Вице-президент князь Гагарин приехал, а мы еще не на месте,— сказал, усмехаясь, Крамской.— Наддайте, ребята! Будьте уверены — Перов не обманет. Москвич этот, говорят, человек зубастый, настоящий сатирик. По нынешним временам, пожалуй, одной сладкой живописью удовлетворишь только богомольных старух дев с Васильевского острова.

И Перов не обманул. Крамской с товарищами едва протискались к небольшому двум картинам Василия Григорьевича Перова: «Проповедь на селе» и «Сельский крестный ход на пасхе». По тому возбуждению, с каким выставочная публика устремлялась к полутемной стене зала, где висели перовские картины, было понятно впечатление, произведенное ими.

— Самую дурную стену выбрали, невыгодную для освещения картин,— вполголоса сказал Крамской товарищам.— Видно, понимали, что картины ожидают успех. Они же ненавидят эти лампы да сермяги!

По залу лениво, не торопясь, словно и самая медлительная поступь профессорская, вместе с мундирами, орденами и лентами, входила составной частью в чины и звание академиков, шли Гагарин, Бруни, Тон, Неф, Пименов, Басин, Львов. Они прежде всего останавливались у программных работ конкурсантов этого года, обменивались короткими замечаниями и, случая, двигались дальше. Ученики давали им дорогу. Наконец академической знати освободили проход к колушественной стене, занятой Перовым. Профессора оживились, начали посмеиваться, шептались между собой, чтобы не услышала охватившие их плотным кругом любознательные веселоглазые ученики.

— Поглядите, сам ректор Федор Антонович Бруни, почетный член Болонской академии и почетный профессор Флорентийской, можно сказать, настоящий римлянин, устаивает обозрения картины грубого жанриста Перова,— потихоньку сказал Корзухину и Маковскому Крамской.— А Перову до античных задач и ре-

бусов Бруни точно такое же дело, как и до того, на каком инструменте ректор играет в минуты отдыха от своей утомительной антики.

— Говорят, он на кларнете жарит по три часа в день,— проворчал Корзухин.

— Нет, он на флейте,— поправил Вениг,— иногда на свирели.

— Фавн, играющий на пастушеской дудке! — сказал Крамской.— Удивительно это походит на действительного статского советника Бруни. Вениг, ведь ты гостишься с ректором?

— Да, Федор Антонович бывает в нашей семье,— простодушно подтвердил Вениг.— Вы бы не узнали этого надменного сановника в Академии в том приветливом и добром человеке, который пьет чай за нашим круглым столом в голубой гостиной. Он очень любит бублики и постный сахар.

— Ну, чего бы он там ни любил под уютной лампой, нам от этого не слаще. И нам и русскому искусству,— серьезно промолвил Иван Николаевич.— Он ведь считает все наши поиски реальной правды свойством дурного вкуса, низменными элементами в искусстве, которые вторгаются в святилище изящного, представляемого Академией. Знаю, что он большой художник, даже огромный по своим внутренним силам и средствам, нам не быть такими мастерами, но все-таки он мертвец, притворяющийся живым.

Первым отошел от картин Перова косматый, весь какой-то взлохмаченный, пожимающий плечами в узком мундире скульптор Пименов. Злые языки говорили, что ни один портной не мог угадать действительную толщину ваятеля и все закройщики ошибались.

— Николаю Степановичу тесно и душно,— шепнул Крамской Маковскому.— Ты представь, Константин Егорович, что бы с ним было, если бы ему, например, министерство двора приказало изготовить в мраморе вон того перовского батюшку налево в ризе и с носом пропойцы!

Академики проследовали дальше, посмеиваясь и переглядываясь. Около Крамского собрались все его кружковцы. Они постепенно заняли место у самых картин Перова и долго никого не подпускали близко. Компанней сходили пообедать в трактир «Золотой якорь» и опять явились на выставку.

— Здорово попало попкам,— сказал Крамской, показывая товарищам на толпу зрителей, теснившуюся перед «Сельским крестным ходом на пасхе». — Народ

валит: его берет за живое. И правильно. В этой картине — страшная и глубокая правда, подсмотренная в нашей повседневной жизни. Перову далеко не весело.

Незадолго перед закрытием выставки в зал вошли два очень торопившихся человека, одного возраста, лет по сорока. Особенно выделялся один из них — огромный, с откинутой высоко головой, с широкой грудью, цветущий и румяный. Он вел себя совершенно непринужденно, часто брал под руку своего более спокойного компаньона, показывал ему громадной своей рукой то в одно, то в другое место картин, приседал, заглядывал со стороны, убегал в дальний угол и смотрел оттуда одним глазом, сделав из кулака трубочку.

Это было весело и немного смешно. Крамской наблюдал за интересным человеком, так непохожим на остальную выставочную публику, сдержанную, холостую, медленно ходившую по залу. Иван Николаевич пододвинулся к незнакомцу. А он в увлечении громко говорил своему приятелю:

— Дорогой Дмитрий Васильевич, это же сияет жизнь наша доподлинная. Это еще не бог весть что такое. Только начало. Но начало молодое, свежее, обещающее. Если бы я увидел в первый раз произведения господина Перова, я бы побоялся сказать силеча о нем как о надежде русского искусства. Но я на третьей, на четвертой выставке подряд встречаю его вещи одна одной лучше. Он забирает все выше и выше. Да разве он один? Счастье в том, что наша молодежь вопреки Академии обращается к самым дорогим и понятным всем темам. К жизни она обращается, к реальной жизни. Римские идеалы, всякая там классика, которой поклоняются в этом здании господ профессора, губят нашу молодежь. Она работает из-под палки, над чужим делом. Еще многие идут проторенной дорожкой. Я ненавижу Академию — эту великолепную усыпальницу искусства.

И не давая произнести ни одного слова своему приятелю, огромный и широкий в кости человек потащил его в другой конец зала:

— Вот Якоби «Привал арестантов». Тема новая, унылая, а как она поднята с самой нашей земля-матушки. Я знаю другую его вещь: «Светлый праздник нищего». А вот вам Мясоедова «Приход молодых». А это вас не взволнует: «Последняя весна» Клодта? Дорогой Дмитрий Васильевич, перед нами целое направление в русском искусстве. Его создает мо-

лодежь. Любит родину, Россию, народ свой, хочет рассказать о том, что его мучает, угнетает. Молодые художники как бы иллюстрируют ваши прекрасные повести из крестьянской жизни: «Антон горемыка» и «Деревня».

Крамской, Корзухин, Маковский слушали незнакомца, не догадываясь, кто стоял перед ними. Но Григорович Крамской читал еще в Острожске, перечитывал здесь, в Петербурге. Иван Николаевич внимательно всмотрелся в любимого писателя. Но огромный незнакомец все-таки интересовал больше, и Крамской не сводил с него глаз. Пока Григорович со своим приятелем обходили выставку, Иван Николаевич следовал за ними невядалеке. Отрыл ему имя незнакомца академический натурщик Тарас.

— Знаю, всех знаю, — довольный обширным своим знакомством, ответил Тарас на вопрос Ивана Николаевича. — Поменьше это — писатель Дмитрий Васильевич Григорович. Лет пятнадцать тому назад он немного поучился в Академии и почему-то не пожелал оставаться у нас. А другой, верзилушка-то, тоже писатель, только по другой части. Большой это ругатель Академии нашей. У Николая Николаевича Ге я позировал. Туда он часто ходит. Это — Владимир Васильевич Стасов.

Только через десять лет, в 1872 году, Крамской познакомился со Стасовым, и они вместе прошли трудный и боевой путь в русском искусстве. Стасов и Крамской были близки, часто встречались, переписывались, много и ожесточенно спорили между собой, ссорились. Но их постоянно тянуло друг к другу, размолвки оканчивались укреплением теплой и неразрывной дружбы.

О «Сельском крестном ходе на пасхе» Перова шумел «весь Петербург», и каждый днем ходило все больше и больше народа смотреть картину. Пол перед картиной Перова был затоптан, как мостовая на улице. Никто не обращал внимания на новые работы давно прославленных академиков. Возбужденные ученики начинали свой рабочий день все с нового и нового осмотра выставки. Они ничего не видели, кроме произведений Перова, Клодта, Якоби, Мясоедова. И министерство двора велело убрать самую опасную и заражающую «неопытные умы и пагубно увлекающиеся сердца» картину — «Сельский крестный ход на пасхе». Ее «сослали» в Общество поощрения художеств, где секретарем был конференц-секретарь Академии Ф. Ф. Львов. Публика нашла дорогу и ту-

да, осаждая обычно пустующее скучное выставочное зало. Картину и там запрети-ли.

Кружок Крамского внимательнее других следил за тем, что происходило. На восьмой линии Васильевского острова собирались почти каждый вечер, пылко обсуждая все художественные новости, разговоры с профессорами, разные слухи, каких всегда бывает достаточно около жн-вого, интригующего многих людей дела.

Имя Владимира Васильевича Стасова произносилось чаще других.

После осенней выставки, приветствуя новое движение русского искусства, Стасов открыто и прямо выступил в печати против Академии. Владимир Васильевич писал о заповедных думках учеников. Он призывал Академию предоставить молодежи свободу выбора тем и сюжетов по собственному влечению к ним художников, освободив их навсегда от принудительных академических заказов. Статьей зачитывались ученики. Она переполошила профессоров. Стасов публично предлагал руководителям императорской Академии отказаться от самих себя, снять губительную их опеку над молодыми художниками. Кружок Крамского был в восхищении, ожидал перемен, надеялись, что статья Стасова «разгромит» Академию. Иван Николаевич видел дальше других и удерживал товарищей от самообмана.

— Ничего не произойдет,— говорил он, высмеивая мечтателей.— Бруни и свита его будут драться за живот свой. Шутка признаться, что ты выкуда не годен? Это почти не бывает в жизни. Может быть, когда-нибудь мы одолеем, пока рано. Одолеть можем произведениями, а не статьями. Надо научиться писать картины лучше «Медного змия» Бруни.

Скоро Крамской припис газету «С.-Петербургские ведомости» князя Ухтомского. Там, не подписавшись, Федор Антонович Бруни, по воле совета Академии, оспаривал Стасова.

— Ну, вот видите,— сказал Иван Николаевич товарищам,— Бруни в полной генеральской форме, на устах блуждающая улыбка, глазки, как у медного змия, лукавые и буравящие противников антики. И во всей его статье одна мысль: Академия не может не душить нас, и мы еще неучи, чтобы писать картины на сюжеты из русской истории.

Ученики ждали возражений Стасова. Но вдруг все замолкло, словно Владимир Васильевич образумился и признал себя побежденным. Крамской прочитал ответ

Стасова Бруни только через двадцать пять лет; в 1861 году ответную яростную статью нигде не напечатали, ее задушила императорская цензура.

Картины Нерова: «Проповедь на селе» и «Сельский крестный ход на пасхе» стали знаменитыми. Не уставая, писал Стасов. Ему не давали договаривать до конца. Но его понимали с намека там, где он не мог побороть цензора. Приверженцы Стасова подрастали.

Академики были самонадеянны. Они не верили в растущую национальную школу живописи. Однако, уступая напору жизни, учредили в Академии отдел жанристов. Академики даже присуждали золотые и серебряные медали за «лапти и сермяги». Жанристы писали на собственные темы. Профессора пока не боялись «низкого искусства». Только так называемых «историков» они не освобождали от своей опеки со дня основания Академии сто лет тому назад.

И Крамской, числясь историком, в 1862 году почти переселился в мастерские Академии. Он обязан был к конкурсу на малую золотую медаль писать картину: «Моисей источает воду из скалы». По длинному коридору четвертого академического этажа тянулись мастерские других конкурентов, товарищей Ивана Николаевича. Их было четырнадцать. По правилам Академии, конкурсанты не имели права ходить друг к другу в мастерскую: их оберегали от заимствований. Эти полезные и нужные правила охотно соблюдались одиночками-учениками, воспитанными Академией в нужном ей направлении. Одиночки-классики, отчужденные от всех, ревнивые к своим мертворожденным картинам, упорно сидели под замком.

Но четырнадцать конкурсантов составляли единый кружок, который работал над скучной обязательной программой, зевая и морщась. Каждый старался чем-либо увлечь себя, чтобы хоть немного скрасить тяжесть неприятного, без вдохновенного труда. Крамской работал старательно, холодно, равнодушно. Почти так же, как у Денъера в фотографии. С той только разницей, что там за работу платили дороже. Здесь конкурсанты получали от казны помесечно: пятнадцать рублей серебром и готовый кошт. Но труд был немалый. На «Моисея, источающего воду из скалы» понадобился год.

До сентябрьского годичного экзамена 1863 года оставалось месяца четыре. Окна мастерских выходили в маленький академический сад, расположенный между

меншиковским кадетским корпусом и Академией. Для «Моисея, источающего воду из скалы» нужен был пейзаж. Ленивые писали его, открыв окно мастерской. Крамской спускался в сад и писал предварительные небольшие этюды деревьев с натуры. За этой работой и застало его событие, о котором только что узнали в мастерских оставшиеся там товарищи. Вдруг Иван Николаевич услышал громкие голоса Маковского и Венига со стороны садового входа.

— Крамской! Крамской!—кричали возбужденные товарищи. Без шляп, с расстегнутыми воротами, сломя голову неслись они по аллее и размахивали какими-то белыми бумажками.

— Крамской! Чудо!—сказал запыхавшийся Маковский и сунул Ивану Николаевичу бумажку.

Крамской быстро прочел ее, поднял руки с палитрой и кистями к небу, как с его картины молящийся у скалы Моисей, засмеялся и, вставая, сказал:

— Вот уж, действительно, не знаешь, где потеряешь, где найдешь. Не Стасова ли назначили ректором Академии? Пойдемте в мастерские. Надо собраться всем.

Крамской взял сырой этюд, кисти, палитру, этюдник, и трое товарищей быстро пошли из сада. Страстное нетерпение овладело всеми конкурсантами. Они толпой стояли у доски с объявлениями Академии. Крамской прочел:

«Ввиду имеющего быть в будущем году столетия Императорской Академии Художеств, в виде опыта, совет Академии постановил:

1) Отныне различие между родами живописи жанра и исторической уничтожается;

2) на малую золотую медаль, как и прежде, будет задаваться всем один сюжет;

3) на большую золотую медаль будут даны не сюжеты, как прежде, а темы, например: гнев, радость, любовь к отчизне и т. д., с тем, чтобы каждый ученик, сообразно своим наклонностям, выбрал и исполнил тему, как он хочет и откуда хочет: из жизни ли современной, или давно прошедшей, из истории ли библейской, или евангельской;

4) конкурировать на большую золотую медаль разрешается только один раз;

5) на всех конкурентов полагается одна медаль первого достоинства».

Все лето в мастерских шли самые разнообразные толки о новизне. В конце кон-

цов ее стали больше опасаться, чем приветствовать.

— Что нехорошо,—каждому из товарищей сказал Крамской,—одна медаль на всех. Но мы ведь знаем, как даются медали. Примеры. Николаю Николаевичу Ге за его «Саула у аэндорской волшебницы» едва-едва дали медаль, в Совете чуть не передрались из-за него, нашлись люди, которые усомнились даже в этом бесспорном даровании. Вместе с Ге с громом и литаврами прошли бездарные мазилки—Мартынов, Иков, Ксенофонтов. Келлер провалился на конкурсе и на свой счет поехал за границу. Я всем товарищам хочу добра, гения между нами нет, каждый из нас работает в меру сил и способностей. Но я знаю и то, что ни одного жалкого Ксенофонтова среди четырнадцати товарищей даже быть не может. Один раз конкурировать—худо. Бывают и случайности с людьми, и ошибки. Строгости эти нам не выгодны. Нас манят очень опасной свободой, и как будто бы хорошо, что дадут не один сюжет, а тему. Но так ли уж это соблазнительно? Все четырнадцать людей разные, с разными темпераментами и характерами. Один никогда не переживал гнева, другой не умеет смеяться. А тема ведь свяжет, как и сюжет, и мрачных и веселых. Я что-то перестану видеть разницу между старым и новым...

В сентябре 1863 года Крамской окончил «Моисея, источающего воду из скалы» и получил малую золотую медаль. Новые правила были изучены вдоль и поперек. От «доки» ждали последнего слова. И Крамской предложил:

— Попытаемся вырвать у Академии к преславному ее столетию, тоже в виде опыта, полную свободу выбора сюжетов. Надо узнать также, будут ли нас запирают на двадцать четыре часа для сочинения эскизов, как бывает при задавании сюжетов. Что вы будете делать взаперти в одни сутки, когда обязаны сочинить эскиз на тему: гнев или радость, или любовь к отчизне? Вы же не имеете никаких материалов, вашему воображению приказано в двадцать четыре часа придумать большую тему, найти ее выражение в тех или иных образах, положениях, характерах. Я признаю себя бессильным обрадовать Академию моим скороспелым сочинением. Когда берет тебя за горло сильный разбойник, ничего не остается, как кричать «караул».

Крамской с трудом поборол нерешительность и осторожность некоторых товарищей, не желавших конкурировать все-

дую и побаивавшихся рассердить профессоров своими смелыми домогательствами. На общем собрании «доке» поручили составить заявление в Академию. В октябре месяце за подписью четырнадцати конкурентов конференц-секретарь Львов получил эту бумагу, прочел ее и, ошеломленный, воскликнул:

— Они с ума сошли! Академия при таких нравах погибнет. Вот, Петр Васильевич, ознакомьтесь с этой неожиданной брамолой.

Присутствовавший в кабинете профессор Басин, хмурясь, фыркая, прочитал и насмешливо проворчал:

— Им надо предложить кресла в Совете. Кстати, кто это выдумал темы, Федор Федорович?

Темы и отдел жанристов выдумал Львов.

— Ах, я не знаю! — сказал Федор Федорович, неприязненно посмотрев на Басина. — Вы были на Совете и решали этот ошибочный вопрос вместе со всеми.

— Не помню что-то... А, может быть, я и не был. Но кто бы ни являлся виновником — вы, я, предположим, все равно: дулой темы!

— Значит, по-вашему, конец побрякам?

— По-моему, задать всем один сюжет. Старина — она испытанная всегда.

Басин ушел. Львову было досадно и неприятно, что он сделал служебную ошибку, которую могли использовать против него враги. В первую очередь ректор по архитектуре Константин Андреевич Тон. — «лютый зверь», как его называли ученики Академии.

Федору Федоровичу правилось прозвище Тона «лютым зверем». Оба они ненавидели друг друга. Но к нему-то он и отправился раньше других. Константин Андреевич выслушал, взял из рук Львова бумагу и нарочно, чтобы заставить врага еще раз познакомиться с неприятной ему историей, стал от слова до слова медленно, тягуче, с ужимками читать. Наконец он кончил и с поклоном подал бумагу разъяренному конференц-секретарю.

— Что вы скажете, Константин Андреевич? — спросил Львов. — Ваше мнение? Я показываю вам первому это возмутительное прошение.

— В солдаты! — крикнул Тон. — Забрить в солдаты! Четырнадцать бунтовщиков! — И вдруг ядовито спросил: — А откуда профессор Басин знает об этом дерзком поступке конкурентов? Не кажется ли вам, что они написали несколько

штук своей бумажонки и распространили среди учеников?

— Я не знаю, — ответил, смешавшись, Федор Федорович.

— И я, и я хорош, — сказал Тон, потешаясь, — у меня был Басин, он, кажется, прямо от вас, а я у него и не спросил, от кого он узнал об этой печальной выходке конкурентов.

Конференц-секретарь поспешил скорее убраться от злого, неугомонного врага.

— А Крамского-то, Федор Федорович, вы устроили преподавателем рисования в школу на Бирже Общества поощрения художеств, — провозжая Львова, еще раз уколол его он. — А он вам такую штуку отмолил!

Тогда и конференц-секретарь не остался в долгу, улыбнулся и ответил:

— Кто старое помянет, тому глаз вон. Известно, известно и нам, что Константин Андреевич хорош, хорош к Крамскому...

— Был да сплыл. Думал, что у него талант, оказывается, при таланте образ мыслей никуда не годится.

— А в солдаты-то сейчас не отдают.

— Жалко! Я бы их проучил!

Федор Федорович обошел профессоров: Клодта, Нефа, Пименова, Резанова, Гримма, Реймерса, Воробьева, Штакеншнейдера. В Бруни он не сомневался: они всегда оказывали друг другу взаимные услуги.

В упорном молчании Совета был уже ответ. Подали второе прошение. В нем просили оставить за жанристами старые права, по которым жанристы представляли картины на свободно избранные сюжеты, а историкам позволить, в виде опыта, свободно выбрать сюжеты. Крамской уговорился с товарищами, что если Совет подтвердит старые права за жанристами, отказав историкам, то все они перейдут на жанр и тем самым получат то, чего добивались.

Совет снова молчал. Крамской предложил обойти наиболее влиятельных профессоров и лично убедить их в справедливости желаний конкурентов. Пришли к Тону. Он принял их больной, лежа в огромной своей кровати и действительно напоминая взъерошенного «лютого зверя». Не дал сказать двух слов и хрипло прорычал:

— Конкурсы будут! Счастье ваше, что время другое, а то прежде бы вас всех в рекруты закатали! Прощайте!

Басин сказал почти то же, только не пригрозил солдатчиной. Пименова считали уступчивее, талантливей, любили его. Он

ничем не угрожал, сослался на Европу, где существовали такие же конкурсы, как в Петербурге, не убедил и особенно не старался убедить.

Бруни провел конкурентов в свой кабинет и усадил всех. Выслушав Крамского, холодный, красивый, тонко усмехающийся человек, чем-то похожий на сфинксов из Фив на набережной Невы против Академии, Бруни спокойно и ласково сказал:

— Я готов заступиться за вас и сделаю все, что в моих силах. Конечно, я не один. Но положение ваше мне понятно. Я обещаю. Если бы я был на вашем месте, пожалуй, поступил бы точно так же.

У многих конкурентов заблестели глаза. Крамской почувствовал, что на душе у него стало спокойнее. Он внимательно смотрел на умное, белое, чистое, благородное лицо Федора Антоновича, на его волнистые, длинные волосы, откинутые назад и аккуратно расчесанные, и на минуту усомнился в своем давнишнем мнении о всеильном ректоре: да уж так ли он был коварен! Бруни любил тихую речь, и она текла гладко, без шума, густо, как масло из бутылки. Федор Антонович, огорченно вздыхая, жаловался, что все больше и больше падала историческая живопись, что на Академию надо смотреть как на такую школу, где должно развиваться искусство высшего порядка, должны вырастать и воспитываться великие художники, что на таком пути Академии все больше и больше препятствий, что крикливо, шумно, без роду и племени в искусство вторгается низменная живопись.

Крамской насторожился и не успел удержаться горячего, талантливого жанриста Пескова. Песков вспыхнул, вскочил и перебил Бруни:

— Да что же это такое, Федор Антонович,— по-вашему, мы, жанристы, вовсе уж и не художники! Неужели же одним классикам место на земле? Только ими и для них существует искусство?

Крамской поторопился сгладить выступление неосторожного Пескова, говоря почти так же тихо и спокойно, как это умел делать Бруни:

— Вы совершенно правы, Федор Антонович. Великие художники, о которых вы говорите, безусловно пойдут добровольно и сознательно по пути, вами указанному. К несчастью, такие художники очень редки. Мы не смеем даже дерзнуть говорить о каком-то сравнении с ними. Но в виде лишь опыта просим поддержать наши скромные просьбы. Никто больше нас не

любит Академии и не ценит ее, и нам бы хотелось сохранить о ней самые благодарные чувства.

Бруни ласково проводил конкурентов до дверей и еще раз обещал помочь, повздыхал, посмотрел грустно и осторожно щелкнул замком.

Обход профессоров закончился ничем. Федор Антонович смутил конкурентов, некоторых даже очаровал, но очарование было непрочное: раздумавшись, каждый в него верил с осторожностью и оглядкой. Все четырнадцать конкурентов находились в большом напряжении. На-днях должна была решиться судьба каждого. Крамской волновался за всех. Он чувствовал непрочность того дела, которое затеял. Далеко не всякий из товарищей с такой же продуманностью и убежденностью, как сам Крамской, нуждался во внутренней свободе своего творчества. Они могли попутать и... разойтись по домам. Иван Николаевич минутами испытывал страх, что вот-вот начнется бегство, не на кого будет опереться и придется идти одному. Он употреблял все усилия, чтобы удерживать товарищей от малодушного шага. Крамскому привыкли верить. Иван Николаевич подготовлял конкурентов к самому худшему. Крамской понимал, что столкновение с Академией неустрашимо, окончиться оно простой ссорой, после которой наступит примирение, не могло: встретились два непримиримых противника — живая жизнь и давно отжившее учреждение, которое добровольно не могло согласиться на признание своей ненужности. Оно было пока сильнее, обладало всеми средствами обороны и принуждения, старое, испытанное, признанное, правительственное, оно могло помешать развитию молодого движения, приостановить успехи национальной школы. После долгих обсуждений конкуренты решили уйти из Академии, если она отвергнет их прошение. Крамской заглядывал вперед, предвидел, что произойдет на другой день после выхода, когда, разбредясь по своим квартирам, останутся конкуренты поодиночке. Зная многих из товарищей за людей слабых, способных идти только вместе со всеми и хорошо идти только при крепкой поддержке, Иван Николаевич закрыл глаза и ясно увидел, как некоторые из них, оглядываясь по сторонам, уже открывали академические двери, поднимались по мраморной лестнице и робко стучались в конференц-залу.

— Смелее, товарищи,— сказал Крамской, бледный и взволнованный.— Если нам придется уйти из Академии, у нее не

останется ни одного конкурента. Так она плодотворно поработала. Старцы дожили до славного юбилея! А мы, взявшись за руки, образуем за стенами Академии артель, снимем общую квартиру, предоставим в ней каждому мастерскую, поведем общий стол. Мы будем принимать заказы на портреты, копии с картин, будем ретушировать фотографии, делать плафоны, писать образа, иконостасы, лепить, рисовать, иллюстрировать журналы... Работы достанет на всех.

9 ноября 1863 года конкурентов вызвали на конкурс. Никто из кружка Крамского не спал эту последнюю ночь перед неясным завтрашним утром. Все конкурсанты заточили отдельные прошения об уходе из Академии, придумав самые разнообразные предлоги. Разговор с Тоном научил, что было неосторожно подписываться всем под одним прошением.

Около десяти утра конкуренты собрались у дверей конференц-зала, принаряженные, в черных сюртуках, как завелось это нестари в торжественных случаях. У кого своего сюртука не было, тот брал на прокат. Молча, сосредоточенно стояли конкуренты, ожидая своей участи. Инспектор вышел и спросил:

— Кто из вас жанристы и кто историки?

Пять из четырнадцати были жанристы, но все четырнадцать ответили дружно:

— Все историки.

Дверь конференц-зала открылась. Вглубь, за большим овальным столом, крытым зеленым сукном с кистями, в полном генеральском мундире с эполетами и аксельбантами, сидел художник-любитель, большой поклонник византийского искусства, вице-президент Академии князь Григорий Григорьевич Гагарин. Знакомые профессора в звездах и лентах разместились направо и налево от него, точно тябло¹ богатого золотого иконостаса. Парадная форма, надетая профессорами, делала их особо торжественными и неприступными. Яркое солнце играло в двух полных хрустальных графинах, стоявших на столе. Пименов курил, и дымок витал над его кудлатой головой. Бруни покойно расположился в кресле с синей штофной обивкой, сложив руки на коленях, словно позировал некоему воображаемому художнику. Тон сердито оглядывал конкурентов, как будто бы не узнавал их.

¹ Тяблом называется ярус икон в иконостасе.

Встряхнув аксельбантами и эполетами, удерживая на груди какого-то покачнувшегося орла, поднялся вице-президент. Привычно, невнятно, под нос себе, прочел:

«Совет Императорской Академии художеств к предстоящему в будущем году столетию Академии для конкурса на большую золотую медаль по исторической живописи избрал сюжет из скандинавских саг «Пир в Валгалле». На троне бог Один, окруженный богами и героями; на плечах у него два ворона; в небесах, сквозь арки дворца Валгаллы, в облаках видна луна, за которой гонятся волки, и проч. и проч. и проч. Как велика и богата даваемая вам тема, насколько она позволяет человеку с талантом выказать себя в ней и, наконец, какие и где взять материалы, объяснит вам наш уважаемый ректор, Федор Антонович Бруни».

Вице-президент опустился в широкое с золочеными локотниками кресло, Крамской обвел побледневших конкурентов острым и быстрым взглядом. Никто не предполагал такого исхода. На лице Пескова горели яркие пятна, и он провел бледной рукой по своему влажному лбу. Многие застыли, опустив глаза.

Бруни тихо встал и неслышными шагами, словно это шел босой человек по ковру, направился в сторону конкурентов.

Крамской отделился от тесно сжавшихся взволнованных товарищей и наперерез Бруни, твердо и крепко ступая, так что было слышно всем, пошел к зеленому столу. Ректор остановился посредине зала. Вице-президент пристально, с испугом глядя на Крамского, снова поднялся с кресла. Профессора, переглядываясь с нескрываемым изумлением. Таких новшеств, чтобы, не выслушав ректора, заговорить самим ученикам, Академия еще не видела.

— Вы хотите что-нибудь доложить Совету? — спросил недовольно вице-президент. — Но вы бы могли выбрать другое время, более подходящее. Наконец, могли явиться раньше...

— Мы просим позволения сейчас сказать перед Советом несколько слов, — ответил Крамской. — Мы подавали два раза прошение, но Совет не нашел возможным исполнить нашу просьбу, поэтому мы не считаем себя вправе больше настаивать и, не смея думать об изменении академических постановлений, просим покорнейше Совет освободить нас от участия в

конкурсе и выдать нам дипломы на звание классных художников, сообразно полученным каждым из нас серебряным и золотым медалям.

Дослушав до конца, Федор Антонович, лениво и вяло, с задумчивым лицом, повернул обратно и сел на свое место, привычно укладывая пухлые белые руки на коленях. Вице-президент, видимо, еще ждал, что Крамской будет продолжать, и смотрел на него выжидающе. И так прошло с полминуты. В конференц-зале было тихо, как в безлюдном помещении. Вдруг закашлялся Тон, недавно болевший. Князь Гагарин, наконец, спросил Крамского:

— Все конкуренты просят освободить их от участия в конкурсе?

— Все,— ответил Крамской, кланяясь, и направился к выходу.

Его уже опередил Песков с ало горевшими щеками, выгнув из бокового кармана сюртука заготовленную просьбу об увольнении. Вынули и другие, целой толпой обступившие Ивана Николаевича.

В следующей комнате сидел делопроизводитель. Тринадцать конкурентов в очередь положили на стол свои заявления. Перед широко раскрытыми дверьми конференц-зала, видя одиc спины неслышанно дерзких учеников, безмолвно, неподвижно сидели академики. Никто не догадался притворить дверь.

Когда замешательство начало проходить, сидевшие за столом, которых случайно оказалось четырнадцать, как и конкурентов, все сразу повернулись в угол конференц-зала. Там, откуда только что хлынула тесная сплоченная группа бунтовщиков, стоял одинокий и дрожащий человек.

— Что же вы остались? — спросил вице-президент.

— Я прошу допустить меня к конкурсу.

Профессора были так потрясены всем происшедшим, что забыли об академических правилах, по которым разрешались единакльные конкурсы,— и они не раз бывали в Академии.

— Один? — снова спросил вице-президент. — С кем же вы будете конкурировать? Намеренне ваше очень похвально, но вам придется подождать до будущего года.

Это был Заболоцкий. Он выскочил из конференц-зала и с опущенной головой пробежал мимо товарищей.

Профессора, наконец, опомнились, надолго затворились в конференц-зале и постановили удовлетворить просьбу учеников,

кои «по независящим от них причинам не могут вступить в конкурс и продолжать учение, выдать им просимые аттестаты на классных художников, в общем собрании будущего 1864 года, а господину инспектору объявить вышепоименованным лицам с подпискою, чтобы они очистили мастерские к первому декабря с/г.».

После заседания князь Гагарин заторпился.

— Карета его сиятельства вице-президента! — крикнул швейцар, стремглав выскакивая из подъезда.

Карета мягко подкатила. Князь отослал швейцара в помещение, не позволив усердному бородачу подсаживать себя, и тихо сказал кучеру:

— К шефу жандармов, Василию Андреевичу Долгорукову.

Главный начальник III отделения выслушал взволнованного вице-президента и предложил крутые меры.

— Нет, это лишнее,— не согласился князь Гагарин,— но я прошу не пропускать в печать решительно никаких сообщений о конкурсе.

— Хорошо,— сказал Долгоруков,— печати будет запрещено упоминать о бунте в Академии. А это, конечно, настоящий бунт! Они подают заявление скопом, они собираются в мастерских, сговорившись, они выдумывают разные предлоги для подачи отдельных заявлений об уходе. И, наконец, они прекрасно понимают, что нанесут непоправимый ущерб торжественному столетнему юбилею Императорской Академии художеств. Им-пе-ра-тор-ской... Я бы считал необходимым с ними расправиться. Чем они лучше тех политических преступников, борьбу с коими мне по высочайшей своей милости поручил и доверил государь император? Я обязан пресекать всякую вредную деятельность против целостности и незыблемости трона.

— Нам это неудобно,— сказал вице-президент,— это может вызвать волнения в Академии. Протестанты пользуются симпатиями неопытной академической молодежи. Они теперь в некотором роде герои. Мы домашними средствами потушим неожиданную и несуразную вспышку... Я прошу вас только об одном: не надо, не надо гласности!

Шеф жандармов, скрепя сердце, уступил.

— Печати мы, конечно, заткнем глотку,— сказал он недовольно на прощанье.—

Мне очень, очень жаль, ваше сиятельство, что мы не нашли общего языка для этих спесивых молодцов...

Когда вице-президент уехал, оставив список конкурентов, Долгоруков вызвал своего адъютанта, подал ему бумагу со штампом Академии и приказал:

— Внесите этих людей в список шести тысяч «подозрительных» и установите за ними негласное наблюдение.

Крамской находился в списке до 1872 года.

«АРТЕЛЬ СВОБОДНЫХ ХУДОЖНИКОВ»

Над финским заливом висела колеблющаяся осенняя муть, окрашенная в розовое. Такая она была перед первыми заморозками. Сверхало низкое, почти негнущее солнце, — и адмиралтейская игла была тусклая и отпотелая. Рано утром с Карельского перешейка навалилась финляндская метель, густая и беспросветная, снег наглухо покрыл землю, сравняв горы и долины между ними в одно необкатанное ровное поле. Но в каменном Петербурге, как только метель кончилась, снег вежливо полегал в своей непорочной чистоте. Сахарную его белизну быстро затоптали бредущие по колено торопливые петербуржцы, извозчики, пользуясь случаем без труда помыть грязные колеса пролеток, дворники с широкими лопатами, сгребавшие рассыпчатый сахар в высокие кучи. Но все-таки и такого, на глазах черневшего, уличного покрова было довольно солнцу, чтобы зажечь свет в каждой снежинке, капле, мокрым комке на всем стеклянном и металлическом.

— Как светло, хорошо! — воскликнул Крамской, последним захлопывая за собой академическую дверь. — Посмотрите, господа, даже сфинксы, более похожие после метели на белых медведей, чем на египетских жителей, сегодня, кажется, оживают и совсем не сумрачные. Люблю природу. Люблю игру света. Не хочу пользоваться эффектами освещения, узаконенными у Пуссена и даже Рафаэля! Самостоятельным пейзажистом себя чувствую. А наверное меньше всего буду писать пейзажей...

— Пейзажи — пеходовой товар на Русси-матунке, — заметил Константин Маковский. — Деревцо и речка, и безлюдные лужки никому не нужны. Вот разве какая-нибудь морда захочет обессмертить себя в портрете для близких родственников и в назидающие потомству, это — возможно.

— Тихе, — сказал Николай Семенович Шустов, — а то услышит Заболоцкий и засыплет весь Петербург портретами. Поймет — где плохо лежит. Крамской прав. Действительно, как будто сама природа сияет нам неспроста и говорит: «Пишите меня, рисуйте, молодцы, что отказались тратить время на нелепый и бессмысленный «Пир в Валгалле». Кстати, кто знает, что это была за Валгалла? Никогда не слышал и в голову не приходило мне раздумывать ни над богом Одинем, ни над Валгаллой. Каюсь в невежестве — не знаю. Ты, дока, грамотный в скандинавских сагах?

— Только понаслышке, — ответил, улыбаясь, Крамской. — Пришлось бы мне расспрашивать о несообразном сюжете у Пикитенки: без него ни в зуб.

Только что пережитое было так сильно, что никто из конкурентов не хотел оставаться в одиночку. Прямо из Академии они пошли к Крамскому. На пороге встретила их Софья Николаевна, бледная, взволнованная, с пристально обращенным взглядом на мужа. Прошло два месяца, как она стала его женой, другом, хозяйкой. Все, что его интересовало, было ей близко, как и ему самому. Она знала, что должно было произойти: при ней готовились конкуренты к последнему шагу.

— Поздравь пас, Соня, — весело сказал Крамской, — наконец-то мы расквитались с Академией, остался один Заболоцкий, покорно снял шапку перед начальством, а оно и не оценило его рабского усердия. Убежал Заболоцкий, его заменил скульптор Крейтан. Мы действительно теперь на свободе!

— Очень рада! — воскликнула, оживляясь, Софья Николаевна. — Поздравляю! Наконец-то вы перестанете мучиться с этой нелюбимой вами Академией! И будете работать над тем, что вам по сердцу. Садитесь все, я вас буду поить чаем и угощать.

— Художники, вы чувствуете, — сказал Крамской с сияющими глазами, — Софья Николаевна неспроста захлопотала. Ваша будущая артельная хозяйка держит экзамен.

Иван Николаевич был сильно возбужден, громко говорил, смеялся, благодушные шутки не сходили с его языка. Настроение Крамского передалось всем товарищам. Никогда еще в этой гостеприимной квартире, куда почти каждый вечер собирались они в течение нескольких лет, не чувствовалось такой тесной и теплой дружбы, близости и любви друг к другу,

гордости за себя и за всех. Они были бедны, кое-как перебивались и жили, никто их не знал, оставался только один год, чтобы закончить Академию, к чему они так долго стремились,—и дальше открывалась проторенная до них тысячами художников прямая дорога. Впереди ожидала спокойная, обеспеченная на долгие годы жизнь. От учеников требовали за это будущее благополучие только покорности, только послушного исполнения академической программы, не вдаваясь в то, дурна ли она, хороша ли, интересует ли учеников или глубоко чужда им и даже ненавистна. Четырнадцать молодых художников, не уверенных в том, что они найдут заработок на ближайшую неделю, отвергли эти соблазны. Кружок Крамского художественную свободу свою поставил выше. Он потребовал полной независимости творчества. Сейчас кружковцы были горды собой, испытывали удовлетворение, что томительное ожидание кончилось, бесповоротное дело совершилось и все стало ясно.

Софья Николаевна так и не убирала со стола посуды до вечера. Иван Николаевич весело шутил, предлагая разойтись по домам только после четырнадцатого самовара. Крамской хорошо знал каждого из товарищей. Иван Николаевич в самый разгар шумной беседы, всматриваясь в товарищей, прислушиваясь к каждому, невольно задумывался, что они будут чувствовать, когда разбредутся по своим одиночным конурам Васильевского острова. И Крамскому подольше хотелось удержать товарищей около себя. Они смотрели на него доверчивыми и преданными глазами, верили в его неистощимую изобретательность, в его умный талант находить выход из любого положения. За день Иван Николаевич уверенно, смело, на десятки ладов рисовал перед ними будущее. Оно зависело только от них самих, от их настойчивости и трудолюбия, а главное, от их тесного и дружного объединения.

— Кто сказал,— уверенно говорил Иван Николаевич,— что академический выпуск шестьдесят третьего года окажется беспомощным и не сумеет устроить свою судьбу? Примеров этому не было? Но ведь всегда в жизни кто-нибудь первый начинает новое дело. Нам это и придется сделать. Надо только всем поверить, что общество—это сила. Будем работать артелью, соединимся на пять, на десять лет, сколько понадобится. Работы непочатый край. Пусть украшает Академию один Заболоцкий. Труднее всего решиться на

неизвестное и еще не испытанное дело, но раз мы решились, будем делать его хорошо, как самое главное в нашей жизни. Пусть у нас у всех четырнадцать два стула и один трехногий стол, это ничего не значит, лишь бы у нас было упорство и товарищеская поддержка. И мы выживем без всякой Академии.

Только поздно вечером Крамской и Софья Николаевна остались одни.

— Соня, ты ничего не боишься?—спросил Иван Николаевич, испытующе глядя на жену, очень взволнованную, возбужденную и уставшую за день.

Софья Николаевна подумала и спросила: — О какой ты говоришь боязни? О своей или о моей?

— О твоей.

Софья Николаевна весело засмеялась и сказала:

— Ну, так ты выиграл по лотерейному билету двести тысяч. Ты помни всегда, что если тебе для твоего искусства понадобится, чтобы я совсем не ела, ты у меня даже не спрашивай на это согласия. Ты его имеешь.

Крамской обнял ее и еще теплее сказал:

— Я, Соня, очень скверный человек. Я ведь тебя испытывал, а сам знал, что ты только так и ответишь. Но, если бы ты по-другому думала, я боюсь, что тогда бы не послушался тебя.

— Так, пожалуй, моя помощь тебе и не нужна?—перебила его Софья Николаевна.

— Нет, нужна,—и Крамской, прижимая ее к себе, счастливо сказал,—с твоей помощью совсем будет хорошо. Я сначала гордо мечтал одолеть все в одиночку, а вдвоем-то мы уж наверняка своего добьемся.

Квартира Крамского несколько лет подряд была гостеприимным кровом для его товарищей. Теперь она приобрела для них еще большее значение. Она заменила Академию. Только на восьмой линии Васильевского острова, в тесной и бедной квартирке Крамского, могла так или иначе решиться судьба каждого из покинувших Академию.

Крамской еще не успел выпататься, отдохнуть от всех пережитых накануне тревожений, как один за другим уже стучались в его гостеприимные двери Константин Маковский, Вениг. Дмитриев-Оренбургский, Литовченко, Корзухин, Лемох. За ними следом пришли возбужденные и нетерпеливые — Морозов, Песков, Шустов, скульптор Крейтан. Крамской без всяких

со своей стороны усилий стал главой нового художественного объединения. Товарищи теперь почти не покидали квартиры Крамского, вырабатывая на тесных и дружных своих собраниях будущую организацию артели свободных художников.

Крамской предложил объединиться для совместной работы, отчислять в кассу артели тридцать процентов от всякого заработка, снять общую квартиру, вести общий стол. Большинство товарищей горячо поддержало своего «доку». Через двенадцать дней после ухода из Академии конкуренты образовали артель. Только некоторые из артельщиков, более обеспеченные и жившие своими домами, не захотели поселиться вместе.

На семнадцатой линии Васильевского острова Крамской нанял большую квартиру для артельщиков и первым переехал в нее. У каждого был удобный кабинет-мастерская для работы. Светлый большой зал оставили в общем пользовании для собраний, выставок на будущее время и устройства вечеринок. Софья Николаевна взялась вести хозяйство. Крамской горячее всех товарищей верил в это новое, ни от кого не зависимое художественное объединение. Ивана Николаевича выбрали старшиной. Только благодаря его энергии, настойчивости, умению у неопытных коммунаров-художников появились кое-какие заказы. На первое время их было немного: пока никто не знал новой аккуратной и добросовестной коммуны. Постепенно Иван Николаевич добился того, что заказов стало больше. Художники могли существовать хотя и скромно, но уже безбедно. Само время как бы было за такую форму дружного объединения молодежи, не находившей себе места в жизни, не желавшей идти привычными и обыкновенными путями.

Одновременно с артелью художников существовала в Петербурге коммуна музыкантов, в которой принимал участие будущий великий композитор М. П. Мусоргский.

С трудом, с перебоями, часто без поддержки самих заинтересованных в удаче художников-артельщиков, Иван Николаевич сумел укрепить начатое им дело. Общественную квартиру в семнадцатой линии Васильевского острова узнавали все шире и шире. Иван Николаевич постарался укрепить эту растущую известность артели. Старшина Крамской следил за безупречным исполнением всех заказов, всегда во-время, точно, без всякой волокиты. Скоро общественная квартира ока-

залась тесной, Васильевский остров представлялся уже отдаленным захолустьем, неудобным и мешающим дальнейшему развитию артели. Она передвинулась ближе к центру, обосновавшись на углу Вознесенского проспекта и Адмиралтейской площади, в обширной квартире с двумя большими залами.

Дела с каждым днем шли лучше. Артельщики, благодаря уму и умному руководству Крамского, начинали испытывать некоторое довольство. Правда, и в новой хорошей квартире не было роскошных ваз и дорогих гобеленов, мебелью обходились буковой, дешевой, гнущей, вместо шелковых и бархатных штор завели обыкновенные простенькие из коленика, картины висели по стенам на подрамниках.

Иван Николаевич сумел поддержать в артели самое добросовестное и серьезное отношение к работе. Он завел такое правило, чтобы каждый мог говорить о другом прямо, открыто, не стесняясь в выражениях. Критиковали от всего сердца, часто больно, но честно, без всяких умалчиваний о недостатках произведения, требовали переделок, исправлений, а иногда и уничтожения вещи, недостойной быть показанной обществу. Все артельщики находились в одинаковом положении, никто не освобождался от беспощадного «разноса», если того заслуживал. И они работали легко, уверенно, весело, на виду у всех, отчетливо сознавая, что в нужную минуту товарищи придут на помощь, не утаят того, что думают, резко, без ехидства и подсиживания скажут правду. Каждый боялся этой правды, стремясь изо всех сил избежать товарищеского осуждения.

Четырнадцать свободных художников, не подчиняясь Академии и уйдя из нее, всем своим поведением, выбором тем, сюжетов, образов старались подчеркнуть свое общественное служение. Нигде злее и беспощаднее не высмеивалась Академия с ее мертвой программой, системой воспитания молодежи, отрывающей последнюю от тяжелой и мрачной русской действительности. За неопытное юношество, уводимое Академией от жизни, в артели свободных художников действительно по-настоящему болели и мучались. Каждый из артельщиков привлекал к работе в артели лучших из учеников Академии.

Однажды, почти в самом начале существования артели, пришел сюда молодой ученик Академии Репин, пришел и уж до конца дней своих не порывал дружбы с некоторыми из артельщиков. Крамской

стал его учителем, другом, подчас суровым, резким, но всегда правдивым и понимающим, что в лице Ренниа он пестовал для русского искусства редчайшего гения. Вместе с Репным пришел в артель Антокольский, Ярошенко. За ними последовали художники Шишкин, Максимов, Ге, Мясоедов, Якоби, Купиджи, Пряпишников.

Не все одинаково относились к артели, бывая там на шумных «четвергах». Пока привлекало их любопытство. Но когда через несколько лет при посредстве артели свободных художников образовалось знаменитое «Товарищество передвижных выставок», — вошли в него все.

После первого же «четверга» Крамской мог быть доволен. Не хватило буквых кресел и стульев. Гости сидели на подоконниках. Близкие знакомые старались разместиться по-двое на одном стуле.

По «четвергам» собирались семь лет. На вечера художников стремилось попасть столько народа, что пришлось делать строгий отбор, кое-кого обижать, закрывая перед ними дверь. Зал вмещал сорок — пятьдесят человек. И то было не совсем удобно, тесно, душно. За огромным столом через всю залу сидели локоть к локтю. Краски, бумага, карандаши, необходимые художественные принадлежности лежали горками на широкой столешнице. Всякий из гостей и художников по своему вкусу брал понравившийся ему материал и рисовал что вздумается. За спинами особенно видных рисовальщиков всегда стояла любопытная толпа, напряженно и удивленно наблюдавшая за виртуозной рукой мастера. В зале никого не стесняли. Художники работали под шумный говор, смех, шутки: «четверги» были веселым, оживленным отдыхом. Из соседнего зала, где помещался рояль, слышались музыка, пение. Иногда на вечера приезжали артисты — певицы и певцы, исполняли новые романсы и песенки, еще мало кому знакомые.

Иван Николаевич Крамской оставался старшиной и на этих открытых вечерах, каким он был в течение трудовой недели. Достаточно было кому-нибудь из товарищей попытаться рассказать не совсем уместный анекдот, как Крамской, не останавливая рассказчика, лишь слегка хмурился и недовольно опускал глаза. И сразу у рассказчика пропадала охота к вольностям. Внезапно он обрывал анекдот на полуслове, показывал на Крамского и громко говорил:

— Впрочем, этого нельзя... «Дока» не велит... Любопытных могу посвятить в все подробности рассказа на улице...

Никто из артельщиков не обижался на Ивана Николаевича, понимая, что старшина заботился не о себе, а о хорошей славе артели, не допускающей у себя ненужного развязывания языков. Крамской стремился направить художественные «четверги» в более содержательное и глубокое русло. Иван Николаевич старался пробудить в товарищах интерес к знанию, литературе, искусству. Крамской отчетливо понимал, что кто не услышит своего времени, тот неизбежно отстанет от него.

За огромным столом, заваленным рисунками, карикатурами, кистями и палитрами, почти каждый «четверг» бывал чтением злободневных статей из тогдашних передовых журналов — «Современника», «Русского слова», «Отечественных записок», «Вестника Европы». На артельных «четвергах» учился сам Иван Николаевич и учил своих товарищей. Крамской не пропускал ни одной интересной новой книги, только что вышедшей из печати. На «четвергах» многие участники их первый раз в жизни услышали об именах Чернышевского, Писарева, Добролюбова, Бокля, Бухнера, Фохта, Молевшота, Прудона. Кто-нибудь из хороших чтецов читал вслух знаменитую диссертацию Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» или писаревские статьи: «Разрушение эстетики», «Пушкин и Белинский», «Роман кисейной барышни». Русские авторы чередовались с иностранными. На «четвергах» читались в переводе Курочкина «Искусство, его основания и общественное значение» Прудона, «Лекции об искусстве» Тэна. С последним трудом познакомил артельщиков переводчик Чуйко еще до выхода книги в свет. Все эти общеобразовательные чтения устраивал Иван Николаевич, желая развить и себя и своих товарищей, не получивших нужных знаний в Академии. Выбирать книги помогал Крамскому родственник его Никитенко и Второв, тоже бывавшие в артели по «четвергам».

Едва ли не самым внимательным и страстным слушателем чтений был сам Иван Николаевич. Он превосходил своих товарищей по развитию и обширным познаниям, которыми овладел самоучкой еще раньше образования артели, но Крамской не упускал случая накапливать и пополнять их. Обыкновенно после окончания чтений артельщики наперебой шумели и кричали:

— Слово доке! Хотим послушать, что он нам скажет!

Жить Крамскому приходилось трудно. Лишь напряженной работой он добывал достаточно на хлеб семье. Обычно к вечеру усталый, Иван Николаевич, однако, никогда не отказывался выступить по поводу прочитанного. Худой, изможденный, с блистающими глазами, он быстро воспламенялся от первого своего удачного слова, сравнения, оборота речи. И Крамского заслушивались. Он умел находить в книгах то оригинальное, свежее и неожиданное, чего никто до него не замечал. Иван Николаевич был застрельщиком страстных, молодых и никогда не кончающихся споров об искусстве, сложной, мрачной, запутанной русской жизни, которая каждый день напоминала о себе чудовищными неожиданностями и противоречиями. Званный «четверг» бывал боевым днем.

По всем комнатам шли бурные, многоголосые, звонкие споры без победителей и побежденных: каждый отстаивал свое мнение изо всех сил и способностей. Крамской уходил с поля битвы последним, пока его противники не замолкали, истощенные и запутавшиеся в своих собственных доводах и доказательствах.

«Четверги» любили. Серьезнее и глубже всех был настроен Крамской. Большинству артельщиков не всегда эта серьезность нравилась, она немного связывала товарищей, более склонных к легкой беззаботности и бездумному веселью. Когда года через два после образования артели Иван Николаевич поехал на несколько месяцев за границу, чтобы познакомиться с западноевропейским искусством, кое-кто из весельчаков даже почувствовал облегчение.

В один из «четвергов» накануне отъезда Крамского, в виде дорожного ему напутствия завязаный четверговый остро слов и весельчак художник Иван Стенанович Панов сочинил острые стихи. В них воспевалась радостная, свободная жизнь с вином, песнями и плясками, «покудова нет Крамского». В конце поэмы с шутилой мрачностью описывалось то время, когда беззаботные месяцы пройдут, Крамской возвратится из-за границы и по «четвергам» снова начнется

Все умные, длинные речи.

Калошей на пианы не будет менять Якобий Валерий Иванович.

Забавлялись по-всякому: без Крамского остро словы и любители вольных анекдо-

тов иногда переходили через край, Якобий мог позволить себе глупую шутку, уложив на полу рядом шляпы и цилиндры, а калоши поднять вверх на вешалку. Наряду с дурачествами на тех же самых «четвергах» жадно читали вслух письма «доки» из-за границы.

Умели веселиться и отдыхать по «четвергам», но этот полезный досуг надо было зарабатывать. Искусство в ту пору ценилось дешево. Когда только что образовалась артель и самый талантиливый из артельщиков Михаил Иванович Песков заболел скоротечной чахоткой, его едва-едва сумели отправить в Крым. Тринадцать нуждающихся артельщиков, забыв о себе, спешно принялись за работу ради больного товарища. Скоро в артельном зале висело пятнадцать небольших масляных и акварельных вещей. Никто еще не знал молодых художников, да и произведения их по своему направлению не заинтересовали бы редких тогда российских любителей и собирателей, приученных к искусству пышному, отвлеченному, академическому. Не нашлось бы покупателей на эти свежие, искренние, от всего переполненного сердца произведения молодежи. И помочь товарищу пришлось, устроив художественную лотерею. Много прошло беспокойных дней, прежде чем измученный Крамской и все артельщики, не щадя ног, колесили по Петербургу, распространяя лотерейные билеты. Выручили друзья Пескова только триста рублей. Сняв и от такой удачи, Крамской тотчас послал товарищу эти малые деньги. Одна вещь Ивана Николаевича, на которой был изображен украинский баштап, перед курием бакшевник, мастерица из лозины детского коня нетерпеливому мальчику, когда другой уже получил зеленого рыска и скачет на нем по меже, стоила гораздо больше трехсот рублей. Песков получил дорогу для него помощь, но почти не успел ею воспользоваться, вскоре скончавшись.

Крамской не принадлежал к породе легко вспыхивающих и еще быстрее погасающих людей. Неудачи, препятствия не охлаждали его, наоборот, поднимали в нем более страстную энергию, горделивую настойчивость во что бы то ни стало добиться своего. Далеко не все товарищи-артельщики походили на неутомимого старшину. Он видел их яснее, понимал лучше, что не для того же объединились товарищи, умеющие работать, чтобы при первых же затруднениях разойтись в раз-

ные стороны и вызвать спсиходительные уменшки над неудачниками.

Крамской с тайной горечью видел, что не все товарищи вносили в общественную кассу отчисления от заработка, придерживая их. Крамской подавал пример безукоризненного товарищества. Еще будучи в Академии, он получил заказ от академического профессора Маркова, заведывавшего стеной росписью в московском храме Христа Спасителя, расписать один из куполов. Крамской сделал около пятидесяти предварительных рисунков и восемь картонов в натуральную величину. Заказанный плафон был огромен — площадь его равнялась 2400 аршинам, которые сплошь покрывались живописью. Иван Николаевич привлек к этой работе артельщиков. Из своей части заработка в кассу артели он внес три тысячи рублей. Крамской объявил заказ общественным, а с таких заказов поступало в общую кассу двадцать пять процентов. Товарищи-артельщики не хотели принимать столь огромного процента от Крамского, но он настоял, пригрозив своим уходом из артели. На руках у Крамского более чем за годовой труд осталось немного более тысячи рублей. Пример Ивана Николаевича благотворно действовал на товарищей.

Каждая заработанная копейка доставалась Крамскому трудно. Кроме понедельника, когда у него не было ни уроков в школе рисования на Бирже, ни частных уроков в разных концах Петербурга, Иван Николаевич всю неделю не имел ни минуты свободной. Даже на «четверги» он приходил поздно, вбегая с улицы, запыхавшийся, усталый, но всегда бодрый и оживленный.

Крамской берег каждую свободную минуту, чтобы поработать для себя, для своего любимого искусства. Иван Николаевич рано поднимался с постели и ежедневно до часу дня писал очередной портрет, ретушировал огромные заказные фотографии или сочинял эскизы на близкие ему тогда творческие темы: «Майской ночи» Гоголя, «Христос в пустыне». Возвращаясь домой с уроков, с различных собраний в школе на Бирже, Иван Николаевич и в поздние вечерние часы обыкновенно делал заказные портреты в любимой им манере черным соусом.

Покуда он работал, Софья Николаевна часто сидела неподалеку от него и что-нибудь читала вслух. Крамской внимательно слушал, энергично вскрикивал в особенно поправившихся ему местах или звонко, радостно смеялся, но кисточка в его

изящных и ловких руках продолжала, не отрываясь, делать свое. И дымилась маленькая неугасающая сигарка то в левом, то в правом уголке губ. Далеко за полночь, в кровати, воружа часы у недолгого своего сна, Крамской напряженно и много читал по искусству, литературе. Острая и цепкая память служила ему послушно, обогащая его запасом знаний, которых не довелось ему получить обычным школьным путем.

Крамской всегда искал новое, оригинальное, стремился заинтересовать этих товарищей-артельщиков, делился с ними каждой поразившей его свежей мыслью, научной новостью. У Крамского была почти какая-то влюбленность в товарищей, с которыми он оставил Академию. По этому самостоятельному пути в искусстве еще никто и никогда не ходил, новая дорога всегда трудна, пока ее не проторят и не обкатают, — и Крамской из всех сил старался скорее обжить ее. Иван Николаевич любовно писал своих воинствующих товарищей, какими он хотел их видеть и какими они не были. Без Крамского никогда бы они не осмелились перешагнуть через академический барьер, покорно и миролюбиво пасясь за загородкой.

Большой щит перегораживал мастерскую Ивана Николаевича. На щите один за другим, тщательно нарисованные, скупые по краскам, обвеянные товарищеской нежностью художника, появились портреты двенадцати артельщиков и близких знакомых, завсегдаев «четвергов». Достаточно насмотревшись на милых и приятных ему людей, Крамской постепенно раздарил портреты. Самого Ивана Николаевича никто не написал из артельщиков. Только впоследствии ученики Крамского, сначала молодой Ярошенко, потом Репин, незадолго до смерти учителя, сделали по портрету с него.

Но, как это бывает в жизни, всю самоотверженную преданность Ивана Николаевича артели, а через нее новым реалистическим побегам русского искусства, понимали далеко не все из артельщиков. Крамской не без горечи видел, что при неудачах в делах артели он мог остаться в одиночестве: товарищи бы разбрелись быстро в разные стороны и даже без особенного сожаления.

Но Иван Николаевич вел их от успеха к успеху. За первые годы существования артели произведения артельщиков, даже сделанные на заказ, привлекали внимание зрителей на академических выставках. Самостоятельные картины Дмитриева-Орен-

бургского «Утопленник в деревне», Морозова «Выход из церкви», Шустова «Митрополит Филипп и боярин Басманов», Корзухина «Поминки на деревенском кладбище» и другие пользовались большой известностью.

И, кажется, больше самих авторов картина радовался этому успеху Крамской: два его товарища — Морозов и Шустов — получили звание академиков. Иван Николаевич считал их победы честью всей артели. С восхищением поздравлял он удачликов. Победы товарищей волновали Крамского сильнее, чем свои собственные. Это чувство товарищества было в самой натуре Ивана Николаевича. Он любил своих артельщиков, но еще больше и теплее молодых учеников, расцветающие юные дарования. Репин, Васильев, Ярошенко пользовались его исключительным вниманием, он ими увлекался, везде говорил о них, упорно помогал талантливой молодежи. Он вообще не отступался от даровитого человека, пока всех вокруг не заинтересовывал им. Оставаясь сам в тени, Крамской из всех сил выдвигал настоящие таланты вперед. Он это делал с неукротимой страстной энергией всю свою жизнь. Крамской выпестовал великого художника русского народа Репина, помогая ему развиваться и расти с первых ученических шагов в школе рисования на Бирже. Встретились Крамской и Репин через три недели после ухода конкурентов из Академии.

Иван Николаевич, усталый, скуластый, с длинными черными гладкими волосами, с жиденькой трепаной бородкой, вошел в класс школы Общества поощрения художеств на Бирже. Репин рисовал с головы Милона Кротонского. Иван Николаевич, не торопясь, обходил учеников. Он подолгу объяснял каждому, в чем были его недостатки. Репин — волнующийся, робкий юноша — слушал мягкий, приятный голос учителя и завидовал тем ученикам, с которыми Крамской разговаривал. Репину казалось, что до него так и не успеет дойти Иван Николаевич, слишком подробно занимающийся с товарищами. Долгое ожидание так утомило и разочаровало Репина, что он чем-то отвлекся и не заметил около себя Крамского. И вдруг юноша очнулся, услышав за своей спинной радостное восклицание:

— А, как хорошо! Прекрасно! Вы в первый раз здесь?

Крамской нашел много ошибок в рисунке, показал их юноше, потом пригласил ученика побывать на восьмой линии Ва-

сильевского острова, где жил тогда Иван Николаевич. Репин дрожащими руками взял адрес учителя. Через несколько дней произошло это свидание. С тех пор двадцать четыре года подряд, до самой смерти Крамского в 1887 году, Репин показывал учителю все свои работы и с волнением прислушивался, что тот о них скажет. Крамской был для Репина высшим и непререкаемым судьей.

Иван Николаевич внимательно и зорко наблюдал, что происходило вокруг него в русской жизни. И это происходящее причиняло ему боль. На «четвергах» Крамской поднимал новые речи, указывая на слабость молодого национального искусства, несмотря на всю видимую его прочность. Слово Академия, потрясенная перед своим столетним юбилеем бунтом четырнадцати конкурентов, оправилась и поднимала голову. Академия без остатка уничтожила все «вольности», существовавшие даже при Крамском, изгнав из своих стен и отдел жанра. Она вернулась к тому почти анекдотическому времени, когда в Академии задавали темы даже пейзажистам: «например, — долина, на первом плане стадо овец под деревом, вдали мельница, а за ней голубые горы» (Репин). Академия попрежнему губила множество молодежи, прививая ей бездушный, давно умерший и вредный для дальнейшего развития русского искусства классицизм.

В заботах об укреплении своего заветного дела Иван Николаевич попал на хорошую мысль. Артели недоставало клуба художников. Оживленный, энергичный Крамской уже видел ясно перед своими глазами этот будущий клуб. Через него протекала вся художественная жизнь России, пролегалла широкая национальная дорога, самобытная, самостоятельная, родная.

— Всех, всех привлечем, — говорил Крамской товарищам, — всех, кому русское искусство не забава, а внутренняя, сердечная потребность. Будем устраивать в клубе свои собственные выставки, художественные лотереи. Оснуем собственную школу, в которой будем преподавать посвоему, так нужно, а не как учили-мучили нас. Пусть молодежь найдет в своих учителях настоящих друзей, товарищей, взволнованных каждым удачным мазком ученика. Забота, забота о молодом поколении! Нам не давали ничего — мы должны предоставить молодежи по возможности все необходимое: содержание, помещение, материалы для творчества, поездки за границу на выставки, путешествия по

музеям. Пусть талантливый художник работает и развивается на благо народа, а не нищенствует, не тоскует о том, что ему завтра есть. Мы испытали всю эту прелесть нужды, не надо искать примеров, знаем, каково это отражается на бедствующем художнике. Будем любить молодежь, не праздно об этом болтая, а действительно в отеческих заботах о ней. Мало этого. Выставки наши пошлем в провинцию. Объездим всю страну, где есть потребность в нашем благородном и нужном цехе.

И весь жар Крамского погасили самые ближайшие его товарищи-артельщики. Они желали иметь только такой клуб, в котором были бы представлены все искусства — музыка, архитектура, пение, театр, а также непременно наука, философия, астрономия, история и даже медицина.

Крамской горячо и страстно удерживал товарищей от этой кунсткамеры, его не послушались, прошли мимо проекта своего молучего и дальновидного старшины. Крамской почти со слезами на глазах удерживал товарищей:

— Опомнитесь! Что вы делаете? Вы же хотите устроить один лишний пошлый клуб, тысяча первый в России! Нам нужно реальное, национальное искусство наше укрепить, а не модный магазин открывать, в котором полный выбор товаров. Не хочу куплетцев, водевилей и шаржей, пляски в присядку в пьяном виде, презираю азартные и алчные взгляды людей за картами, обещающую толпу у жирной стойки! Долой эти жалкие желания, мелкие интересы, господство одного чрева! Вы все полезное и действительно нужное в нашем клубе художников заплеснете нечистой струей чревоугодия и мелких интересов.

Словно артельщики не знали, кто их оспаривал, не знали сотни примеров дальновидности и прозорливости своего старшины, и пошли против него.

Клуб не удался. Иван Николаевич долго горевал о погубленном нужном деле. Артель явно изживала самое себя. Жизнь шла вперед, каждый день выдвигая новые требования. Крамской приглядывался вокруг в поисках выхода. Иван Николаевич любил свою артель, несмотря на то, что ясно видел приближение ее конца. Крамскому было больно и трудно примириться с этим.

Бывшие товарищи понемногу забыли о своем молодом бунте против Академии. Наконец, один из них — Дмитриев-Оренбургский — за спиной всех обратился к

Академии, прося у нее заграничной командировки. Крамской яростно обрушился на него и не нашел поддержки ни в одном из артельщиков. Наоборот, его обвинили в разьединении артели.

Иван Николаевич с тяжелым чувством утраты дорогого ему дела, вышестоянного им, которому он столько отдал огромной, не оцененной товарищами энергии, 24 ноября 1870 года вышел из артели.

Конец ее был скор и печален. Никто из оставшихся артельщиков не сумел заметить Крамского. Артель умерла так же незаметно, как иногда умирает человек, всеми позабытый и переставший привлекать общественное внимание.

Незадолго до окончательной распри Ивана Николаевича с бывшими своими товарищами по Академии и артели на один из «четвергов» приехал из Москвы художник Григорий Григорьевич Мясоедов. Он привез свежую московскую новость. В стенах школы живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой, по квартирам московских художников шли усиленные толки о необходимости создать новое художественное объединение, оно должно было понести национальное реалистическое искусство во все концы огромной России. Независимые от Академии, от двух-трех постоянных выставочных помещений, благотворительных обществ Петербурга и Москвы, эти новые передвижные выставки могли рассчитывать на самое широкое внимание сотен тысяч зрителей, никогда не бывавших в столицах и не видавших картин. Крамской горячо подхватил предложение московских художников присоединиться к повому начинанию. Он раньше москвичей, за пять лет до разговора с посланцем Москвы Мясоедовым, в самом начале существования артели, думал о необходимости такого художественного предприятия. Крамской первый сделал попытку устройства передвижных выставок. Случайность помешала развитию этого дела.

В 1865 году на знаменитую Макарьевскую ярмарку в Нижнем-Новгороде он привез выставку произведений артельщиков, несколько прославленных картин из Академии, «Тайную вечерю» Ге и другие. Иван Николаевич собирался из Нижнего поехать по различным крупным городам России. Выставка в Нижнем провалилась. Никто почти не пришел смотреть «Тайную вечерю» Ге, знаменитые академические картины и еще совсем не знаменитые работы и Крамского и остальных артельщиков. Днем на ярмарке торговали и обделывали дела, очень далекие от иску-

ства, вечером пили и развлекались по трактирам, при огнях и иллюминациях, когда живопись тускнеет и чахнет без солнечного света,—и выставка поневоле была закрыта. Крамской едва выбрался из Нижнего и было не до поездок по другим городам после такой шутки в столице Поволжья.

Предложение москвичей напомнило об этой поездке, но не напугало: в душе Крамской всегда верил, что рано или поздно передвижные выставки будут нужны его великой стране.

2 ноября 1870 года московские художники В. Г. Перов, А. К. Саврасов, В. Е. Маковский, И. М. Прянишников, Г. Г. Мясоедов собрались в одном из переулков Сивцева Вражка в деревянном старом флигеле какой-то бедной вдовы и подписали устав «Товарищества передвижных выставок». Немного позже, пока попалось время довести до Петербурга толстую полотноную бумагу с подписями москвичей, дружным столбиком расписались на ней И. Н. Крамской, И. И. Шишкин, Н. И. Ге. Из умирающей артели пришли в новую организацию вместе с Крамским только четверо. Иван Николаевич встал во главе Петербургского отделения товарищества, в Москве — Перов.

Ничье, в складчину, отдавая последнее, отпавшая у своих семей скудный хлеб, молодые передвижники с грехом пополам собрали первую свою выставку и открыли ее в Академии художеств — других выставочных зал не было — в следующем, 1871 году. Выставка потрясла Петербург. На ней были показаны петербуржцам: «Грачи прилетели» Саврасова, «Майская ночь» Крамского, «Петр Первый и царевич Алексей» Ге, «Птицелов» и «Охотник на привале» Перова.

В день открытия выставки, 28 ноября, когда, еще задолго до вечера, в быстро темнеющем Петербурге академические залы наполнила многолюдная, восхищенная толпа, для всех участников стало ясно, что они победили. Крамской вернулся домой поздно ночью, еле держась на ногах от усталости, огромного пережитого за день напряжения. И он запомнил эту ночь навсегда. В квартире горел свет. Крамской осторожно и тихонько вошел. Не спал маленький сын, смотрел во все глаза и внимательно слушал, как усталая, измученная тревогой за мужа в этот решающий день, Софья Николаевна качала коляску и под скрип ее вилоуголуса пела любимую колыбельную мальчика:

По синим волнам океана,
Литшь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах...

— Соня, поздравь,—прошептал Иван Николаевич на ухо ей, не показываясь сыну.

Софья Николаевна осторожно сжала под люлькой руку мужа и, показывая на неугомонного сына, одними губами ответила:

— Он тоже открывает выставку. Не спит. Замучил. Пойди на цыпочках к себе: я его сейчас укачаю и приду поздравить тебя. Неспокойный Крамочок, он мешает мне даже порадоваться с отцом.

Редко было у подъезда Академии художеств такое оживление, как в дни первой Передвижной выставки. Тут не стояли ярко начищенные кареты, отливающие на солнце ослепительным гляncем — одна карета вице-президента в солнечный полдень бесшумно подкатила к огромным черным дверям, высадила человека в лентах и орденах и, сверкая стальными спицами на повороте, умчалась по Николаевскому мосту на Сенатскую площадь. Посетителей было так много, что академические двери почти не закрывались, впуская в тесный вестибюль вместе с холодным ноябрьским солнцем длинную вереницу скромно, а подчас и бедно одетых людей. В толпе почти не встречалось бобровых воротников и медвежьих шуб завсегдатаев академических выставок. Один Владимир Васильевич Стасов примчался на извозчике, бородатый, огромный, в поношенных бобрах, высоко сидя, точно памятник на постаменте.

Великий русский писатель Михаил Егорович Салтыков-Щедрин, побывавший на выставке через три часа после ее открытия, в тот же день написал:

«Стало быть отныне произведения русского искусства, доселе замкнутые в одном Петербурге в стенах Академии художеств или погребенные в галереях и музеях частных лиц, сделаются достоянием для всех обывателей Российской империи вообще. Искусство перестало быть секретом, перестает отличать званных от незванных, всех призывает и за всеми признает право судить о совершенных им подвигах».

ГОНЧАРОВ

Осенью 1869 года, под вечер, на Васильевском острове, в Биржевом переулке, где жил Иван Николаевич Крамской, позвонили. Домашних художника никто не

было, и он сам вышел открыть дверь. На пороге стоял не бывавший никогда у Крамского художник академического направления Александр Антонович Риццони. При виде его Иван Николаевич очень удивился и даже подумал — не ошибся ли Риццони квартирой. Александр Антонович по лицу Крамского понял это и с улыбкой сказал:

— Я именно к вам, и никого больше не ищу.

— Ну, тогда милости просим, Александр Антонович, — ответил приветливо Крамской. — Проходите, пожалуйста.

Иван Николаевич помог гостю раздеться и провел его в свою мастерскую. Риццони огляделся в незнакомом месте, вдруг заблуждался по плечам и спрятал руки в карманы брюк.

— Ужасная петербургская квартира, — сказал Крамской, заметив на лице Александра Антоновича настоящий испуг. — Под самыми окнами на Малой Невке полно барж с дровами, ждем — не жалеем, а все-таки у нас дьявольская поморозня.

Риццони пожегился, затормозился:

— Я к вам по поручению Павла Михайловича Третьякова. Вы еще с ним не знакомы, и он просил меня, до личной встречи его с вами, передать вам один заказ. Не возьметесь ли вы написать портрет известного писателя Ивана Александровича Гончарова? Вы читали его последний роман «Обрыв», вышедший в нынешнем году?

— Да. Я стараюсь следить за всеми нашими русскими успехами.

— А мне заниматься литературой некогда, — вздохнул Риццони и продолжал: — «Обрывом» зачитываются, но автор прихварывает... Мало ли что может случиться... Это Третьяков все знает, за всеми наблюдает и следит. Особенно за знаменитыми русскими людьми, естественно желая иметь портреты с них. Этот московский собиратель картин — редкость и буквально невидаль в нашей бедной художественной жизни. Отказать ему — потерять дорогого покупателя.

— Последнего мне меньше всего хочется, — ответил Иван Николаевич. — Я Павла Михайловича еще никогда не видел, но, конечно, слышан о нем и весьма польщен его вниманием и доверием.

— Тогда в чем же дело? — перебил Риццони. — Попасть в Московскую галерею Третьякова — честь. Про нее рассказывают с восторгом, кто побывал в небольшом собственном доме в Замоскворечье этого неожиданного собирателя из фабри-

кантов. В ваших словах я чувствую какую-то уклончивость...

— Она невольна, — ответил Крамской. — Предложение Павла Михайловича меня не может не радовать. Но заказ прибывает не во-время. На первое же обращение ко мне Третьякова я вынужден давать только условное согласие. Так невыгодно сложилась для меня некоторые обстоятельства.

— Советую вам пренебречь всем, — сказал Риццони, — но непременно завязать отношения с Третьяковым. Он самоучка, собирает наощуь, а глаза ему даны от природы удивительные, и чуткость в нем необыкновенная. Берите заказ без разговоров. Павел Михайлович вас отличил, значит, вы в глазах всех подымаетесь выше.

Крамской поморщился, неприметно усмехнулся и ответил:

— Меньше всего это может увлечь меня... Заказ и его исполнение часто в жизни значат не одно и то же. Я не хочу обольщаться.

— Ай, ай! — воскликнул Риццони и осуждающе покачал головой. — Вот это уж я от вас не ожидал! Вы не уверены в своих силах? Да вы же, Иван Николаевич, поймите, что этот московский купец прежде чем сделать вам заказ, у пятидесяти знакомых художников выспросил о вас.

— Я не об этом. Это меня не касается. Две причины удерживают меня ответить утвердительно. В ближайшее время я уезжаю из Петербурга на два месяца. Хочется посмотреть музеи и выставки в Берлине, Дрездене, Париже. Но не это главное. Дней десять я еще здесь пробуду. К сожалению, они так заняты, что я не в силах уделить даже полчаса из своего сплошь занятого времени на какое-либо новое поручение.

— А вы все-таки уделите, — настаивал Риццони. — Мы с вами еще не Карл Брюлловы, чтобы за нами заказчики бежали. Их ведь в России раз, два и обчелся. Третьяков очень хочет портрет Гончарова, выбрал портретистом вас, вы можете хорошо с него запросить с первого же раза. Это и для будущего вам пригодится. Уделите собирателю и будете с него брать все, что вам вздумается.

Крамской не смотрел на своего гостя, немного смущенный, что-то обдумывая и, наконец, ответил:

— Если Павел Михайлович может по-временить, тогда бы все устроилось иначе, к обоюдной выгоде. Я вернусь из-за границы и сейчас же начну портрет Ивана

Александровича. Встать, четыре года тому назад для своего родственника Никитенки я уж делал карандашный рисунок Гончарова. Лицо и характер его мне более или менее знакомы.

— Ну, теперь я понимаю, почему Третьяков оставил свой выбор на вас! — воскликнул Риццони. — Этот человек удивительный проныра, что касается работы художников. Он наверняка видел этот рисунок, он ему понравился, Третьяков заказал портрета маслом. Никакого отказа с вашей стороны быть не может, откладываянй тоже. Я Третьякову сообщу, что вы согласны.

— Пойдите, стойте, Александр Антонович, — сказал с тревогой в голосе Крамской, — я еще вам главного не сказал, почему сейчас не могу принять заказа Третьякова. Я связан словом с другими людьми, менее мне приятными, по слово есть слово. За границей меня ждет великая княгиня Екатерина Михайловна Мекленбург-Стрелицкая, дочери которой я даю уроки. Перед отъездом своим из Петербурга княгиня поручила мне написать портрет ее старшего сына и привести готовую вещь лично в Ней-Стрелиц в Германии. Портрет я обязан сделать в эти десять оставшихся мне дней.

Разочарованный Риццони встал, ежась и потирая руки.

— Ну, что же делать, — сказал он, — я исполнил поручение, данное мне Павлом Михайловичем. Вам виднее, как выгоднее поступить. Но предупреждаю вас, что едва ли Третьяков станет дожидаться вас из-за границы. А вдруг Гончаров умрет? Павел Михайлович может потерять портрет. Это совсем ему не с руки.

Крамской проводил вконец озябшего Александра Антоновича, и они условились, что Иван Николаевич сам обо всем напишет Третьякову.

— Вы это сделайте без всяких проволочек, — предупредил Риццони. — Я немного знаю Третьякова: неотступный человек, задулав что-нибудь, он уж не забывает. Я бы все-таки на вашем месте поступил по-другому. Великая княгиня долго ожидала, подождет еще, ей совсем не к спеху, сын ее живет в здравствует, а Гончаров, говорят, сильно прихварывает. Я бы притворился больным, Гончарова написал, а потом уже поехал к высокой особе. Ну, что она вам один-два заказа сделает, долго на них не проживешь, а Павел Михайлович составляет галерею замечательных русских деятелей — писателей, музыкантов, актеров, ученых, художников. Работы

непочатый угол, на всех хватит, работа выгодная. Ах, как я боюсь, что Гончаров долго не проживет. и в галерею Третьякова будет пробел.

«Какой-то могильщик, — подумал Крамской, провожая Риццони, — недаром ему прочат в будущем звание профессора Академии художеств».

После ухода Риццони Иван Николаевич, взволнованный и немного раздосадованный, в перешителности постоял, не зная, что ему делать. Так нестати совпал с первым заказом Павла Михайловича предстоящий отъезд за границу. Особенно мучала необходимость писать в оставшиеся десять дней совершенно неинтересного долговязого отпрыска Мекленбург-Стрелицкой фамилии. Скоро вернулась с прогулки Софья Николаевна, и Крамской поделился с ней свежей и приятной ему новостью.

— А ты попробуй сделать и то и другое, — выслушав его, сказала Софья Николаевна. — Разве тебе первый раз работать два портрета сразу? По-моему, совершенно немыслимо пренебрегать такой работой. Тебе предлагают написать портрет замечательного русского писателя, который переживет всех нас в своих творениях. Не чета этому золотушному и ничтожному князьку. И кто просит? Третьяков, сам Павел Михайлович! Ты забыл, что любые два художника в Петербурге, встретившись и разговаривая о том, о сем, непременно вспомнят об этом редком московском собирателе. Он на устах у всех. В галерею его мечтают попасть все наши художники, куда многих из них пустят только в качестве зрителей. Не знаю, кто кроме тебя бы отказался от такой чести.

Иван Николаевич с удовольствием слушал жену, радостно усмехался и вдруг сказал:

— В полдень буду у Гончарова. Августейший отпрыск княгини Екатерины Михайловны пусть немного подождет: над ним не каплет.

Софья Николаевна захлопала в ладоши. Они провели вдвоем вечер, не раз возвращаясь к сегодняшнему визиту Риццони. Около полуночи подул сильный ветер. На Петропавловской крепости заговорила пушка, предвещающая наводнение. Иван Николаевич беспокойно подошел к окну и выглянул из-за занавески.

— Заволокло с запада, — недовольно вымолвил он, — боюсь, что завтра день будет очень серенький, чисто петербургский, и писать Гончарова не удастся. Да, говорят, он и с большими причудами, настоящий Обломов. Захочет ли? Вдобавок ко

всему, я слышал, он совершенно равнодушен к своей известности, и писание портрета с него никак не возбудит в нем тщеславия, наоборот, явится неприятной обузой.

— Ты у меня хитрый, и старика обманешь, — сказала Софья Николаевна так серьезно, что Иван Николаевич громко засмеялся.

В полдень он был у Гончарова на Басейной, захватив с собой все необходимые принадлежности для работы. Иван Александрович сразу недружелюбно покосился на них, и его полное тело как бы заметно сжалось, прячась в пушистом халате из темносиней фланели. На правах больного, он в своем домашнем виде принял художника. Гончаров внимательно и радушно выслушал Ивана Николаевича, вызнал всю его подноготную, словно перед ним был не живописец, явившийся писать его для картинной галереи, а один из персонажей добротного гончаровского романа. И вдруг наступила заминка, и Крамскому стало нечего рассказывать, и оба они враз улыбнулись, пряча друг от друга тайные свои намерения. Иван Александрович глубоко и устало вздохнул, положил на каждое колено по белой своей пухлой руке подушечки, точно приготовляясь позировать. Крамской с волнением в сердце замер. «Как его будет трудно делать!» — мелькнуло в уме. «Совсем заурядные черты самого обыкновенного полного человека, порядком разжиревшего, одутловатого, типичной купеческой складки, ничего резко характерного, особенного, не на что опереться, чтобы подчеркнуть его замечательную профессию, исключительный художественный дар в этом ленивом толстяке».

Гончаров исподлобья робко взглянул на Крамского и неожиданно сказал:

— Я очень не люблю слово «немедленно». Мне надо по всякому делу как-то подготовиться. Такая уж у меня плохая натура. Да и погода нам сегодня не благоприятствует.

— Нет, что вы, Иван Александрович, — поторопился разуверить его Крамской, — для Петербурга пылче идеальный свет. Полтора-два часа я могу писать вас при самом хорошем освещении.

— Ну, уж вы и скажете, — не согласился Гончаров, — совсем, право, темно. Впору огонь зажигать. А при лампе живопись одним неясным пятном выглядит. А уж если портрет с меня нужен Павлу Михайловичу Третьякову, то я хочу, чтобы он был хороший. Ведь в галерею к

Третьякову много разного народа ходит. Как-то неудобно критику на себя слышать. Станут говорить — неужели же он такой неинтересный, толстый, старый, тусклый? Я же буду не виноват, что вы горячку порете и желаете меня писать впотьмах.

— Да что вы, Иван Александрович, — убеждал Крамской, — свету мне за глаза! Ночью я действительно боялся, как бы не разбушевалась Нева и не вышла из берегов. Тогда вы были бы правы. Во время наводнений в Петербурге истинно потухает все вокруг — и земля и небо. Писать трудно. А сейчас чудесные условия. Дорога каждая минута. Позвольте начать?

Иван Александрович опустил голову, и как будто бы не слышал художника.

— Да и куда торопиться, — точно бы с собой разговаривал он. — Вот вы вернетесь из заграничной поездки, день прибавится, посветлеет, солнце пойдет на весну, везде свет, от него и Петербург другой, и квартиры наши не походят на темные погреба.

— Иван Александрович, — возразил Крамской. — Сейчас же сентябрь. Едва-едва бабье лето кончилось. Через месяц я бы и сам не осмелился беспокоить вас, чтобы не перетемнить портрета.

— Я, конечно, не художник, — почти жалобно проворчал Гончаров, — всех премудростей ваших не понимаю, когда лучше, когда хуже писать людей... Спорить ни о чем не могу... Не зпато. А мне все-таки желательно на портрете не казаться больным. Вот вы будете, Иван Николаевич, такой добренький, приедете из-за границы и меня навестите. А я к тому времени надеюсь сделаться гораздо лучше. И мне приятнее, и вам интереснее. Ну, какой я сейчас натурщик. Вот и халат на мне. Надо же прилично одеться. Нельзя в публичную галерею пускать людей в халатах. И меня осудят и художника тоже. Скажут, не коммльфо, частную жизнь вы дома ведите, а в общественное место показывайтесь вполне приличными. Хуже того, пальцами начнут тыкать. Вы уж меня извините, а надо ненадолго отложить сеансы. Я бы даже попросил вас оставить у меня и палитру, и краски, и холст, но ведь как же художнику быть не вооруженным своими инструментами? Он как воин на поле брани.

Гончаров говорил, поглядывая на окно, словно торопя быстро наступающий петербургский вечер, когда и сам художник поневоле откажется от своего настойчивого

желания во что бы то ни стало немедленно писать заказанный ему портрет. Иван Николаевич сделал еще несколько попыток уговорить Гончарова и бесильно жмот. А тогда Иван Александрович успокоился и перестал походить на огромного колючего ежа, свернувшегося в кресле клубком с оттопыренными во все стороны защитными иглами. Он приветливо и кротко улыбнулся, отмяк, усадил Крамского рядом с собой и почти не сводил с него восхищенных и благодарных глаз. Вся ленивость и сонливость его пропали, Гончаров оживился, помолодел, на полных крупитчато-белых щеках его показался легкий румянец. Иван Александрович неутомимо принялся рассказывать, как в молодые годы он совершил трехгодичное кругосветное путешествие на фрегате «Паллада», что видел в этом удивительном мире необыкновенного, страшного и трогательного. Крамской заслушался великодушного рассказчика, время от времени испытывая тоску, что не мог сейчас же запечатлеть на полотне лицо Гончарова, раскрасневшегося, взволнованного, погруженного в дорogie ему воспоминания о своей молодости. Казалось, Иван Александрович так увлекся, что его можно было бы писать, оставаясь незамеченным. На мгновение эта лукавая мысль соблазнила Крамского, и он еще раз дерзнул просить у шероховатого человека позволения только зарисовать его. Спросил и раскаялся. Гончаров прервал на полуслове неудержимо и густо льющуюся речь, поблек, точно его задули, покосился на окно и вяло сказал:

— Как рано у нас в Петербурге темнеет. Все предметы уже расплываются, теряют свои четкие очертания, становятся полупевидимками... Простите, Иван Николаевич, я утомил вас своим длинным рассказом о моем путешествии на фрегате «Паллада», и вы устали... Не буду, не буду больше докучать вам... Милости просим ко мне по возвращении из-за границы. Мне так приятно видеть вас у себя... Вы — редкий слушатель и, должно быть, очень любите путешествия... Что же касается меня, я, по всей вероятности, путешественник по натуре, а совсем не писатель. Мне бы все ехать-ехать, глядеть на море, на океан, не отрываясь, и ничего больше не надо. Писать — это так скучно и утомительно... Все равно что на простой лодке с веслами оббегать земной шар. Не зажечь ли нам, дорогой Иван Николаевич, лампу? Вот видите, напротив через улицу уже вздули в чьей-то квартире свет...

Никакого огня напротив Крамской не видел и, тяжело вздохнув, начал прощаться.

— Ах, вы уже уходите, — сказал Гончаров, поднимаясь с кресла очень живо и бодро, — вы уж бежите от меня, я вас на смерть заговорил, дорвался до своей любимой темы о путешествиях и прогнал человека.

Иван Николаевич не знал, что ему делать: не то смеяться, не то сердиться. — Я прошу вас, Иван Александрович, снять с меня ответственность перед Третьяковым, — сказал Крамской.

— Это я с удовольствием, — ответил Гончаров. — Я напишу Павлу Михайловичу, что вы у меня были со всеми художническими приспособлениями, погода стояла неважная, писать нельзя, мы так и решили отложить сеансы до более благоприятного времени.

Они простились, и Крамской заторопился, порядком раздосадованный неудачей. Но едва он вышел в переднюю, и гончаровский слуга Матвей, дремавший у двери в широком плетеном кресле, лениво поднялся, чтобы помочь одеться, как из комнат раздался громкий, бодрый, звонкий голос Гончарова:

— Иван Николаевич, погодите минутку!

Крамской прождал довольно долго, не понимая, зачем его остановили.

— Матвей! — позвал Гончаров, и слуга неожиданно оказался столь стремительным, кидаясь со всех ног в комнаты, что Иван Николаевич невольно усмехнулся.

Матвей вынес тщательно завернутую в толстую розовую бумагу, перевязанную крест-накрест шелковой голубой ленточкой, объемистую тяжелую книгу и с поклоном подал ее Крамскому.

— Иван Николаевич, простите, что я вас задержал, — сказал из-за двери Гончаров, — и не сам вам вручаю мой роман «Обрыв», но я побаиваюсь выходить в холодную переднюю после моего недомогания. Так мне приказали вести себя всеведущие петербургские эскулапы...

В передней было так жарко, — берн велик и парься, — что, дожидаясь, Крамской вытирал влажный свой лоб, а ливрея на Матвее как будто была надета прямо на голое тело.

Иван Николаевич, размягченный, благодарил и, довольно улыбаясь, бережно понес книгу. Матвей тоже почему-то улыбался и, открыв дверь на лестницу, беспрерывно кивал головой уходящему художнику.

Крамской известил Третьякова о неудачных своих попытках,— и так между Павлом Михайловичем и художником началась многолетняя переписка, прерванная лишь смертью Ивана Николаевича. Третьяков прочел первое письмо Крамского, внимательно разглядел его почерк, взял с этажерки небольшую новую папку, написал на ней фамилию художника, вложил под корку письмо и убрал все вместе в средний ящик стола, где лежала самая нужная корреспонденция.

«Какой непокладистый! — подумал о Гончарове Павел Михайлович. — А по виду толстый добряк. Портрет его непременно нужен галлее. Замечательный русский человек. Замечательный писатель. Три романа его: «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» и два тома путешествия «Фрегат «Паллада» у переплетчика... Почему долго не несет?»

Павел Михайлович записал в настольном блокноте памятку на завтра о переплетчике.

«Крамской — интересный портретист», — продолжал думать Третьяков, перечитывая на блокноте, что предстояло делать с утра. — «Дмитрий Васильевич Григорович и Николай Николаевич Ге очень Крамского хвалят. Они надеются, что Крамской займет большое место в русском искусстве. Видел на академических выставках отличные портреты Ивана Николаевича — графини Комаровской, княгини Щербатовой, художника Шишкина. Почерк в письме у него энергичный, слова скупые и целные, серьезный человек, недаром распевався с академиками, не хочет знать Академии, главарь артели свободных художников... Жаль, что не удалось уломать Гончарова... Придется добиваться снова, пока он не согласится...»

Крамской вернулся из-за границы в декабре. На третий день по приезде Ивана Николаевича в Петербург с маленькой захудалой извозчицей лошади, обындевелой от мороза в причудливый белоснежный каракуль, в Биржевом переулке, сошел Павел Михайлович Третьяков. Софья Николаевна увидела в окно незнакомого человека. Но она так много слышала от художников о московском собирателе, о его простенькой суконной шубе с поношенным меховым воротником шалью, небольшой русой бородке, бледном, серьезном всегда лице, что догадалась, кто всходил на крыльцо. Она поторопилась впустить гостя.

— Петербуржцы никогда не сидят дома, — сказал Павел Михайлович, — не то, что мы, москвичи-домоседы. Третьего чело-

века не застаю. Когда же Иван Николаевич возвратится?

— Он очень будет жалеть, что размылся с вами, — ответила Софья Николаевна с нескрываемой печалью в голосе. — Но я боюсь обнадеежить вас скорым его приходом. После двухмесячного отсутствия мужа у него столько накопилось всяких дел в Петербурге, что я буквально не вижу Ивана Николаевича по целым дням.

— Вы не знаете — он еще не начал портрета Ивана Александровича Гончарова? — спросил Третьяков.

— Этого не могу сказать, не слышала от него, — уклонилась Софья Николаевна от прямого ответа. — Правда, он завален работой, и не вся она мне известна.

— Позвольте вас, Софья Николаевна, просить передать Ивану Николаевичу, что сегодня с вечерним поездом я уезжаю в Москву, — сказал Третьяков, — и едва ли мы с вашим мужем увидимся на этот раз. Но я подтверждаю свое желание во что бы то ни стало иметь портрет Гончарова. Пусть Иван Николаевич поторопится и умоляет этого малоподвижного и нестойчивого человека. Жду с нетерпением письма с хорошими вестями. За коленный портрет я согласен заплатить пятьсот рублей серебром: ту самую цену, которую мне назначил Иван Николаевич перед своим отъездом за границу.

Софья Николаевна проводила его и наблюдала из-за шторы, как он садился на еще более рассеребрившегося от неподвижной стоянки мохнатенького конька. Извозчик уж запахнул серую волчью полсть, намереваясь прикрыть колени седока, но не успел он пристегнуть тяжелую бархатную петлю полсти к крючку на задке санок и расправить в обмерзлых рукавицах возжи, как Павел Михайлович ткнул его в спину, удерживая, откинул полсть и вернулся обратно.

— Простите, Софья Николаевна, за новое беспокойство, — сказал Третьяков, — не если бы Иван Николаевич вернулся не особенно поздно, я буду у Дмитрия Васильевича Григоровича. Вторично я никак не в силах заехать к вам: иначе я опоздаю на московский поезд.

И снова все повторилось перед глазами Софьи Николаевны — извозчик взмахнул волком, застегнул полсть, хлопнул рукавицей об рукавицу, натянул возжи... Поехали. Санки качнуло в снежном ухабе, вместе с ними глубоко нырнул Третьяков, и край полсти начал мести чистую серебряную дорогу.

Крамской возвратился при огнях. Не раздумывая, не раздеваясь, он помчался цогонку за Павлом Михайловичем... Разинулись. Григорович вынул из жилетного кармана золотые часы-луковицу, развел руками и посвистал.

— Закупил пол-Петербурга и... уехавшими полчаса тому назад,—весело сказал он.—Сегодня петербургские художники будут шнуровать в нескольких трактирах. Павла Михайловича так раздели представители нашего живописного искусства, что, я думаю, у московского собирателя еле-еле стало на обратный билет. Поделом вам: всегда опаздываете к дележу.

На другой день Иван Николаевич отправился к Гончарову. Матвей открыл ему дверь, как старому знакомому, даже не затежив ливрея, надетой нараспашку. Крамской невольно улыбнулся, вспомнив, что Иван Александрович два месяца назад преподнес ему «Обрыв», выданный по частям из журнала «Вестник Европы», где роман печатался. Чем-то это походило на широченную ливрею Матвея.

Иван Александрович сразу нахмурился, увидав Крамского.

— Вот непоседа,—сказал он,—вы уже в Петербурге. Если я куда уезжаю, то всегда надолго.

— Я же не на фрегате «Паллада» плавал по морям и океанам,—пошутил Иван Николаевич.—По земле долго ездить — бока обколотишь. Да я и домой торопился: все время помнил, что Иван Александрович назначил мне писать с него портрет по возвращении моем из-за границы.

— Ах, портрет...— уныло протянул Гончаров.—А знаете, Иван Николаевич, я ведь так Третьякову ничего и не написал, как мы с вами условились.

— Почему же?—вырвалось у Крамского.

— Не знаю. Забыл. Когда почти шесть десятков вам стукнет, как мне, память вас и начнет подводить.

«Тысячи страниц исписываешь, помнишь каждое слово и лишний раз его не повторишь,—подумал Крамской.—Так я и поверил, Иван Александрович, в вашу забывчивость!»

Подумал так и оживленно сказал:

— Какая зима-то стоит, Иван Александрович! Ясная, ровная, светлота, солнышко, Финский залив замерз, как на полюсе, в одно огромное ледяное поле!

— Ну, уж я и не найду, что светло в Петербурге,—недовольно заворчал Гончаров.—Может быть, у меня что-нибудь со зрением неблагополучно, а только я

попрежнему рано вздуваю огонь. Вот где действительно зимой лучезарно и необыкновенно хорошо, так это на моей родине — в городе Симбирске. Как жаль, что мы с вами не там живем оба. В Симбирске можно писать портреты в любую пору, а здесь... никогда... или почти никогда.

— Что вы, Иван Александрович,—не согласился Крамской с улыбкой,—сегодня же у нас лучше не придумаешь освещения для работы, и Петербург словно создан для сеансов. Мы можем посвятить, как условились в сентябре по вашему желанию, несколько часов подряд живописи.

Гончаров подумал, неодобрительно покачал головой и с лукавинкой спросил:

— Разве мы в прошлое наше свидание что-нибудь порешили окончательно? Я, к сожалению, очень стал рассеянный. Вы, пожалуйста, мне напомните.

— Охотно. Вы приглашали меня по возвращении моем из-за границы, заезжать к вам, чтобы сразу же приступить за работу. Сегодня четвертый день, как я в Петербурге, и готов писать вас. Вы сегодня особенно выгодно выглядите для портрета. Вы в сюткуе, у вас бодрое, здоровое, совсем молодое лицо.

Гончаров неприязненно нахмурился и закрыл лицо тяжелой розовой ладонью.

— Хорошо здоровье,—проворчал он,—наоборот, я совсем не могу позировать нынче. Недомоганье у меня во всем теле. Такое недомоганье, что я буду просить моего Матвея на ночь растереть меня от ревматизма тополевой настойкой. Сюткук на мне заметили... Это все Матвей мне зачем-то его подсушил. А я о халате думаю. Как только вы за дверь, я облачусь в халат — и лежать, лежать, лежать. Да и вообще портреты следует писать только весной, когда действительно много солнца, человека видать насквозь, ни одна предательская морщинка не укроется от глаз художника. А в этой-то морщинке подчас и весь характер человека. Я, знаете ли, Иван Николаевич, диву даюсь, какие за последние годы стали зимы в Петербурге темные. Отчего бы это такое?

Как ни старался Крамской убедить Ивана Александровича посидеть хотя бы недолго, только для начала портрета, неговорячивый человек упорно отказывался, придумывая предлог за предлогом.

— Ну, что вы так торопитесь?—удивленно спрашивал Гончаров.—Мы же еще успеем. Не напрасно же все художники ждут весны и уезжают на этюды. Лучшее время года. А вы меня желаете почему-то зимой. Брр! Такой холодище во

всем мире! Вот скоро прилетят грачи, потом полетит всякая мелкая птичка, а еще дальше затрубят в свои могучие трубы журавли и лебедь. Как хорошо! Вы меня на солнышке, у раскрытого окна, под ветерком легким и теплым писать станете. Я тогда уж ни за что не буду препятствовать. Давайте, Иван Николаевич, ненадолго отложим. Лучше вы мне порасскажите, как вам по Европам поездилось. Я страсть любопытный. Сны мне снятся только о путешествиях, будто бы еду-еду и куда-то в неведомые, заманчивые страны света, и нет им конца. И так это все разнообразно — не насмотришься, не налюбуйешься.

Крамской ушел ни с чем. А в Московском Лаврушинском переулке Павел Михайлович Третьяков уж определил место, где он поместит портрет Гончарова. Иван Николаевич писал в Москву отчаянные письма. Третьяков бережно складывал их в заведенную им папку и настойчиво по-прежнему Крамского добиваться от Ивана Александровича согласия, не отступать от привередливого романиста, угадать ту счастливую минуту, в которую упорный человек сдастся и сядет покорный перед мольбертом.

Однажды Крамской явился к Гончарову и прочел ему письмо Павла Михайловича, в котором Третьяков настаивал, чтобы Иван Николаевич торопился с портретом.

— Да, да, — нехотя сказал Гончаров, — конечно, все это так, очень хорошо, понимаю, Павел Михайлович и мне писал о том же предмете, так я же ведь не отказываюсь, лишь прошу повременить. Удивительные люди эти живописцы! Истинно счастливые! Я по пятнадцати лет не знаю, что мне делать с моими героями, как их помирить друг с другом, в какие взаимоотношения их поставить. Мука! А живописец от любой спички загорается! Право, я бы хотел родиться живописцем! Они стремительные как стрела, пущенная из лука. Во время кругосветного своего путешествия в Новой Гвинее я наблюдал таких стрелков.

И Крамской не мог остановить его, увлеченного воспоминаниями, невольно заслушавшись местостимого рассказчика и уже не жалея времени.

Вдруг в самом интересном месте, не докончив фразы, Иван Александрович прервал рассказ и попросил:

— Позвольте мне посмотреть письмо Третьякова.

Крамской в надежде, что Иван Александрович сдастся, поторопился скорее подать

письмо. Гончаров прочел его, заинтересовался бумагой, разглядывая ее на свет, вздохнул, улыбнулся и неожиданно вышел:

— Ну, уж сегодня день у нас потерял. А можете вы послезавтра, пораньше, в девять утра приехать ко мне?

— Когда вам угодно, Иван Александрович! — воскликнул с радостью Крамской.

— В девять, — почти приказал сум Гончаров.

— Хорошо. Я буду точно во время, — согласился Иван Николаевич, вставая. — Куда прикажете положить мои живописные принадлежности? Они до послезавтра мне не нужны, и я прошу вашего разрешения, Иван Александрович, оставить их у вас, на месте.

— Ни за что! — громко и решительно сказал Гончаров, и в глазах у него появился непритворный ужас. — Вы хотите, чтобы они у вас погибли? Вы не знаете моего Матвея, его опасного любопытства ко всему новому в нашей квартире. Он непременно сломает и перекорежит все. Нет, нет, я не могу взять на себя ответственность за чужие вещи! Я рассеянный, не услежу за Матвеем... Или он меня обманет и проберется непременно в ящики с красками и винтики отвернет на мольберте. Помимо сего, у Матвея бываю запон. Он даже может пролить чужую собственность. В прошлом году Матвей пропал на три дня и вернулся домой истерзанный, босой, без лифреп, в одной нательной рубашке. Слег на шесть недель: горячке, и я едва его отходил. Отвратительный пьяница! Берите, берите, батюшка, с собой свое имущество!

Крамской ушел обнадеженный и довольный благоприятным поворотом дела: послезавтра в девять часов утра этот непокладистый и привередливый Иван Александрович Гончаров станет ручным, сядет в широкое свое кресло, будет терпеливо позировать, сколько необходимо и с такой же пастойчивостью, как он пишет свои огромные романы.

Поздно вечером Матвей, мрачный, молчаливый, не смотря в глаза Крамскому, что-то неясное бурча на все его вопросы, принес письмо от своего барина. Иван Николаевич понял, что Матвеем было показано ни о чем не разговаривать, и он с покорной точностью выполнял барский указ.

Иван Николаевич с горечью узнал из письма, что Гончаров будто бы не любит подолгу сидеть на одном месте, очень уставал, делался нездоровым, — и поэтому

позировать для него пытка. Иван Александрович наотрез отказался от написания с него ненавистного портрета.

Третьяков получил от Крамского горестное известие, задумался над строчкой «одним словом Гончаров отступается окончательно от написания портрета», усмехнулся и тихонько ласково сказал:

— Вот бичушок... Ни с какого бока не обхватишь... Уродятся же такие педотроги в какой-нибудь нашей благословенной симбирской глуши...

Вскоре Павел Михайлович приехал в Петербург, остановился в гостинице и прислал на квартиру к Крамскому письмо, чтобы узнать, когда можно заставить художника дома. В тот же вечер Третьяков был на Васильевском острове, в Биржевом переулке. Иван Николаевич жаловался на Гончарова, подробно рассказывая гостю о всех своих мытарствах с незадачливым портретом романиста.

— Ну, ничего,— сказал Павел Михайлович, усмехаясь,— все обойдется. Поклонимся снова. У таких людей, как Иван Александрович, ведь и причуды безобидные. Интересно даже. Не хочет и не хочет, чтобы портрет его для потомства остался. Что тут сделаешь с человеком? Другой бы, помельше ростом, сам просился на полотно, а этого не заманишь. Вы знаете, Иван Николаевич, я даже не особенно верю в его отговорки. Болезнь, усталость, лень, каприз... Пожалуй, причина не в этом; знал я, особенно среди богатого купечества, оригиналов, чурящихся портретов с них. Предраисудок от старины-матушки уцелел: не гоже с таким человеческим обезьянничать. За святыми чудотворцами на иконах признают только право на изображение. Тут даже в чудесный убрис поверят. Утерся святой человек чистой новинкой, а на новине лица его остается. Иван Александрович, конечно, не к этим чудакам принадлежит: есть среди них другие, суеверные, которые пуще всего смерти боятся. В пароле ведь верят в разные сверхъестественные силы—портрет с тебя сняли,—что-нибудь с тобой приключится, а то и помереть недолго. Иван Александрович из купеческого рода. Не глядя ни на что, от детства, от чихушек, быть может, привилась в нем эта пустая боязнь. Он ведь с хитрецей, ни за что не признается вам в своем родстве с суеверной бабой, нелепо и смешно. а молча делает то же самое, что и она. Шахрается всякий и, как чорт лапана, боится живописца.

Павел Михайлович хорошо и добродушно засмеялся, поддержанный звонким смехом Крамского.

— Похоже,— сказал Иван Николаевич,— и я, кажется, не преувеличиваю, действительно по временам в лице Гончарова проскальзывало нечто тревожное, когда я особенно напирал с портретом и притовлялся вот-вот пачать его, уже держал кисти в руках.

— Кто его знает, по предполагать мы все можем.

— А не кажется ли вам, Павел Михайлович, что другой художник с более громким именем, чем у меня, мало кому известного, мог бы уговорить Гончарова?

— Вы думаете, что Иван Александрович кого-нибудь знает среди художников и хотел бы выбрать своего любимца? Гончаров и среди писателей-то особняком держится. Пишет себе понемногу и на государственной службе застоит. Непременно выслужит и пенсию и в бессмертные попадет.

— Но как, как мне жаль, что я не могу уломать Гончарова!— воскликнул Крамской.— Мне так хочется что-нибудь сделать для вашей галлерей!

— Вот я за этим к вам, Иван Николаевич, и приехал,— сказал Третьяков.— От Гончарова мы не будем отступаться. Он пусть за вами остается. Рано или поздно придет удобный момент, Иван Александрович почему-либо размякнет. У таких людей всегда неожиданности. Не упускайте его из вида и при случае напоминайте о себе. Я в свою очередь буду действовать через общих знакомых Гончарова и моих. Для галлерей же моей я хочу вам сейчас заказать портреты Шевченко, Фонвизина, Грибоедова и Кольцова.

Крамской подумал, вздохнул и сказал с некоторой горечью:

— Тут натура не причинит никаких беспокойств, но я столько уж писал мертвецов, что эти воображаемые портреты, хотя бы и дорогих для меня писателей, не совсем мне по сердцу.

— Я понимаю. А делать их нужно. Я прошу вас не отказываться. В картинах своих вы же все всегда пользуетесь живой натурой. На то и воображение художника дано. Пенять на меня, Иван Николаевич, вы не можете. Мой первый вам заказ был не с кого-нибудь, а с самого Гончарова, ныне здравствующего, и бог даст, еще на долгие годы. Вы молодой, работы интересной на ваш век хватит, моя галлерей только начинается, в России замечательные люди не перевелись, живут и творят,

рождаются и растут новые. На отказ ваш я и не рассчитывал.

Он вынул из внутреннего кармана сюртука маленькую записную книжку в желтой коже, раскрыл ее по алфавиту на букву «К» и показал Ивану Николаевичу две кривых строки, говоря:

— Вот смотрите — должок за вами записан на 1870 год: Иван Александрович Гончаров, Шевченко и прочие. Беретесь сделать? Об отказе же хотелось бы и слышать.

Софья Николаевна, поймавшая гостя чаем, неожиданно вмешалась в разговор и уверенно сказала:

— По лицу Ивана Николаевича вижу, что он уже решил не отказываться. Если я его хоть немного знаю...

— Да, она угадала, — серьезно подтвердил Крамской. — Я не хочу упускать случая быть полезным для вашей галлерей, которую никто из художников не может не ценить. Хотя и не видел ее, но знаю ваши покупки, и по ним уже вижу, что они значат для нашего молодого реалистического искусства.

— Я очень доволен, что вы согласились принять мой заказ, — сказал просветлевший Третьяков, вставая. — Милости просим к нам в Москву. Заезжайте в галерею. Охотно ее покажу. Если поправится, именинником себя почувствую. Привязался я к этому делу. Мануфактурой своей занимаюсь все хуже и хуже. А надо бы наоборот. Чем лучше будет работать фабрика, тем больше даст денег. А при деньгах и покупки картин свободнее. — Вдруг Третьяков зорко взглянул в Крамского и улыбнулся. — О деньгах заговорил и вспомнил, что ведь этот щекотливый вопрос ни вы, ни я не затронули. По какой цене будем считать портреты Шевченко, Кольцова, Грибоедова, Фопизина? Какую плату вы бы хотели назначить?

Иван Николаевич внезапно смеялся, отвел глаза в сторону и каким-то вдруг изменившимся голосом сказал:

— Именно щекотливый вопрос... Да, право, и не знаю. Может быть, когда-нибудь потом...

— Лучшее не откладывать, — перебил Павел Михайлович.

— Я не успел подумать, — смущаясь, ответил Крамской. — Одно только знаю: легче о цене написать вам в письме, чем назвать ее сейчас.

Павел Михайлович осуждающе махнул рукой и сочувственно сказал:

— Понимаю вас. Все мы, русские, такие странные и нерешительные. Неизвестно,

чего стесняемся. Даже свой труд почему-то не умеем оценить, не пряча глаза друг от друга. Видно, мне, как купцу, придется самому починить в этом сделать. Едучи сюда, я немного подумал и решаюсь предложить вам по триста рублей серебром за портрет. — Крамской, точно освобожденный от непосильной тяжести, поторопился согласиться:

— Хорошо, Павел Михайлович. Благодарю. Сделаю.

— В добрый час. Чем скорее, тем лучше. С ними не с Гончаровым, хлопот меньше.

Павел Михайлович, не торопясь, оделся, спросил, где поближе от квартиры найти извозчика, поблагодарил за радушие и приветливо простился.

На следующее утро тот же посыльный из гостиницы принес Крамскому записку, в которой Павел Михайлович просил художника, если он свободен, заехать к двум часам за ним, чтобы вместе отправиться на постоянную выставку Общества поощрения художеств у Полицейского моста. Иван Николаевич во-время был на месте. Третьяков уже поджидал его на улице. Заметив на лице Крамского тревогу — не опоздал ли он, — Павел Михайлович вынул часы и успокоил:

— Из минуты в минуту. Точность настоящего негоцианта. Извозчика не будем отпускать. На нем и поедем.

Крамской подошел к краю пролетки, Третьяков неторопливо поместился рядом и приказал старому петербургскому вознице в высокой лакированной бадейке с отворотами:

— К Полицейскому мосту. За хорошую езду два алтына прибавки.

Извозчик ухмыльнулся и пошутил:

— Продай на деньгу, проел на алтына. Н-но, рысачок! Угоди барынякам!

И затрусил еле-еле.

Третьяков и Крамской засмеялись.

Дорогой Павел Михайлович извинился перед Крамским за беспокойство и сказал:

— Я, Иван Николаевич, прошу вас помочь мне по Петербургу в собирании картин для моей галлерей. Вы-то ведь здесь все и у всех знаете, а я бываю наездами. Чуть у кого из художников появится что-либо стоящее внимания, не откажите написать мне два слова. В советчики я очень нуждаюсь. Недавно мы знакомы, больше по письмам, а я вам верю.

Польщенный Крамской обещал сделать все, что было в его силах. Так, долго разговаривая о будущей работе по собиранию картин, они, наконец, допелись к

месту и оба одновременно полезли в карманы, чтобы расплатиться с извозчиком.

— Нет уж, всадник мой, я вас катаю на рысаке, а не вы меня,— сказал, смеясь, Третьяков и отстранил Ивана Николаевича подальше от облучка с ухмыляющимся извозчиком, который снял свою badly, сверкавшую на солнце.

На постоянной выставке Общества поощрения художеств было довольно много народа. И едва Третьяков с Крамским вошли, как сразу с приятным изумлением переглянулись. В глубине залы возле отчетного среди публики своими сидящими длинными баками, красивой головой с волнистыми волосами, характерным подбородком с продавленной серединой, нарядного и фразоватого, секретаря общества Дмитрия Васильевича Григоровича стоял полный, круглый, почти бочкообразный, в тесном черном скюртке с неуклюжими сплошными складками на спине и боках, розовый Гончаров.

— Навел Михайлович,— шепнул оживленно Крамской,— какой благоприятный случай публично атаковать Ивана Александровича! Нам поможет уговорить его и Григорович, я уверен в этом.

— Попробуем,— тихонько и как-то сдержанно ответил Третьяков.— Кстати, за вами еще один портрет— Дмитрия Васильевича. Ишь, он распушил, расчесал свои серебряные баки, точно крылья.

— Я с удовольствием,— сказал Крамской,— Григорович очень занят, но для портрета своего он безусловно найдет время.

— С ним можно не торопиться... Сначала надо все-таки Гончарова... Лучше начинать с трудного, чем с легкого. Попробуем уломать милого нашего Обломова.

Но тут произошло нечто столь неожиданное, от чего растерялись и Третьяков, и Крамской, а Григорович даже покраснел, и глаза его зажглись неприкрытым возмущением. Иван Александрович, заметив московского собирателя с художником и решив, должно быть, что это его они разыскивали, кинулся в бегство. Не дослушав что-то говорившего ему Григоровича, внезапно сунул ему руку и бочком-бочком, ближе к стенке, прячась за публикой, побежал вон с выставки.

— Надо бы его наискосок перехватить,— добродушно посмеиваясь, сказал Третьяков, когда Иван Александрович исчез.

Григорович быстрой и легкой походкой подошел к ним и с алыми щеками, язвительно помахивая правой рукой, держа в ней за колечко пенсне, пожаловался на Гончарова.

— Вы, господа, видели, как этот сумасшедший человек, несмотря на свою толщину дедушки Крылова, невежественно сорвался с места, невежливо оборвал меня на полуслове и кинулся наутек? Какой неприятный человек-оборотень! Никогда не знаешь — не наступит ли он тебе на мозоль! Фантастическое существо! Каждая встреча с ним — или расстройство, или неприятность. Но что с ним случилось, не пойму! Идея ли нового романа его оцепляла, который он напишет после «Обрыва» через двадцать лет, и он испугался, как бы я посредством черной магии не угадал эту идею и не перехватил? Или он оковчательно рехнулся и побежал домой к своему слуге Матвею, скучающему без барина, когда он «в отлучке»: злые языки говорят, что Гончаров нигде не бывает и не показывается в обществе неспроста: день и ночь он сидит в каморке Матвея и дуется с ним в карты — в подкидные дураки, в акульки, а в промежутки гадает на пиковую даму или на червонного короля.

— Совсем, совсем не то, Дмитрий Васильевич,— сказал осторожно Третьяков.— Он убежал от нас. Увидел меня с художником и подумал: а вдруг этот московский собиратель картин имеет тайную мысль заказать с меня портрет для своей галлерей? Будет просить,— отказать не ловко, а сидеть неподвижно не хочется, скучно, за славой Иван Александрович не гонится. Вот он опрометью и помчался на улицу.

Они все трое посмеялись, и Павел Михайлович, улучив минутку, шепнул Крамскому:

— Не говорите ему пока ничего о наших безуспешных домогательствах у Гончарова.

Григоровича скоро обступили какие-то посетители выставки, и он, кивнув Третьякову и Крамскому, пошел показывать любопытствующим гостям наиболее интересные картины.

На выставке были два рисунка Ивана Николаевича, сделанные на голубой бумаге графитом, карандашом и белилами, и автопортрет маслом. Павел Михайлович постоял перед ними, искоса поглядывая на немного смущенного художника.

— Как это любопытно, Иван Николаевич,— промолвил Третьяков с приветливостью к художнику,— вы краснеете, как красная девушка, перед своими произведениями, словно вы что-то набедокурили.

— Да всегда почему-то не ловко,— ответил Крамской,— когда твою вещь смот-

рят при тебе. И еще более неловко, если ее хвалят.

— Не вы один так себя ведете, — продолжал Павел Михайлович. — Редкий из художников спокоен и равнодушен. — Третьяков подумал и добавил: — Представьте, у таких спокойных почему-то я никогда не покупаю, не хочется.

Он долго молча разглядывал рисунки и автопортрет Крамского, отходил от них подальше, стоял совсем близко и, наконец, сказал:

— Для начала, Иван Николаевич, я готов приобрести у вас эти две головы стариков и автопортрет, если они еще кем-либо не закуплены раньше.

— Нет, они свободны, — ответил Крамской, — лучшего места, чем у вас, я не хотел бы иметь. Но, может быть, вы подождете немного, я рассчитываю в будущем научиться работать сильнее.

— Ну, те вы мне покажете первому, и я возьму в свою очередь. За эти недели вы можете продать рублей серебром?

— Нет, в самый раз.

— Тогда вы тут скажите, кому надо, чтобы повесили ярлычок «продано». Вы ведь всех знаете в Обществе, а я еще здесь редкий гость.

Они медленно, почти до самого темна, обходили выставку. По совету Крамского, Павел Михайлович купил вещи Шишкина, Васильева, Корзухина.

Извозчик, не то прежний, не то другой; только очень похожий на давешнего, и лошадей почти ничем не отличалась от кобы, на котором приехали, медленно повез померкшими улицами Петербурга собирателя и художника. Где-то на завороте с одной улицы в другую, откуда было ближе Ивану Николаевичу до Васильевского острова, Третьяков высадил своего советника. Перед тем за минуту он отвернулся от него, распахнул пальто, вынул бумажник и отсчитал двести пятьдесят рублей мелкими кредитками.

— Успели бы, Павел Михайлович, — сказал Крамской, неловко беря деньги.

— Расчет сделан, он и не беспокоит.

На другой день на выставке Общества поощрения художеств под купленными картинами появились тщательно и крупно написанные ярлыки: «Приобретено П. М. Третьяковым». Крамской сам помог их написать.

И только через пять лет, в которые Иван Николаевич успел в галлерею Третьякова занять целую стенку своими произведениями (там висела первая большая картина его «Майская ночь»), а с четырех

передвижных выставок вошла в небольшой особняк в Лаврушинском переулке целая фаланга передвижников, несчастный гениальный Федор Васильев с небольшими своим наследством, старые русские мастера XVIII столетия, — Гончаров сдался. Крамской пять лет подстерегал этот удачный день, в который Иван Александрович стал ручным. Уж и сидел же Гончаров покорно, молча, добросовестно, долго, все начало весны 1874 года. И... портрет не совсем удался.

— У семи нянек дитя без глазу, — сказал Третьяков, разглядывая портрет. — Вы, Иван Николаевич, не находите, что фигура Гончарова немного длинновата?..

— Нахожу, безобразная вещь, нет ничего труднее для художника писать толстяков, — горячо ответил Крамской. — Они какие-то чересчур обычные, все формы расплываются, нечто неуловимое и не поддающееся кисти, несмотря на все усилия мои. Готов переделать. Я прошу вас отдать его мне обратно. И, может быть, кому-нибудь другому, Павел Михайлович, надо заказать Гончарова. Своего я стыжусь, а без Ивана Александровича в галлерею замечательных русских людей никак нельзя обойтись.

— Вы там можете сомневаться в себе, — ответил Третьяков, — у меня своя, другая мера. Одна мне вещь правится больше, другая меньше, одинаковых произведений на свете не бывает. Но зачем же отказываться галлерею от таких, которые бы могли быть лучше и, что же делать, не вышли? Иван Александрович сам виноват — так измучить художника умел только этот человек-недотыкомка, недотрога, второй Обломов с Горюховой. Переделать немного, только очень осторожно, — с тревогой добавил Третьяков, — я еще могу вам дать, а расстаться с Гончаровым совсем не в силах. Пять годов мечтать о портрете, получить его, наконец, и опять проститься? Что вы, Иван Николаевич, да я же все глаза просмотрел, дожидаясь Гончарова! Второй раз усадить его перед мольбертом — легче мне, фабриканту, самому стать художником.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ

В начале августа 1873 года Павел Михайлович Третьяков, как всегда, приехал в Москву к восьми часам утра с дачи в Кунцево, чтобы ровно в девять сесть за рабочий стол в своей торговой конторе в Лаврушинском переулке, вспомнил на пути туда, что накануне условился до нача-

и занятий быть у портного. Павел Михайлович вынул массивные золотые часы, кельком взглянул на них и приказал кучеру:

— Прибавьте рыси. К Циммерману.

Лошадь пошла полным ходом.

Лучший московский портной, у которого постоянно шил Третьяков, уже беспокойно ждал его. Прошло семнадцать лет, как Павел Михайлович надел первый сюртук работы Циммермана, и с тех пор не желал менять полюбившегося ему покрою. «Передовой» портной негодовал на старомодные вкусы заказчика. Так оба они — Циммерман и Третьяков — заметно с годами седали, жаловались при свиданиях на векомогание, дружили, но никак не могли разрешить нескончаемой распри о покрое сюртука. Циммерман неотвязно добивался «реформ», деловито снимал мерку и неуступчиво твердил:

— Я не могу, Павел Михайлович, идти против моей совести и устарелое называть модным. Я, как художник, должен сказать вам, что новизна в нашем портновском деле совершенно и окончательно победила допотопную старину. Я прошу вас разрешить мне сшить вам сюртук по самым новейшим парижским образцам. Вы не можете себе представить, как это будет комфортабельно!

...Третьяков поднимался по лестнице в мастерскую и морщился: конечно же, Циммерман опять начнет добиваться своего. Так и случилось. Третьяков покорно выслушал, снял свой черный циммермановский сюртук, аккуратно положил его изнанкой кверху на спинку кресла и хмуро сказал:

— Я люблю щи и кашу. О других блюдах не скажу. Водки и вина не пью. Сюртуки модные мне не нужны. Шейте мне по моему вкусу, а не по портновским картинкам.

— Увы, увя! — воскликнул с сожалением Циммерман, горестно разводя руками. — Я, конечно, не могу поступить против воли заказчика, но очень и очень опечален и как великосветский мастер-закройщик и как общедоступный московский портной-новатор.

— Вы мне полы, пожалуйста, не укорачивайте, — проворчал Павел Михайлович, — и никаких загонюли и загибоек делать не надо — не прижму сюртука. Сшейте такой же удобный и отличный, как в прошлый раз. И по той же цене. На рынке ничего не вздорожало.

Третьяков покинул циммермановское ателье, равнодушный ко всем его приман-

кам, развешанным по стенам среди огромных зеркал. Модный портной озадаченно подошел к окну, с любопытством наблюдая, как Павел Михайлович садился в собственную коляску, поджидавшую его у парадного. Как будто совсем не замечая шумной, людной улицы, неторопливо усаживаясь, Третьяков тотчас вынул из кармана какую-то недочитанную книгу и углубился в нее. Кучер, глядя назад, чтобы слишком резко не дернуть рассеянного седока, осторожно пошевелил возжами и тронул лошадь вперед.

— Вот человек! — воскликнул Циммерман, обращаясь к своей расфранченной супруге, записывавшей заказы в толстую пинуровую книгу. — Для него сама царица мод — фи! И больше ничего. О, древней веры заказчики из Замоскворечья! Не коммьюндо, не коммьюндо!

— Моветон в старомодном сюртуке, — важно произнесла пышная циммерманша. — Как он нас, парижских портных, не заставляет шить себе кучерские поддевки.

Не прошло десяти минут, как в мастерскую, быстро, напряженно и сосредоточенно смотря своими большими темными глазами, вернулся Павел Михайлович.

— Вы передумали? — воскликнул радостно Циммерман. — Как я счастлив! Наконец-то, я одену вас, многоуважаемый Павел Михайлович, в духе времени.

Портной суетился, ждал его синхронительно усмехалась.

— А, вот он, мой желтый бумажник! Ну, слава богу! — сказал весело Павел Михайлович и поднял его с полу около кресла. — Век живи, век учишься. Никогда, господин Циммерман, не выворачивайте наизнанку сюртуков и не вешайте их на спинку широких кресел. Еще раз до свиданья. Через неделю я заеду на примерку.

Еще быстрее он скрылся в дверь, чем появился в ней. Супруги разочарованно поглядели друг на друга и уже не захотели подойти к окну, под которым третьяковский кучер недовольно покрикивал на заноровившегося коня, громко цокали копыта на камне, когда коня осаживали и, пнувши шпильми, поскрипывая коляска. Наконец, Павел Михайлович уехал.

Сегодня он немного опоздал, и служащие Лаврушинской торговой конторы удивлялись столь необычному случаю. Третьяков поспешно прошел в свой рабочий кабинет, сел на обычное место и с удовольствием вынул потерянный было бумажник.

«Письмо Крамского цело», — подумал Павел Михайлович, доставая из конверта листок измятой бумаги и пересчитывая

его. — «Пропадающая душа... Месяца два не писал... Откуда-то с железной дороги... Козловка-Засека...»

Третьяков дочитал письмо и нарушил обычно свои правила — до полуденного завтрака заниматься только торговыми делами. Крамской писал о погибающем художнике Федоре Васильеве, дни которого были сочтены, просил выслать больному в Ялту тысячу рублей. В уплату этого долга Иван Николаевич обещал приготовить портрет Толстого. Павел Михайлович вынул из стола папку с письмами Крамского, бережно убрал в нее последнее и позвонил три раза.

— Отправьте, Илл. Прохорович, — сказал он вошедшему кассиру, — одну тысячу рублей серебром в Ялту, Платону Александровичу Клеопину, для художника Васильева. Надо, чтобы деньги ушли непременно сегодня.

Павел Михайлович записал в карманной книжке в счет Крамского тысячу рублей, пометил в скобках («под портрет Л. Н. Толстого») и, не отрываясь, проработал до двенадцати, ведя деловую переписку с клиентами третьяковской льноткацкой и льнопрядильной фабрики в Костроме. Пока он трудолюбиво и настойчиво торговал, закупал сырье для своей мануфактуры, приходили и уходили деловые люди, Павел Михайлович в безукоризненно сшитом циммермановском черном сюртуке стремительно щелкал косточками на счетах, в ворота въезжали ломовики с огромными возами готовых товаров и разгружались у амбаров. Ничто не напоминало в этом замоскворецком, обычного вида, купце того почти одержимого русского человека, который задался бескорыстной целью создать национальную картинную галерею. И так, с перерывом на часовой завтрак, с выездом от трех до шести в купеческий банк, где Третьяков был членом правления, прошло ровно, спокойно, без всяких перемен несколько тягучих замоскворецких десятилетий. «Неулыба», как его прозвали служащие, ненадолго «отмякал» только среди художников и в семье своей во время короткого обеда, за который садились ежедневно с гостями, родственниками и членами семьи пятнадцать человек. Так было осенью, зимой и весной. Павел Михайлович, не засиживаясь, ел любимые щи и кашу, приветливо и немногословно говорил с каждым из своих шестерых детей и отправлялся в свой домашний кабинет. Теперь время принадлежало только собирателю картин Третьякову, — и он забывал в себе скуповатого и прижимни-

стого коздового замоскворецкого фабриканта. Летом порядок жизни нарушался: Павел Михайлович прямо из Купеческого банка уезжал на дачу в Кунцево, лишь изредка навещая вечером московский свой дом.

Сегодня Третьяков остался в Москве, соскучившись по своей картинной галлее, которую привык обходить каждый вечер. В то лето к жилому дому было пристроено первое двухэтажное здание с двумя огромными залами, куда вынесли из внутренних комнат все закупленные Павлом Михайловичем с 1856 года произведения русского искусства. Пока не была этой пристройки, Третьяков все боялся, как бы в жилом доме где-нибудь не зарелось от обычной людской неосторожности и не погибли бы собранные им картины. Теперь он стал спокойнее. Проверенные, вышколенные люди, среди них Андрей Осипович Мудрогель, первый старатель и помощник, сторож, служитель и хранитель в одно и то же время, вместе с рабочими, поместив застекленные картины в рамы, развесили их по стенам нового помещения. Сюда тянуло Павла Михайловича, к его единственному любимому делу на свете. Все остальное он делал только для того, чтобы удовлетворить свою страсть к искусству, молчаливо и неслышавшую этого сурового на вид человека. Письмо Крамского взбудоражило Третьякова, и он заскучал в Кунцеве.

Павел Михайлович повернул ключ в двери, ведущей из его кабинета вниз дома в новоотстроенную галерею. Мудрогель дневал и ночевал здесь. Утром они виделись, и Андрей Осипович не ожидал вечернего визита. С двумя рабочими Мудрогель снимал большую картину, повешенную немного косо.

— Почему вы без перчаток? — спросил Павел Михайлович, как обычно, не повышая голоса, но явно рассерженный, поднял лайковые белые перчатки с чистого, натертого пола и протянул Мудрогелю. — Мы же условились никогда не брать голыми руками ни за картину, ни за раму. На полу нет ковра или чистой подстилки под картину. Все шиворот-навыворот. Кому же я могу доверять, если и вы меня обманываете?

Застыгнутый врасплох, безупречный служака, Андрей Осипович, точно ловкий фокусник, стремительно облачился в белые перчатки.

— Надеюсь, вы не каждый вечер без моего призора поступаете так, — сказал Третьяков, вынул из своего кармана бело-

снежные перчатки, надел и помог повесить картину правильно.

Медленно, молча, Павел Михайлович являлся в обход своих сокровищ, разглядывая картины то с одного бока, то с другого, отходил подальше, приближался, стоял на месте в задумчивости и шагал вперед. Мудрогель следил за ним, напряженный и встревоженный: малейшее улучшение в хранении картин не могло укрыться от зорких глаз хозяйина.

И он действительно находил на рамах востертое в угреннюю обязательную уборку пятнышко пыли, качал осуждающе головой и морщился.

Часа полтора-два ходил Павел Михайлович по своей галлерее, лицо Третьякова посветлело и подобрело, и он успокоился.

— Ничего, — сказал он, осмотрев, как Мудрогель с рабочими повесили картину снова, — теперь она занимает правильное положение. Так и нужно. Понемногу догоняем границу. У них еще лучше, но рано или поздно не уступим.

Павел Михайлович ежегодно ездил на два месяца в Германию, Францию, Италию, осматривал одну за другой западноевропейские картинные галлерей и старался перенять у них все необходимое техническое устройство.

И Мудрогель спросил:

— А чем у них, Павел Михайлович, лучше-то нашего?

— Светлее. Картины не дают одна другую. Повешены выигрышно. Крыши у них в галлерейх стеклянные. Мы ошиблись с архитектором. У нас тесно и темно. Надо было не два зала строить, а еще шесть, и все с верхним светом. Вот скоро Крамской напишет портреты Толстого, Гончарова, Григоровича, Некрасова, а поместить нам будет некуда этих замечательных русских людей. Нельзя же, как у Циммермана новые сюруки висят один на другом в огромных шкапах, разместить наши картины в гармошку с борями.

Павел Михайлович добрался до двери своего домашнего рабочего кабинета, повернулся к темнеющему залу, постоял с еле заметной нежной улыбкой и неторопливо ушел, щелкнув певучим замком. А через минуту опять появился, озабоченно проследовал к массивному прадуснику в дубовой оправе, висевшему на стене, снял его и проверил температуру в галлерее.

— Не сомневайтесь, Павел Михайлович, — сказал Мудрогель. — Вокурат.

— Значит, истопники хорошие, — ответил довольный Третьяков. — Следите, Ан-

дрей Осипович, за равномерным нагревом галлерей. От колебания в градусах картины портятся. Плохо — жарко, плохо — холодно, необходима одинаковая средняя температура. Дров не жалейте и зря не жгите. Все ли замки заперты?

— За это отвечаю, Павел Михайлович.

— Ну, хорошо. Только бы не так, как с белыми перчатками.

В кабинете Третьякова зажегся огонь. Павел Михайлович уселся за книги. Он всю свою сознательную жизнь искал знаний, которых ему не дал в юности малограмотный замоскворецкий купец — его своевольный домостроевский папаша, ни во что не ставивший образование. А около полуночи Третьяков опять вспомнил о письме Крамского, представил себе будущий портрет автора «Войны и мира» и написал Ивану Николаевичу коротенький заказ на эту работу. В первом часу ночи Павел Михайлович услышал под своим окном старательную колотушку ночного сторожа, улыбнулся, разделся и задул свет. Замоскворечье уже давно по-старинке спало: вставали ведь к заутреням.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Полупустующая усадьба беспутного тульского помещика Ваныкина, равнодушного к своему родовому гнезду, порядком разрушенному, сдавалась на лето 1873 года внаймы. В поисках дачи, Крамской неутомимо и бесплодно объезжал по железной дороге и на лошадях много мест в Воронежской, Курской и Тульской губерниях, пока не наткнулся на это захудалое ваныкинское поместье. Оно сразу прельстило художника своим местоположением среди огромного дубового леса, полного молодых и старых деревьев, густого, непролазного, точно никогда еще не потревоженного человеком с топором и пилой. Мельница водяная, пруд, зарастающий круглыми блюдами удивительной правильности зеленого горошника, желтыми кувшинками, остроконечным темносизым камышом, обширный барский дом в четырнадцать меблированных комнат, безлюдье, глушь, — все это было как раз то, чего искал Крамской, замученный суетливой и напряженной столичной жизнью в зимнюю пору. Вместе с Иваном Николаевичем собрались на летний отдых художники Савицкий и Шинкин. Все с семьями. Пока Крамской колесил по деревням и усадьбам трех губерний, один за другим заболели оспой дети его — Толя, Коля, Соня

и Марк. В хлопотах и передрыгках прошел целый месяц, успели переболеть дети и начали выздоравливать. Дача стала особенно нужна для поправки здоровья всей семьи — и младших и старших. Софья Николаевна, переволновавшись свыше сил своих за больных ребятшек, еле держалась на ногах. Никогда не падающий духом, Иван Николаевич быстро забыл о перенесенных мытарствах. Когда в конце июня все съехались в Ватыкино и зажили по-человечески, звонкий голос Крамского мог поспорить с веселыми, задорными голосами четверых его маленьких потомков. Вслед за Иваном Николаевичем, на готовое и удобное, приехали Шишкин и Савицкий.

— С вас с одних привальную, — сказал довольный Крамской, встречая товарищей. — Вы посмотрите, как достаются у нас в России хорошие помещения в прекрасной местности. Мне тридцать шесть лет, а талия у меня стала совершенно юношеской, как у восемнадцатилетнего мальчишки. Если бы нам вздумалось поехать в Хиву, а не в Тульскую губернию, в десяти верстах от города Тулы, то это было бы проще, лучше, удобнее и дешевле. Я издержал чортову тьму денег. Если уж в пай со мной не войдете, так по крайней мере поставьте мне родимые, штофчик.

— Не поставим, — пробасил Шишкин. — Кто нас сманил в эти дебри заолустные, куда и птицы не всегда дорогу знают?! Где мой багаж? Послал его на станцию Козловка-Засека неделю тому назад и... обогнал чемоданы мои. А теперь давайте нам с женой из своего гардероба хотя бы скудельное одеяние.

— И я требую, — добавил Савицкий, — рубаху и порты, а жене моей бумажное платье, других не носит. Со мной один мольберт и две кисти. На Козловке-Засеке багажный староста сказал нам с Иваном Ивановичем, что-де не попал ли ваш багажик с ночным поездом — тоды дело плохо. Ночью поезд стоит на Козловке-Засеке две минуты. Кондуктор едва пошвистеть успеет к остановке, как свисток у него в губах к отправлению. Очень свободно, яво, богачик-то нужный, провезли в Тулу. Посоветовал нам добрый багажный кладовщик не томиться, не дожидаться от Козловки-Засеки ничего путного, а самим отправиться в Тулу перехватить корзины, пока не поздно. Не то увезут дальше, вплоть до Черного моря.

И на другой день к вечеру Шишкин и Савицкий подали Крамскому на огромном листе в виньетке из мощных дубов, скло-

нившихся над крышей ваныкинского барского дома, с подвешенными на ветвях разноцветными чемоданами, счет за понесенные художниками убытки.

Так началось привольное, дружное, трудолюбивое лето трех выдающихся художников-передвижников.

Крамской привез с собой небольшую плетеную корзинку с книгами. В ней были: «Кобзарь» Шевченко, «Очерки бурсы» Помяловского, «Обрыв» Гончарова, «Подлиповцы» Решетникова, «Отцы и дети» Тургенева, «Идиот» Достоевского, «Лес» Островского, «Кому на Руси жить хорошо», «Русские женщины» Некрасова и «Война и мир» Толстого.

И начал пересчитывать запоем в каждую свободную минуту, через неделю как приехали в Ваныкино — «Войну и мир». Виновником этого увлечения был Иван Иванович Шишкин. Запаздывавший багаж беспокоил художника. Бродя по лесным окрестностям с этюдником, все приглядываясь, где бы остановиться окончательно для большой работы, Шишкин каждый день добирался до полустанка Козловка-Засека. Багажный кладовщик хорошо запомнил рослую, видную фигуру пейзажиста. Багаж прибыл на четвертые сутки. Еще издали кладовщик увидел Шишкина, подходившего к станции по дороге. Вдруг пара гнемых, кормленных лошадей, запряженных в легкую коляску, на полном ходу помчалась от вокзала, подымая густую, клубящуюся летнюю пыль, относимую по ветру. Шишкин посторонился. Из коляски на него любопытно взглянула молодая женщина в низенькой сборчатой голубой шляпе со страусовым белым пером, пришитым сбоку, как крыло птицы в полете. Коляска миновала. Из-под колес, из-под копыт лошадей поднялась высокая, непроглядная, точно кипящая, сизо-серая пыль и кинулась на Шишкина, охватывая его всего. Когда она рассеялась немного, коляска была уже далеко, и в длинном извивающемся хвосте пыли за ней изредка мелькало то голубое, то белоснежное пятнышко дамской шляпы.

«Должно быть, помещица какая-нибудь, — подумал Шишкин. — Губерния дворянская. Нарядная дамочка скучает в захолустье... Везет с поезда три больших пачки книг... в хорошей упаковке... Кюто в Москве о ней заботится...»

Кладовщик уже махал рукой Ивану Ивановичу, и Шишкин радостно заторопился: пришел багаж.

— Графиня-то вас чуть не затоптала, — сказал с улыбкой кладовщик, когда Шиш-

он подошел поближе. — Кони лютые у вас. Хозяйственная барынька. Плохих не держит Софья Андреевна...

Иван Иванович встряхнул пыльную шляпу и почистил рукой свою охотничью куртку.

— Да, — ответил он, — не успеешь отскочить,шибла бы в канаву. Что у вас за бойкие графини живут в окрестностях?

— Неужто не знаете? Да это же Льва Николаевича Толстого жена! У них тут неподалеку усадьба своя — Ясная Поляна. Сам-то дома своими делами занимается, а графиня у него вроде как бы управляющий. Книжки повезла. Шлют-шлют их со всех сторон, когда только его сиятельство Лев Николаевич успевает прочитывать!

Шишкин с любопытством оглянулся назад. Лошадей уже не было видно, лишь доносился с дороги четкий ровный топот, кое-где пад дальними кустарниками качалась облачка пыли, словно кусты подожгли, у них горели корни, и дымок медленно и вяло полз кверху.

Иван Иванович только удивился такому соседству со знаменитым писателем. Крамской же тотчас заволновался, потерял покой, решив во что бы то ни стало не упустить случая встретиться с Толстым и написать его портрет. Ясная Поляна находилась в пяти верстах от Ваныкина. Несколько раз Крамской, Шишкин и Савицкий отправлялись в дальнюю прогулку и близко подходили к толстовскому имению.

— Ну, чего же вы медлите, Иван Николаевич, — сказал однажды Савицкий, — летом только и писать портреты. Освещение-то какое! Граф наверное будет рад-радешенек. Посадите его на солнце, дубы вокруг, чудесная темнозеленая листва, цветы под ногами. Жаль, что я не портретист. Не подумал бы промедлить минуты. Толстой живет в таком деревенском уединении и зимой и летом. Я уверен, что он обрадуется всякому свежему человеку, в особенности же художнику. Да ведь и жестно каждому остаться в памяти потомков, будучи увековеченным нашей кистью.

— Ну, не знаю, — раздумчиво ответил Иван Николаевич, — каждому ли... Мой неудачный опыт с Гончаровым как раз говорит об исключениях... Измучился я напрасно с Иваном Александровичем так, не пожелаю никому другому из моих товарищей испытывать подобное.

— Тот же — общеизвестный оригинал.

По произведениям его можно судить об этом. Обломов!

— Константин Аполлонович, вы забыли, что в «Войне и мире» есть старик князь Болконский, чудак, нелюдь, страшный бирик, которого побаивается все вокруг. У меня нет уверенности, что какие-то черты характера этого деревенского вельможи не присущи самому Льву Николаевичу. Я должен к встрече с ним подготовиться, все продумать в будущем разговоре, продумать до последнего слова, чтобы не оказаться жалким неудачником в своих домогательствах.

Константин Аполлонович не согласился, махнул пренебрежительно рукой и с досадой ответил:

— Ах, все это лишние мудрости и какие-то необычные подходы, по существу в простом деле! Предложили — не хочет, пусть на себя пеняет. Выгорело — слава богу. Нельзя же нам, художникам, превращаться в каких-то настойчивых свях, соблазнять приданым и с поклоном ухаживать за женихами и невестами.

— Не нахвалюсь, не нарадуюсь, что я — пейзажист, — вмешался Шишкин, — дело имеем с покорной и молчаливой натурой. Один дождь может помешать работе да темнота. Портретист всегда проситель. Он людям честь делает, а те ломаются и кочевряжуются.

Иван Николаевич поморщился.

— Какая же честь Толстому, что его будет писать Крамской! Честь только одному мне.

Иван Николаевич съездил в Тулу, с трудом разыскал на рынке, на книжном развале, старые номера «Современника», где печатались ранние вещи Толстого — «История моего детства», «Отрочество», «Севастополь в августе 1855 года». В лубяном коробе, найденном в подвале ваныкинского дома, где дачники-художники хранили от летней жары свои съестные припасы, оказалось несколько разрозненных номеров журналов и отдельные издания с произведениями Толстого.

Иван Николаевич весело смеялся, просматривая эти оглодки от бывшей ваныкинской библиотеки. Ближайший сосед Толстого читал его пристрастно, с карандашом, раздраженно подчеркивая в разных местах текста непоправившиеся строчки и целые страницы. Все поля книжек были испещрены восклицательными и вопросительными знаками, резкими замечаниями, ядовитой бранью и насмешками. Две грамматических ошибки нашел строгий Ваныкин в «Казаках» и поперек всей

страницы написал безукоризненной, красивой каллиграфией: «Показать тульскому предводителю дворянства». Как видно, Ваныкин не признавал способностей к писательству у такого же, как он сам, землевладельца Тульского уезда.

Когда все, что было на руках, Иван Николаевич прочел, он несколько дней подряд ездил в тульскую городскую библиотеку, знакомясь там с недостававшими ему рассказами и повестями Толстого. Наконец, Крамской решил, что он немного узнал интересовавшего его человека и подготовился к встрече с ним. Пять верст до Ясной Поляны Иван Николаевич шел, волнуясь, хотя было ясное, жаркое, безоблачное утро и опоздать он не мог, даже к сеансу, если бы Толстой согласился сразу позировать. Крамской мало надеялся на везающую удачу, но на всякий случай захватил с собой все необходимое для работы.

На террасе яснойполянского дома стояла молодая женщина в очень простеньком легком платье и пристально смотрела на приближающегося Крамского. Когда он подошел ближе, она перегнулась через перильца, поправила удобнее связку ключей за желтым поясом и с явным любопытством старалась определить, что за художник с ящиком красок через плечо был перед нею. Еще издали, вспомнив описание Ивана Ивановича Шишкина, встретившего графиню около Козловки-Засеки, Крамской догадался, кто была эта женщина. Иван Николаевич почтительно снял шляпу и назвал свою фамилию, думая, что никто здесь, конечно, о нем никогда не слыхал. Софья Андреевна вдруг оживилась, любезно пригласила Ивана Николаевича на террасу и сказала:

— Прошлой зимой мы со Львом Николаевичем были в галерее Павла Михайловича Третьякова и видели вашу картину «Майская ночь».

— Какая у вас память! — скромно ответил Крамской, испытывая удовольствие от удачного начала знакомства.

— Очень... очень интересно... поэтично... Лев Николаевич любит Гоголя... Он хвалил... На него она произвела сильное впечатление...

— Это моя первая большая картина, и я испытываю смущение, когда меня за нее не ругают, — ответил Иван Николаевич.

— Ах, что вы! — удивленно воскликнула Софья Андреевна. — Да за что же! Эти бедные русалочки в лунном свете, эта ночь... Нет, я совсем в восторге! Па-

ши вкусы со Львом Николаевичем почти всегда сходятся... Я только чисто по-женски выражаю свои чувства, более неумеренно, открыто, от всей души. Вы откуда же приехали в наши края? Прямо из Москвы? Но сейчас же нет московского поезда. Или вы поселились где-нибудь на лето поблизости от нас?

Иван Николаевич рассказал.

На круглом столе, покрытом голубенькой скатертью, шипел самовар. Софья Андреевна гостеприимно усадила Крамского, налила ему жиденького чая, придвинула розовые с изюмом булочки домашнего печения и без умолку стала расспрашивать о художниках, новых картинах, выставках. Иван Николаевич втайне беспокоился, коснулся на дверь, ведущую в комнаты, и дожидался оттуда Толстого. Наговорившись досыта о том, о сем, Софья Андреевна внимательно прислушалась к бою часов где-то вугри дома, слегка нахмурилась и с улыбкой сказала:

— Как жаль, что вы не застали Льва Николаевича. Он в Самарской губернии, на кумысе. Но вы же до конца августа проживете в Ваныкине? Лев Николаевич должен вернуться к этому времени. Прощу нас навестить. Я думаю, Лев Николаевич будет рад. Насколько я понимаю, вы хотите написать с него портрет?

— Если Лев Николаевич удостоит меня этой чести, — поторопился ответить Крамской, — я приложу все усилия, чтобы долго не отрывать его от работы, и в несколько сеансов закончу портрет.

Иван Николаевич поднялся. То же явным удовольствием сделала Софья Андреевна и, перебирая за поясом звенящими ключами, сказала:

— Я, конечно, ничего не могу ответить вам утвердительного без Льва Николаевича, но будем надеяться, что он согласится или убедит вас в ненужности писать с него портрет. — Она протянула руку. — Извините, Иван Николаевич, я должна сейчас решительно забыть обо всем на свете, кроме моего большого хозяйства. Я сама его веду, и мы не держим управляющего. Лев Николаевич ни во что не вникает, занятый своими литературными трудами, я же и пашу, и сею, и молочу, торгую хлебом, издаю книги мужа, вожусь с издателями. — Софья Андреевна довольно засмеялась. — «И швец, и жнец, и на дуде игрец», — так, кажется, в народной поговорке? Я вся в хлопотах. Вот они уже надвигаются на меня. И я должна бежать по хозяйству, повсюду успеть, за всем проследить, иначе дело остановится.

Люди, работающие у помещика, а не на себя, стараются делать как можно меньше и бестолковее. Хозяйский глаз пужен в каждой мелочи.

Иван Николаевич возвратился в Ванькино довольным. Как будто бы знакомство с графиней обеспечивало будущую ее поддержку, если бы даже все знаменитые литераторы на свете оказались столь же весговорчивыми, как Гончаров.

Через несколько дней после посещения Иваном Николаевичем Ясной Поляны Трегьяков и получил письмо из Козловки-Засеки о предполагаемой встрече художника со Львом Николаевичем.

Толстой приехал из Самарской губернии в конце августа. Стояла удивительно ясная, какая-то лучезарная погода. Воздух был чист и свеж и прозрачен. Таким бывает глубокий журчащий родник в песчаном грунте. Шишкин спешил не пропустить для работы самых светлых утренних часов и рано поднимал на ноги весь ваныкипский дом. Иван Иванович спротонок неуклюже гремел собираемыми в поход художническими вещами и ружьем, громоздкими охотничьими сапогами с голенищами за колено, стараясь ходить тихо и не умея этого делать. Вслед за нетерпеливым Шишкиным, догоняя его, бежал Савицкий. Он работал над картиной «Землекопы на железной дороге», искал нужного ему пейзажа, и каждое утро делал небольшие этюды с различным освещением. Крамской оставался один в усадьбе и трудолюбиво писал картину «Осмотр старого дома», навешивая ему ваныкинским разрушающимся дворянским гнездом. Иван Николаевич не умел сидеть сложа руки. Кроме этой картины и многих этюдов к ней, на двух старых мольбертах, брошенных кем-то из Ваныкиных и подобранных Иваном Николаевичем в сенях дома, стояли недоконченные портреты Шишкина — в рост среди пейзажа, и жены Савицкого.

Но все чувства, все стремления Крамского сосредоточивались не на этих вещах. По тому, как быстро ответил Третьяков на последнее письмо Ивана Николаевича заказом портрета Толстого, было ясно, что предложение художника пришлось по сердцу собирателю. Павел Михайлович покупал на корню и незаконченный портрет Шишкина, прося его никому не показывать и не предлагать.

В один из своих обычных выходов спозаранку и, как всегда, перебудив весь дом, Шишкин с шумом и толпотом вернулся юмой через полчаса. Напуганные необыч-

ным возбужденным видом Ивана Ивановича, его беспокойно обступили еще неумытые и полуодетые ваныкинские дачники.

— Заяц, заяц! — воскликнул Шишкин с таким восторженным юношеским пылом, словно, кроме этого бедного русака, где-то пересекшего на беду свою дорогу охотнику, ничего для него больше не существовало в мире. — Понимаете, заяц выскочил! Первый заяц за все лето! Погода испортится. Это перед порошей. Предвещает ее. Ах, какая беда, я ружье сегодня забыть взять!

Шишкин жадно схватил ружье и умчался. Возвратился он поздним вечером измученный, озябший — за день сильно похолодало — чертыхающийся и мрачный.

— Весь день прахом, — устало пробормотал Иван Иванович, швыряя в угол все свои вещи. — Гонялся за окашным из одной рощи в другую. Подумайте, шесть раз за день видел! Какое-то навождепие! Все патроны расстрелял! Мазал словно новичок-охотник, весь лес перепутал! Но уж этому неувловимому зайцу не сдобровать. Я к нему так пригляделся, кажется, попадись опять оп же, угадаю.

В ночь повалило крупу. Ваныкинские дачники раньше времени зашевелились под летними одеялами: преждевременный холод застигнул врасплох. Иван Иванович вскочил на рассвете и босыми ногами прошлепал по остывшему полу к окну. У Шишкина занялся дух. Ваныкинская усадьба приобрела совершенно зимний вид. Шел густой, крепкий, лепешками снег. Все деревья вокруг побелели и залохматились, точно надели пшубы, вывороченные кудрявым мехом наизнанку. Ни одного черного и рыжего по-осеннему пятнышка земли. Казалось, пришел метельный, буйный январь, и мерзлый мир уже давно лежал под снежными сугробами в человеческий рост. Короткое мгновение Шишкин постоял у окна, захлебнувшись от восхищения. А снег все падал, падал и, чем дальше к полю, тем уже необычнее: розоватый, вспыхивающий какими-то странными искорками, в огонь которых нельзя было поверить.

— Ранняя пороша! — громко сказал Иван Иванович, задыхаясь и будя своим возгласом жену Евгению Александровну. — А за метелью заря и солнце!

Шишкин собрался с таким проворством и так понесся на улицу, схватив только одно ружье, словно на ваныкипский дом кто-то нападал недобрый и опасный. Евгения Александровна ничего не успела сказать мужу в напутствие, как уже

хлопнула наружная дверь и захрустел снег под стремительными шагами удаляющегося раннего охотника.

«За вчерашним зайцем погнался» — подумала женщина, вспомнила, как Иван Иванович только что смешно суетился в комнате, натянула до шеи остывшее за ночь одеяло и засмеялась.

Усталый, мокрый до пояса, но улыбающийся, возвратился Шишкин к обеду, неся через плечо двух убитых зайцев, связанных серой ленточкой, оторванной от шляпы. Целый день сверкало такое теплое солнце, что земля вокруг стала пегой, везде потекли по-весеннему бурные ручьи, снег стал походить на рыхлую мыльную пену, и среди кое-где опаленной холодом листвы на деревьях другая листва, уцелевшая, обмытая, зазеленела сильнее и моложе и ярче, чем накануне. Шишкин шагал через лужи и с улыбкой смотрел в них на свое отражение.

Вернувшись домой, Шишкин переоделся и только тогда вспомнил, что на охоте он встретился с Толстым.

— Крамской! Иван Николаевич! — вбегая в комнату к нему, закричал Шишкин. — Натуга твоя приехала из Самарской губернии! Как и я, Лев Николаевич не пропустил первой пороши! Недалеко от Ясной Поляны столкнулись на опушке одного леса. В двух зайцев палили. Он своего уложил, я пропуделял. Видел я издали, недружелюбно на меня взглянул, что-то сказал своему слуге, зайца подобрал и скрылся в лесу. Потом я слышал выстрелы далеко уж в стороне. Я сначала не знал, что это за помещик охотится. Но проходила какая-то баба, увидела у меня одного убитого зайца и подсмеялась надо мной. Говорит нараспев и лукавым глазом косит:

— Охотничек-то не нашинский... Одно-ва дыхнуть, тульские зайчики перехитрят господ приезжих... Вона граф Толстой набил — без малова дюжина! На всю зиму графине на фрыштики! Кобыльего молока у татар в Самарской губернии напился доотвала, теперь за зайцами и ярится по полям.

Несвоевременная пороша, наделав на земле бед, губительных для всего цветущего и зеленого, продержалась только до утра. И опять в полной красоте, пленяя глаз пестрым и ярким сентябрьским убором, как празднично-нарядная женщина, наступило теплое, ласковое, голубое лето.

В первых числах сентября Иван Николаевич с волнением подошел к Ясной По-

ляне. И как будто бы в этой жизни все повторялось или стояло на месте. Софья Андреевна снова, чуть ли не в том же платье, с ключами за поясом, перегнувшись через перила террасы, поджидала его. Графиня очень радушно и приветливо улыбалась художнику, как давно знакомому и приятному ей человеку. Она даже не забыла его имени и отчества.

— Почему же вы, Иван Николаевич, без своего художнического ящичка, как приходили с ним месяц назад? Лев Николаевич дома, и, думаю, вы бы могли начать сразу же писать портрет.

Обрадованный таким приемом, Крамской тайно пожалел, что совершил оплошность, не захватив с собой необходимого для работы, и, благодарно целуя радушно протянутую ему руку графини, очень энергичную, крепкую и белоснежную, Иван Николаевич горячо сказал:

— Я не считал бы для себя за труд тотчас вернуться в Ванькино, взять краски, кисти и быть снова в Ясной Поляне!

Софья Андреевна вдруг перестала улыбаться и как-то тревожно задумалась.

— А знаете, Иван Николаевич, — произнесла она вполголоса, — я перед вами виновата. Ведь Лев Николаевич только на днях приехал... Он отдыхает с дороги... Даже и на террасу почти не выходит. Я запаматовала предупредить его о вашем любезном посещении. Впрочем, я сейчас узнаю...

Крамской проследил за ее легкой подвижной фигуркой, скрывшейся в доме, с неприятным чувством боязни за успех дела. Возвращение графини не сулило ничего доброго. Иван Николаевич слышал неясные, довольно громкие, возбужденные голоса в комнатах, потом внезапно все смолкло, словно все люди ушли из дома через заднее крыльцо. Потом раздались легкие, все ближе и ближе женские шаги, и... графиня, невидимая за дверкой на террасу, остановилась, постояла недолго, Крамской услышал глубокий вздох, лягз ключей. Шаги внезапно начали удаляться вглубь комнат, опять там заговорили люди, но уже тише, спокойнее. Крамской тоже испытал некоторое успокоение. Наконец, появилась Софья Андреевна, веселая, довольная, точно с опаленными огнем розовыми щеками.

— Пойдемте, Иван Николаевич, — сказала торжествующе графиня, — извините, что меня задержали всякие хозяйственные заботы. Лев Николаевич будет очень рад познакомиться с вами.

В темноглубой рубаше, впоследствии названной во всем мире толстовкой, широким колоколом охватывавшей на груди и в рукавах с напуском некрупное тело небольшого сорокалетишнего человека, в белом отложном воротничке, в серых полосатых брюках — встретил Лев Николаевич волнующегося художника.

«Так вот он какой,— подумал Иван Николаевич.— Сумрачный, сосредоточенный в себе. Какие неприятные пронзающие глаза. Наверно изучает меня. Если не понравлюсь, то не согласится позировать ни за что. С ним, может быть, труднее разговаривать, чем с Гончаровым».

— Я не буду мешать вам,— сказала Софья Андреевна,— и уйду.

Они остались с глазу на глаз. Толстой усадил гостя рядом с собой на небольшой диванчик.

— Мне жена сказала, что вы портретист,— произнес равнодушно Лев Николаевич, и лицо у него было, как подметил остроглазый и наблюдательный Крамской, совершенно холодно и безразлично к своему соседу.— Вы хотите, чтобы я вам позировал? Господин Третьяков собирает картинную галерею и желает среди прочих портретов русских литераторов повесить у себя в галлерее и мой портрет? А зачем? Кому это нужно, кроме самого, может быть, очень почтенного в своем деле московского купца и фабриканта Третьякова? Для чего нужна картинная галлерей Третьякову? Для тщеславия, для честолюбия или, я уже не пойму, для так называемой ци-ви-ли-за-ции? Пустое занятие, повидимому, взбалмошного человека. Это, конечно, между нами. Купец купцом и остается. У них ведь всегда так — праву моему не препятствуй. Почему же я, Лев Толстой, кое-кому известный в России писатель, не разделяющий себя-любивых желаний Третьякова, должен потворствовать его сумасбродной купеческой прихоти? Для какой цели собирать толпу праздных и бездельничающих людей перед моим лицом, выставленным для обозрения в галлерее? Лицо у меня самое обыкновенное, русское, с широким носом, борода, усы, глаза, как и у всех людей. Смотреть во мне нечего и не на что. Я же не певеста. И не паяц, и не балерина, и не фокусник. Кто интересуется моими литературными трудами, тот может читать их. Но для какой цели мое лицо, брюки в полоску, широкая рубаша, прическа моя? Какое значение имеет моя внешность для тех, кто меня читал и кто меня не читал, не хочет читать и никогда не удосужится

потратить свое время на это? Книжки мои и моя внешность не имеют между собой ничего общего. Если я еще допускаю интерес к тому, что написал, то любопытство к моему широкому и довольно безобразному носу бессмысленно. А главное — не нужно. Я же мои книги сочинил не потому, что такой-то я темнорусый, бородатый, с большими ушами и некрасивым лбом, и волосы у меня с пробором по середине головы, как принято у всех здоровых людей расчесывать их в этом месте направо и налево! С картиной, содержащей какую-то идею, ту или другую, близкую или далекую мне, я еще, с трехом пополам, могу согласиться. По крайней мере не стану оспаривать ее ненужности, если она действительно нужна, в чем я тоже сомневаюсь. Но портреты, портреты, вы извините меня, ничего не стоят и никому действительно и ни в чем пользы не принесут.

Освоившись в толстовском кабинете и попривыкнув к своему собеседнику, Иван Николаевич начал осторожно возражать. Но тому, как слушал Толстой, Крамской с некоторым удовлетворением понял, что у хозяина уже не было равнодушия к гостю. Иван Николаевич, подготовленный к встрече с Толстым чтением его книг, пропикший, насколько смог и сумел, в то, чем жил его будущий натурщик, сумел заинтересовать Льва Николаевича. Хмурое и сосредоточенное лицо Толстого подобрело. Прошло около часу, как они беседовали и Лев Николаевич, уклоняясь в сторону, выпросил у Крамского о его путешествиях с фотографом Данилевским по России, бунте в Академии, петербургской артели художников, передвижниках, упомянул о многих картинах, которые видел, хвалил или ругал их, несколько раз смеялся, почти дружески клал на колено Крамскому свою теплую и красивую руку и, наконец, со смехом сказал:

— Так вы, Иван Николаевич, говорите, что мой бы Платон Каратаев вам не от- казал?

— Безусловно, ваше сиятельство,— ответил Иван Николаевич.— Эта чудеснейшая личность, подсмотренная вами среди русского народа, мне особенно понятна и близка.

— Будто. А я ведь ее выдумал,— с озорным огоньком в светлых до резкости глазах сказал Толстой.— Вы мертвеца при- няли за действительность.

— Но ведь где же провести у художников грань между настоящим и воображаемым?! — продолжал Крамской.— И ча-

сто воображаемое убедительнее существующего в натуре. В типе художник собирает разрозненные черты множества наблюдаемых им людей. Такого вполне человека, как Платон Каратаев, могло и не быть, а та правда в нем, искренность, убежденность, душевная чистота, собранная вами по крупинкам среди многих людей, воплощают перед нами образ идеального и замечательного человека.

— Хвалите, хвалите,— ответил Толстой,— вы хитрый и настойчивый! Я уже мысленно подсчитал, как вы среди нашего разговора о том, о сем три раза возвращались к этому злополучному портрету с меня.

— Не противьтесь злу насилем,— пошутил Иван Николаевич.

— Вы пропели целые гимны Западной Европе, ее культуре, ее картинным галереям,— добродушно усмехаясь, перебил Лев Николаевич.— Я наслушался от вас о Рафаэле, Тинторетто, Рембрандте, Тициане, Леонардо-да-Винчи. А все это я видел, все это я нарочно ездил смотреть в Европу и никак не смог убедить себя, что есть живая человеческая потребность и надобность в украшении нашей очень скверной и мрачной жизни подобными детскими игрушками. Что они говорят нашему сердцу и уму? Только лживое, показное, приукрашенное, существующее в бесполезных и бесплодных мечтах людей. Мы же не дети, чтобы на нашу трудную человеческую жизнь смотреть с детским восхищением, подобно тому, как ребята не могут отвести глаз от рождественской елки. Все вокруг — ложь, фальшь, обман. Мой Платон Каратаев все это хорошо знает, еще больше чувствует. В простой, скромной, правильной жизни на земле, в искренней и глубокой вере — главное. Нужны ли наши самолюбивые и самовлюбленные портреты в галереях разных меценатов, которые гонятся за одной суетой и мишурой в жизни? Не требуются. Не сотвори себе кумира. Не хочу быть запечатленным вашей кистью. Очень благодарю, но это излишнее и не стоящее внимания занятие. Как-нибудь проживу без иконы с меня. Не испытываю никакого желанья и удовольствия быть рассматриваемым сучающими бездельниками с лобного места в Третьяковской галерее. Я не тщеславная женщина, ищущая себе женихов или поклонников. Пусть Третьяков развешивает по стенам своей галереи других писателей: многие из них не откажутся даже принять любую позу, которую им предложит живописец. Например, Тургенев.

Он даже с цветком в руке согласится предстать зрителю.

И на исходе двух часов, проведенных вместе, Крамской не мог убедить Льва Николаевича согласиться позировать. Наконец, Иван Николаевич в отчаянии сказал:

— Я больше не смею, ваше сиятельство, настаивать. Причины вашего отказа мне могут быть и не совсем понятны, но я слишком их уважаю, чтобы докучать вам дальше. Разумеется, я с болью и сожалением вынужден навсегда отказаться не только написать ваш портрет, но даже потерять всякую надежду на это...

— Да, да, это так,— хмуро проворчал Толстой.— Когда вы останетесь один я, может быть, припомните наш разговор, отдалитесь от него, я уверен — не осудите меня и согласитесь с моими доводами.

Они поднялись с диванчика сразу оба. Лев Николаевич взял руку Крамского и, слегка пожимая, ласково усмехаясь, побавил:

— Не сердитесь, не сердитесь... Я понимаю, как неприятно расставаться с задуманным художнику, но что же, что же делать? Я сам переживаю такие разочарования. И довольно часто. Нельзя поступать вопреки тому, что думаешь. Это закон.

Должно быть, лицо Ивана Николаевича столь расстроенным показалось Толстому, что он решил немного художника успокоить и обнадежить.

— Я очень сожалею,— сказал Лев Николаевич,— отпустить вас разочарованным. Какой-то осадок и у меня в душе остается... А, может быть,— задумался Толстой,— я когда-нибудь переменю свои взгляды.... *Tempora mutantur et nos mutamur in illis*¹.

Вдруг у Крамского мелькнула надежда поколебать Льва Николаевича сейчас. «Это последнее средство»,— подумал художник и громко сказал:

— А все-таки, ваше сиятельство, портрет ваш должен быть, и он будет в галерее!

— Что? Как так?— ответил Толстой, пораженный, и даже на шаг отступил от Ивана Николаевича.— Я вас не понимаю. Если я не буду сидеть перед художником и он не будет писать с меня, то как же появится мой портрет? Не воображаемый, а настоящий?

Крамской разглядел в лице Льва Николаевича такое любопытство, что почувствовал себя смелее и сказал:

¹ Времена меняются, и мы меняемся.

— Ни я, ни кто из моих современников, предположим, вас не напишут. Но пройдет много лет, и когда-нибудь нас не будет. Вы уже не сможете помешать людям ни любить вас, ни интересоваться вами. И тогда непременно появится портрет великого писателя Льва Николаевича Толстого, не настоящий, — воображаемый, выдуманный. Наши потомки будут очень жалеть, что с вас не осталось подлинного изображения.

Толстой открыто заколебался, словно перенесся в то далекое и неизбежное время, когда будут распоряжаться по своему произволу любопытные люди с педошедшим до них изображением писателя, подмения подлинный образ таким, каким они хотели бы его видеть.

— А пусть! — небрежно сказал Лев Николаевич и махнул рукой, точно отстраняя от себя будущих назойливых своих почитателей, не успокоенных и смертью его.

Крамской, во все глаза наблюдавший за Толстым, подметил какую-то перешительность и в словах и поведении Льва Николаевича. Последняя фраза художника задела писателя, он забыл, что уже простился с Иваном Николаевичем, снова усадил его на то же самое место и смотрел перед собой резко, прямо, напряженно. Крамской быстро сказал:

— Ваше сиятельство, если я напишу ваш портрет, и он вам не понравится, я при вас же уничтожу его.

Лев Николаевич с тревогой взглянул на Крамского.

— Если же портрет будет удачен, вами одобрен, — продолжал Иван Николаевич, — он останется в Ясной Поляне до того дня, когда вы сами пожелаете передать его в галерею Третьякова.

— А если я не передам тридцать лет? — насмешливо спросил Толстой.

— Никто и никогда вам не назначит срока передачи.

— Третьяков на это согласится?

— Да он согласен.

Иван Николаевич взялся решить это один.

— Странно, — заворчал недовольно Лев Николаевич. — Третьяков же будет собственником портрета с меня, а самый портрет я повешу у себя или на половине Софьи Андреевны...

— В вашей воле решить с портретом все, что вы найдете нужным.

Толстой опустил глаза, сложил на груди руки крест-накрест, отвалился к спинке дивана и молчал.

— А если я портрет зажилю? — резко

спросил он. — Продам его с лихвой? Нажиру кучу денег у какого-нибудь собирателя, еще более богатого и с еще более нездоровым любопытством ко всякого рода так называемым знаменитостям, чем это есть у Третьякова?

— Тогда вы уплатите пятьсот рублей, какую сумму назначил Павел Михайлович мне за ваш портрет.

— И никто меня даже ругать не станет?

— Конечно. Да за что же, ваше сиятельство? Третьяков и я будем удовлетворены тем, что ваш портрет существует.

— Хорошо. Я подумаю, что мне делать.

Лев Николаевич поднялся с дивана, не глядя, усадил на место Крамского, попытавшегося встать вслед за Толстым, медленно прошелся по кабинету взад и вперед и остановился против художника.

— Я хотел бы иметь портрет для моих детей, — сказал он, насупив сердито брови и смотря прямо в глаза Крамскому. — Первый портрет останется в Ясной Поляне. С него потом можно сделать копию и послать Третьякову.

Павел Михайлович ненавидел копии и повторения, оскорблялся, когда ему их предлагали и решительно отказывался брать, справедливо считая, что оригинал незаменим. Все это пронеслось в голове Ивана Николаевича, и он мгновенно решил, что не скроет от Третьякова об этом трудном и неприятном обстоятельстве.

— Если мои условия принимаются, — продолжал Лев Николаевич, на виду мрачней, — я, пожалуй, соглашусь недолго посидеть в качестве безжизненного манекена, с которым художник может расправляться, как ему вздумается.

Иван Николаевич встал, и, следя за своим голосом, чтобы он не задрожал и не выдал волнения, предложил другое:

— Ваше сиятельство, это совершенно невозможно. Я, даже будучи автором портрета, бессилён сделать точную копию. Тем более не сможет этого другой художник.

— Тогда что же делать? — спросил, перебивая и уже сердясь, Лев Николаевич. — Я не представлял себе, что все это так... обременительно и сложно.

— Нет, — поторопился ответить Крамской, — задача проще, чем вы ее представляете. Я напишу вас с натуры два раза.

Толстой вздохнул и неприятно поморщился, почти безразлично спрашивая:

— Какую же вечность я должен просидеть около вашего мольберта?

— Почти одно и то же время. Я буду делать портреты сразу на двух мольбертах.

— И портреты будут одинаковыми?

— Нет. Один лучше, другой хуже.

— Как же я буду выбирать? Я же хочу первый!

— Который, ваше сиятельство, вам больше понравится, тот вы и оставите у себя.

Лев Николаевич недоверчиво покачал головой, и, повеселевший, пошутил:

— Ах, Крамской, Крамской, вы что-то против меня замышляете! Я безусловно ошибусь в выборе, и вы потом с Третьяковым будете смеяться надо мной. Говорят, у этого замоскворецкого купца какой-то от природы глаз необыкновенно правильный, чутье настоящего безукоризненного знатока. Бывают у нас в России такие поразительные самоучки...

Вдруг Лев Николаевич начал морщиться и чуть-чуть покосился на дверь. Крамской невольно поймал этот взгляд и все понял. В наступившей тишине послышался легкий шелест женского платья: за дверью подслушивали.

— Завтра начнем сеансы,— искусственно громко сказал Толстой и пошел к двери, за которой уже явственно зашуршало и кто-то быстро-быстро пошел прочь. Лев Николаевич открыл дверь, прищурился и насмешливо сказал:

— Кто там? Ах, это ты, Сонечка! Пойди, мой друг, сюда.

Он оставил дверь открытой, и через два-три коротких мгновения вошла бледная и встревоженная графиня.

— Вот ты уж очень хотела портрета со своего Левушки,— сказал, усмехаясь, Толстой,— Иван Николаевич мне доказал... а почему бы действительно мне не доставить тебе удовольствия?

Софья Андреевна покраснела, благодарно взглянула на смущенного Крамского и протянула ему руку для поцелуя.

— Чудесно!— воскликнула она.— Я и мои дети, мы будем счастливы! Вы, конечно, нам сделаете копию?— неожиданно спросила она Ивана Николаевича, не слушая недовольного покашливания Льва Николаевича.

— Не копию,— резко ответил за Крамского Толстой.— Будут два оригинала, и мы выберем с тобой лучший.

Супруги Толстые проводили Ивана Николаевича до террасы. Прощаясь с Крамским, Лев Николаевич, с неожиданной залившимися щеками, предупредил:

— Коготок увяз, всей птичке пропасть. Если, Иван Николаевич, нас достигнет неудача, вы не должны забывать нашего предварительного условия: портрет я уничтожу.

— Боже мой!— закричала испуганно Софья Андреевна.— Какие у тебя, Левушка, всегда ужасы на уме!

На другой день Крамской пришел в Ясную Поляну более уверенно, хотя и побаивался всяких неожиданностей. Но он имел верного и настойчивого помощника. Софья Андреевна неусыпно сторожила своего великого мужа, готовая отразить все его причуды, опасные для будущего портрета. Графиня уж поджидала Ивана Николаевича, увидала его издали, приветливо замахала ручкой,— и Крамской, успокаиваясь от страхов, волновавших его в дороге, поторопился к гостеприимной террасе.

— Он вас ждет,— почему-то прошептала графиня с беспокойными глазами,— выходил из своего кабинета и смотрел на дорогу.

Лев Николаевич сидел хорошо, молча, приняв сразу простую, естественную позу. Художнику не пришлось исправлять ее. Иван Николаевич понял, что так Толстой любил сидеть, оставаясь в одиночестве и обдумывая свои произведения. На всех следующих сеансах Крамскому ни разу не понадобилось просить своего великого натурщика по возможности принимать то положение, в котором начали работу.

Иван Николаевич писал быстро, с увлечением, какого, кажется, еще никогда не испытывал в жизни. Тревога за портрет, вызванная первой встречей с Толстым, боязнь, что этот неспокойный сумрачный человек, равнодушный к изображению его на холсте и еле-еле согласившийся для жены и детей своих позировать, вдруг встанет и откажется дальше сидеть, вложила в кисть Крамского страстное и смелое желание скорее-скоро ловить, пока еще благополучные минуты. На третьем сеансе Лев Николаевич довольно улыбнулся и позвал Софью Андреевну.

— Кажется, я похож,— сказал Толстой.

— Левушка!— воскликнула графиня.— У меня было внутреннее чутье, что Иван Николаевич напишет тебя прелестно! Мне и нашим с тобой детям нельзя придумать подарка более дорогого!

На четвертый сеанс Иван Николаевич принес большой холст.

— Первый сушить будем?— спросил Толстой.

— Да.

— Я вот наблюдаю — интересная у вас работа, у художников: все перед глазами, черновики не мучат... Мне кажется — вам меня писать хочется?

— Да, у меня есть надежды на удачу...

— Только?.. Но я же совсем похожий. Мы с Соней думали, что в портрете почти ничего не осталось доделывать. Вчера вечером мы позволили себе без вас поглядеть на него при огне. Очень, очень странно смотреть на своего двойника. Я взял зеркало и поставил его рядом с портретом. Даже страшно и... почему-то неприятно видеть двух одинаковых людей.

Иван Николаевич неприметно усмехнулся и сказал:

— Мне это большая похвала. Сам я даже еще не уверен в таком тождестве.

Толстой подумал и ответил:

— Кто собой восхищен, тот не художник. А сколько времени я еще должен сидеть бездельником?— Лев Николаевич добродушно засмеялся и добавил:— Скажу вам по секрету, Иван Николаевич, я ведь очень ленивый, и рад случаю ничего не делать, изображая из себя очень занятого человека.

Светлые, пронзающие глаза его лучились, полные лукавых и озорных искр. Он вздохнул и сказал:

— Верьте, не верьте, но это так. Пишу я потому, что мне больше делать нечего на этом свете. Вот разве еще травить зайцев по первой пороше хорошо. Накануне вашего второго появления в Ясной Поляне, — помните, случился казус с погодой — выпал снег, — так я четырнадцать зайцев натравил с трех утра до полудня. Матерые. Стрела, а не пушистый зверек! Попасть в него труднее, чем обдумать сюжет какого-нибудь длинного рассказа в пятидесяти вариантах.

Второй большой портрет Иван Николаевич «поставил на ноги» уже легче, привыкнув к натуре и кое в чем изученном повторяясь. Но он-то и оказался понятнее и ближе сначала Софье Андреевне, потом Льву Николаевичу. Крамской отмалчивался, всегда любя только своего перенца.

— Послушайте, Иван Николаевич, — сказала графиня с восторгом, стоя перед близнецом, создаваемым Крамским с внутренним холодком, — лучше этого второго нельзя, нельзя сделать!

Лев Николаевич повздыхал и немного

skonфуженно спросил у Ивана Николаевича:

— Как вы думаете, Крамской, не будет неловкости, что этот лучший я оставляю у себя? Третьяков платит деньги, а я пользуюсь его средствами... Совестно... Но раз мне второй нравится больше...

Иван Николаевич, радуясь втайне тому, что интерес Толстых ко второму портрету благополучно разрешил дело и вноле устраивал привередливого и справедливого в своих домогательствах Третьякова, охотно ответил:

— Ваше сиятельство, оба портрета пока не закончены...

— Вот как вы стасовали карты, — произнес Лев Николаевич сердито, — я не хочу быть обманутым своей собственной слепотой. Подскажите нам, в котором же из портретов талант Крамского выше. Видите, до чего дошло: вы затруднили выбор.

Иван Николаевич, улыбаясь, ответил:

— Право, ваше сиятельство, живописцам часто кажется лучшее худшим, а худшее лучшим. И нет хуже советчиков, чем мы, авторы.

— Ах, как это верно! — оживленно сказала Софья Андреевна. — Левушка, а ты помнишь, как всем нам в «Войне и мире» некоторые сцены нравились больше, чем тебе, ты все был недоволен и переделывал, переделывал, вымарывал бесконечно, а в конце концов восстановил то, что одобрили мы, только твои скромные читатели.

— Ну, это положим не совсем было так, — проворчал Лев Николаевич, — и у нас, у литераторов, другой материал... Словесное искусство — не живопись, оно не на плоскости, немного замысловатее и... неопределенно, как это самое неуловимое и часто невыразимое человеческое ощущение. Голубая краска есть голубая, а не рыжая, черное не походит на белое. Слово, чорт его, — с самоцветным павлиньим хвостом. Живописцы — счастливицы, шеголи, рысаки, а мы — землекопы, каменотесы, клячи. Крамской мазнул и угадал, а я должен целую глубокую канаву вырыть, курган земли накласть. Может быть, найду, а может быть, только зарою ту драгоценную песчинку, за которой напрасно гонялся.

Софья Андреевна, выезжавшая зачем-то на полустанок Козловка-Засека, подвезла Ивана Николаевича после сеанса до полдороги в Ванькино. Весь путь графиня говорила об удачных портретах Левушки и, ссаживая Крамского на перекрестке, зажуригла глаза и восхищенно сказала:

— Она оба так, так хороши, что будь это в моей власти, я бы ни за что не позволила им покидать Ясную Поляну! Один бы я оставила в кабинете Левушки, другой повесила бы в детской! Это было бы так мило: Лев Толстой наполняет наше родовое гнездо, он всюду, он почти вездесущий!

Портреты были далеко еще не кончены, художника не удовлетворяла их живопись, не сомневался он только в общем сходстве, но Иван Николаевич не стал ни оспаривать, ни разочаровывать графини.

— Воображаю, воображаю,—продолжала Софья Андреевна, удерживая за кушак кучера, чтобы он подождал отъезжать,—какие они будут обаятельные, когда Третьяков свой, а мы наш поместим в дорогие золотые рамы! Нам, бедным помещикам Тульской губернии, не угнаться за богачом-фабрикантом Третьяковым в роскошестве рамы, но все-таки и я не пожалела денег на украшение Левушкина портрета! Только бы скорее дожить до того дня, когда вы скажете «конец»,—и она, смеясь, написала пальчиком на рукаве Ивана Николаевича его фамилию.—А то я немного тревожусь. Опять холодает. Сегодня Лев Николаевич утром ходил к собакам на псарню и долго гладил свою любимую «Милку». Это что-нибудь значит... Уж я-то Левушку своего научилась понимать!

— Он ждет пороши? — спросил быстро Крамской.

— У вас такое испуганное лицо...— засмеялась графиня,—и пороши ждет и без пороши может охотиться. Осенью его всегда тянет в отъезжее поле.

— Ах, как будет жалко!—вырвалось у Крамской.—Всякая остановка и задержка для художника, когда он охвачен работой, весь, с головой, редко проходит без большого ущерба! Художник утрачивает самое главное—расположение к творчеству.

— А вы торопились бы,—сказала Софья Андреевна с лукавостью в глазах.—Вы пишете портрет с такого неугомонного человека... от него всего можно ожидать... Чем скорее, тем надежнее.

Они простились. Софья Андреевна сняла руку с кучерского кушака, и лошади пошли, взяв с места рысью.

— Смотрите, Иван Николаевич!—вдруг закричала графиня, оборачиваясь и показывая на север рукой, обтянутой желтой перчаткой.—Смотрите, обволакивает! Послед завтра непременно вас ждем! А то он уедет!

Снег пошел еще вечером, задул сильный ветер, на крыше ваныкинского дома загремело железо, и помолодевший Шишкин, счастливо улыбаясь, начал заряжать патроны. Крамской помрачнел и подумал, глядя на Ивана Ивановича, что наверно об эту же пору Лев Николаевич занялся тем же самым. Всю ночь рамы дергал ветер, барабанила о стекла ледяная крупа, по крыше дома бегал кто-то тяжелый и громоздкий, где-то выло, свистело, шелестело, точно шла с полей высокая, бурливая, полая весенняя вода. И Крамской долго не спал, ворочался на холодной постели, проклиная всех неукротимых, помешанных на зайцах, охотников на свете.

Утром проезжал мимо Ваныкина какой-то мужик на телеге, груженной всяким домашним скарбом. Мужик оказался попутчиком в Ясную Поляну. Крамского там должны были ждать завтра. Но он не утерпел и решил проверить сегодня—увлекла ли Льва Николаевича новая пороша, или он мирно сидел дома. Софья Андреевна встретила Ивана Николаевича разочарованная, в вязаной теплой кофте и с белым пушистым огромным платком на плечах.

— Ну, конечно же, он ускакал, сломя голову,—сказала недовольная графиня.—Если бы мы завтра разорились и нашу Ясную Поляну продавали с молотка, Лев Николаевич все равно бы умчался со своей Милкой травить этих несчастных зайцев, никому из нашей семьи не нужных. Ни я, ни мои дети не можем видеть зайчатины! Но что поделаете—страсть. Он как пьяный от этой несвоевременной пороши. Глаза блестят, задыхается, голос от волнения охрип. Я едва успела закутать ему шею пуховым шарфиком. Рвется, как молодой конь из рук.—Софья Андреевна вдруг засмеялась.—Он, знаете, в совершенном беспамятстве, ничего не видит, благодарно схватил меня за руки. Но по ошибке поцеловал свою собственную и побежал. Уехал он по крайней мере на неделю.

Крамской уныло вернулся в Ваныкино. Через три дня к тоскующему Ивану Николаевичу прибавился скучающий по Толстому нетерпеливый человек в Москве, Третьяков. Крамской подробно написал ему о своих печалях и бедах с портретом Толстого, ничего не утаив от него. И они оба стали спокойно дожидаться, пока Лев Николаевич кончит охотиться.

Толстой, наконец, вернулся, исхудалый, обветренный, счастливый, веселый и с

удовольствием уселся отдыхать в кресло перед мольбертом художника.

— Вы знаете, Крамской, — шутил Лев Николаевич, — я, кажется, распугал всех зайцев в Тульском уезде.

Через несколько сеансов Иван Николаевич закончил оба толстовских портрета. Супруги Толстые долго выбирали лучший и выбрали не тот, который Крамской предназначил Третьякову. Иван Николаевич поторопился скорее увезти портрет из Ясной Поляны. Художник мог быть доволен. Ему довелось написать портрет величайшего русского писателя в самую цветущую пору его творчества. Во время работы Крамской находился в том особенно счастливом состоянии, когда обостряются все чувства художника, глаза его видят зорче и проникновеннее, когда нисходит на мастеров, по слову Пушкина, «особое расположение духа», называемое вдохновением. В «Портрете Л. Н. Толстого», скупом и сдержанном по краскам, строго реалистичном, необыкновенно правдивом, простом, убедительном, согретом какой-то глубокой и нежной теплотой, Крамскому удалось передать самое главное, центральное в образе гениального человека. Это воистину великан мысли, творческого дара, ума, редчайшей оригинальности и своеобразия, один среди немногих гигантов. «Граф Толстой, — писал Крамской Репину, — человек удивительный. Я провел с ним несколько дней и, признаюсь, был все время в возбужденном состоянии. На гения смахивает»... Очень, очень немногие люди в то время понимали всю огромность художественного дара Толстого так, как это понял и почувствовал Крамской. И это понимание, преклонение перед гением, могучий восторг перед ним как бы руководили кистью художника и направляли ее. Он изумительно просто, легко, вдохновенно сумел дать глубочайшую характеристику феноменальной русской личности, необъятного ее размаха, глубины, непреклонности мысли и чувства, величия, неповторимой оригинальности и яркости. Даже толстовские портреты Репина, превосходившего своего учителя силой живописного таланта, не могут сравниться с портретом Л. Н. Толстого, сделанным Крамским. Подлинный, поразительно похожий, как бы разгаданный во всем своем сумрачном, сосредоточенном, гениальном величии, предстает потомкам Толстой только в портрете Крамского. Создав такую вещь, обогатив русское портретное искусство непревзойденным никем шедевром, Иван Николаевич искренне, сердечно и

скромно называл эту свою работу только «честной». Крамской, быть может, даже и не понимал, что никогда ни раньше, ни после не создавал равного портрета, чем толстовский: он был вершиной его большого, умного творчества.

Довольный своей удачей, Крамской в ту же ваныкинскую осень дописал портрет другого безумствующего, как и Толстой, охотника — Ивана Ивановича Шишкина. Необычно для Крамского светлый по краскам, непринужденный, с красивым лесным пейзажем на заднем плане, очень любовно написанный, портрет замечательного русского пейзажиста был тоже одной из удач в это плодотворное ваныкинское лето. На пригорке, поросшем редкой высокой травой, с охотничьим ягташем через плечо, в расстегнутой курточке, опирающегося на длинную палку, чуть избоченившегося, окруженного воздухом, поставил Иван Николаевич милого и приятного ему товарища — весельчака и зайчатника Ивана Ивановича. От портрета веет теплом, той художественной простотой и правдивостью, какие удаются художникам не часто. Пейзажист и страстный охотник, Шишкин как будто только в таком неказистом окружении и может быть понят во всей своей незамысловатой трогательности и непредвзятости. Оба портрета достались Третьякову.

НЕКРАСОВ

Двести уж дней,
Двести ночей
Муки мои продолжаются;
Ночью и днем
В сердце твоём
Стоны мои отзываются
Двести уж дней,
Двести ночей!
Тёмные зимние дни,
Ясные зимние ночи...
Зина! закрой утомленные очи!
Зина! усни!

Карандаш вывалился из его бледных, истончавших за время болезни, беспомощных пальцев, упал на пол и далеко откатился от постели, сделав широкий круг. Собака Дук, сопровождавшая Николая Алексеевича Некрасова в его долгих охотничьих странствованиях по земле русской, лежавшая на ярком домотканном коврике в дальнем углу, беспокойно пошевелила хвостом, открыла один глаз и внимательно проследила за круговым движением подпрыгивавшего карандаша.

— Дук, дай, — прошептал еле слышно большой.

И собака встала, подняла и принесла. Некрасов, не подымая век, протянул дрожащую руку, ощупал теплую собачью морду, погрел на ней стынущую ладонь, тихонько пошевелил пальцами, лаская Дука, и взял поноску.

Но карандаш не понадобился. Худая рука через силу держала его и повисла с постели вала и неживая. Собака стояла на месте, дожидаясь новых приказаний своего повелителя. Некрасов дремал. Лицо его подергивалось, и собака, наблюдая за этими подергиваниями, по-своему решала, что сейчас ее господин велит ей сделать. Нетерпеливое, осторожное, горячее дыхание собаки, знакомый с детства запах родного отцовского гнезда Карабихи, с охотничьей псарней, егерями и псарами, достиг больного, и ноздри его дрогнули. Он чуть-чуть приоткрыл веки, усмехнулся любовно и шепнул:

— Дук, спи...

Собака легла на свой коврик, свертываясь белым калачом в рыжих подпалинах.

Зина, закрой утомленные очи!

Зина, усни!

Тихо повторил Некрасов, овладевая собой, вслепую искал на одеяле листочек со стихами и уронил его. Белый большой бабочкой всплыл тонкий лист, на мгновение точно повис в воздухе, потом замахал крылышками и опустился неподвижный.

— Тубо, Дук!— сказал Николай Алексеевич из боязни, что очнувшийся предавший и услужливый пес сделает обычное свое дело, подняв упавшее.

Некрасов с трудом, долго примеряясь, повернулся на бок, отдышался после непосильного движения, попробовал достать сам, спустил с постели руку, не мог дотянуться, и она осталась висеть, затекая, в мурашках озноба, чувствуя холодную декабрьскую струю с пола. Николай Алексеевич жалко взглянул перед собой и пожалел разбудить ее, его Зину, уснувшую в кресле у его ног.

Двести уж дней, двести ночей, пряча от умирающего мученика-мужа слезы, не смыкая глаз по неделям, изможденная, как и сам больной, тридцатилетняя красавица Зинаида Николаевна ухаживала за пятидесятишестилетним великим поэтом. Десять лет назад девушкой-простушкой, утратив свое настоящее имя Феклы Анисимовны,— неблагозвучное, непоэтическое, слишком простонародное для того официального круга, с которым приходилось счи-

таться Некрасову,—вошла она в квартиру его на петербургском Литейном.

Горел ночник на столике-этажерке у изголовья Николая Алексеевича, отбрасывая слабый, растекающийся неясно свет на все окружающие предметы. В полумраке, напрыгая зрение, Некрасов разглядел красивое, простое, измученное лицо любимой, самоотверженной сиделки, ничего не жалящей в награду и за свою красоту и молодость и даже жизнь, кроме облегчения его невыносимых мук. И этот могучий человек, скрытный, затаенный, казавшийся жестким посторонним и невнимательным согладатаем, отвернулся, чтобы не изменить себе, чтобы Зина, проснувшись, не заметила мокрых ресниц его.

Он невольно сравнивал ее со своей матерью, загубленной деспотом-помещиком, отцом его, сравнил Зину с самым высоким и прекрасным, что встретил в этом мире, взволновался и уронил на пол гремучий колокольчик со столика-этажерки. Сон Зинаиды Николаевны оборвался, она вскочила, кинулась к постели, опустилась перед ней на колени, помогла ему удобнее лечь и стала гладить дрожащую его руку. Дук жалобно заскулила на своей пестрой подстилке. Некрасов понемногу успокоился, нашел в себе силу легонько пожать руку Зинаиды Николаевны и грустно улыбнулся, говоря:

— Замолчи, Дук...

Зинаида Николаевна подняла колокольчик и листок со стихами.

— Это тебе,—слабым голосом сказал Николай Алексеевич,—протчи, дорогая. Нет, дай, сначала я допишу еще одну строку.

Зинаида Николаевна подержала на весу какую-то тяжелую книгу в переплете, положив на него листок. Некрасов, еле нажимая карандашом, пометил под стихотворением: «4-го декабря 1876, ночь».

Ночи прибавлялись все новые и новые, а облегчения мукам не наступало, как делал свое верное и беспощадное дело—и не смыкала глаз Зина, не сводя их с дорогого ей обреченного человека, не могущего уснуть и забыться. И он писал ей, благодарный и несчастный:

Пододвинь перо, бумагу, книги!

Милый друг! Легенду я слышал:

Пали с плеч подвижника вериги,

И подвижник мертвый пал!

Помогай же мне трудиться, Зина!

Труд всегда меня животворил.

Вот еще красивая картина—

Запиши, пока я не забыл!

Да не плачь украдкой! — Верь надежде,
Смейся, пой, как пела ты весной,
Повторяй друзьям моим, как прежде,
Каждый стих, записанный тобой.

Говори, что ты довольна другом:
В торжестве одержанных побед
Над своим мучителем недугом,
Позабыл о смерти твой поэт!

В те дни весь Петербург был наполнен
судами о тяжелой, неизлечимой болезни
Некрасова. Враги, которых у него было
много, с злорадным нетерпением дожидаясь
неизбежной развязки. Его «кнзтум
исеченная муза» досаждала многим, всей
кановной, правящей, самодержавной вер-
тушке России, всякому угнетателю «про-
стых русских людей», была опасна, как
немолчное напоминание народу о его кров-
ных, беспощадных, вековечных врагах и
палачах, терзавших огромную нищую
страну. Друзья с тревогой узнавали, что
происходило на Литейном, и вести оттуда
не радовали.

Третьяков одним из первых узнал пе-
чальные новости. Давно в списке русских
замечательных деятелей, портретов кото-
рых недоставало в галлерее, значились
два славных имени — Некрасова и Салты-
кова-Щедрин. Заботясь о разнообразии
своего собрания, Павел Михайлович все
приглядывался и присматривался — кому
из художников заказать портреты знаме-
нитых сатирика и поэта. Не всегда Тре-
тьяков бывал решительным. Немного по-
гупечески примеривался, чтобы, наконец,
отрезать.

В январе 1877 года Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин приехал позировать на
квартиру в Крамскому. Это был третий
сеанс.

— Я должен предупредить вас, Иван
Николаевич, — сказал Салтыков-Щедрин,
снимая в передней тяжелую свою шубу с
обыкновенным енотовым воротником, — си-
деть нынче я могу ровно один час.

— Ах, как жалко! — перебил Крам-
ской. — Я рассчитывал, Михаил Евграфо-
вич, по крайней мере на два с половиной,
а то и на три часа. Вашим портретом я
мало доволен, и мне бы хотелось победить
самого себя.

— Вот те раз! — удивленно воскликнул
Салтыков-Щедрин. — А я-то всем своим
домашним еще сегодня за утренним чаем
хвастался, что мы с Крамским города бер-
ем. Я с удовольствием сижу, никакого
лица не делаю, чувствую себя не на пло-
щадном постаменте, а на стуле в уютной
обстановке — можно даже локтем левой

руки удобно опереться на столик, худож-
ник же так быстро и по-деловому рабо-
тает — учиться бы у него нашему брату,
нерадивым писателям.

— Вот быстрота совсем и не достоин-
ство мое, — возразил Иван Николаевич, —
поспешнись, людей насмешишь. Старо, но
верно.

Они прошли в мастерскую. Салтыков-
Щедрин сразу же сел на свое обычное
место, пригладил озябшими руками немно-
го растрепанные и нескладно примятые
высокой бровевой шапкой длинные воло-
сы, распустил пятерней бороду, одернул
черный сюртук, чтобы он не морщился, и
сказал:

— Все это, конечно, хорошо и даже
похвально, но ведь говорят и так: какого
же ему рожна нужно! Салтыков находит
свой портрет весьма похожим. Чего еще
требуется?

— Живописи, Михаил Евграфович.
А она не бог весть какая...

— А, живописи! Ну, о ней я особенно
ясно боюсь судить. Не знаю. По-моему —
раз натура походит, это — далеко не пол-
дела. Будь даже так — порази вы меня
красками до того, что я, малоопытный и
неуверенный в своих суждениях о них,
пришел бы в раж и восхищение, все-та-
ки после возвращения моего с небеси на
эту грешную и придиричивую землю, я бы
стал доискиваться на полотне не одного
павлиньего хвоста, а моей, салтыковской
похожести. И в первую голову ее.

— И то и другое нужно. Вы очень сни-
сходительны. Так можно разбаловать ху-
дожников.

— А вы не разбалывайтесь. Советчи-
ков слушают те, кто в этом нуждается.

Иван Николаевич взял палитру, приго-
товлял краски, а Михаил Евграфович вы-
нул часы, сурово сдвинул брови и помор-
щился.

— Как оно летит, время-то, — сказал
он. — Осталось на сеанс пятьдесят ми-
нут. — Он потер лоб. — На дворе адская
стужа. Замерзла лысыя. Холод пробрался
даже под шапку. Не очень все это у меня
красное? Не помешает вам в колорите?

Крамской весело засмеялся, поймав лу-
кавый взгляд Салтыкова.

— Нет, несколько. Вы отогреетесь, и
все опять будет настоящее, а до того я
займусь, например, бородой, волосами,
подчеркну вам сюртук.

— То-то. У нас ведь недолго оклеветать
своего ближнего. Целые профессии
существуют клеветников. Скажут потом
про меня, что Салтыков, польщенный пи-

санием с него портрета, краснел, как невинная девушка, или был малость не все-бе от спиртного. А я уж давно ни-ни. Здоровье не позволяет выпить рюмки самого невинного вина, которое детишкам дают для аппетита. Желчь беспокоит... Каждая секунда петербургского времени наполнена этим пренеприятным веществом.

— Да, чего другого, — ответил Крамской, — этого же довольно в нашей Северной Пальмире. Все кругом необыкновенно грубо, почти нет интересов высшего порядка: желудок, чин, улыбка особы. Это среди художников я наблюдаю. В грустную минуту хочется убежать куда-нибудь, убежать без оглядки, дать отдохнуть и уму и сердцу от постоянного нападения на них со всех сторон.

— Ишь вы чего захотели, батюшка, — сказал Михаил Евграфович. — Эдема ищите. Так вам его и покажут. А куда же свинству-то деваться? Ему-то и жить на свете. Особенно на Руси-матушке. Да и не только в нашей богоспасаемой родине подобная прелесть развелась, ее довольно и за кордоном. За границей вы бывали? Цивилизацию видели?

— Бывал и видел, — ответил Иван Николаевич, не оставляя работы, дымя своей сигаркой, ловко перекидываемой в губах справа налево и обратно.

— Ну, и что же вы там нашли хорошего? Чему можно позавидовать нам, и что следует пересадить на наши тощие российские гряды? Не заметили вы там похожих на наших Колупаевых, Разуваевых, Деруновых? По щекам там людей не бьют? Денег с народа не грабят? Что любят, к чему стремятся? Какие идеалы у тамошней буржуазии? Какая лучше — привозная или отечественная?

Салтыков-Щедрин забылся и разнял руки, сложенные на коленях.

— Нельзя, нельзя, Михаил Евграфович, — с улыбкой сказал Крамской, — руки, как были. Я понимаю вас, но портрет сейчас — главное. И времени вы мне дали на сегодня, словно самый скупой человек на свете. Я могу вам передать мои впечатления от заграницы в области моей профессии. Искусством там действительно только торгуют. Денежная буржуазия желает наслаждаться, она заказывает по своим потребностям и вкусам. И кисть художников извивается змеей, всегда услужливая и готовая угадать и тайные и явные желания повелителя. Сердце там — только вредный кусочек мяса, в котором у людей иногда проявляется странная блажь — кого-то жалеть, кому-то сострадать. К чорту его!

При нем неудобно раздевать бедняка, грабить его, зашутать, выгонять на холод и мороз, отнимать у детей и нищих жалкий, последний кусок. Деньги, деньги, деньги... За них там перекусит горло человек человеку, не дрогнув. Все это я наблюдаю на каждом шагу и, пожалуй, вынес даже о своем отечестве некоторое лестное мнение. Как будто бы у нас кой-чего еще стыдятся, по крайней мере хотят спрятать свою звериную морду.

Салтыков-Щедрин опять нарушил принятую им для портрета позу, безнадежно махнув рукой:

— Лучше — хуже... Одинаково, Иван Николаевич. Там грабят и душат людей более утонченно, у нас на простецкий манер. Вот от вас я поеду в цензурный комитет. Чем бы, вы думали, я стану там заниматься? Обманом. Правда, если удастся, я буду лгать, говорить не то, что думаю, в каждой фразе подражать прославленному умище Эзопу, насколько сумею. Для чего? Для того, чтобы спасти очередной номер журнала «Отечественные записки», который я редактирую один, с тех пор как захворал Николай Алексеевич Некрасов. С какой целью спасать? Да ведь кому-нибудь надо же в окружающем нас гнусном мраке воззвать к сердцу и уму русских людей, еще не окончательно забытых. В рабской стране не все еще рабы, — они и услышат, им и нужна поддержка, их и стараемся укрепить, не поддаваться унынию, сохранить каплю мужества. Из цензурного комитета выйду израненный, обглоданный, распотрошенный на части... — Он вынул из внутреннего кармана куртки пачку набранных типографских листочков и показал Крамскому. — Вот где наше здоровье, силы, жизнь сама подвергаются злейшему испытанию... Не то уцелеют заповедные мысли и дойдут до жаждущего читателя, не то быть им погребенными в цензурном архиве за семью печатями. Мрачная усыпальница мысли и чувств человеческих... Однако не пора ли мне на правож?

— Ради бога, посидите минутку! — воскликнул Крамской. — Положите обратно руки. Чуть-чуть dokonчу и отпущу вас.

— Хорошо. Но я все-таки взгляну на часы. И, если уж нельзя оставаться, то побегу — побегу к позорному столбу в позорном здании. — Он вынул часы и стал суровым и беспокойным. — Что такое? Они посмели остановиться — то ли с перенуту перед цензурным комитетом, то ли, чтобы подвести меня. Где у вас часы?

Иван Николаевич показал, и Михаил Евграфович успокоился.

— Надо полагать,— сказал он,— что часы ваши ходят и ходят правильно. Поэтому пятнадцать минут я ещё побуду у вас. Бедняга Некрасов, спасая журнал, должен был подкармливать и чтить тундцев, наших кровопивцев и пауков. Подумайте только — мы же обеды званые даем этим мундирам, дабы умиловить Ваала! Возгордишься, жертву не принесешь — проглотят! Какова жизнь литератора-журналиста?

— Не лучше, чем очень многих,— ответил Крамской, настойчиво работая.

— Краснота-то у меня прошла?— спросил Михаил Евграфович.— А то ведь и вас с Третьяковым в цензуру потащат. Предположат, что художник лысину мою написал красной умышленно. Намек на красные цензурные чернила. Смотрите, мученик цензуры!

Салтыков-Щедрин недобро засмеялся и глубоко вздохнул.

— Нет, вы уж бледнее, чем бы мне этого хотелось,— ответил Иван Николаевич.

— А мне удовольствие, что не буду заподозрен, не злоумышленник, не свергатель и не хулигатель никаких основ.

Крамской немного еще поработал, встал, посмотрел издали на портрет и натуру, на минуту присел перед мольбертом, некоторые места поправил и сказал:

— Немного я удлинил фигуру. Надо переделать. В следующий раз постараюсь грехи мои скрыть.— Мельком взглянул на свои часы и показал их Салтыкову-Щедрину.— Теперь вам пора. Три минутами я раньше кончил.

— Ну, вот и чудесно!— ответил Михаил Евграфович.— Сегодня даже и не взгляну, что вы там понаделали на холсте. Завтра буду свободнее и раскритикую.

Салтыков-Щедрин заторопился и, одеваясь, на прощанье сказал:

— Завтра, может быть, в это же время я вам привезу утешительные вести о Некрасове. Ему стало в последние дни полегче. Пока я сажу в цензурный комитет, Иван Александрович Гончаров навестит Николая Алексеевича. Так мы с Гончаровым условились. Потом явлюсь я. Сегодня мы постараемся уговорить и убедить Некрасова, что надо согласиться позировать вам. Нас поддержит Зинаида Николаевна. С пей вы и будете иметь дело. Эта милосердная сестра Николая Алексеевича каждую конвульсию на лице его по-

нимает, и она уж подаст безошибочный сигнал, когда безвредно для Некрасова можно побеспокоить его.

Иван Николаевич едва дождался следующего дня, но Михаил Евграфович не приехал, пропал, незаконченный портрет его успел подсохнуть,— и Салтыкова все не было. Тревога охватила художника: должно быть на Литейном совершилось то, о чем страшно подумать — наступала развязка, смерть вошла в квартиру поэта, и живой образ его не сохранится для потомков.

Но Салтыков-Щедрин появился без предупреждения, через неделю, в то же самое время, как всегда, осунувшийся и бледный — даже мороз на улице не зарумянил его лица.

— С Николаем Алексеевичем плохо?— спросил Крамской, боясь ответа.

— Было очень тяжело, почти безнадежно, но сейчас обошлось,— ответил Михаил Евграфович.— Немножко погодим, Некрасов опомнится от пережитого, Зинаида Николаевна отходит его, и вы будете писать... предсмертный портрет. Николай Алексеевич очень, очень ненадежен... Давайте работать!

Салтыков-Щедрин неловко повернулся к Крамскому широкой своей спиной, откашлялся, энергично одернул сюрик и сел на свое место, загремев стулом, смотря прямо, пристально, сердито, не мигая.

— Пишите три часа,— сказал он,— если это необходимо. Имею же я право когда-нибудь бездельничать. И настроение у меня нынче устойчивое и крепкое, словно я не прожил пятидесяти одного года в императорской России, богохранимой и богоспасаемой державе нашей, под скипетром и т. д...

Он молча просидел долго, сосредоточенно, застыв, и, наконец, попросил передохнуть.

— У меня совершенно одеревянел локоть,— сказал Михаил Евграфович,— разрешите, господин художник, пошевелинуться и встряхнуть рукой, изгнав из нее мурашки. Кстати, и вам надо разогнуть спину.

— Жалко, но что же делать,— ответил Крамской,— еще бы немножко, и я добрался бы до самого смака.

— Вот ненасытные эти художники! Всегда горят. А было бы из-за чего. Несчастливая порода одержимых,— Михаил Евграфович пощипал себя за руку, пожаловался на холод в мастерской и хорошо улыбнулся.— Полегчало... Да, согласие Николая Алексеевича уж получено. Но вы,

конечно, много натерпиться. Работать придется, подстерегая минуты успокоения больного. Этому человеку, который в своих стихах говорил, что в век свой на все «безрассудно дерзал», понадобилось в самые критические минуты для себя затеять венчание с Зинаидой Николаевной. Боятся оставить чудесную музу своих последних песен бесправной. И произошла не то свадьба, не то отпевание заживо. Последнее — вернее. Два раза ходили к митрополиту Исидору за разрешением. Иерарх долго возмущался на «припущение тайнства», отказывал, но в конце концов не устоял и согласился, если уж поэт находится почти *in articulo mortis* и «возжаждал» совершить «христианский долг». С морского корабля на Неве перенесли на Литейную раздвижной иконостас, установили его как ширму возле постели, Николая Алексеевича усадили в кресло и... обвенчали полупокойника и цветущую когда-то, тридцатилетнюю женщину, еле стоящую на ногах от невыразимого волнения. Сам Некрасов перестрадал эти минуты сугубо, во много раз сильнее и безысходнее, чем бедная его молодая жена-мученица. Слег, еле перенес, отдышался и первый вспомнил о предстоящем портрете с него. На-днях вы можете начать свою тяжкую, прямо вам скажу, крестную работу. На него страшно смотреть разумными человеческими глазами, и невозможно не испытывать отчаяния при виде гнусного разрушения, произведенного недугом. Давайте, Иван Николаевич, еще, еще работать, пишите Щедрина здоровым, сильным, не омраченным никакими несчастьями!

И он облокотился опять на столик, поправил манжету, слишком далеко высунувшуюся из рукава, сунув ее глубже, положил властно нога на ногу и замер, большой, суровый, неприступный, затаенный. Крамской заторопился, уронил на пол дымящуюся сигаретку, рассеянно поглядывал на нее, придавил подошвой и стал быстро писать.

В один из ближайших дней Ивана Николаевича позвали на Литейный. На нового человека, только что вошедшего с улицы, почуя его через стену, примыкающую к столовой, залаял Дук со своего коврика в черепасовской спальне. Зинаида Николаевна с отчаянным лицом выбежала в прихожую, таща упиравшегося Дук за ошейник. Пес точно бы понял свою вину, тихонько скулил и старался ниже наклонить голову к полу, словно ожидая наказания.

— Не смей, Дук,— вполголоса сказала женщина.— Разве ты не понимаешь, что Николай Алексеевич заснул? Я тебя не буду держать в комнатах! — Дук обнюхал Крамского. — Тубо! Это свой. Молчи! Не бойтесь, Иван Николаевич. Знакомство состоялось, и Дук уже не опасен.

Крамской пожал руку молодой женщины — подруги Некрасова, о которой до сужая петербургская молва неустанно распространяла самые неправдоподобные и подчас оскорбительные слухи. Художник был поражен ее красотой, простотой, каким-то непередаваемым скорбным сиянием ее простого, милого лица, в котором все сразу привлекло его к себе, внушая почти странную привязанность с первого взгляда, доверие, нежность, желание быть при ней чище, лучше, добрее.

— Он уснул,— сказала она.— И слава богу так, что его даже не разбудил Дук. Михаил Евграфович мне говорил, что я с вами могу быть совершенно откровенна. И я буду всегда такой. Я проведу вас пока в столовую. Не надейтесь писать много. Вы долго пробудете у нас. Он слаб, и после сеанса в десять-пятнадцать минут ему непременно потребуется отдых. Это будет для вас очень-очень трудно, мучительно, но выхода нет.

— Я, Зинаида Николаевна, подготовлен ко всему и с тем пришел, чтобы Николай Алексеевича обязательно написать, чего бы это ни стоило,— ответил Крамской.

— Тогда прекрасно. Во мне вы найдете такую помощницу, для которой в его портрете останется единственное утешение на свете, что люди не забудут его черты. Стихи его забыть нельзя, это я знаю; но кто помнит многие дорогие нам лица родных людей, кого не успели написать художники?

Она усадила его в столовой и осторожно, на цыпочках, ведя Дук на свое место, скрылась за дверью в спальню. Иван Николаевич находился в большом возбуждении. За стеной умирал великий поэт, произведения которого много лет сочувствовали самой жизни художника, задевали лучшие его человеческие чувства, вызывали в нем сошмы мыслей, дум, тяжелые слезы на глазах о роковой и, казалось, обреченной судьбе русского простого народа, испытавшего на своей согбенной спине ужасы унылой и беспощадной тысячелетней истории. У Крамского дрожали руки. Он, не отрываясь, смотрел на белую дверь, за которой исчезла Зинаида Николаевна. Было начало февраля.

Солнце поворачивало на веспу. Но в лю-
тую сегодняшнюю стужу оно стояло над
Петербургом ясное, огромное, гладкое,
словно покрытое золотым отсвечивающим
ледком. На медной начищенной ручке
двери дрожал и переливался полдневный
луч, проникший через небольшой, неза-
мерзший почему-то, кружок стекла в ра-
ме. Ручка почти горела, мирно, спокойно,
красиво, — и Крамской с грустью поду-
мал, что уж никогда он не забудет этой
минуты сидения у дверей умирающего
Некрасова, и эта блестящая ручка будет,
как свеча в темноте, вспыхивать в памя-
ти художника.

Крамской прождал долго и, наконец,
услышал за дверью тихие голоса, потом
стали приближаться легкие шаги, вы-
глянула Зинаида Николаевна и пригласи-
ла его. Иван Николаевич мгновенно по-
чувствовал себя неуверенным, словно
мальчик, очень торопливым и суетливым,
как это бывало с ним еще в острожж-
ской школе перед учительской. И так же
билося тревожно сердце и наверно так же
зарделись щеки. Иван Николаевич вошел
и едва не отступил назад. Несколько лет
назад мельком он встречал Некрасова на
званных вечерах у Николая Николаевича
Ге и у покойного композитора Александра
Николаевича Серова. Какие-то были ска-
заны два-три незначительных слова ме-
жду поэтом и художником после чтения
Некрасовым своих стихов. Крамской во-
сторженно рукоплескал вместе со всеми
поэту-чтецу. Николай Алексеевич с до-
вольными от успеха живыми и быстры-
ми глазами благодарил, раскланиваясь и
пожимая множество протянувшихся к
нему рук, в том числе и руку Ивана Ни-
колаевича. И эти мимолетные встречи не
позабыл Некрасов даже сейчас, между
двумя припадками, лежа на смертном од-
ре: у поэта была удивительная память,
позволявшая ему по какому-нибудь од-
ному слову в записной книжке всю жизнь
помнить целый рассказ, будущую боль-
шую поэму, задуманные стихотворения.

— Здравствуйте... Вспомнили меня
прежнего и удивились, что ничего похо-
жего, — сказал Некрасов, угадывая, о чем
думал сейчас Иван Николаевич.

Беспомощные исхудалые руки Николая
Алексеевича лежали неподвижно на тон-
кой, покрывающей его, простыне, вытя-
нувшиеся, прямые, с заостренными паль-
цами. Он пошевелил ими, думал подать
руку Крамскому и не мог.

— Торопитесь, — шепнула художнику

Зинаида Николаевна, — он взволнован, и
у него скоро будет припадок.

Иван Николаевич послушно начал стре-
мительно рисовать углем.

— Что же вы не указали, какую мне
позу принять? — спросил Николай Алек-
сеевич, неприметно усмехаясь. — Вас же
укорят, если вы меня изобразите в де-
забиле, а меня заподозрят, что я это
нарочито разделся и кокетничаю своими
болезнями.

— Ты устанешь, если будешь много
говорить, — вмешалась Зинаида Николаев-
на. — Дай Ивану Николаевичу спокойно
нарисовать тебя. Не развлекай его.

Николай Алексеевич закрыл глаза, по-
молчал, прислушался к шипучему шур-
шанию угля по полотну и, не подымая
век, слабо произнес:

— Звук от угля почти такой же, как
шипит иногда снег на ветру по первой
пороше... Почему вы оба молчите? Впро-
чем — действительно так тихо, и я ме-
шаю работать... Ну, я не буду больше.

Скоро Некрасов застонал, и лицо его
искажилось. Зинаида Николаевна осторож-
но, умело просунула под подушку тонкую
свою руку, не шелохнув головы больного
и немного ее приподняв, поднесла ему
полрюмки кипрского вина, и он медлен-
но, почти по капле, выпил его.

— Вот уж я и опьянел, — прошептал
Николай Алексеевич, — от этого пустого
напитка. В наперсток вольешь больше,
чем в Зинину рюмку, и Некрасов лежит
пластом. Странно. Когда-то я мог пить
его всю ночь напролет без всякого следа
для меня и с трезвой головой писал под
утро стихи.

Но опьянение было ненадолго, хмель
прошел через минуту, начались боли, и
Зинаида Николаевна сделала знак Крам-
скому выйти.

И так начал Крамской дежурить у по-
стели больного вместе с его женой день
за днем, работая урывками по пять, по
десять минут. Они оба подстерегали эти
короткие мгновения. Иван Николаевич
приходил с утра и оставался в квартире
на Литейном до начала сумерек. Дук уже
не обращал внимания на него.

После первых же сеансов Крамской
убедился, что изобразить Некрасова на
подушках, как он было задумал вначале,
нельзя. Жена, брат и сестра Николая
Алексеевича восстали на художника. Зи-
наида Николаевна сказала напрямки:

— Иван Николаевич, это ваша ошибка.
Никто, никогда, ни один из читателей и
поклонников не может даже представить

себе Некрасова в халате. Это не идет к Николаю Алексеевичу.

Крамской уступил и начал работу снова, ограничиваясь написанием одной головы поэта.

Прошла неделя, портрет подвигался медленно, скупо, не удовлетворяя художника, не отражая той любви к натуре, которую испытывал Крамской. Частые перемены мешали сосредоточиться, увлечься так, как только может увлекать творческая работа, всепоглощающая, испепеляющая. Она останавливалась при первомestone, крике больного. Иван Николаевич поспешно уходил в столовую, пока Зинаида Николаевна старалась облегчить мучения мужа. Художник стискивал ладонями уши, чтобы не слышать, не помнить, что происходило в спальне. Постепенно крики замирали, снова возобновлялись с большими перерывами и, наконец, наставала тишина в квартире — столь глубокая, словно здесь никто не жил, и лишь где-то в дальней комнате осторожно и боязливо тикали степные часы в глухом футляре. И Крамской привык по этому напоминанию о себе часов узнавать о конце припадка.

Николай Алексеевич встречал художника с таким видом, точно ничего не было, и спокойно говорил:

— Ну, давайте продолжать. Еще светло, и мы порядочно успеем. Надо торопиться. Доктора меня обнадеживают, а я знаю, что мне не встать. Вы верите, Иван Николаевич, в чудеса?

— Верю, — отвечал художник. — Я очень много их наблюдал в жизни. Мне кажется, потому и существуют легенды о чудесах, что чудеса бывают на свете.

— Не могу согласиться с вами. Лет двадцать назад я сильно болел и меня приговорили к смерти, но внутри у меня было убеждение в преждевременности приговора. И я оказался прав. А сейчас уверенности никакой. Вы не подумайте, что я волнуюсь, говоря это. Нисколько. Мне только неприятно страдать. Такая тоска находится на земле и ничего не делать. Я вот смотрю на вашу проворную руку, как она работает кисточкой, и мне завидно. Подумайте, что же это за неудобство такое мне приходится терпеть: постель — мой дом, мир — две комнаты; пока освежают одну, я лежу в другой. Этого же мало, Иван Николаевич, человеку!

Некрасов затихал. Крамской старался успокоить его:

— Все пройдет, Николай Алексеевич, так же, как уж было с вами. Да и кто из людей не бывает болен? И тяжело болеют, не надеются выздороветь, а по выздоровлению удивляются, как это они падали духом.

— Это вы опять про чудеса?

— Нет, про то, что случается каждый день.

— Может быть... может быть... И как странно: мне приятно то, что вы сказали. Человеку, повидимому, всегда хочется обмануть самого себя, если что-либо на него надвинулось неприятное. Хотя, какой уж тут обман... — Он подумал, и вдруг спросил с отчаянием в глазах: — Вы охоту любите?

— Не понимаю в ней толка, — ответил Крамской. — Читал об охоте много, восхищался описаниями ее. Ваши стихи о ней всегда волновали меня. Но сам никогда не стрелял из ружья. Четыре года назад писал портрет Толстого в Ясной Поляне и насмотрелся, что значит быть охотником по натуре. Лев Николаевич пропал за зайцами по первой пороше на неделе, краски на его портрете засыхали, многое заново приходилось делать.

Некрасов глубоко вздохнул, зажмурил глаза, поморщился, и вдруг лицо его засветилось словно бы каким-то внутренним приветливым светом.

— Я, наконец, тоже хочу на охоту! — неожиданно громко воскликнул Николай Алексеевич. — Толстой меня моложе только на семь лет. Ему можно, а мне заказано! Ах, как он, наверно, пынешней осенью травил зайчишек! В «Войне и мире» я читал у него об охоте со слезами на глазах, в холод меня вогнал. Как любит, как понимает, как видит матерый этот человек! И я много моих дней отдал охоте. Вон Дук знает... Не сметь, не вставай, Дук, еще не пришло нам время побродяжить с тобой в веселой низинке у реки, в равнем поле или затаиться на лесной опушке, поджидаячи за кустом пугливого, точно пичуга, русака. Зверек этот много мне дал счастья в жизни... Конечно, отдавая за это счастье свою жизнь. Кроме охоты, я, наконец, хочу писать стихи!.. Я же привык к этому... бескровному делу... и я не могу... точно я стал неграмотным... На что же, на что же мне убивать время? Остались одни воспоминания... Проходят перед глазами многие... умершие и еще живые, к каким пока принадлежу, как говорят, и я.

Однажды Крамской пришел позже. Его встретила Зинаида Николаевна, вдруг странно изменившаяся, веселая и бодрая.

— Вы знаете, Крамской,— сказал Некрасов,— а я ведь запомнил наш разговор о чудесах.

Иван Николаевич взглянул на поэта удивленными и радостными глазами: он был сегодня как-то удивительно хорош, ясен, почти прозрачен, и откуда-то взялась на исхудалых щеках даже кровь, чуть-чуть, как легкий загар, выступившая двумя неясными, но здоровыми пятнами.

— Вот видите, Николай Алексеевич,— ответил Крамской.— Теперь вы поверите в мою наблюдательность, а я для себя приобрету новое доказательство правильности моего глаза. Сейчас мы это проверим. Вид у вас такой, что нынче я собираюсь писать портрет не по-вчерашнему — пятнадцать минут, а целых полтора часа без отрыва.

Некрасов довольно засмеялся.

— Представьте!— воскликнул он.— С трех часов ночи я нынче не проглотил ни одного грана опиума, который делает меня идютом и подчас совсем не приносит сна. Воистину чудо! Кажется, я способен на самом деле позировать очень долго. Начинайте скорее, а то боюсь сглазить мое недурное нынешнее состояние. В зайца, перебегающего дорогу, по народной примете, не к добру, я не верю, но ведь кто его знает...

Лукавые глаза его были в играющих искрах, так иногда солнечный луч светится в чистой льдинке.

И действительно, в этот благоприятный день Крамской проработал долго, дотемна. Некрасов смеялся, шутил, и, казалось, сознание близости смерти не тревожило его. Когда Иван Николаевич кончил писать, Николай Алексеевич первый раз за все время попросил показать ему портрет.

— Да, это как будто бы я,— сказал он, усмехаясь ласково художнику.— Его и отдадим Третьякову. Пусть меня рядом с Михаилом Евграфовичем повесит. Для жены же моей и сестры я прошу сделать копии. Очень, очень прошу.

И Крамской понял, что Некрасов знал, как накануне Иван Николаевич отказал в этой же просьбе сестре больного — Анне Алексеевне. Третьяков не любил копий, морщился, когда художники делали их, и Крамской был с ним вполне согласен.

— Хорошо,— поневоле уступил Иван Николаевич Некрасову,— но только я сам

не могу. Это сделает художник Щербатов. Я его приглашу.

Некрасов задумался и немного смущенно ответил:

— Простите, не слышал о таком... А не будет это как из «Евгения Онегина»? «Хоть человек он неизвестный, а уж, поверьте, малый честный»?

— Нет, Щербатов, Михаил Лазаревич, всегда работает со мной, он классный художник. Правда, третьей степени. Но... ведь, Николай Алексеевич, в жизни иногда бывают ошибки. Работник он хороший, и я могу ему довериться.

— Не смею неволить вас самого. Щербатов, так Щербатов...

И они простились до завтра.

В тот день Третьяков, с тревогой открывавший утром газету, чтобы не встретить в ней черных роковых строк о преждевременном конце великого поэта, получил от Ивана Николаевича письмо. Третьяков беспокойно вскрыл его и перечитал несколько раз, останавливаясь на некоторых строчках, самых для него важных: «...что выходит — не знаю: делаю, что могу. Сначала нарисовал кое-что углем, зафиксировал, и затем красками ткнешь то тут, то там — ну, оно вышло нечто. Говорят, похоже. Но ведь это говорят: сам же я не слишком доверяю. Ограничился одною головою, даже без рук. Дай бог справиться мало-мальски хоть с этим. Задача, прямо скажу, трудная, даже едва ли возможная для кого бы то ни было, и если мне удастся сделать хотя что-нибудь сносное, я, право, буду считать себя молодцом».

Ни кипрское, ни опиум, казалось, больше не понадобятся. Некрасовская квартира оживала. Дуку позволили лаять. Сам Николай Алексеевич вызвал этот лай, зная все повадки преданного ему охотничьего пса. И Дук звонко, как в лесной гулкой чаще, где звук подобно стремительному шарик у катится по земле под мохнатыми лапами густых елей и в тесноте непролазного молодого кустарника, победоносно затаивал.

— Мы охотимся, мы охотимся! — воскликнул Некрасов с сияющими азартом и счастьем глазами.

Крамской невольно стал участником радости и надежды всех близких Некрасова. Воспрянувшая Зинаида Николаевна, провожая Ивана Николаевича после одного сеанса, сказала художнику каким-то просветленным, ликующим голосом:

— Мы спим уже неделю по ночам без просыпу... Точно только теперь весь опиум

который проглотил Николай Алексеевич за несколько месяцев, начал действовать. Доктора уверены в хорошем исходе. Но что бы там ни было,—боясь еще окончательно верить и в глубь себя тревожась, вздохнула Зинаида Николаевна,—он отдохнет от своих нечеловеческих страданий...

Дук прыгал и лаял, Николай Алексеевич, которого уже давно поддерживали только тем, что давали ему высасывать сок из бефштекса и не позволяли ничего твердого, рискнул откусить кусочек,—и все обошлось счастливо. Некрасов даже усомнился в своем приближающемся и неизбежном конце. Иван Николаевич поддался общим ожиданиям и решил дать портрету «отдохнуть» — просохнуть. «Отдых» немного затянулся из-за собственной болезни художника, уложившей его на неделю в постель. Некрасов торопился и присылал за ним.

Но когда Иван Николаевич, еле оправившийся от болезни, снова пришел на Литейный, его как будто там не узнали и даже удивились, увидев в квартире незнакомого человека. Зинаида Николаевна торопливо и уныло прошла мимо него, не замечая поклона. Из спальни Николай Алексеевича долго раздавались крики, стоны, и Крамской собирался бежать, будучи не в силах выносить их.

И опять повторилось прежнее, уже знакомое. Шум в спальне мгновенно оборвался, как будто бы там даже кто-то засмеялся. Иван Николаевич понял: это Зинаида Николаевна, игравшая свою тяжелую роль, притворяясь веселой и неунывающей. Женщина плакала только украдкой, в передней, откуда он не мог услышать ее давленного всхлипывания.

Когда припадок кончился, Николай Алексеевич обостренным своим ухом услышал шаги Крамского в столовой и обрадовался ему. За последнее время Иван Николаевич был почти единственным человеком из посторонних, с кем больной проводил много времени вместе. Зинаида Николаевна вышла из двери и с улыбкой сказала:

— Пожалуйста, Иван Николаевич. Мы уж вас ждем, и я сейчас принесу мольберт. Его пришлось в ваше отсутствие убрать. Была большая суета, и он мешал.

Некрасов принял Крамского с закрытыми глазами. Иван Николаевич стоял недалеко от его постели, смотрел в знакомое, измученное, ставшее более родным, чем раньше, бледное, худое лицо своей натуры и боялся пошевелиться.

— Чудес не бывает, Крамской,—внятно, почти резко сказал Николай Алексеевич.—Их старухи выдумали, когда им не спится в позднюю ночь и страшно умирать. Рад вам. Я соскучился. Без вас я земного прихворнул. Вы тоже, я слышал. Раз пришли ко мне, значит, не она, болезнь, вас победила, а вы ее. Меня же она опять свалила. И было мне страшно в эти дни. И я все думал—или бы полегчало немного, или уж скорее бы конец. Одно утешение—внимание публики. Зинаида Николаевна прочла мне много писем, телеграмм, стихов со всех концов Руси. Странно—откуда все эти милые люди знают, сидя по медвежьим углам, что поэт Некрасов болен и ему дорого и приятно получать все эти читательские сочувствия? Представьте, под двумя телеграммами было до двух десятков подписей. Это что-то новое и небывалое... Я хотел в одном стихотворении сделать на это намек, но побоялся—не глупо ли будет? Засмеют еще—обрадовался! Честолюбие, тщеславие, реклама! О, Некрасов на все руки мастер! Умирает, а славы ищет. Да и не обманывает ли он кого-нибудь своей болезнью? У меня, Иван Николаевич, по ремеслу моему, кое-кого задевающему за живое, много врагов. Вот они, как саранча, и гудят над моей бедной головой почти сорок лет, с того самого первого дня, как я начал писать неприятные этой саранче и не слишком утонченные стихи.

Зинаида Николаевна внесла мольберт и хотела уйти. Некрасов остановил ее и спросил Крамского:

— Вам не будет мешать, если я попрошу Зинаиду Николаевну прочесть мои любимые стихи Пушкина, одну только строфу?

— Что вы, Николай Алексеевич,—поторопился ответить Крамской,—наоборот, я буду очень обязан Зинаиде Николаевне. Послушать Пушкина еще и еще раз—нет выше наслаждения. Я уверен, что в это время буду писать вас лучше.

Некрасов открыл свои ясные, успокоенные после припадка глаза.

— Сегодня у меня какое-то особенное настроение,—сказал он,—сам я писать не могу, но раньше в такие минуты я работал хорошо. И я мог работать по два дня кряду. Например, так я написал «Крестьянских детей». А в них около трехсот строк. Вот тут и пойми—как человек может измениться...

Крамской работал не отрываясь и с радостью ощутил в себе воодушевление, овладевавшее им все более и более. Тот

воображаемый образ поэта, который художник носил внутри себя, сегодня совпал с живым и материальным, находившимся перед глазами.

Зинаида Николаевна, должно быть, так часто читала мужу любимое им стихотворение Пушкина, что знала его наизусть.

— Вы послушайте, Крамской! — воскликнул Некрасов. — Что, что мог Пушкин выражать простыми человеческими словами! Зина, читай медленно, как только ты это одна умеешь делать.

И Зинаида Николаевна ровным, лишь изредка вздрагивавшим голосом, глубоким и певучим, прочла:

Когда для смертного умолкнет шумный
день,

И на немые стогны града
Полупрозрачная наляжет почти тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в

тишине

Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во
мне

Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном
тоской,

Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Полузакрытые глаза Некрасова блистали, и Крамской понял, что их нельзя было открыть, чтобы окружающие не увидели неизъяснимого страстного волнения, в котором находился поэт. Некрасов с усилием потянул к себе бледную левую руку и прикрыл глаза узенькой ладонью. Потом Зинаида Николаевна прочла лермонтовское «Белеет парус одинокий», которое любил Некрасов в молодости, пока пушкинское «Воспоминание» не заслонило его.

А Крамской все писал, быстро, уверенно, смело, видя больше и глубже, чем за две недели предыдущей работы. Некрасов называл другие стихотворения, и Зинаида Николаевна читала их на память, изредка ошибаясь и сейчас же поправляемая поэтом.

— Ты забыл еще одно, — сказала она с улыбкой, когда Николай Алексеевич больше не просил. — А любимое стихотворение Виссариона Григорьевича Белинского?

— Да, да, — слабым голосом согласился Некрасов. — Белинский любил и понимал Пушкина как-то бездонно. «В степи мирской, широкой и безбрежной», — почти прошептал он. — Дальше ты, Зина...

И Зинаида Николаевна дочитала до конца.

Когда Крамской уходил и одевался в передней, к нему вышла Зинаида Николаевна, подала листочек линованной бумаги и сказала:

— Николай Алексеевич несколько дней назад, дожидаясь вас, велел мне переписать последнее его стихотворение «Баюшки-баю». Он мне сказал, что это вам поможет лучше сделать портрет.

Иван Николаевич бережно взял подарок.

И вдруг, внешне спокойная и невозмутимая, Зинаида Николаевна, дрогнув, добавила:

— Может быть, это последние его стихи...

Через несколько дней в Петербург приехал Третьяков. Он застал Ивана Николаевича в таком возбуждении, какое почти не посещало самого Павла Михайловича, более скрытного и сдержанного.

— Наверно опять появился какой-нибудь новый талант, — сказал Третьяков, почти неприметно и ласково усмехаясь приятному ему человеку, — я уж к вам привык. Вы всегда с шумом в голосе и огнем в глазах встречаете удачные произведения живописцев. Боюсь грома и остерегусь покупать. Я приехал не за новыми, а за старыми вещами. Должок за вами. Где Салтыков-Щедрин, где Некрасов? Не пора ли сдавать?

— Вот Некрасов-то и причина моего вида не в себе! — горячо ответил Крамской. — Да и вы сейчас же потеряете самообладание. Что он сочинил, что сочинил! Помните, я писал вам, что наступило временное облегчение и мы хорошо поработали? Теперь все это кончено, и опять началось прежнее, и еще страшнее и безнадежнее. Я еще никогда в жизни не видел таких человеческих мук. Вы послушайте, Павел Михайлович, его страшное завещание. Я выучил наизусть. К портрету Николая Алексеевича, в рамку перед портретом, надо поместить это «Баюшки-баю» нашего великого поэта-страдальца:

Непобедимое страданье,

Неутолимая тоска...

Влечет, как жертву на закланье,

Недуга черная фука.

Где ты, о муза! Пой, как прежде!
«Нет больше песен, мрак в очах;
Сказать: умрем! конец надежде!
Я прибрела на костылях!»

Костыль ли, заступ ли могильный
Стучит... смолкает... и затих...
И пет ее, моей всемогущей,
И изменил поэту стих.
Но перед ночью непробудной
Я не один... Чу! голос чудный!
То голос матери родной:

«Пора с полуденного зноя!
Пора, пора под сень покоя;
Усни, усни, касатик мой!
Прими трудов венец желанный,
Уж ты не раб, — ты царь венчаный:
Ничто не властно над тобой!

«Не страшен гроб, я с ним знакома;
Не бойся молнии и грома,
Не бойся цепи и бича,
Не бойся яда и меча,
Ни беззаконья, ни закона,
Ни урагана, ни грозы,
Ни человеческого стога,
Ни человеческой слезы.
Усни, страдалец терпеливый!
Свободной, гордой и счастливой
Увидишь родину свою...
Баю-баю-баю-баю!

«Еще вчера людская злоба
Тебе обиду нанесла;
Всею конец, не бойся гроба!
Не будешь знать ты больше зла!
Не бойся клеветы, родимый,
Ты заплатил ей дань живой,
Не бойся стужи нестерпимой:
Я схороню тебя весной.

«Не бойся горького забвения:
Уж я держу в руке моей
Венец любви, венец прощенья,
Дар кроткой родины твоей...
Уступит свету мрак упрямый,
Услышит песенку свою
Над Волгой, над Окой, над Камой,
Баю-баю-баю-баю!...»

— Павел Михайлович! — воскликнул Крамской, смотря в сторону и не желая показывать свои глаза. — Ведь это же, просто, решительно одно из величайших произведений русской поэзии! Я видел, видел, как оно создавалось! Я видел карандаш, которым написаны эти мучительные строфы! Я видел псхудалую, точно обглоданную до просвечивающих костей, руку ге-

ния, еле-еле водившую по бумаге! Знаю, вжился, вдыхался в комнаты на Литейном, где умирает такой огромный русский человек, умирает рано, не дожив много лет, которые для чего-то даются другим, ничтожным, никому не пугным, бесполезным от рождения своего! Какая трагическая, мрачная несправедливость!

Павел Михайлович сидел, потупив глаза, и Крамской напрасно боялся, что Третьяков увидит, как художник досадливо смахнул слезу.

— А скоро вы кончите портрет Некрасова? — спросил, помолчав, Павел Михайлович. — Ведь надо... не опоздать.... И первый... и вот этот второй, в постели, когда он пишет «Баюшки-баю»...?

Крамской постоял в нерешительности, сделав движение к Третьякову, удержался и, улыбаясь, ответил:

— Вы же мне один заказали...

— Ну, да... Но ведь и этот второй ну же... Ведь и вам его хочется сделать?

Они переглянулись, улыбающиеся, понимающие друг друга.

— Я уж начал, — ответил Крамской. — Николай Алексеевич, вся фигура его, па постели. Поворот головы, как и в первом портрете. Поэт держит карандаш, белую бумагу. У постели столик. Большой колокольчик на выступе столика. Над головой шкаф. В нем охотничье оружие. На полу любимая собака Дук. Вся скромная некрамовская комната, где рождались его последние песни. Как это все выйдет — того не знаю. Но хотелось бы вложить все умение, если его у меня хотя бы немного есть для таких вещей.

— Непременно делайте, Иван Николаевич, — сказал Третьяков. — Оба произведения мои, никому не отдавайте... если да же дадут дороже.

— Какой вы, Павел Михайлович, хитрый, — ответил Крамской с явной симпатией к своему гостю-заказчику. — Хитрый и расчетливый и очень избалованный. Привыкли к странностям бедных художников, которые почему-то несут вам всю свою жатву и даже не соблазняются деньгами других собирателей... хотя бы те и платили дороже.

Третьяков подошел к готовому портрету Салтыкова-Щедрина и внимательно осмотрел его.

— Половина должка уплачена, — сказал Павел Михайлович. — Как по-вашему, Иван Николаевич, могу смело брать портрет Миханла Евграфовича?

И Крамской ответил без колебаний:

— Удивительное дело — не могу понять, отчего это происходит. Салтыкова-Щедрина писал с любовью. Натура дорога мне. Сердце к ней расположено. Тепла, хоть отбавляй в нем. Хоть свое произведение перед покупателем жалко и невыгодно. Кто же свой товар бракует! Хороша была бы фирма, например, Третьякова, которая рассылала прейскуранты своих льноткацких и льнопрядильных изделий и в скобках около некоторых сообщала — не берите, плохо сделано. Но все-таки я, видно, купец извращенный, Павел Михайлович. Словом, покупая портрет Салтыкова-Щедрина, вы никакого порядочного приобретения не делаете. Живопись в нем какая-то получилась немного муругая. Нет, он не плох, только темноват. Чорт меня знает, как я ошибся. Для чего-то я его написал в глубоком полутоне, намерение выпирает. Даже противно. Что же касается, по выражению Михаила Евграфовича, похожести — все это на месте, и я даже заслуживаю похвалы.

— Я и хвалю вас, — перебил Третьяков. — Мы ведь с вами часто угадываем друг друга. И хотя вы купец никуда не годный, все-таки быть Салтыкову-Щедрину в Лаврушинском переулке.

— Быть, так быть, — согласился Крамской. — Вон жене моей тоже нравится сатирик наш. Художник не всегда свое дитя понимает. Но вот насчет Некрасова вы, Павел Михайлович, будьте построже, построже. Его еще надо посмотреть и посмотреть, прежде чем брать в галерею. Я прямо начинаю бояться своей привязанности к дорогим мне натурщикам. Так их люблю, что слепну от любви и словно что-то пропускаю главное, недосматриваю, увлекаюсь, от кого-то прячу сокровенное души, недостатки образа. А, значит, и проливаю в тайное тайных типа наполовину.

Третьяков привык к вечно сомневающемуся и резкому к себе художнику, выслушал спокойно и лениво ответил:

— Когда оба Некрасовы будут готовы, вы, Иван Николаевич, не швыряйтесь лишними копиями. Ну их, эти копии! Вы знаете, мне со всех сторон России начинают предлагать картины, которые уж у меня есть. Я позволил разным людям у меня копировать, а они так набили руку, что другая копия начинает оспаривать подлинник. Два раза я даже усомнился и попался. Одной жене копию следует сделать. Братьям, сестрам, не надо. В другой семье великих людей наберется близких родственников слишком много, все имеют оди-

наковое право, а нельзя же, например, тринадцать копий сделать с Некрасова.

И опять пришел Крамской на Литейный. Он дежурил там по целым дням, отказавшись от всякой другой работы. Писать Некрасова приходилось все меньше и меньше. Николай же Алексеевич и утешал его:

— Вы верьте в меня. Я еще не совсем сдался. Мы еще успеем и тот, второй портрет сделать. Он мне очень нужен. На что — я вам еще пока не скажу, потом узнаете. Впрочем нет, возьмите себе, сделайте, пожалуйста. Пусть он останется, как воспоминание обо мне для тех, кому я хоть немного дорог. Может быть, и враг остановится против него в какой-нибудь галерее, когда я уж не буду ему мешать, разумеется, и... пожалеет, что меня нет на свете. Вот видите, какие у меня, можно сказать, благие порывы. Портрет лежащего, поверженного Некрасова для друзей и врагов! Последние у меня кишмя-кишат... Например, Иван Тургенев.

Зинаида Николаевна знала, как не мог позабыть Николай Алексеевич былой дружбы с Тургеневым и как огорчился разрывом с ним. Воспоминание об этом всякий раз вызывало ухудшение в ходе болезни мужа, и она сразу же вмешалась, чтобы избежать лишнего опасного припадка.

— Что ты все, Николай Алексеевич, о врагах говоришь, а о друзьях забываешь. Вон посмотри, у тебя на столике лежат две телеграммы из Ирбита. Утром полученные. Ты спал, а тут пришел Иван Николаевич, и я запамтовала прочесть тебе очень трогательные приветствия от каких-то незнакомых подписчиков «Отечественных записок». Сибиряки, простые, сердечные люди...

Некрасов обрадовался, отвлекся, снял, когда Зинаида Николаевна читала, попросил показать ему подписи, взгляделся в них, покачал головой и сказал:

— Незнакомцы... Но это все равно. Слышали. Иван Николаевич? Ведь приятно... Вот он, когда открывается наш подписчик! А я раньше думал подчас с грустью о своей деятельности: да уж знает ли читатель поэта Некрасова и как относится к его работе? Не осуждает ли ее? Да уж и нужна ли она кому-нибудь в нашей вавилоно-ассирийской империи?

— Мне-то кое-что об этом известно! — подхватил с живостью Крамской. — Я половину своей небольшой жизни провел в провинции. До сих пор в домишке моей матери в слободе Новая Сотня при городе Острогжске хранится большой сундук, а

в нем лежат старые номера «Современника», «Отечественных записок». Любимые мои книги с отрочества. Пришесут их с почты — и радость духовная, единственная ведь, и надолго, а порой и навсегда. Вася, Николай Алексеевич, оттуда узнал. Одно за другим проходили в моей жизни ваши стихотворения. Так и другие люди по родимым нашим углам следят за всем, что происходит в столицах.

Зинаида Николаевна довольно улыбалась, найдя сообщника в Крамском. У нее всегда была припасена какая-нибудь неожиданность для Николая Алексеевича, которая бы могла отклонить в сторону мрачное направление его дум. Так матери прячут и хранят в заповедных местах игрушки, внезапно показывая их опечаленным и плачущим детям.

Но почему-то сегодня это средство помогло очень ненадолго, и скоро Николай Алексеевич снова вернулся к своим мыслям о врагах.

— Иван Тургенев, — сказал он с горечью, — прислал мне пятнадцать лет назад, в 1862 году, свой роман «Отцы и дети» для просмотра. Прислал как другу. Я прочел и ответил по-дружески, не покрыв душой, что вещь хорошая, а только рапременно не печатать ее. И вот Иван Тургенев этого-то моего честного мнения и не мог перенести. Прислал мне записку: «Не забудь ты меня, а я тебя не забуду». Больше мы не встречались. Больно, но это так... Э, да сколько же льется на свете незримых никем слез от всяких напрасных человеческих обид! — Он безнадежно махнул рукой, закрыл глаза, помолчал и грустно извинился перед художником. — Простите, Иван Николаевич, не могу сегодня больше позировать, в тягость, сам виноват, не послушался Зины, одному мне хочется побыть... Так уж сами люди меня приучили: сидеть бирюку одному в берлоге.

В один из следующих сеансов мирный, спокойный, радостный Николай Алексеевич сказал Крамскому:

— А вы знаете, Тургенев подал о себе вести. Через одних знакомых я узнал, что хочет приехать ко мне мириться... Зинаида Николаевна меня мирит с ним. На днях говорит: «Тургенев бы ждал тебя повидать». Я ей ответил: «Пусть придет, полюбуется, каков я стал».

Некрасов горько усмехнулся, и Крамской постарался сам без помощи Зинаиды Николаевны отвлечь его от сосредоточенности на неприятной и болезненной ссоре с Тургеневым.

Однажды это свидание состоялось. Вдруг вошла в спальню Зинаида Николаевна, бледная, суровая, — и Крамской заметил, как у нее дрожали руки.

— Ты не забыл, что сегодня обещал мне тебе приехать Тургенев? — спросила она, утратив свое обычное спокойствие. — Иван Николаевич немного подождет. Вы же с Тургеневым долго не засидитесь. Тебе нельзя долго. Дай я помогу тебе одеться...

— Нет, не забыл, — ответил Николай Алексеевич, слегка меняясь в лице, — я подготовился к этому свиданию... Ждал долго, пятнадцать лет, постарел... Вот оно и наступило...

Зинаида Николаевна надела на него халат и осторожно повела больного в столовую. Так туда и осталась дверь неприкрытой. Крамской сидел за мольбертом, недвижимый, боясь шевельнуться, охваченный волнением. По возбужденному виду Зинаиды Николаевны он понял, что Тургенев приехал внезапно и был уже здесь. Зинаида Николаевна усадила Николая Алексеевича в кресло, суетилась, несколько раз выглядывала в окно и, наконец, сказала:

— А вот и Тургенев приехал.

Некрасов встревоженно приподнялся и опять опустился, и как будто бы сразу стал хуже, изможденнее, почти просвечивая в солнечном желтоватом свете, лишемся в слегка подмороженное окно. Тургенев вошел, высокий, стройный, цветущий, с цилиндром в руках. Взглянул на Некрасова и замер, широко раскрыв свои огромные, потрясенные глаза. Крамской, не дыша, переживая до боли эту минуту встречи двух замечательных русских людей, происходившую через пятнадцать лет после самойливой вспышки Тургенева, заметил, как лицо Некрасова исказилось от страдальческой судороги и невыразимое душевное волнение охватило исхудалого до костей, еле живого, без капли крови, мятежного великого поэта. Некрасов вдруг, точно защищаясь от чего-то страшного и непереносимого его сердцу, неестественно высоко поднял свою руку, тонкую, как палочка, сделал прощальный и приветственный знак бывшему другу, прощенному у близкой могилы, и отвернулся. Тургенев понял, что оба они были не в силах произнести ни одного слова. Иван Сергеевич, горящий как факел, от крови, ударившей в его лицо, с затуманенными глазами, молча благословил Некрасова и, опустив красивую с проседью голову, неловко загремев дверью, вышел.

— Опнума, опнума, Зина! — закричал Николай Алексеевич, сам удивляясь своему

послу, ведомый Зинаидой Николаевной к постели. — Опнума, дорогая!

В середине апреля Иван Николаевич закончил оба портрета Некрасова, сохранив для потомков подлинный образ великого поэта, одобренный им самим.

Поясной портрет Некрасова при поразительном сходстве, которое всегда давалось Крамскому, удивляя современников, все-таки лишен одухотворенности, глубины, проникновения в натуру, в нем чувствуется холодок, некоторая зализанность, слишком тщательная и омертвевшая «заключенность». Художник стремился сделать портрет совершенным, боялся чего-то недосказать, недописать в образе великого поэта и невольно «выступил пот», «работал», слишком напряженный и не всегда благодарный юварийный «труд», убивающий вдохновение. Поясной портрет Некрасова остался только ценным свидетельством о подлинности изображения поэта. Зато другой — портрет Некрасова в постели — и по живописи, и по композиции, и по глубочайшему содержанию, по трагичности своей — одно из самых сильных, проникновенных и вдохновенных произведений Крамского. Он из того же ряда редких и значительных, как и толстовский портрет, и немногих во всем творчестве Ивана Николаевича, благодаря которым портретное мастерство Крамского — одна из блестящих страниц нашего живописного искусства. Случилось то, чего так напрасно боялись родственники. Некрасов, певец гнева и печали, изображенный в интимной обстановке, предстал перед зрителями необычайно к ним приближенным, родным, дорогим и пленяющим. Крамской в этом портрете Некрасова, пишущего последние предсмертные песни, сумел выразить с незабываемой силой и правдивостью не только совершающуюся драму, а и все свое любовное восхищение великим поэтом, тревогу и боль свою. Некрасовский портрет в постели волнует, оставляет глубочайшее впечатление на всю жизнь у тех, кто хоть один раз увидел его.

На десятый день после смерти Николая Алексеевича, через восемь месяцев по окончании портрета, Крамской пришел снова на Литейный в знакомую квартиру. Иван Николаевич все еще не совсем был доволен собой, все еще искал окончательной выразительности в некрасовских портретах. Но в квартире уже была разорена дотла спальня Некрасова, все передвинулось, изменилось до неузнаваемости. Дук, должно быть, начал кусаться, и на него надели намордник. Зинаида Николаевна,

отслужив поэту, стала никому ненужной, ей со злобой и завистью вернули прежнее, утраченное по воле поэта имя Феклы Анисимовны, и она ушла из этой, теперь чужой ей квартиры на Литейном. Здесь теперь были заколтые родовые некрасовские наследники. Они и выдали Крамскому халат Николая Алексеевича, чтобы художник сделал нужные ему изменения в портрете. Но... он не рискнул, не умея в душе своей вызвать уж те чувства, какие владели им у постели умирающего поэта.

Долго работал он над одновременно начатым и недоконченным портретом Салтыкова-Щедрина, осиротевшего друга Некрасова. Взыскательного художника не удовлетворяла эта вещь, он измучился над ней и ни за что не хотел отступить. Великий соратник Некрасова так и не получился таким же впечатляющим и глубоким и по живописи и по характеристике сложной внутренней жизни, как Некрасов в постели. Но он лучше, убедительнее и правдивее поясного портрета Николая Алексеевича. В конце концов, после напряженного труда, Иван Николаевич сумел передать близко к натуре живой, сумрачный, суровый и страстный облик гениального сатирика, бесконечно страдающие синие глаза, могучую голову его, властную, гордую и простую посадку. Так бывает у художников: не всегда самое любимое подвластно совершенной и безупречной передаче. Портрет Салтыкова-Щедрина, при всех его достоинствах, сделан не во всю мощь таланта Крамского.

ГОД ЗА ГОДОМ

Еще в Ванькине, где создавался портрет Льва Толстого, Крамской однажды проснулся среди ночи от удущья. Художнику было тридцать семь лет, его все называли крепышом, он чувствовал в себе такие силы, которых, казалось, достанет на столетие. Но все ванькинское лето, хорошее, плодотворное, обильное одними творческими удачами, радовавшими Ивана Николаевича, удущье повторялось. И непременно по ночам. Оно несколько не встревожило художника. Как будто он даже не без удовольствия воспользовался подневольной бессонницей, поднимался со светом с постели и в мягких туфлях, обегая сон детей и Софью Николаевну, прокрадывался к своей картине «Христос в пустыне». Он проводил за ней все свободное время, что оставалось от сеансов в Ясной Поляне, работой над портретами Шишкина и жены Савицкого. Благодаря

бессоннице дни удлинялся, Крамской старался не упустить доставшееся ему словно бы ненароком лишнее время, не боясь будущего, не думая о нем. Удушье постепенно прошло. За недосугом Иван Николаевич даже не показался доктору. Скрытая болезнь время от времени напоминала о себе, мешала вечно занятому художнику, он с досадой по нескольку дней не работал, лежал, но, поднявшись на ноги, забывал о своих скучных немоцах до нового нападения на него непонятного недуга. Год от году становилось хуже. Жизнь художника складывалась нелегко с самой юности: каждый день, час, минута брались с бою, горели силы, горели сердце и мозг. Крамскому пришлось слишком много и долго «бегать за хлебом», как говорил он, слишком много думать за других, отбивая огромное, нужное дело насаждения и укрепления русского реалистического искусства от тьмы недругов и недоброжелателей. Художнику некогда было думать о себе почти два напряженных десятилетия. И он изнемог. В один день понадобился морфий. С тех пор он уже не выводился в квартире художника.

В 1880 году Иван Николаевич написал портрет известного ученого доктора Сергея Петровича Боткина. Доктор и художник подружились, встречались, Боткин следил за здоровьем мастера. Однажды, как хорошо знакомый, Крамской приехал на дачу к Боткину, провел у него весь день и остался почевать. Ивана Николаевича уложили в кабинете Сергея Петровича. Долго незасыпавший Крамской от скуки взял со стола какой-то медицинский журнал и... зачитался. Все признаки давнишней болезни Ивана Николаевича были описаны с удивительной точностью и полнотой. Крамской вспомнил, как Сергей Петрович Боткин внимательно слушал его, долго и старательно выстукивал грудь, спину, шутил и успокаивал. На минуту Иван Николаевич вгляделся с недоверием в лицо бесстрастного, сухого, молчаливого, знаменитого доктора. Да уж понимал ли он, что укрыто от него за бледной, худой, забнувшей оболочкой, называвшейся телом художника? Нет, оказывается, молчание Боткина было неспроста! Иван Николаевич дурно спал, почти наизусть выучил холодную, скучную, словно безразличную ко всему на свете, статью Сергея Петровича о человеческих ребрах, конечностях, паническом страхе больного и какой-то особенной подозрительной теплоте около сердца, предшествующей припадку.

Боткин с утра уезжал в Петербург. Накануне они условились ехать вместе. Сергей Петрович вошел в кабинет и застал Ивана Николаевича одетым. Боткин был еще в халате.

— Вот ранняя птица,— сказал доктор, здороваясь,— я пришел вас будить и звать к завтраку, а вы уж в полном параде. Как спали в докторском кабинете, где всегда немного пахнет лекарствами?

— Должно быть, от них-то,— ответил Крамской,— я и провел всю ночь без просыпа. Даже странно — ни одного сна. Ангельский мир и спокойствие.

— Все болезни бояться докторов,— сказал Сергей Петрович, усмехаясь.— Врачи знают очень любопытные случаи в их практике, когда нервы больных бывают потрясены искусством нашего брата. Особенно хирургов. Моя собственная бабушка мне рассказывала, что раз она пришла в зубо врачебный кабинет. Зуб у нее болел нестерпимо. Бабушке пришлось подождать, пока дантист принимал другого больного. Надо было удалить зуб. И козья ножка надела большого переполоха. Дантист начал рвать зуб. Больной так закричал, что моя бабушка от страха бежать вою. Представьте, все боли в зубе прошли за полгода. А другой, уже мой пациент, передавал мне, что как подходит к моей квартире, позвонит, так до странности чувствует какое-то облегчение. Слово нам совсем и видаться не надо. Все это нервная деятельность, чуткая, как ничто другое в мире.

И Крамской невольно проследил, как вдруг благодушное выражение на лице Боткина сменилось неприятным и тревожным. Он, стараясь быть незамеченным, осторожно уволок медицинский журнал с тумбочки около дивана и сунул на стол под бумаги.

— Вот, если бы так можно было смерть пугать,— сказал Крамской,— как вашу бабушку перепугал дантист.

— Всего вероятнее,— ответил Боткин,— люди в конце концов научатся это делать. Ну, не совсем, конечно. От нее, как говорится в народе, ни крестом, ни пестом не отделаешься, а на время отогнать злую старуху можно будет.

— Хотя бы на время... — с горечью сказал Крамской.

Боткин не ответил и еще раз поморщился, взглянул на грудку бумаг, под которыми спрятал злополучный журнал.

После веселого и дружного завтрака доктор и художник сели в экипаж. Всю дорогу Сергей Петрович старался говорить

только об искусстве, картинах, выставках, а Крамской о болезнях, о странностях этих болезней. И так друзья перебивали друг друга, пряча внутри то, о чем говорить было неприятно ни той, ни другой стороне. Крамскому никакие картины не шли на ум. Боткину надоели все болезни на свете. Но уже в Петербурге, сходя с экипажа, — Сергей Петрович ехал дальше, — Крамской вдруг грустно улыбнулся и сказал:

— Значит, дорогой доктор Боткин, у меня самая настоящая грудная жаба...

Сергей Петрович осуждающе покачал головой и ответил:

— Вот эти неспециалисты всегда так! Начитаются чужих книг и могут уже вполне заменить докторов. Я вам этого не говорил и не говорю. В следующий раз, будучи у меня в гостях, вы будете получать на ночь Рокамболя, а все медицинские книги запру под замок. Сколько есть на свете болезней, столько их и у вас окажется, если вас допустить до моей медицинской библиотеки.

Тяжелая болезнь, небеспеченность семьи, со все растущими на нее расходами, смерть сына Марка, поденный труд портретиста, опостылевший и нелюбимый, — все чаще и чаще рождали безрадостные дни в жизни художника. Неудача с давно задуманной заветной картиной не давала покоя. Иван Николаевич каждое утро пробуждался, тянулся к кисти, чтобы продолжать картину, и не мог. Он с грустью вспоминал то время, когда восторженные и опьяненные первыми успехами товарищипередвижники готовы были нести его, как триумфатора, на щите. Теперь настали нескончаемые распри. Товарищи усомнились в своем вожде, не умея быстро и легко одолеть встреченные затруднения. Товарищи отшатнулись от него, не идя на смелые призывы слушаться жизни и без сожаления отказаться от насиженного передвижнического гнезда, чтобы свить новое, лучшее. Временами Крамской переживал горькое и мучительное разочарование, оглядываясь на пройденные годы, не видел того огромного и незабываемого, что он уж успел сделать. Ему все казалось мало, и точно бы жизнь он прожил даром, не сумев осуществить и десятой доли задуманного. Когда эти заблуждения проходили, усталость исчезала, могучая натура Крамского преодолевала и мучительную скорбь о будто бы неудавшейся жизни, и распри с друзьями, и самого злейшего врага своего — болезнь. И тогда ничего не оставалось ни позади, ни вне-

реди мешающего и затруднительного для его творчества. Умное мастерство Крамского, в котором вдохновение никогда не было произвольным и стихийным, как например у Репина, находилось в дружеском согласии с разумом. Оно было насызовь сознательно, продуманно, прочувствованно, в нем голова и сердце никогда не враждовали между собой. Такое искусство, рождающееся не из искры, не из фантазии, посещающей счастливого безумца и баловня природы, всегда трудно и непременно полновесно, не оскудевает, не исчерпывается, знает только рост и восхождение.

Иван Николаевич медленно, безнадежно умирал от гнусной болезни, неведомо откуда взявшейся, чтобы свалить большого, мало еще пожившего на свете, необыкновенно одаренного человека. И это в те годы, когда талант его входил только еще в полное свое совершеннолетие.

После замечательного и проникновенного суворинского портрета Крамской создал одну за другой две вещи, которые по своим художественным качествам и мастерству во многом были выше всего, сделанного до сих пор художником. Это портрет «Неизвестной» (1883) и «Неутешное горе» (1884). Особенно первый. Он едва ли не самый совершенный из всех портретов, исполненных Крамским. С кого он написан, художник не открыл. Где-то в Петербурге, на фоне характерного и типичного для тогдашней столицы архитектурного пейзажа, окутанного петербургской дымкой, кажется нигде более не встречающейся на свете, сидит в коляске молодая, гордая, цветущая красавица. С необыкновенным вкусом, оригинальностью и тонкостью художник изобразил только верх коляски, только наметил экипаж, в котором проезжает по петербургским улицам эта неизвестная женщина. Тем не менее до любого из зрителей по обращенному на него взгляду ее, повороту головы, сложенным на коленях рукам в перчатках, частям коляски дойдет впечатление стремительного движения, с которым несется экипаж по мостовой. Эта иллюзия достигнута какими-то уж очень простыми средствами, которые, однако, всегда сопровождают истинное произведение искусства. Право, не будет никакого преувеличения, если чуткий зритель, стоя у этого замечательного портрета, вообразит, что он слышит цокот конских копыт и шелест колес вихрем проносающейся коляски. Неизвестная одета в нарядную бархатную кофту, отороченную мехом, на ней гофрированная шапочка со страусовым белым пушистым

пером, лежащим по краю, на груди голубой бант с развевающимися на ветру концами шелковых лент. У незнакомки огромные, обращющие на себя внимание каждого своей неповторимой и редкой красотой, глаза, прищуренные, как будто бы чем-то опечаленные, пристальные, серьезные, полные живого, привлекательного блеска. Шелк, бархат, мех, кожа на коляске, страусовое перо, замша перчаток, все дополнительное, внешнее, облекающее образ красивой женщины, написаны с таким подкупающим совершенством, подобием и выразительностью, как на немногих портретах всей русской школы живописи. Почти для большинства передвижников такое колористическое богатство, живописность портрета «Неизвестной», такое тонкое, любовное понимание и чутье краски, пожалуй, довольно необычно. Передвижники часто бывали тусклыми, слишком гнались только за содержанием в своих картинах и сами себе вредили, забывая о живописных средствах, при богатстве которых только и достигается пугливый эффект и содержание всякой картины углубляется сторицей. Глава передвижничества это знал и в портрете «Неизвестной» размахнулся во всю свою большую, настоящую мощь. Он как бы поспорил со своими современниками, не раз укорявшими его в колористической скупости, даже бедности колорита и признававшими за Крамским только изумительную способность писать портреты похожими. Едва ли бы сам Репин отказался от такого колористического богатства, которое заключено в портрете «Неизвестной»! Правда, в отличие от многих Илья Ефимович читл своего учителя, как первоклассного портретиста.

«Незнакомка» Крамского привлекла всеобщее внимание чутких и любящих живописное искусство русских людей. Такие вещи вообще появляются редко, и большой Крамской мог чувствовать себя удовлетворенным: его усилия не пропали даром. Огромный опыт Ивана Николаевича в портретном искусстве дал свой зрелый, блестящий плод. Так написанного человеческого лица, со всей полнотой выраженной в нем сокровенной жизни неведомой женщины, трепета этой жизни, немного сыщется в русской живописи. Портрет «Неизвестной» близок всем своим подкупающим, живым, полнокровным очарованием работам старых русских мастеров, не знавших соперников.

В большой картине-портрете «Неутешное горе», рисунок к которой Иван Нико-

лаевич сделал одновременно с работой над портретом «Неизвестной», мастерство художника вылилось с новой силой и разнообразием. Эта потрясающая трагическая картина о бесконечной скорби матери, потерявшей своего ребенка, родилась после семейного несчастья Крамских: у них умер любимый сын Марк. Смерть его опустошительно вторглась в семью. Отец и мать переживали утрату тяжело и неутешно. Особенно Софья Николаевна, которая, казалось, не выпесет этой беды. «Теперь мне кажется, что я немного сумасшедшая,— писала она Варваре Николаевне, жене Третьякова,— говорят, можно бы и забыть мое горе, время уже прошло довольно с тех пор, когда я рассталась с дорогим моим сыном. Ведь пету моего Марочки! А я все жду! и боюсь сказать. А время уходит, и страшно мне пойти к нему на могилочку...»

Иван Николаевич мучился от двойных страданий — и за сына и за жену. Дом был кладбищем, унылым и страшным. И болезнь не уходила из квартиры. Болел Крамской. Теперь его облегчал только морфий. Подавленный, молчаливый, следя за отчаявшейся в жизни несчастной Софьей Николаевной, для которой все утешающие слова человеческие ничего не значили, она не слышала и не слушала их, Иван Николаевич начал картину «Неутешное горе». Глубоко личная, облитая слезами, незримыми ни для кого и спрятанными прежде всего от Софьи Николаевны, она была написана дрожащей в руке кистью. Крамской изобразил ее, столько раз написанную во многих, всегда замечательных, теплых и трогательно ласковых портретах, свою любимую, мать его детей, стоящей у гробовой крышки среди печальных цветов и венков. Высокая, стройная, стиснув платком рот, сдерживаясь от рыданий, стоит она застывшая, сложенная, убитая, какой может быть только мать, простившаяся навсегда со своим умершим ребенком. Где-то тут рядом, за этой полуотдернутой портьерой в соседнюю комнату, лежит недвижимый любимый мальчик. И нет сил пойти туда, не перешагнуть порога... Не так ли мучится каждая женщина, которой суждено испытать на своем веку тягчайшие для нее материнские несчастья? Крамской сумел в фигуре скорбной Софьи Николаевны у крышки гроба, приготовленной скрыть навсегда от матери ее погибшего сына, создать обобщающий, типический образ тысяч матерей. Личное горе своей семьи Иван Николаевич художественно воплотил

во множественный символ неисчислимого на свете материнского страдания.

Найдя идею произведения, Крамской знал, что она будет мертва, если его образительные средства окажутся ниже ее. «Надо любить искусство слишком головой и теоретически, чтобы прощать художнику небрежное исполнение — ради идеи. Если в холсте, кроме идей, не окажется чисто живописных качеств, картина отправляется на чердак», — говорил Иван Николаевич. В «Неутешном горе», страшной человеческой драме, идея и ее претворение живописными средствами совпадают. Удивительно написана стройная, прекрасная в трауре женщина, с пожелтевшим лицом, отражающим предельно ее муку. Красный, с мелкими голубыми цветочками ковер под ногами матери, мебель красного дерева, разных цветов венки, портьера, стены комнаты — белое, голубое, красное, желтое, скупые, приглушенные, благородные тона, — все это сливается в общую выразительную и побеждающую зрителя гамму.

Картина «Неутешное горе» — последняя большая вещь Ивана Николаевича, достойная его разраставшегося дарования, — потрясла современников. Перед ней на передвижной выставке всегда был народ и не раз от картины быстро отходили женщины, притавившие свои глаза. Великому Репину она казалась «реальной действительностью, а не картиной». «Эту даму было жалко, как живого человека», — вспоминал Илья Ефимович после смерти Крамского. Быть может, ярче и убедительнее всех других картин и портретов Ивана Николаевича «Неутешное горе» свидетельствует о его безупречном художественном вкусе. Крамской справился с труднейшей из тем, неблагоприятной, опасной, при исполнении которой так легко перейти какую-то грань эстетически дозволительного. Картина волновала и волнует зрителя глубоко, вызывает подлинные слезы, а не сентиментальную слезливость. Иван Николаевич укрыл драму внутри, под спудом, укалив из картины проб. Эта таящаяся подробность, выставленная напоказ, чисто внешняя, ничуть не усиливающая драмы, была бы по первым и в конце концов разрушила бы силу подлинного впечатления и ощущения совершившегося. Художник меньшего прозрения, не удержался бы от соблазна потрясти непосредственной демонстрацией вторжения смерти.

Портрет «Неизвестной», картина «Неутешное горе» обещали неизбежный, еще больший расцвет творчества Крамского и по своему содержанию и, поверяю, по

живописным качествам мастера. Как он понимал и чувствовал краску, колорит — свидетельствует маленькая, почти миниатюрная вещь Крамского — «Букет цветов флоксы», одновременная с написанием «Неутешного горя». Сплетение в букете зеленых, синих, голубых, красных, винных, бордовых цветов, погруженных визуальным переданным сосуд сияющего синего стекла, доступно только редкому художественному глазу и уменью.

Художник поднимался все выше и выше. Но вместе с этим подъемом оставалось все меньше и меньше сил. Недалеко видные товарищи, которых он вел больше двадцати лет от одной победы к другой, не понимали всей глубины мысли своего вождя. А он предвидел, что «история всегда обходится благополучно без помощи тех, кто не поймет своевременно, когда надо пойти с нею в ногу» (Крамской). Иван Николаевич звал к еще большему укреплению русского искусства: оно приостановилось в своем развитии, и Крамской искал новых форм. Он мучился, страдал от вероломства и узкого неведения своих друзей-художников. Они дошли до того, что миновали квартиру бывшего, теперь опального, полководца, поднося почетный заслуженный адрес в день шестидесятилетия неистовому другу передвижников — Владимиру Васильевичу Стасову. Крамского лишили чести подписать этот адрес не только первым, как надлежало, а вообще обошлись без его подписи. И это никому не казалось странным.

Крамской ощутил вокруг себя пустоту.

Неизлечимая болезнь мешала работать — кормить большую семью. Единственным другом, дававшим временное облегчение, был морфий. Страшный и коварный друг! Крамского окружали доктора. Летом 1886 года Иван Николаевич решил выйти из «Товарищества передвижников», не хотевшего больше слушать и признавать беспокойной и дальновидной мысли своего бессменного многолетнего кормчего. Тогда только переполошились и опомнились даже самые неукротимые задиры и верхогляды: Крамскому не дали осуществить его угрозы. Примирение наступило перед самой смертью. В мастерской Ивана Николаевича происходили все собрания передвижников. Несокрушимая энергия Крамского, умирная, растроченная, осталась только в воспоминании. Он говорил слабым голосом, быстро устал, уходил в соседнюю комнату, чтобы «подбодрить» себя очередным глотком морфия.

И все-таки Крамской работал, работал, работал... все свободное время от всяких других дел. Он словно молодец за мольбертом, выздоравливал, лечился от своего неумолимого недуга, хотел обмануть себя. Портретные сеансы умирающего Крамского продолжались по пяти часов. Натура просила пощады, художник хватался за грудь, кашлял порывисто и сухо и не отпускал и умоляюще просил посидеть еще немного, пока он что-то закончит последнее, самое важное, решающее в портрете. Ни один здоровый вполне портретист не был бы способен на такой изнуряющий труд.

Так за портретом своего домашнего доктора Раухфуса, успев только написать его голову, написать мастерски, необычайно смело, с уверенностью в каждом мазке, среди оживленной беседы, Крамской и упал с кистями, лицом в пол, на свою палитру. Доктор Раухфус вскочил, предполагая, что Иван Николаевич находится в

обмороке. Но художник уже умер. Это случилось 25 марта 1887 года.

На Смоленское кладбище в семейный склеп Крамских принесли усопшего на руках старые товарищи, друзья-художники. Репин и Стасов шли в голове. Был теплый, солнечный, яркий день. Тысячная толпа, молчаливая, неподвижная, стояла у склепа; его заделывали долго. И никто не шевельнулся, не наклонился к уху соседа, не переступил на месте. Была торжественная, глубокая, почтительная тишина. Серебряная голова Стасова виднелась над толпой. Дул свежий ветер с Финского залива, растрепал длинные всклокоченные волосы Владимира Васильевича, играл ими, как снежными хлопьями — Стасов не чувствовал, не поправлял. Рядом с ним, колоссом, еле достигаая плеча, с опущенной головой, маленький, хрупкий, ежась, плакал Репин. Они последними ушли от могилы.

Москва 1940—1941

Маяковский и революционная поэзия 1905 года

1

Летом 1905 года из Москвы в Багдад приехала старшая сестра Маяковского — Людмила Владимировна. В родные места на каникулы съезжалась семья Маяковских, жившая в это время на три дома: отец в Багдади, мать, Володя и Ольга в Кутаиси, Людмила в Москве. С глазу на глаз, в тесном родном кругу можно было теперь делиться впечатлениями о волнующих, бурно пережитых последних событиях. В центре внимания — Людмила, привезшая литературу и самые последние новости.

Грохот январских выстрелов у Зимнего дворца прокатился по всей России. Царь расстрелял безоружных рабочих, искавших у него защиты. Обильно пролитая на улицах Петербурга кровь трудящегося народа призывала к борьбе с самодержавием.

«Страшная весть о кровавом злодеянии царя разнеслась повсюду. Возмущение и негодование охватили весь рабочий класс, всю страну. Не было города, где бы рабочие не бастовали в знак протеста против злодеяния царя и не выставляли политических требований. Рабочие шли теперь на улицу с лозунгом «долгой самодержавие»...

В России началась революция»¹.

Людмила Владимировна, жившая уже год в Москве, готовилась в Строгановское училище. Круг ее знакомых состоял из революционно настроенной студенческой молодежи. Она с жадностью читала легальную и нелегальную революционную литературу. Помимо газет, книг и журналов, Людмила Владимировна через близких ей

лиц знакомилась с прокламациями, листовками. Многие из прочитанного она тщательно переписывала.

Из переписки с Ольгой и Володиной Людмила Владимировна знала, что Володя бурно переживает революционные события 1905 года.

В Кутаиси, как и в других городах Закавказья, началась активнейшая большевистская политическая работа среди рабочих, крестьян и учащейся молодежи. Это объяснялось тем, что во главе большевистских организаций Закавказья стал товарищ Сталин, вернувшийся в Тифлис после побега в 1904 году из сибирской ссылки. «По инициативе товарища Сталина в Кутаиси оформляется большевистский Имеретинско-мингрельский комитет, руководивший партийными организациями бывшей Кутаисской губернии. Товарищ Сталин организует при кутаисском комитете группу пропагандистов и подготавливает их для партийно-агитационной работы»¹.

Революционное движение захватывает и учащихся. В гимназических собраниях и забастовках, происходивших в Кутаиси, принимает активное участие двенадцатилетний Маяковский. В материалах и биографии об ученических годах Маяковского приведены любопытные документы из дела «кутаисской мужской гимназии об ученических беспорядках, произведенных в январе месяце 1905 года». 24 января 1905 года директор гимназии О. Усубиш отправляет в Тифлис попочетителю Кавказского учебного округа телеграмму: «Кутаисе уличные беспорядки. Тревожное настроение охватило всех. Родители опасаются отпускать детей

¹ Краткий курс истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Партиздат. 1938. Стр. 56.

¹ Л. Берия. «К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье». Госполитиздат. 1938. Стр. 53—54.

в школу. При данных условиях вести занятия затруднительно. Ждем ваших распоряжений». «Занятий прекращать нельзя», — отвечает попечитель Завадский. В тот же день он получает новую телеграмму: «Сегодня в конце большой перемены ученики произвели шумную демонстрацию. Пришлось их отпустить по домам. Подробности рапортом»¹.

Подробности состояли в следующем. После большой перемены ученики группировались в коридорах гимназии. Сквозь общий шум прорывались крики: «Да здравствует свобода». «Долой самодержавие», и доносились слова еще нестройно звучащих революционных песен. Маяковский состоял в это время в революционном ученическом кружке, участвовал, по свидетельству знавшего его известного грузинского кинорежиссера Н. Шенгелая, в рабочей демонстрации 1905 года в Кутаиси, которую казаки разогнали нагайками.

«Казаки лупили нагайками меня вместе со всеми, — вспоминает сам Маяковский, — это было первое мое крещение, как революционера и агитатора».

В Багдади Людмила Владимировна нашла Володю выросшим во всех отношениях. «Он был насыщен революцией, горел и жил ее судьбой. Я видела в нем юношу, — пишет Людмила Владимировна в своих воспоминаниях, — которому было близко и интересно все, что касалось революции, поэтому я давала читать ему все, что я привезла»².

«Приехала сестра из Москвы, — писал Владимир Маяковский в своей автобиографии. — Восторженная. Тайком дала мне длинные бумажки. Нравилось: очень рискованно. Помню и сейчас. Первая:

Опомнись, товарищ, опомнись-ка, брат,
Скорей брось винтовку на землю.

И еще какое-то, с окончанием:

а не то путь иной
к немцам, с сыном, с женой и мамашей.
(О царе.)

Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то объединялись в голове»³.

«У меня долго, — продолжает Людмила

¹ Маяковский в Грузии. Сборник. Тбилиси. 1936. Стр. 106.

² «Детство и юность Владимира Маяковского». «Молодая гвардия». 1936. № 9, стр. 136.

³ Маяковский. Собрание сочинений. Дополнительный выпуск. Стр. 13—14.

Владимировна, — хранились эти реликвии 1905 года и эти нелегальные, переписанные мною стихи на длинных узких бумажках, а также переписка с семьей. Но в то время, когда я в 1916 году поступила на фабрику Трехгорной мануфактуры, я их сожгла, так как у нас были частые обыски»¹.

2

Что же это были за стихи? Но прежде чем приступить к их рассмотрению, мы остановимся на одном эпизоде, рассказанном Николаем Шенгелая. Маяковский уже в советское время вспоминал в среде грузинских литераторов стихотворение грузинского демократического поэта Иродиона Эвдонивили «Вперед», обращенное к повстанцам 1905 года. В дни рабочей демонстрации 1905 года на улицах Кутаиси двенадцатилетний Маяковский выкрикивал слова этого стихотворения. Володя хорошо знал грузинский язык и первые строки стихотворения «Вперед» неоднократно читал:

Мегобребо, цин, цингасцит!
Ну шедркеба твени гули.
Де! Мкердзе сисхлис даги ачидес
Да шублзе оплис накадули.

По-русски это звучит так:

Друзья, идите вперед, вперед,
Да не дрогнут ваши сердца.
Пусть грудь окрасится кровью,
А на лбу — ручьи пота.

Это было, повидимому, первое революционное стихотворение, которое запомнилось будущему поэту, и реальное политическое воздействие его на массу демонстрантов не могло пройти мимо него. В сознание будущего поэта стихи и революция уже тогда вошли, как одно целое, как единое.

Нелегальные стихи, привезенные сестрой, вызвали у Маяковского чувство глубокого уважения и юношеского любопытства к героике революционного подполья.

В дополнительном томе собрания сочинений Маяковского воспроизведена автобиография Маяковского «Я — сам». Редактор тома указал источники цитируемых Маяковским революционных стихов 1905 года, которые мы приводили выше, но, к сожалению, в комментариях не воспроизвел их. Первое стихотворение называется

¹ «Детство и юность Владимира Маяковского», стр. 138.

«К солдату». Опубликовано оно в 1933 году в сборнике «Пролетарские писатели», т. I. Воспроизведем его полностью:

Постой-ка, товарищ! Опомнись-ка, брат!
Скорей брось винтовку на землю,
И гласу рабочему внемли, солдат,—
Народному голосу внемли!
Зачем ты винтовку свою зарядил?
В какого врага ты стреляешь?
Без жалости брата родного убил,
Детей ты его избиваешь,
Ты здесь убиваешь чужих. У тебя
В деревне — семью убивают.
И издали грозно твоя же семья
Тебя же, солдат, проклинает...
Все улицы русских больших городов
Залиты народною кровью...
Там дети рыдают, и тысячи вдов
Клянут свою долюшку вдовью.
Несчастливая мать потеряет дитя,
Над труником горько заплачет,
И грозно, солдат, проклинает тебя,
Ты слышишь? — Тебя проклинает!..
Ты мать и отца у ребенка отнял,
И кто их убийца — он знает.
И вот с легионом рабочих, детей
Малютка тебя проклинает...
Постой же, товарищ, опомнись-ка, брат,
Скорей брось винтовку и с нами
Восстань за свободу и вместе пойдем
На бой на кровавый с врагами.
Так брось же винтовку. И громко кричи:
«Нет, брат! Я солдат,— не убийца!»
Солдат уж проснулся и даст нам ключи
К покоям царя, кровопийцы.
Проснулась пехота, проснулся матрос,
Проснулась казацкая сила,
И грозно отживший военный колосс
Уж жажда свободы сломился.
Постой же, товарищ! Опомнись, брат!
Скорей брось винтовку на землю,
И гласу рабочему внемли, солдат,
Народному голосу внемли:
«Честнее на улице, в правом бою,
Погибнуть за лучшую долю,
Чем там — на войне — в чужеземном краю
Нам пасть, защищая неволю!»

Эта агитационная социал-демократическая песня неизвестного автора была чрезвычайно популярна. Популярность ее была настолько широка, что она породила большое количество вариантов. Вот, например, А. Дымшиц приводит стихотворение, хранящееся в архиве Ленинградской областной редакции «История фабрик и заводов». Записано оно со слов рабочего меднокотельной мастерской Балтийского завода т. Палова. Запись эта была сделана в 1932 году:

Зачем ты, товарищ,
Винтовку свою зарядил?
В какого врага ты стреляешь?
Ты брата родного по-зверски убил,
Детишек его избиваешь.
Ты здесь избиваешь чужую семью,
В деревне твою избивают,
И издали грозно твоя же семья
Тебя же, солдат, проклинает.
Опомнись, товарищ, опомнись-ка, брат!
Скорей брось винтовку на землю! —
и т. д.

Стихотворение «К солдату» впервые было опубликовано в газете «Социал-демократ», 1905 г., № 11 (4 августа). Но в революционной среде известно оно было раньше. Повидимому, оно было выпущено листовкой, листовка переписывалась от руки. Таким образом оно попало к Людмиле Владимировне Маяковской. Весной 1905 года она отправилась в Багдад и это стихотворение, как и ряд других, везла брату.

Прямой агитационный призыв к крестьянину-солдату объединиться с рабочими и направить винтовку против вековых угнетателей народа, против царя, капиталистов и помещиков произвел на Маяковского такое впечатление, что когда в 1922 году он начал писать автобиографию «Я — сам», то вспомнил именно это стихотворение.

Второе стихотворение — «А не то путь иной к немцам с сыном, с женой и мамашей» — распространялось в анонимной печатной листовке в январе 1905 года. Об этом вспоминает один из свидетелей событий 1905—1906 годов в своем дневнике, опубликованном в журнале «Голос минувшего», № 11—12 за 1917 год: «24 января. Оттепель. На 28 января ожидаем манифеста, которым будет нам «все дано, что желаем»... Блажен, кто верует... А пока в ожидании манифеста запишу стихотворение, очень распространенное теперь в городе (Петербурге.— Н. П.); напечатано оно неизвестно где на маленьких листках»:

Был у нас в городке
На Неве на реке
Ника.

Из себя вышел вон,
Ношкой топает он

дикю.

И кричит: ей же ей,
Им не дам, хоть убей,

Волп.

Будет все, как и встарь.

Аль я больше не царь,
Что ли?

Я повластвую властью
И не сделаю власть
 Мою кучой.
Прикажу все снести,
Но не дам завести
 Конституций.
Мне сказала та тёща,
Чтобы я брал пример
 С папы.

И задам я трезвон
Всем, кто тянет на трон
 Лапы.
Ведь по дудке моей
Тянет много людей
 Очень.

Хоть и молвит молва,
Что моя голова —
 Кочень!

Земцам будет беда,
Ишь полезли куда —
 Шутки!

Им парламент! Да нос
Еще ваш не дорос.
 Дудки.

Мне же нос, господа,
Я клянусь, никогда
 Не утрете.

Я скажу напрямки:
«Пошли вон, дураки!»
 И пойдете.

Ох ты, царь Николай,
Ты на земцев не лай —
 Ишь задорник!

Ты б их слушал совет.
А ругня не ответ —
 Ты не дворянин.

Лучше земцам внемли.
Они люди земли
 Нашей.

А не то — путь иной:
К немцам с сыном, с женой
 И с мамашей.

Сатирический, хлесткий характер этого стихотворения, видимо, и привлек внимание Володи Маяковского. И вспомнил о нем в автобиографии поэт не случайно. Ведь сатира была его любимейшим родом оружия.

3

Знакомство Маяковского с сатирической литературой 1905 года не ограничилось переписанными от руки стихотворениями-листовками. Людмила Владимировна недавно рассказывала автору этих строк, что, помимо нелегальной литературы в печатном и рукописном виде, она привезла в Багдади и в 1905 году и в следующем несколько сатирических журналов. Она

точно помнит, что ею был привезен шебуевский «Пулемет», где в числе прочих номеров был и тот знаменитый номер, на последней странице которого полностью воспроизведен «высочайший манифест» от 17 октября 1905 года с отпечатком окровавленной руки и подписью: «К сему листу свиты его величества генерал-майор Трепов руку приложил».

В 1905—1906 годах появилось, как известно, большое количество сатирических журналов: «Жупел», «Свобода», «Зарницы», «Пчела», «Пули», «Стрелы», «Адская почта» и многие другие. Следует отметить, что только немногие из этих журналов направляли свои сатирические стрелы в самодержавие с более или менее правильных политических позиций. Революционные писатели сатире этого периода придавали большое значение. Достаточно вспомнить, что Максим Горький принимал участие в работе сатирических журналов. В журнале «Адская почта» он печатал «Мысли и изречения «Иегудиила Хламиды».

Читая сатирические журналы, Маяковский все больше и больше проникался интересом к сатирическому жанру. В сатирических журналах 1905 года ожили приемы пародии. Царь, царские министры, кровавые генералы, прославившиеся расстрелами безоружных рабочих, — все они подвергались самому беспощадному сатирическому осмеянию.

Вот, например, в журнале «Зарево» № 1 (декабрь 1906 г.) читаем стихотворение «Гусельки», пародию на известную песенку «Чижик-чирик, где ты был». Стихотворение посвящено Плеве — организатору еврейских погромов, стороннику откровенно провокационных методов борьбы с революцией.

Плеве, Плеве, где ты был?
На Фонтанке кровь я пил;
Правил годик, правил два,
Отлетела голова.

Потом, работая в Роста, Маяковский использовал немало приемов сатиры 1905 года. К принципам пародирования, так широко применявшимся в журналах 1905 года, неоднократно прибегал и Маяковский.

Вспоминается «окно Роста», посвященное Врангелю:

Врангель, Врангель, где ты был?
У француза танк добыл...
Где ты будешь, Врангель мой?
В море шлепнешь головой.

К журналам 1905 года Маяковский обратился снова в зрелом возрасте, когда он писал к двадцатилетию революции 1905 года для цирка пантомиму-феерию «Москва горит». Маяковский мечтал о создании зрелища типа мистерии. В этом направлении он работал над «Мистерией-Буфф», и в этом же плане шла работа над пантомимой-феерией «Москва горит». Прежде чем писать «Москва горит», Маяковский начал изучать материалы и документы, относящиеся к революции 1905 года; вспомнил он и о сатирических журналах 1905 года, произведших на него в свое время большое впечатление.

Он приводит популярнейшую в дни революции 1905 года песенку, упоминаемую в «Кратком курсе истории ВКП(б):

Царь испугался,
издал Манифест.
Мертвым — свободу,
живых под арест.
Ну и конституция —
сахар и мед!
Мертвым свобода —
живым пулемет.
Рот, улыбайся,
радуйся, народ!
Мертвым — свобода,
Живым... наоборот.
(«Москва горит», т. XI, стр. 214.)

В журнале «Жупел», № 3, за 1906 год, за подписью Шпак, была опубликована сатирическая песня «Солдатская — утренняя». И ее Маяковский полностью включил в текст пантомимы-феерии «Москва горит».

«Гвардия распекает старую песенку (из журналов 1905 года):

Шаг назад,
шаг вперед.
Полоборот направо.
Кто
всех вольных перебьет,
Тому честь и слава.
Ура! Ура! Ура!

Бей во славу царского
двухглавого орла.
Лев! Прав! Раз! Два!
Приготовь патроны!
Будет помнить
вся Москва
Красные погоны.
Ура! Ура! Ура!
Бей во славу русского
двухглавого орла.
Рота, стоп!
Рота, пли!
Запевайте, глотки!
Мы заслужим, ай-люли,
Колбасы да водки.
Ура! Ура! Ура!
Бей во славу русского
двухглавого орла».

(«Москва горит», т. XI, стр. 352—353.
2-я редакция.)

Помимо этого, Маяковский использовал для феерии сюжеты карикатур сатирических журналов 1905 года. Так, например, из Шебуевского «Пулемета» использована карикатура на манифест от 17 октября.

«Клоуна закрывают пять экранов. На каждой створке появляется манифест:

Божьей милостью
Мы,
Николай второй», и т. д.

Когда манифест окончен, сквозь него проступает кровавая лапа: «Руку приложил Трепов» (том XI, стр. 214). Точно таким же образом использовал Маяковский тему карточного домика из карикатуры на царскую конституцию (журнал «Зритель», 1905 г., № 19), а также карикатуру «пирамида классов» («Журнал журналов»).

Впечатления от революции и революционных стихов 1905 года во многом определили и характер, и направление поэтической работы Маяковского. Это лишнее доказательство того, что истоки поэтической работы Маяковского следует искать не в футуризме, а в революции, в революционной поэзии, в партийной легальной и нелегальной литературе.

Творческий путь В. И. Лебедева-Кумача

Советский народ принял и горячо полюбил песни Лебедева-Кумача, признал его одним из лучших своих певцов.

Казалось бы, критика должна была обратить серьезное внимание на поэтическую работу Лебедева-Кумача. Но этого нет. Творчество поэта все еще ждет своей оценки. Заметим, кстати, что Лебедев-Кумач работает в литературе около двадцати пяти лет, его перу принадлежат десятки книг.

Охарактеризовать основные этапы его творческого пути — задача данной статьи.

1916 год. Литературный кружок московской гимназии. Его участники — гимназисты старших классов — разбирают материал для очередного рукописного журнала.

Слово попросил один из гимназистов. Он был известен как автор шуточных песен и колких эпиграмм; крепко доставалось в них тогдашним Беликовым, чинушам и бюрократам.

— Что-нибудь смешное, — говорит один из слушателей.

Но глубоко сосредоточенный и серьезный вид автора не предвещает ничего веселого, юмористического. Он оглядывается, убеждается в том, что дверь крепко закрыта. И читает:

...Или честных людей не осталось
в России?

Или нет патриотов, а есть шулера?
Или сгинули честные люди большие?
Или полной разрухи настала пора?

Там — стоят перед ужасом смерти и
плена

Сыновья и мужья, женихи и отцы.

Здесь — министры-шпионы готовят
измену,

И карман набивают мерзавцы-купцы!

Но я верю, — терпенье наполнится
чаша,
И великого мщенья настанет пора...

Автором этих строк был гимназист седьмого класса Василий Лебедев.

В. И. Лебедев-Кумач принадлежит к числу тех поэтов, которых вскормила и воспитала великая революция. Он не ждал пассивно, когда эпоха «возьмет в переделку», и взялся за насущное революционное дело. Работал в Бюро печати Политуправления Реввоенсовета республики и в военном отделе «Агит-Роста». Из-под его пера выходили лозунги, частушки, надписи к плакатам, песни, фельетоны — и все они служили делу революции, звали к победе над врагом.

В поездках, на железнодорожных станциях висели плакаты, на них лозунги Кумача. Один из плакатов гласил:

Ворошилов ворошит,
А Буденный — будит.
Красный флаг огнем горит —
Хлеб и мир добудет!

Во время войны с Польшей он писал:

Идет мириться польский пан,
Но хитрость панская все та же.
Красноармеец! Будь на-страже!
Не дай ввести себя в обман!

А рядом с этим — строки, деловито звучавшие на борьбу с разрухой, бесхозяйственностью и тифозной рожью:

Почеси в затылке, Ваня —
Был ли ты сегодня в бане?
Время в баню улочи,
Кусок мыла получи.

Эти строчки были напечатаны в специальном выпуске «Агит-Роста», посвященном борьбе с тифом. Возможно, что В. Ку-

мая тогда не был знаком с Маяковским, но, по сути дела, он состоял в «бригаде» Маяковского, был одним из его ближайших подмастерьев. Свое дарование он поставил на службу Красной Армии, пароду, борющемуся за дело Великой Октябрьской социалистической революции.

«Это был великолепный поэт-агитатор. Просто и ясно писал он листки, воззвания, подписи под плакатами, рассказы, фельетоны. И как же слушали его вещи бойцы в окопах, в поездах, раненые в лазаретах! Он приносил им отдых, бодрость, вселял порывы опять драться, громить врага. Надо было побывать на фронте, чтобы оценить все громадное значение такого творческого оружия».

Вряд ли можно что-нибудь прибавить к этой красноречивой характеристике, данной А. С. Серафимовичем. Работа в красноармейской печати была замечательной школой для В. Лебедева-Кумача. Поэт учился разговаривать всерьез с народом, воспитывал в себе чувство фронта, оттачивал свое литературное оружие, пащупывал новые, подлинно массовые жанры. Не пройди такой школы, Лебедев-Кумач не воспитал бы в себе тех качеств, которые определяют его нынешнюю поэтическую работу. Это хорошо понимает сам Лебедев-Кумач. «Этот период, — писал поэт, — был школой большевистской печати, кипучей, суровой и незабываемой школой, оставившей следы на всем последующем творчестве. Создавалась привычка в творческом смысле быть всегда на передовых линиях огня, не отсиживаясь в тылу чистого искусства, что делали тогда многие».

ОРУЖИЕМ САТИРЫ

А нынче — пусть простой и
храбрый,
Как воин, бьет врага мой стих
И, как уборщик жесткой шваброй,
Метет в проулках бытовых.

Гражданская война закончилась. Страна вступила в полосу мирного строительства. Лебедев-Кумач пишет ряд агиток на «злобу дня». Он пробует себя и в жанре сатиры. «Крокодил» обрел в его лице активнейшего сотрудника. Хлесткий фельетон, литературная пародия, сатирическая сказка, гротескная шутка, бытовая сценка, песенка а-ля Беранже — все это использует поэт.

Как известно, эпоха пэпа вызвала среди некоторых поэтов растерянность.

Лебедев-Кумач был в числе тех поэтов, которые правильно поняли задачи времени. Он сумел воспеть простым стихом героизм строителей будней.

Правда, далеко не все его стихотворения совершенны. Некоторым сатирическим произведениям пехватало концентрированной силы удара. Они растянуты, многословны. Наконец, у Лебедева-Кумача было немало фельетов-однодневок, не претендовавших на широкое обобщение.

В целом же сатира поэта сыграла большую роль. Фельетоны Лебедева-Кумача получили широкое распространение через эстраду. Они помогали вытеснять эстрадную халтуру. Многие сатирические фельетоны Лебедева-Кумача не потеряли своей социальной остроты и в наши дни.

В свое время Свифт с горечью писал о том, что его произведения никого не исправляли в моральном отношении. В конце концов он пришел к выводу, что сатира никому не нужна...

Советский писатель не знает духовной драмы художников прошлого, ощущавших глубокое противоречие между мечтой и действительностью. Фельетон в советской газете — это сигнал к действию. Зло не остается безнаказанным. Огромной, непередаваемой была радость Маяковского, когда его стихотворение «Прозаседавшиеся» было отмечено великим Лениным с трибуны съезда.

Фельетон Маяковского «Мрачное о юмористах» имеет программное значение для советской литературы. Здесь Маяковский напоминает сатирикам об их задолженности перед советским читателем.

Припаси
на зубе
яд,
в километр
жало вызьмей
против всех,
кто зря сидят
на труде,
на коммунизме.

Лебедев-Кумач мог бы взять эпиграфом к своей сатире именно эти строки. Острее его сатиры направлено против тех, кто «зря сидят на труде, на коммунизме»¹.

¹ Кстати сказать, В. Ардов сообщает: «Пишущему эти строки Маяковский в марте 1930 г. говорил, что он высоко ценит работы Лебедева-Кумача. Маяковский хвалил его умение откликнуться стихами на любую тему, доходчивость этих стихов, четкую технику» («Кр. новь». 1938 г., № 6).

звонения сказать, «гуманизма» вскрывал в своих статьях Максим Горький, призывавший строить... «государство, свободное от хищников и паразитов, а также и от людей, гуманизм которых в сущности служит прикрытием хищничеству и паразитизму».

Большой интерес представляют сатиры «Братья-писатели». Здесь поэт высмеивает писателей, живущих воспоминаниями о некогда проделанной работе и не создающих ничего нового. Особенно хочется выделить остроумную, блестяще выполненную сатиру «Видна работа».

Было так: некий драматург, написав пятиактную пьесу, отнес ее в театр. Завлит прочел пьесу и торжественно изрек:

Видна работа,
Но только что-то
Немножко будто бы темно...
Как будто где-то
Чего-то нету
И что-то не разрешено!
Вы от чего-то здесь ушли
И что-то как-то не нашли...
И даже факты,
Представьте, как-то...
Представьте, как-то не дошли!

Автор огорчен. Но выход все же найден. «Автор просит деловито быть соавтором завлита». Слегка подправив пьесу, они идут за советом к режиссеру. История повторяется. Режиссер критикует пьесу совсем в духе завлита («видна работа»...). Однако при соавторстве режиссера, а впоследствии сотрудничестве премьера, рушатся все преграды. Пьеса увидела свет рампы. Но зритель скучает и в антракте уныло говорит:

Видна работа,—
Но отчего-то
Ужасно хочется зевать!..

«Видна работа» — сатира с широким адресом. Она бичует позорное равнодушие, самодовольное дилетантство, ушколобое делачество, перестраховку — независимо от того, где и как бы они ни проявлялись...

Чтобы показать изъяны нашего быта, Лебедев-Кумач не гонится за чрезвычайными положениями и ситуациями. В одной из его сатир (из цикла «Быт или не быт») запечатлен такой диалог:

— Вы на такси?
— Нет, я на «бе».
— Ну, как живете?
— Так себе.
— Ну, как делишки?

— Понемногу.
— А как детишки?
— Слава богу.
— А как жена?
— Да как полагается:
Была больна,—
Теперь поправляется.
— Была нездорова?
— Лежала в постели.
— В постели? Да что вы?!
— Две недели.
— Ну, а теперь?
— Теперь ничего.
— Что-нибудь... этакое?
— Во-во...
— Ну а у вас как?
— Да как всегда.
— Нечем похвастать.
— М-м-да...
— В театре бываете?
— Нет... Тоска...
— Да уж, знаете...
— Ну, пока!

«На что тратится жизнь» — иронически назван этот разговор. В форме трафаретного разговора поэт изобразил такие отношения между людьми, в основе которых лежит безразличие, обывательская скука, равнодушие, прикрываемые формой условных приличий.

Некоторые свои сатиры поэт адресует капиталистическому миру. Вот одна из наиболее удачных сатир из этого цикла — «Крем Сафо». Здесь поэт верен своему излюбленному методу. От частного он идет к общему. Циничная реклама на обложке заграничного журнала отражает ханжество и отвратительное лицемерие буржуазного общества.

Объявление: две дамы. Одна
некрасиво
Выставляет усталый морщинистый
фас.

А другая свой бюст оправляет
игриво
И смеется кружочками кукольных
глаз.

Подпись — крупными буквами:
«Вы без работы?
Вас нигде не берут? Вы убиты
судьбой?

Вы устройтесь сразу, без
всякой заботы,
Если будете строго следить
за собой.

Этой — всюду отказ! (Стрелка к
первой картинке.)

Эту — примут повсюду! (Стрелка ко
второй.)

Крем «Сафо» устраняет угри
и морщинки
И снабдит ваши щеки румяной
игрой».

Нравы капиталистического мира осмеляны в сказке «Про осьминога».

В глубине океана жили лупоглазый осьминог и его супруга осьминожица. Жили мирно. Размножались. Но счастье было непродолжительным.

Закипела от взрыва вода,
Якоря друг о друга зазвякали,
И пропали простор и еда,
И глазастые детки заплакали...
Налетевши на минный стакан,
Осьминог вдруг упал без движения
И воскликнул на весь океан:
— Погибаю от разоружения!..

Направленная против темных сил старого мира, пережитков капитализма, сатира поэта имеет остро-злободневное значение. Пафос этой сатиры — боевой, социалистический пафос. Она воспитывает нашу революционную бдительность и борется за нового человека.

ПЕСНИ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ

«Мир очень хорош и благодарно услышал бы голоса поэтов, если бы они вместе с музыкантами попробовали создать песни,— новые, которых не имеет мир, но которые он должен иметь».

М. Горький.

Дарование Лебедева-Кумача наиболее ярко сказалось в его песнях, ставших подлинно всенародным достоянием.

Уже в годы гражданской войны он написал ряд песен во славу нашей Красной Армии. Правда, то были первые пробы пера, но важно заметить, что песня давно привлекает внимание поэта.

Освоение таких форм, как частушка, лозунг, также имело значение для подготовки поэта-песельника. Работа над лозунгом — броским, доходчивым лозунгом — не менее трудна, чем работа над рефреном, обязательным в песне.

Лебедев-Кумач не был чужд и лирического жанра. Он создавал хорошие лирические стихи, неизменно окрашенные мягким юмором. Впоследствии лирическая струя выявила себя наиболее полно в его песенных мелодиях.

Работа над песней была трудной и ответственной. Не забудем, что еще лет семь тому назад советский песенный ре-

пертуар был очень беден, большое хождение имели мешанские романсы и сентиментально-пошловатые песенки вроде «Любки», «У самовара я и моя Маша» и т. д.

Перед поэтом стояла трудная задача вытеснить эту песенную макулатуру. Надо было дать улице, колонне демонстрантов, пароду подлинно советскую песню. Лебедев-Кумач такую песню создал, и в этом его исключительно большая заслуга. Зазвучав с экрана, его песни облетели всю страну, вошли в повседневный обиход советского народа.

На стахановском совещании, после заключительной речи товарища Сталина, все встали и запели «Интернационал», но, как рассказывает участник совещания тов. Гудов, расхотелось. Кто-то затыкнул «Марш веселых ребят», и все запели. Вместе со стахановцами пел президиум, пел и товарищ Сталин.

В городах и селах, на дальнем разъезде, в степях, в суровой тайге — везде можно услышать «Марш веселых ребят», «Песню о родине», «Если завтра война». Песня Лебедева-Кумача мощно звучит на улице во время демонстрации, в будни и революционные праздники. Она известна не только в СССР. На далеких полях Шаньдуня наряду с китайскими народными песнями звенит «Песня о родине». В Париже после закрытия Конгресса культуры все делегаты на разных языках пели «Марш веселых ребят». Интернациональная по своему содержанию, советская песня не знает границ. Она — достояние мира.

Естественно возникает вопрос, чему приписать большой успех песен Лебедева-Кумача, причину их огромной популярности в народе?

Кое-кто склонен думать, что своими удачами Лебедев-Кумач обязан исключительно музыке. Не спорим, музыка в песне крайне важна. Но да позволено будет спросить: всегда ли музыка «выручает» поэта? Песня из «Встречного» «Нас утро встречает прохладой» благодаря выразительной музыке Шостаковича имела успех, но непродолжительный. Быстро отзвучала песенка из фильма «Златые горы».

Лебедев-Кумач должен быть благодарен композиторам, проявившим много музыкального чутья в работе над его песнями. Но в такой же мере композиторы могут быть благодарны поэту, ибо «в начале было слово» — положение, которое трудно игнорировать здесь.

В этой связи интересно заявление композитора И. Дунаевского:

«Никто еще не определил, — говорит он, — что важнее в массовой песне: музыка или стихи? Мы и Лебедев-Кумач не конкурируем друг с другом, мы не отнимаем лавров друг у друга. Мы с ним условились понимать, что эти два разных компонента (музыка и текст) дополняют друг друга, взаимно работают друг на друга».

Песни Лебедева-Кумача прочно и, кажется, надолго вошли в жизнь. Повидимому, дело здесь не только в «музыкальном сопровождении», а в тех особенностях, которые заложены в природе его песни. Разобрать эти особенности — значит выявить главное и характерное в творчестве поэта.

«Песня живет духом времени», — замечает Беранже. Великий поэт видит в песне «выражение народного чувства».

Песни Лебедева-Кумача живут духом нашего времени. Лучшие чувства нового человека социалистической эпохи выражены в них искренно и непосредственно.

Ярче и сильнее всего выражают песни чувство любви к социалистической родине. Популярнейшая «Песня о родине» стала поэтической декларацией советского патриотизма. Уже первые строки этой песни дают ощущение величия страны социализма: «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек». Последующие строки усиливают это впечатление мощи и величия. Необъятная родина раскинулась «От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей». «Наши нивы глазом не обшаришь, не упомянешь наших городов».

Мощно звучит в песне мотив о достоинстве нового человека, который завоевал право на труд, отдых и образование. Он свободен от национальных и расовых предрассудков, он умеет работать, смеяться и любить. Его любовь к социалистической родине поэт передает образами, которые своей интимностью и личностью выражают это чувство, как самое глубокое и сильное: «Как невесту, родину мы любим, бережем, как ласковую мать».

На тему о морально-политическом единстве советского народа написана песня «Если завтра война»:

Если завтра война, если враг
нападет,
Если темная сила нагрянет, —

Как один человек, весь советский
народ

За свободную Родину встанет.

Мотив боевой готовности народа звучит и в следующей за припевом строфе, но здесь он приобретает еще большую конкретность и выразительность. Понятие «страны» уточнено географически и социально-политически:

Если завтра война, — всколыхнется
страна
От Кронштадта до Владивостока.
Всколыхнется страпа, велика и
сила,

И врага разобьем мы жестоко.

Сила этой песни — в ее внутренней динамике, в постепенном нарастании одного и того же чувства, выраженного с большой непосредственностью и силой.

Сколько внутренней энергии в строфе:

Подымайся, народ, собирайся в поход!
Барабаны, сильнее барабаньте!
Музыканты, вперед! Запевалы, вперед!
Нашу песню победную гряньте!

С огромным воодушевлением исполняет народ эту песню.

Лебедев-Кумач, как никто из советских поэтов, передает песенной строкой чувство молодости, присущее людям сталинской эпохи. Его бесспорной заслугой является создание жанра веселой, жизнерадостной песни. Бодростью, молодостью веет от каждой ее строки:

Ну, как не запеть, если счастье
в руках

И его никому не отнять,
Ну, как не запеть, если мы

в облаках,
Точно соколы, можем летать!

Ну, как не запеть, если все вперед
И дорога пряма и светла,

Ну, как не запеть, если ждут
на пути

И любовь и большие дела?

Даже природа разделяет с поэтом его радость. Даже ветер у Кумача — «веселый ветер». Вот этим своим солнечным оптимизмом, органически вытекающим из мироощущения нового человека, Лебедев-Кумач особенно дорог читателю.

Два образа последовательно проходят через творчество поэта. Основной образ — это образ самой песни. Природа, труд, борьба — все ассоциируется с песней: «Работа, как песня, звучит», «Вся пшеница

кругом подпевает, подпевает высокая рожь».

Сила нашей песни, воспитывающей и укрепляющей моральное единство многонационального советского народа, поэтически раскрывается в строках:

Москва и Киев поют «Сулико»,
В Тбилиси «Москва» поется.
Порой друзья живут далеко,
А сердце их рядом бьется.

Часто упоминается в песнях Кумача Волга. В восприятии поэта полноводная красавица Волга — символ изобилия. «Всюду жизнь и вольно и широко, точно Волга полная, течет». И еще: «Разорвали мы серую тучу, над страной весна расцвела, и, как Волга, рекою могучей наша вольная жизнь легла».

Образы Волги, песни приобретают у Лебедева-Кумача символическое значение. Они отвечают основной теме его поэзии — теме счастья и молодости человечества, вступившего в свою историческую весну. Жизнерадостность этой поэзии не имеет ничего общего с так называемым «бодрячеством». Это подлинно глубокий оптимизм народа, уверенного в прочности и незыблемости своего счастья: «Нигде на свете нет силы, чтоб сломила молодость страны».

«...Социалистическое государство надо любить не только умозрительно, а конкретно, т. е. с его природой, полями, лесами; фабриками, заводами, колхозами, совхозами и т. д., с его стахановцами и стахановками, с комсомолками и комсомольцами. Надо любить нашу родину со всем тем новым, что существует в Советском Союзе, и показать ее, родину, в красивом виде... в ярком, художественно-нарядном виде. Если художник так будет любить социалистическую родину, то перед его глазами раскроется все то живое и великое, что делается в советской стране, и его любовь наполнится глубоким, живым, реальным содержанием».

Этими словами М. И. Калинина хочется охарактеризовать идейную направленность песен Кумача.

Люди, простые советские люди шагают с песней по жизни. Это — красноармейцы, пограничники, моряки, колхозники, летчики, трактористы, железнодорожники, лыжники, туристы, веселые наши подруги, — это большая советская семья, в которой каждый живет творческой, осмысленной жизнью. Поэт не забывает и о маленьких гражданах нашей страны. Он относится с полным уважением к своей юной аудито-

рии. Его песни для детей чужды сюсюканья и слащавой сентиментальности. Это бодрые, мужественные песни, воспитывающие в ребятах качества полноценных советских граждан. «Пионерский наказ» — это гимн юного патриота, который «всегда готов»...

Поэт гордится человеком, новым, советским человеком, который чувствует себя хозяином земли, сдвигает горы, меняет течение рек. Он подымает тост за скромного, твердого, мужественного человека нашей эпохи. «Советский простой человек» — поэтический гимн силе и красоте нового человека сталинской эпохи — эпохи творческого дерзания и великих социалистических работ:

В морские глубины пробьется,
Взойдет на Эльбрус и Казбек,
И всюду победы добьется
Советский простой человек.

Советский человек в поэтическом восприятии Лебедева-Кумача — это прежде всего человек, осознавший свободный труд, как свое величайшее счастье. Тема труда всегда наполнена у поэта высоким патристическим звучанием. Герой его песни ощущает свое живое участие в общем созидательном труде, направленном на укрепление боевой мощи страны социализма. И это дает ему моральное право сказать:

Мы с чудесным конем
Все поля обойдем,—
Соберем и посеем и вспашем!
Наша поступь тверда,
И врагу никогда
Не гулять по республикам нашим.

Центральное место занимают в песнях Лебедева-Кумача люди Красной Армии — артиллеристы, танкисты, моряки, пограничники, капитаны воздушных морей. «Отважные люди, упрямый народ. Одна им дорога — к победе вперед», — этими словами поэт характеризует танкистов, которые, в свою очередь, поют: «Раздайся, река, и раздвинься, тайга, советские танки идут на врага». Танкистам вторят пограничники:

Мы стоим стеной несокрушимой,
Слышим шорох каждого куста,
И на Родине любимой
Нет почетнее поста.

Поэт воспевает сталинских соколов, капитанов воздушных морей:

Для героизма не сыщешь предела,
У отваги — не видно границ.
Нет преграды умелым и смелым
Вожакам наших сталинских птиц.

Колонну советских людей венчает «просто советский человек» — товарищ Сталин. Ему, любимому вождю, поэт посвятил венок прекрасных песен.

Торжественно-величавая «Песня о партии» звучит как гимн в честь великой партии большевиков. «Ты — гордость народа, ты — мудрость народа, ты — сердце народа, ты — совесть его!»... Великие чувства народа, его любовь, уважение и доверие к партии выражены поэтически сильно в этой широко известной песне:

Страны небывалой свободные дети,
Сегодня мы гордую песню поем
О партии самой могучей на свете,
О самом большом человеке своем!

Славой овейна,
Волею спаяна,

Крепни и здравствуй во веки веков,
Партия Ленина,
Партия Сталина,—

Мудрая партия большевиков!

Прекрасный образ поэт создает в стихотворении «Его портрет»:

...Глядишь на портрет — и будто он
знает

Работу твою и кладет на весы:
Плохо работал — он брови сдвигает,

А хорошо — улыбнется в усы.

И оттого, что он есть на свете,
Хочешь сильнее добиваться побед.

Вот почему и отцам и детям

Дорог родной и знакомый портрет.

В Кремле вся страна не влезет
разом,

И руки не сможет он всем пожать.

Но любит народ ощупать глазом

Того, кого в сердце привык держать.

Тепло и просто рисуется образ Сталина в стихотворении «Садовник». «День и ночь трудам и думам» отдается мудрый садовод. Осматривая выращенный им сад, он «тихонько» говорит:

— Не напрасно люди наши

Проливали пот и кровь,—

Что ни день — светлей и краше

Всходит радостная новь!

Растет и ширится круг советских песельников. Известны своими песнями Исаковский, Асеев, Голодный, Гусев, Гатов, Жаров, Долматовский, Прокофьев, Сурков, Светлов, Чуркин, Шведов и многие другие поэты.

Превосходные песни Асеева («Конная Буденного»), Алимова («По долинам и по взгорьям»), Голодного («Партизан Желез-

няк»), Суркова («Юнармейская»), Исаковского («Прощание»), Светлова («Каковка»), Рудермана («Тачанка») тематически связаны с периодом гражданской войны, воспевают героизм той эпохи. Большинство песен Лебедева-Кумача выросло целиком на почве социалистического строительства.

Песня Лебедева-Кумача имеет свои интересные художественные особенности, которые делают ее поэтически явлением. Стихия песни — поэзия высокой и мудрой простоты. Песня не терпит усложненных метафор, всего, что стесняет ее свободное дыхание. И Лебедев-Кумач не гонится за словесными новшествами и эффектными созвучиями. Его рифмы незатейливы, а словарь прост.

В некоторых песнях Кумача чувствуется влияние веселых строф Беранже, но сильнее всего ощущается в них дух русского народного творчества.

«Настоящая народная песня за внешней красотой... не гонится,— писал М. Горький в письме к селькорке Агапкиной,— а умеет говорить от души самыми простыми и потому красивыми словами».

По пути создания такой песни пошли наши лучшие песельники: Лебедев-Кумач, Исаковский, Прокофьев, Сурков, Светлов. Их близость к фольклору — органическая близость. Она продиктована содержанием их песенного творчества, выражающего подлинно народные думы и чаяния.

Следуя традиции народных песен, Лебедев-Кумач использует в своем творчестве постоянные эпитеты. Месть у него жгучая, печаль горячая, туман седой, дороги просторные, друзья боевые, песня звонкая, ласка теплая, взгляд радостный.

Широко применяет он прием отрицательного сравнения, столь характерный для народной поэзии:

То не ветер, по полю гуляя,

По дороге пыль метет,—

Это наша удалая,

Удалая конница идет!

Однако дело не только в этих фольклорных приемах. Песни Лебедева-Кумача народны по содержанию и по форме.

Возьмем его красноармейскую песню «Эх ты, яблочко». Народность в предельной простоте и доходчивости ее основного образа (цветущая яблоня — символ родины), в разговорных интонациях («Знайте, девушки, знайте, бабоньки, не видать врагу нашей яблоньки»), в чисто народном

юморе («Мы врага кормить станем пулями,
вместо яблочка — только «дулями»).

Заканчивается песня так:

Не сломать тебе,
Враг-уродина,—
Нашей яблоньки,
Нашей родины.

Глубоко народна по своей форме, по своему юмору красноармейская шуточная «Милости просим». Она звучит так, словно ее след сам народ:

По радушью мы из первых,
Угощать мы мастера,—
Есть гранатные консервы,
Есть шрапнельная икра.

Всех врагов в Стране Советов
Любит потчевать народ,—
И свинцовые конфеты
Попадают сами в рот.

Для гостей столы накрыты
У рабочих и крестьян,—
Приготовим знаменито
Сотни блюд а-ля Хасан.

Мы посыпем и подложим,
И вольем и подольем,
В землю спать гостей уложим,
Сами в гости мы пойдём.

Одной из характерных особенностей песен Лебедева-Кумача является их разговорность, и эта черта свидетельствует о народной основе его творчества.

Мастер крылатой фразы, поэтического афоризма, Лебедев-Кумач вкладывает глубокий смысл в каждый свой афоризм. Кому неизвестны эти правдивые мысли, выраженные с такой благородной простотой!

Где бы мы сейчас ни жили,—
Все мы сердцем москвичи.

Мы не строили замков воздушных,
Мы воздушный построили флот.

Когда страна прикажет быть
героем.—
У нас героем становится любой.

Никогда, никогда не погибнет страна,
Где так пламенно любят детей!

Куда ни пойдешь —
Везде молодежь,
И все от рожденья крылаты.

Три слова заветными стали,
Большие, родные слова:

Нет имени выше, чем Ленин и Сталин,
Нет слова теплей, чем Москва.

«Вот мысли моего народа», — сказал на митинге в Нью-Йорке Герой Советского Союза В. Чкалов, процитировавший в своем выступлении строки Лебедева-Кумача.

Нужно сказать и о певучести стихов Лебедева-Кумача. Его песню именно хочется петь, даже тогда, когда мотив неизвестен. Мастерство Лебедева-Кумача ярко проявляется в припевах его песен; в основе каждого рефрена лежит живой ритмический узор:

Мы врага встречаем просто:
Били, бьем и будем бить.

Насыщенная глаголами, последняя строка полна энергии и силы. Строка бьет в цель, она «стреляет».

А вот еще припев из песни «Морские волки», задуманной как детская игровая:

Якоря мы поднимаем вот так!
Паруса мы поставим вот так!
Веселее, моряк!
Веселее, моряк!
Делай так, делай так и вот так!

Здесь каждое слово — сигнал к действию, призыв к игре. Ритм не является чем-то самодовлеющим, он служит общему замыслу автора.

Песня Лебедева-Кумача — подлинно массовая песня. Отсюда забота автора о доходчивости каждого слова, припева в частности. Легкой запоминаемости рефрена способствуют вводимые в припев пословицы и поговорки, своеобразные повторы («с м о т р и т е, родные, с м о т р и т е, друзья, с м о т р и, молодая подруга моя»), вопросы и ответы («все ли на месте? все как один»).

Не все песни поэта равноценны. Вяны его песнях нет движения поэтической мысли, они бедны содержанием.

Есть у Лебедева-Кумача песни, которые не следовало включать в сборники: они повторяют друг друга, монотонны. И хотя говорят, что из песни слова не выкинешь, по в некоторых песнях Лебедева-Кумача хочется менять слова и целые строфы. Так, строка, «если враг захочет нас сломать» неблагозвучна из-за сдвига (получается «насломять»). Аналогичный порок в строках: «сломазася коса» (получается «сякоса») «лез не с голыми руками» (читается «лезнес»).

Все эти отдельные недостатки не умаляют, конечно, общего значения поэзии Кумача.

В своем большинстве песни Лебедева-Кумача — это молодые, нестареющие песни. Не случайно в одной из речей М. И. Калинин отмечена «задорная, постоянно повторяемая у нас и каждый раз как бы впервые звучащая песня «Широка страна моя родная». А как свежо и молодо звучит «Спортивный марш» в наши дни, когда воспитание мужества приобретает столь глубокий общественный смысл.

Действенная сила песен Лебедева-Кумача сказана и в дни, когда народ с оружием в руках давал отпор зарвавшимся врагам. Песня поэта вдохновляла бойцов, с ней многие шли в бой.

ПОЭЗИЯ ФРОНТА

«И песня и стих — это бомба и
и знамя».

В. Маяковский.

Последние два года работа Лебедева-Кумача отмечена новыми достижениями, развившимися в создании обширного цикла стихов на оборонные темы. Одним из первых поэтов он ушел на фронт, чтобы оружием стиха помогать героической Красной Армии в ее великой освободительной борьбе.

В предисловии к сборнику фронтовых песен и стихов Лебедева-Кумача редакция газеты «Красная Армия» пишет:

«Депутат Верховного Совета РСФСР — поэт-орденоносец Василий Иванович Лебедев-Кумач прибыл на фронт к началу операций, и уже 18 сентября бойцы читали его первое стихотворение «Встреча». С тех пор почти в каждом номере фронтовой газеты «Красная Армия» появлялись стихи В. И. Лебедева-Кумача, неутомимого в своем творчестве».

Некоторые критики, снисходительно оценивая фронтовые стихи поэта, высокомерно называли их произведениями-однодневками, отвечавшими только потребности момента. Это неверно.

Далеко не все, что написал за это время Лебедев-Кумач, заслуживает высокой похвалы. Многие его вещи находятся на уровне беглого поэтического репортажа. В ряде стихотворений встречаются технические погрешности, впрочем, совершенно неизбежные, если принять во внимание, что стихи создавались в условиях фронта.

Однако же, сколько замечательных стихотворений написал за этот период Лебе-

дев-Кумач! Как хорошо отражают они обстановку тех дней, как много говорят они нашему разуму и сердцу! С какой искренностью и простотой выражено в стихотворении «Первый митинг» настроение людей, впервые свободно произносящих такие слова, как «Сталин», «товарищ», «совет»!

В ряде стихотворений Лебедев-Кумач запечатлел любовь освобожденных народов к героической Красной Армии. Но в отличие от некоторых поэтов, писавших на эту тему «декларативные», иногда слащаво-сентиментальные стихи, Лебедев-Кумач сумел об этом рассказать тепло и просто, используя конкретный материал действительности.

Вот стихотворение «На окраине города». Прочтем его.

Старик еврей в убогом котелке
Нам молча кланялся, с улыбкой

И котелок дрожал в морщинистой
руке,

И развевалась борода седая.

В ответ мы козырнули и прошли.
Идем назад — он кланяется снова,
Библейской бородой чуть не достал
земли,
Вновь улыбнулся нам, и вновь
ни слова.

Что он старается? Какой чудной
старик!..
Вдруг девочка с огромными глазами
К нам подошла и тихо говорит:
« — То мой есть дедушка. Он очень
рад за вами.
Он говорит... Он просит передать,
Что если б вы хоть на день
опоздали,
То был бы нам погром... Так
правильно сказать?
И вы бы нас живыми не видали...»

Мы разделили радость старика
И девочке тепло сказали:
— До свиданья!
По узкой улочке шли копыные
войска...
Как хорошо, что мы пришли
без опозданья!

Сила стихотворения в гуманистическом пафосе, который пронизывает каждую его строку. Величие Красной Армии, как самой человечной в истории человечества армии, на конкретном жизненном примере раскрывается в стихотворении «Как хорошо, что мы пришли без опозданья!». Эта

строка, заключая стихотворение, звучит удивительно мягко и человечно.

Вот еще стихотворение из этого цикла — «Бабуся». Форма стихотворения — вопросы и ответы — не нова. На вопросах и ответах основаны многие произведения народной поэзии.

Лебедев-Кумач широко использовал эту форму в фронтовых стихах и песнях. Поэт, апеллирующий к широким народным массам, отдает предпочтение тем формам, которые наиболее действенны, наиболее доходчивы до масс.

— Бабуся, бабуся, зачем тебя
ночью

В отряд занесло к нам сюда?

— Случайно, родимый, случайно,
сыночек,

Иду — и не знаю куда.

— Откуда ты родом? Зачем ты,
седая.

До хаты своей не идешь?

— До тла погорела деревня родная,
И хаты моей не найдешь...

— А где же старик твой, куда
он девался?

Где дочки твои и сыны?

— Над дедом и дочкой снаряд
разорвался.

Сынов — постреляли паны.

— Куда же идешь ты в погоду
такую?

Какую ты ищешь судьбу?

— Таких вот, как вы, молодцов
все ищу я —

Людей со звездой во лбу.

— Зачем же, бабуся, тебя
научили

Советских бойцов отыскать?

— Чтoб катам за муки мои
отомстили,

Чтoб правду мне дали узнать!

— Ну, ладно, бабуся, иди
обогрейся.

Да супу поешь из котла.

— Спасибо, сыночки,
червоноармейцы, —

Я все, что искала — нашла!

Ленин в своем докладе на III Всероссийском съезде Советов приводит услышанный им разговор между несколькими финнами и одной старушкой: «...теперь не надо бояться человека с ружьем, — говорила старушка. — Когда я была в лесу, мне встретился один человек с ружьем, и вместо того чтобы отнять от меня мой хворост, он еще прибавил мне...» По этому поводу Ленин сказал: «...в народных массах поднимается теперь другой голос; они го-

ворят себе: теперь не надо бояться человека с ружьем, потому что он защищает трудящихся и будет беспощаден в подавлении господства эксплуататоров».

Бабуся верным чутьем угадывает в червоноармейцах родных и близких ей людей. После ее просьбы, чтобы «правду ей дали узнать», ждешь необыкновенных, возвышенных слов. Но в ответ раздается. «Ну, ладно, бабуся, иди обогрейся да супу поешь из котла». В этой, казалось бы, прозаической фразе раскрывается вся поэзия сыновнего отношения червоноармейцев к женщине из народа, обретающей вторую семью в красноармейском отряде.

«Украина моя, Украина», «Запевайте, хлопцы, песню», «За любимым командармом», «Золотился тихий вечер» — замечательные по лиричности песни. Украинские образы и словечки придают этим песням особый колорит.

Ряд стихотворений Лебедев-Кумач посвящает польскому трудовому народу и польской интеллигенции. Замечательная агитка «Пан и Ян» рисует политическое прозрение батрака, вставшего с колен, выпрямившегося во весь свой рост, чтобы сказать: «Прошу пана, — стал хозяином народ».

Неудивительно, что песни поэта, равно как и его частушки, бьющие метким огнем по противнику («Нет у больше панской Польши»), нашли горячий отклик в сердцах трудящихся Западной Украины.

С польского фронта муза поэта перешла на финский. И здесь, как подобает поэту-патриоту, Лебедев-Кумач развернул большую оперативную работу.

«С первых дней боевых операций Краснознаменного Балтийского флота против белофинских банд поэт-орденоносец, депутат Верховного Совета РСФСР Вас. Лебедев-Кумач несет боевую вахту вместе с краснофлотцами и командирами Балтики. Песня и стих поэта-бойца зовут вперед бесстрашных советских моряков, воспитывают героизм в бойцах и ненависть к заклятым врагам нашей Родины и финляндского народа».

Это небольшое предисловие к сборнику «Балтийцы в боях» ясно и четко характеризует мужественную работу поэта на фронте борьбы с финской белогвардейщиной.

С точки зрения формы и техники стиха не все здесь выдержано.

Вот наш герой — бесстрашный,
скромный, смелый
Во всей своей пленительной красе.

Иногда глубоко досаждаешь на поэта, который не слишком разборчиво относится к таким вот строкам, поставленным рядом с поэтически сильными и выразительными стихами.

Однако в своем большинстве стихи и песни, написанные на фронте, представляют большой интерес. Ярость и гнев народа, его величайший духовный подъем запечатлены в стихах и песнях Лебедева-Кумача с большой поэтической силой.

В центре его фронтовых стихов — моряк и пилот; их подвиги он славит простым и задушевным словом:

Два десятка раз он был
В крепком переплете,
Два десятка раз он бил
По врагу в полете.
Но о подвиге любом
Хоть четыре слова
Можно вытянуть с трудом
У стрелка лихого.
Скромнен он, как коммунист,
Весел, как ребенок,
Молодой стрелок-радист,
Боевой орленок.

С этим героем — скромным и простым человеком, бесстрашно выполняющим боевой приказ, — мы встретимся не раз; поэт пишет о нем с нескрываемым чувством гордости, справедливо видя в его подвигах концентрированное выражение замечательных боевых качеств советского народа.

Голоса советских людей, бесстрашных в бою, полных боевой решимости, готовых выполнить волю народа, мы услышим в четких словах припева к песне десантников:

— Кто охотники в десант?
— Все, товарищ лейтенант!
— Дать урок для белых банд!
— Есть, товарищ лейтенант!
— Поддержать морскую честь!
— Есть!

Немало написал он юмористических стихов. При чем юмор стихов народен в своей основе. Это лукавый, иногда чуть озорной юмор человека, который знает цену себе, своим силам. Вот две прекрасные миниатюры из цикла «Балтфлот смеется»:

Лесная басенка

По лесу красные идут,—
На соснах «финики» растут.
Взметнулись ружья смелые,
Упали фрукты белые!

Идя в финляндские леса,
Не забывай про «чудеса».

Точная сводка

Таннер Маннера спросил:
— Как успехи наших сил?

Маннер Таннеру в ответ:
— Не читал еще газет!

Лебедев-Кумач выпустил по врагу целую обойму таких сатирических стихов. Это: «Рапорт балтийцев матери-природе о ясной погоде», «Песня отважных малюток», «Белый чижик, где ты был» и т. д. Круто посланные морской шуткой, эти стихи и песни веселили краснофлотцев, вливали в них силу и бодрость.

Перед лицом серьезных испытаний В. И. Лебедев-Кумач показал себя отличным бойцом армии искусств. Его фронтовые стихи удивляют разнообразием содержания и формы. Это — подлинные образцы боевой оперативности в литературе. И думается, что эти стихи будут служить для многих поэтов примером поэтической мобилизованности.

Честная и преданная работа поэта-воина оценена по заслугам партией, правительством и советским народом. Стахановка фабрики «Красная роза» тов. Григорьева, выдвигая В. И. Лебедева-Кумача кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР, говорила:

«На нашей фабрике, в нашем Фрунзенском избирательном округе, в нашей красной столице, во всей стране нужно днем с огнем искать человека, который бы не знал и не пел песен поэта-орденоносца В. И. Лебедева-Кумача».

Об отношении народа к творческой работе Лебедева-Кумача лучше всего говорят письма читателей — документы веселой дружбы поэта с его аудиторией.

Свердловщик А. Бабайкин пишет Лебедеву-Кумачу:

«Слова ваших песен вошли в разговорный обиход, как разменная монета. Я сам нередко встречал людей, которые, освобождая место, дорогу, говорят пожилым: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». Или еще такой пример: человека спрашивают, как это ты сделал? Как этого ты достиг? А человек, которого спрашивают, гордо отвечает: «кто

весел — тот смеется, кто хочет — тот добьется, кто ищет — тот всегда найдет!»

В газете «Красный Балтийский флот» было помещено стихотворение Лебедева-Кумача, «А как у нас с ремонтом?» Производственные мастера ленинградских судостроительных мастерских коллективно обсудили это стихотворение и написали Лебедеву-Кумачу письмо.

«В своих песнях и стихах Вы не раз призывали советский народ к борьбе за великие сталинские дела, и Ваше последнее стихотворение вновь воодушевляет нас. Мы делаем все для того, чтобы поступивший к нам в ремонт флот был отремонтирован на отлично и действовал в боях с капитализмом безотказно».

Поэтическим ароматом веет от письма-привета:

«Поет Васильий Лебедев-Кумач! Ваші правдиві, надзвичайної краси и могутчої сили випучі поезії зачарували мене і чарують всіх, хто має серце людини.

Велике Вам, щире, щире спасибі за Ваші пісні, за безприклядні народні образи безсмертних героїв. Живіть здоровим, могутий поете, доти, поки сонце світитиме, і мишіть народу доти, поки вода в морі бігтиме.

Ваш читач — М. Коломієць».

Читаешь письма, адресованные Лебедеву-Кумачу, другим нашим поэтам — и думаешь: какое высокое моральное удовлетворение должен получить певец, окруженный вниманием и любовью народа!

Великий Беранже был ценим и любим народом, но какую горькую чашу страданий пришлось испытать изумительному пельсьнику французского народа! Немало пережили Руже-де-Лиль, автор «Марсельезы», Дюпон, автор «Песни рабочих».

20 июля 1826 года Беранже писал Руже-де-Лиллю:

«Я хочу обратиться к Вам с наставлением: не краснейте от того, что Вас арестовали из-за долгов. Скорее вся нация должна краснеть за те злоключения, которым все время подвергается автор «Марсельезы». Я не раз кричал об этом в салонах эглизистов».

Советский народ, умеющий ценить искусство, хорошую, умную и правдивую поэзию, дарит певцам свою щедрую любовь; поэт — доверенное лицо народа, его избирают в социалистический парламент.

Поистине, большое это счастье — быть творцом песен, отвечающих мыслям и чувствам советского народа. Поэт, на долю которого выпала такая высокая честь, должен оправдать доверие народа все возрастающей требовательностью к себе.

Иоганнес Бехер

(К 50-летию со дня рождения)

Бехером написано около тридцати книг. Но только три книги стихов, написанных в последние годы: «Искатель счастья и семь тягот» («Der Glücksucher und die sieben Lasten», 1938), «Сонеты» (1939) и «Второе рождение» («Wiedergeburt», 1940), раскрывают все своеобразие и силу его поэтического дарования.

В критике несколько раз проскальзывала мысль, что только с «Искателя счастья» и начинается настоящий Бехер. Верно, что старые стихи Бехера бледнеют и кажутся незначительными по сравнению с насыщенными мыслью и эмоцией, кристально ясными, чеканными строками «Искателя счастья». Но Бехер последних лет был бы невозможен без всего предшествующего развития.

Есть несколько черт, которые всегда были свойственны Бехеру-человеку и определили Бехера-поэта. Это, прежде всего,—высокое сознание ответственности, общественного значения своей поэтической работы. Это — постоянная неудовлетворенность достигнутым, бесстрашие в преодолении застывших поэтических канонов — в том числе своих собственных. Это, наконец,—постоянное стремление к единству поэзии и жизни, творчества и борьбы.

Уже в юношеские годы Бехер испытывал ненависть к капиталистическому свинству. Об этом нам сейчас напоминает его роман «Прощание» («Abschied», 1940). Судьба героя романа, юного Ганса Гастля,—типическая судьба одного из «блудных детей» буржуазного общества, интеллигента-отщепенца, бунтаря. Этот мятущийся подросток сродни и Жаку Тибо из недавно законченной эпопеи Роже Мартен дю Гара и Клаудису Терра из «Голо-

вы» Гейриха Манна. Стремление к тому, чтобы «все изменилось», заложено в самой сути характера Ганса. Это стремление беспредметно: жизнь не даст ответа, как добиться, чтобы «все изменилось».

«Прощание» хорошо объясняет, откударосло то тяготение к абстрактно-нигилистическому, анархическому бунту, которое было свойственно некоторым из молодых интеллигентов Запада в предвоенные годы. Социал-демократия отталкивала своим реформизмом. Гнет застойного обывательского быта внушал желание поступать «наоборот», быть во всем непохожим на мещанина, на буржуа. Бехер пишет о себе: «Когда отец говорил: «еще слишком рано»,—я говорил «уже слишком поздно» и наоборот, вместо того, чтобы посмотреть на часы и узнать точное время».

Молодому Иоганнесу Бехеру было ясно только одно: там, где буржуазный порядок говорит «да»,—он должен говорить страстное «нет». Юношеские стихи Бехера это — «нет», брошенное наобум, без цели.

Бехер далеко не сразу смог утвердить свою самостоятельность по отношению к самому распространенному течению немецкой литературы 1910—1920 годов — экспрессионизму. В ранних сборниках Бехера (например «Verfall und Triumph».—«Распад и торжество») не меньше крикливой декадентской пугалицы, чем в писаниях многих заурядных экспрессионистов. Но то, что у многих других было поэзией и оригинальничаньем, у Бехера было выражением большой, настоящей душевной боли.

В годы первой мировой войны многие анархистствующие бунтари быстро превра-

Бехер долгое время думал, что речь революционера должна быть не только простой, но аскетически простой. Став коммунистом, Бехер решительно отказался от формалистической изощренности, от необузданного декадентского хаоса слов и образов. В этом проявилось большое мужество поэта, его способность идти по линии наибольшего сопротивления и совершать большую внутреннюю ломку. Но эта ломка была болезненной. Стремясь к максимальной простоте, поэт иногда обеднял выразительные средства своей поэзии и кружным путем возвращался к тому, чего хотел избежать — к экспрессионистской отвлеченности.

Очень легко найти всевозможные недостатки в произведениях Бехера 20-х годов. Но нужно мыслить исторически, чтобы оценить их значение. В своих произведениях этих лет он неизменно выступал пионером новых тем. Бехер был едва ли не первым поэтом Запада, попытавшимся воссоздать титанический образ Ленина: его поэма «У гроба Ленина», несмотря на некоторую свою риторичность, до сих пор волнует искренностью революционного пафоса. «Люизит» Бехера, заслуживший одобрительный отзыв Горького, — роман о будущей войне, появившийся в 1926 году, когда интеллигенция Запада была охвачена «стабилизационными» пацифистскими иллюзиями и не помышляла о военной опасности, — был первым в длинном ряду немецких антивоенных романов, опередив на несколько лет книги Ремарка, Глэзера, Ренна, Арн. Цвейга, Вринга. Бехер первым на Западе попытался в своей поэме «Великий план» передать гигантское напряжение социалистического строительства в СССР, создать — в противовес всевозможным клеветническим измышлениям буржуазных литераторов и журналистов — монументальную картину осуществления первой сталинской пятилетки (не забудем, что эта поэма была написана зимой 1930—31 года — в момент величайшего обострения опасности нападения капиталистических стран на СССР!).

Читателю сегодняшнего дня все эти произведения Бехера кажутся во многом наивными, схематичными. Но они остаются, как документы борьбы.

Одним из наиболее устойчивых предрасудков, тормозивших развитие революционной литературы Запада, было пренебрежение к лирике, ко всякому личному, ли-

рическому элементу в художественном творчестве. Бехер нередко беспощадно «наступал на горло собственной песне».

Когда Бехер писал:

Я отказался от имени,
Меня зовут «товарищ» —

в этой аскетической декларации была своя глубокая искренность. Эти строки по сути дела полемически заострены: они бьют по буржуазному индивидуализму, порождены желанием максимально резко от него оттолкнуться. Но такое самоуничтожение личного вовсе не вызывалось революционной необходимостью. Напротив: оно означало устранение из поэзии живого человека в его индивидуальном своеобразии, во всей сложности его переживаний.

Оно парадоксальным образом представляло невольную уступку буржуазному мировоззрению и эстетике, ибо именно буржуазное искусство новейшего времени грешит равнодушием к человеку.

В сборнике «Человек нашего времени» («Ein Mensch unser Zeit», 1930) есть явные следы внутренней борьбы, происходившей в поэте. В сборнике есть несколько интимно-лирических стихотворений, где личные эмоции — восприятие природы, любовь — даны отвлеченно. Зато большая часть книги — либо стихотворные очерки, либо стихотворные прокламации. В последних чаще всего есть крепкий ритм и неподдельная боевая энергия. Но они однолинейны, чаще всего — чрезмерно расчудочны. И характерно, что эти стихотворения имеют немало общего с декадентской поэзией Запада. В них часто возникают урбанистические образы улиц, фабрик, картины города, в которых на первом плане — вещи, а не люди; иногда в них дается абстрактно-сплошное изображение людского потока, массы, взятой не дифференцированно, как целое; нередко в них встают злоеющие уродливые фигуры «людей-машин», людей-калек — и гораздо реже появляется в них образ полноценного, здорового человека. Но лучшие стихотворения в сборнике — те, где намечается уже некий синтез общественного и личного, где изображение города и масс оживлено, очеловечено отношением к ним самого поэта — лирического героя. Таково, например, стихотворение «Долог путь», где индустриальные пейзажи и картины города конкретизированы и согреты лирическим лейтмотивом, взятым из английской солдатской песенки «Долог путь до Типерери, но там мое сердце живет»:

Там, где трубы шумят водой —
Кабель, кабель —

километрами вдаль —
В море пыряет, ползет под горой,
Зарывается в черный асфальт...
Где засыпающий снегом рабочий
дрожит,

Мачты стальные вбивая в лед —
Можно ли там жить?
Но там мое сердце живет!

...Там, на улице, кровью мощенной,
Где массы тронулись в путь, —
Пули, трупы, пули, стоны —
Долог путь...

Там, на митинге, там — везде,
Где клич к борьбе растет,
Грозный клич угнетенных людей —
Там —
Там мое сердце живет!

(Перевод В. Нейштадта.)

Столь же эмоционально-тепло и вместе
с тем патетически-приподнято дана фи-
гура Ленина в стихотворении «Он мир от
спячки пробудил».

Он мир от спячки пробудил
Словами, что ружьями стали,
Пулеметом гремели,
Баррикадой росли
И армиями шагали.
Шли большевистские полки
От Минска до Самары.
Красная конница громы метала,
Плавилось солнце горячим металлом,
И московские купола
Освещали мир, как пожаром...

Он будит, будит заспавшийся мир,
Кулаками миллионов будит,
И митингами, демонстрациями,
Забастовками вскинулись люди...
Мы будим, будим заспавшийся мир,
Трясем могучее тело.
Слово — дело! Отдыха нет,
Пока не закончим дела!

(Перевод В. Нейштадта.)

Бехеру хотелось писать максимально до-
ступно для масс. Однако часто подчеркну-
тый рационализм его стихотворений за-
труднял восприятие их.

Бехер искал новых приемов поэзии —
таких приемов, которые сделали бы ее
способной доходить до читателя, воздей-
ствовать на него. К этому побуждала его
прежде всего практика партийной работы.
В 1932 году — в дни стачек, предвыбор-
ных кампаний, уличных демонстраций, в

дни лихорадочной борьбы за самое суще-
ствование компартии — бехеровские сти-
хотворные листовки и надписи к плакатам
сыграли свою роль, как подспорье в по-
литических боях. Маленький сборник «Для
расклейки по стенам» («An die Wand zu
kleben», 1933) — конечно, не самое зна-
чительное, что создано Бехером. Но в нем
есть живая любовь к партии, в нем ощу-
тимы напряженные поиски конкретности
и убедительности стиха. Привлекательно
в нем и другое: честная и смелая самокри-
тика. Ряд сатирических стихотворений
Бехера направлены против тех сектант-
ских навыков в практике компартии Гер-
мании, которые впоследствии были под-
вергнуты основательной критике на VII
конгрессе Коминтерна: в них высмеивает-
ся высокомерный педант «Genosse Feh-
lerfrei» (товарищ Безошибочный), вы-
смеивается ученый докладчик, не знающий
нужд масс, умеющий говорить только
штампованным языком резолюций.

В последние дни легального существова-
ния немецкой компартии Йоганнес Бехер,
председатель союза пролетарских писате-
лей Германии и редактор литературной
страницы «Роте фане», был на своем по-
сту.

«Всякий кризис одних надламывает,
других закаляет» (Ленин). Кризис, пере-
житый Бехером в 1933 году, не надломил,
а закалил его. Вдали от родины он продол-
жал — на иной, более широкой основе —
свою работу по организации и сплочению
революционных и передовых сил литера-
туры.

Бехер вошел в семью советских писате-
лей в период бурных и радостных перемен
в жизни социалистического государства.
Результаты тех гигантских и тяжелых тру-
дов, которые Бехер описал в своем «Ве-
ликом плане», дали себя знать. Социализм
входил в быт, в повседневную жизнь.

Поэту посчастливилось быть свидетелем
великого восстания и освобождения по-
ложительных ценностей. Ко-
рректные понятия человеческой жизни, опо-
шленные и оплеванные капитализмом —
родина, семья, культура, — теперь в со-
циализме обрели свой постоянный, неиска-
женный смысл. Осуществилось предска-
занное молодым Марксом «полное,
происходящее сознательным образом и с
сохранением всего богатства прежнего
развития возвращение человека к себе,
как к общественному, то есть человече-
скому человеку».

Бехер прекрасно говорит об этом в стихотворении «Голос вождя», посвященном докладу товарища Сталина о Конституции:

Перед прибоем гулким ликования
Стоял здесь тот, кто никогда не скажет
«Я», а всегда лишь «Партия»; опять
Росло такое ликование в зале,
Как будто пела гимны жизнь сама...
Великая свобода... Ближе, четче
Был образ, и его все восполняли
Невиданные образы: свобода —
Вот счастье, вот богатство. Человек
Свободный становился все свободней
И в сущность новую преображался.
Любовь, печаль, героизм, дружба, слава
И жизнь и смерть — все это получало
Чистейший глубочайший смысл. Так долго
Принижен, искажен был человек,
Что даже помышлять об этом счастье
Он не осмеливался никогда...
Здесь возникает новый мир, вмещающий
Великие мигнувшие всех времен,
Теперь доступный всем... Так говорил он.
(Перевод В. Парнаха.)

Так сложилась идейная основа произведений Бехера последних лет.

Присущее Бехеру острое чутье нового дало ему возможность уловить и отразить сдвиги, происшедшие в жизни Советского Союза и в коммунистическом движении Запада.

«Искатель счастья», «Сонеты», «Второе рождение» — во многом результат тесного общения Бехера с советской литературой. О том, как много значил для него пример советских писателей, Бехер сам дал понять в своем сонете о Горьком, и особенно в прекрасном стихотворении о Маяковском, где передано впечатление от одного из выступлений Маяковского в Берлине:

...Грозно поднялась
Рука поэта над притихшим залом:
«Снова подымается

Рабочий класс».

Поэт нам сердце, ибо так сказал он.
Пятью лучами красная звезда
Весь сонм планет легко пересняла.

Идут слова. Порода их тверда.
Они становятся знамен киненьем.
Из слов вырастают к небу города,
Цветут сады, и, улыбаясь, Ленин
В словах поэта на трибуне встал.
И этой буре, весь в оцепененьи
От счастья и восторга, вторит зал.

(Перевод Б. Этингина.)

В творческом соревновании с советскими поэтами Бехер не только усвоил многие их достижения, но и разрешил ряд самостоятельных художественных задач. Его творчество 1937—40 годов поучительно и для многих советских поэтов.

Новые стихи Бехера значительны и сильны прежде всего своей многогранностью, брызжущей в них полной ошущенной жизни. Это поэзия, в которой философские размышления и призыв к борьбе, нежнейшая любовная лирика и стихотворное реалистическое повествование, исторические реминисценции и стихи на политические темы дня — органически совмещаются, пронизаны одной общей идеей. Это — поэзия человека, для которой понятия родины, чести, героизма, дружбы поистине приобрели «чистейший глубочайший смысл». Это — поэзия человека, которому не нужно подавлять в себе индивидуальность, чтобы «зваться товарищем» — человека, для которого — личное чувство и борьба, мышление и деяние включены в единое целостное восприятие мира.

Многогранности содержания этой лирики соответствует разнообразие поэтических форм. В ней есть словарное богатство раннего бехеровского творчества, но без его прежней хаотической искусственности, простота и экономичность средств лучших стихотворений 20-х годов, но без их монотонной суровости, живая разговорная речь стихотворных листовок «Для расклейки по стенам», но без их примитивности. «Искатель счастья», «Второе рождение», особенно «Сонеты», во многом возрождают классическую культуру стиха. Но классическая форма в них обновлена непринужденностью, гибкостью, подвижностью языка и интонаций. Поэт говорит сонетам — как будто это естественно ему присущая форма речи. Но в то же время в стихах Бехера поэтическая речь никогда не растворяется в обыденной. Подбор лексических средств, интонация — все это лишено малейшего элемента случайности, строго подчинено смысловой структуре стихотворения. (Кстати сказать, Бехер неизмеримо труден для перевода, и даже лучшие из существующих переводов отнюдь не передают всех художественных особенностей подлинника.)

Бехер в области формы возвращается к немецкой классической традиции, обогащая ее новым, творчески переосмысливая ее.

Бехер не конструирует прямых аналогий прошлого с современностью, как делают иногда на Западе авторы исторических

романов, например Фейхтвангер. Для него каждая эпоха имеет свое неповторимое своеобразие, но в разнообразии сменяющихся исторических эпох он видит устойчивое остающееся. Подобно Энгельсу, написавшему «Крестьянскую войну в Германии» в доказательство той истины, что немецкий народ имеет свою революционную традицию, — Бехер хочет найти в немецком прошлом те живые силы, которые могут нынешнему поколению внушить веру в себя, в свой народ. Именно для этого оживляет он образы художников, писателей, борцов немецкого прошлого.

Исторической мудростью насыщена его поэма «Лютер». В ней показана сложная диалектика превращения крупного народного деятеля в пособника имущих. И в то же время в ней с большой эмоциональной силой передана напряженная, бурная атмосфера эпохи великих крестьянских возмущений и религиозных войн. С «Лютером» переключается полное глубокого трагизма философски-символическое стихотворение «На мотив об Антее». Судьба Лютера и миф об Антее одинаково убеждают в том, что лишь бессмертие народа — источник бессмертия героя. Антей, оторвавшийся от земли, так же слаб и жалок, как Лютер, испугавшийся крестьянского «красного петуха». Но Лютер велик, когда он на соборе в Вормсе бросает вызов власти имущим, черпая свою силу в плебейском гневном массе.

Идеей живой преемственной связи эпох, идеей живой связи великого человека с народом воодушевлены и стихотворения Бехера, посвященные создателям сокровищ мировой культуры. Его сонеты о Бахе, Микель-Анджело, Данте, Шекспире, Леонардо да Винчи имеют многообразный исторический и философский смысл. Они интересны и как психологические портреты: в них охвачено то индивидуальное, что свойственно было именно данному великому творцу. В то же время они — предельно сжатые культурно-исторические характеристики: в них передана и та изменчивая пестрота Возрождения, которую отразил Шекспир, и то тусклое безвременье 50-х годов, которому пытался противостоять выдающийся немецкий драматург Фридрих Геббель. Всякий творческий гений предстает в сонетах Бехера как выразитель своей эпохи и своей нации, и даже в одиноком голосе страдальца Гельдерлина Бехер сумел услышать отзвук голоса народа.

Все эти величественные фигуры прошлого повернуты Бехером к современности.

Поэт дает чувствовать, что все ценное, что создано в звуке, слове, красках за протяжении столетий, живет и участвует в борьбе наших дней.

Бехер пишет о Леонардо да Винчи:

Огромным циркулем по мирозданью
Вода, вторгаясь в дальние миры,
Он план набрасывает, очертанья
Великих дней, неслыханной поры:
Всевластье человека. Мир кружит
По циркулю. Расчислен и раскрыт.

(Перевод Е. Садовского)¹.

«Всевластье человека...» Это заставляет вспомнить о том, как Ленин — по свидетельству Горького — отзывался об «Апасионате» Бетховена: «Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, быть может наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!» Бехер своими сонетами наталкивает на мысль о том, что чудеса, сотворенные людьми в прошлом — лишь прообраз тех несравненно больших чудес, на которые люди способны; он укрепляет веру в силы человека, в его безграничные возможности.

Тема освободительной борьбы, имеющая в лирике Бехера наибольшую давность, остается на первом плане его творчества и в произведениях последних лет. С особым внутренним волнением посвящает Бехер наиболее вдохновенные страницы своей поэзии тем, кто стоит на передовой линии огня, жертвуя своей жизнью во имя счастья человечества — будь то люди прошлого или люди настоящего. Героизм еврея (стихотворение «Испанская инквизиция»), находящего в себе силы бросить в лицо палачам гордое «я — человек!», и спокойное мужество немецкого пролетария, героя стихотворения «Человек, который молчал», — выражение преемственности передовых борцов разных стран разных поколений. Стихотворения Бехера на актуальные политические темы обладают большой силой убеждения.

Немецкий народ в «Искателе счастья» и «Сонетах» — это не та отвлеченная «масса», которая знакома нам по старым произведениям Бехера: он состоит из живых, конкретных личностей, он способен рождать таких людей, как погибший в Испании Ганс Беймлер, которому поэт

¹ Переводы, отмеченные знаком ¹, взяты из подготавливаемой к печати рукописи стихов Бехера, любезно предоставленной сектором Иностранной литературы Гослитиздата. — Т. М.

посвящает стихотворение-некролог, полный мужественной грусти.

Освобождение человечества — интернациональное дело. Герои испанского народа имеют — рядом с героями немецкого народа — право на творческое внимание поэта. Поучительна для многих европейских интеллигентов маленькая поэма «Мечта об острове» — о том, как жестокая реальность войны в Испании разрушила пацифистские мечты, обывательский квиетизм «островного жителя», больше всего цепившего собственное спокойствие. Величие и страдания республиканской Испании переданы Бехером с потрясающей силой, ибо они раскрыты на живых людях, на конкретных человеческих судьбах. Героиня стихотворения «Матери-беженки», обезумевшая от отчаяния, спасающаяся в неизвестность, не расстающаяся с трупом убитого бомбой ребенка, — вырастает в мрачный символический образ поработенной страны.

Но сколько бы Бехер ни писал о жертвах, у него доминирует действенная и горячая ненависть к тем, кто заставляет их страдать. Им созданы замечательные образцы ядовитой сатиры, бичующей хозяев капиталистического мира. Огромная сила гнева сконцентрирована в его стихотворении «Проклятие». Это — гнев того, кто сознает свою силу. Поэт ощущает, что трудящееся человечество имеет дело с врагом, который с точки зрения большой исторической перспективы ничтожен, обречен на гибель.

Именно тем, кто трудится, борется, мыслит, принадлежит будущее, принадлежит все богатство мира. В этом корни глубочайшей любви Бехера к своей родине. У него и природа становится темой политической лирики. В стихах Бехера есть тот «геоцентризм», о котором писал Горький, — хозяйское, созидательное отношение к миру. Даже когда бехеровские пейзажи овеяны задумчивой грустью, в них живет незримый образ деятельного человека, подлинного сына родной земли. Вот, например, «Неккар у Нюртингена»:

Влоль плоских берегов луга и нивы
Как будто плавно льются след воде.
Безбрежные, зеленые разливы,
Обилие, разлитое везде.

И яблони цветут. Их ответ млечный
На всей стране. Их цвет в тебе самом.
Тишь. И река. И яблони. Да, вечно
Я здесь хотел бы жить. Вот здесь мой
дом.

(Перевод Е. Полонской.)

Патриотизм Бехера неразрывно связан с его коммунистическим мироощущением: он любит свой народ — значит, хочет видеть его счастливым, свободно развивающим свои творческие силы. Быть коммунистом значит для Бехера — чувствовать величайшую ответственность за судьбы своей страны, быть носителем мысли и чувств всего народа. Именно в этом основное устремление творчества Бехера, устремление, претворяющееся в такие стихи, равных которым не создал ни один немецкий поэт наших дней.

Генрих Мопп сравнил Бехера с Гейне. Но у Бехера — в отличие от Гейне-эмигранта — в его отечественной тематике героические и лирические мотивы резко преобладают над сатирой, и в этом сказывается не только различие творческих индивидуальностей, но и различие эпох. Бехеру сама жизнь подсказывает уверенность, что то, от чего приходится ныне страдать народам Запада, — временно, преходяще. Героическое и прекрасное более существенная сторона действительности, чем жестокое и уродливое. Поэт видит это, отображает это. И потому, несмотря на глубокий трагизм передаваемых им переживаний, картина мира в его лирике гармонична. Формальная законченность, четкость, отшлифованность поэзии Бехера — выражение этой внутренней гармонии. Те же самые особенности мировоззрения Бехера, дающие ему возможность быть подлинным поэтическим выразителем немецкой нации, позволяют ему и в области формы следовать лучшим традициям немецкой поэзии, которой столь свойственно тяготение к философской вдумчивости. Поэзия Бехера гармоническая по своим устремлениям, глубоко национальна по своей форме.

Трудно исчерпать тематическое многообразие стихотворений Бехера. Немалое место среди них занимает и лирика личных чувств. Мировоззрение поэта живет и в ней. Небольшой цикл «Одним путем с тобой», написанный с необычайной целомудренностью, благородной сдержанностью и в то же время с неподеленной силой страсти, — займет почетное место среди сокровищ любовной лирики, созданных мировой литературой. Это — стихи, посвященные женщине-другу, соратнику, товарищу, женщине, достойной того большого человеческого уважения, без которого немыслима подлинная любовь:

Любимая, так в чем любви предел?
Все за тебя отдать, чем я владею,

И мукою любовной упиваться,
 Чтоб этим измеряла ты любовь,
 Ее, которая сильнее слов,—
 И жертвовать собою вновь и вновь,
 И для тебя от мира отказаться?
 Любимая, любви подобной ждать
 Не можешь ты, а я не в силах дать.
 Любимая, другое есть мерило:
 Спроси, была ли ты источник сил,
 Дала ли мыслям мужество и пыл,
 И что великого я совершил —
 Чтоб о любви ты по делам судила!

(Перевод Е. Полонской)¹.

Здесь выражено именно то новое, высокое представление о любви, которое свойственно людям социалистического общества.

Единство общественного и личного, национального и международного, прошлого и настоящего — такова широкая картина мира, раскрывающаяся в поэзии Бехера. В этой картине шо-рембрандтовски сочетаются светлое и темное. В ней передано острое ощущение своеобразия нашей эпохи, как эпохи величайшей революции, невиданных мировых потрясений, требующих немалых жертв. Бехер безмерно далек от поверхностного и бездумного «оптимизма», демобилизующего, рождающего самоуспокоенность. Он знает, что наше время требует непрерывного напряжения сил, неустанной деятельности. Но в напряжении и тревоге борьбы он чувствует великую радость. В чем счастье? — ставит поэт вопрос в одном из своих сонетов и сам себе отвечает (приводим подстрочный перевод):

Мне кажется, я счастлив в этой жизни,
 Ибо в великой схватке наших дней
 Я сражаюсь на стороне тех, кто прав.

Это — боевой, действенный оптимизм, включающий в себя признание неизбежных в борьбе жертв и трудностей, основанный на трезвом знании того, что путь к победе нередко лежит через неудачи и поражения. Но каких бы усилий ни требовалась борьба, она радостна, ибо исход ее ясен. Поэт заражает своей уверенностью,

хотя не скрывает и овладевающих им иногда сомнений. Он убеждает именно тем, что со всей правдивостью рассказывает о том, как он преодолевает охватывающие его иногда настроения усталости, отчаяния, неуверенности. Во «Втором рождении» такие настроения появляются чаще, чем в предшествовавших ему двух книгах. Но это можно понять: поэта мучит сознание отдаленности от своей страны в те дни, когда страна эта — в центре больших и трагических событий.

Однако подобные настроения никогда не овладевают поэтом целиком. Своими стихами он как бы освобождается, очищается от буруевающих его противоречивых чувств:

Мне тяжело время горечи былой.
 И медлю я, и не могу решиться,
 Не зная, в силах ли идти вперед.

Но жажду я прозреть, преобразиться.
 Пусть даль еще пока сокрыта мглой —
 Я все ж иду, как сеятель идет.

(Перевод С. Боброва)¹.

У Бехера есть прочная основа для жизнеутверждающего мироощущения. Он живет в Советском Союзе. Не все, написанное Бехером о жизни и людях Советского Союза, одинаково хорошо. Наряду с замечательным по глубине мысли сонетом «Одному имени», посвященным великому вождю народов, или полным добродушного юмора стихотворением о советских детях, — попадаются у него и произведения, где патетика слишком преобладает над конкретностью. Но все стихотворения Бехера о Советском Союзе проникнуты глубоким пониманием того, чем является, что означает страна победившего социализма для всего трудящегося человечества.

В самых различных по характеру стихотворениях — и в лирически задумчивой «Застольной песне», и в философской поэме «Деревянный дом» — Бехер показывает, что Советский Союз — воплощенное на яву «царство человека», утверждению которого во всем мире посвящен весь жизненный труд Бехера.

Ицхок-Лейбуш Перец

(К 90-летию со дня рождения)

1

Ицхок-Лейбуш Перец — один из величайших классиков еврейской литературы.

Исключительно яркая личность, всесторонне образованный человек, стоявший на уровне передовых идей европейской культуры, крупный писатель-мыслитель, активный общественный деятель, — Перец оказал большое влияние на развитие еврейской литературы и всей еврейской культуры дооктябрьского периода.

Перец родился 25 мая 1851 года в Польше, в Замостье, бывшей Люблинской губернии. Замостье — пограничный город, близкий к Западной Европе, — был оплотом еврейского просветительства («Гаскалы»), и из-за вольнодумства прозвали его в пароде «маленьким Парижем». Из Замостья вышел ряд выдающихся еврейских просветителей и ученых. Там жил и творил талантливейший еврейский писатель эпохи просветительства, доктор Шлойме Эттингер, автор замечательной разоблачительной комедии «Серкеле» и весьма оригинальных басен, притч и эпиграмм, писатель, которому Перец был родственен по манере письма.

Отец Переца, Иегуда, по характеристике писателя, «был либералом, чуть ли не анархистом». Сыну он дал традиционное религиозное воспитание, но обучали его также польскому, русскому и немецкому языкам. Отец даже хотел определить его в гимназию, но этого не допустила мать Ривеле, женщина старого закала.

Благодаря своим недюжинным способностям Перец успел до пятнадцатилетнего возраста изучить основательно талмуд и средневековую еврейскую философию. Случайно он наткнулся на большую частную

библиотеку с книгами на разных языках. Его потянуло в «мир знаний и наук», в котором он надеялся найти ответ на все волновавшие его уже тогда вопросы и сомнения. Без посторонней помощи Перец изучал западно-европейскую литературу и новейшую философию. Особенно сильное впечатление на него произвели Генрих Гейне и Людвиг Берне. Влияние Гейне сказалось на его лирической поэзии, а Берне — на его публицистике. Перец одновременно увлекался передовой русской и польской литературой и проникся революционно-демократическими настроениями. Он стал восторженным поклонником «неистового Виссариона» — Белинского. В своих реалистических и аллегорических сказках он следовал традициям Гоголя и Салтыкова-Щедрина.

Бунтарь по натуре, с пламенным темпераментом. Перец не мог уживаться в косной еврейской менцаанской среде, с ее устаревшими бытовыми устоями. Он относился с неприязнью к местным просвещенцам, которые сами завязли в этой среде. Он намеревался бежать из дому в Вильно или Житомир, чтобы поступить в реформаторское раввинское училище, которое в то время служило притягательной силой для жаждущих знаний еврейских юношей. Но побег не удался.

2

Когда Перец еще юношей ознакомился с произведениями Эттингера, он под их влиянием начал писать игривые сатирические стихотворения, разоблачавшие «благочестивые» мошенничества еврейских богатеев и общинных заправил, которые грабили и угнетали бедный люд. Эти сти-

хотворения, как в свое время басни, причты и эпиграммы Этингера, распространялись среди народа в рукописи и устно и даже распевались.

Первые свои более зрелые произведения Перец написал на польском языке, но они напечатаны не были. Он пробовал писать и на немецком языке. Отдавая дань просветительству, — борьбе с пережитками еврейского средневековья, — он в 1875 году начал писать и печататься на гебраистском (древнееврейском) языке. Но уже в первых своих произведениях Перец критиковал просветителей за то, что они видели в мелких реформах панацею от всех бед для обездоленных и темных масс еврейского народа. Он высмеивал напыщенность и витиеватость просветителей-эпигонов.

В стихотворении, которое Перец считал подлинным началом своего литературного творчества, прозвучал социалистический мотив, навеянный выступлениями первых еврейских социалистов Арона Либермана и Мориса Винчевского, которые начали пропаганду социалистических идей среди еврейской молодежи также на гебраистском языке. Перец писал:

«Мне говорят, что массы вечно будут находиться под гнетом денег и знати; никогда не изведутся рабы и властелины; вечно будут литься потки человеческой крови за клочок земли; вечно будут господствовать среди людей ненависть и зависть. Так говорят мне, но это не верно. Я верю, что кровососов ждет могила. Ночь исчезает. С Востока уже виднеются лучи рассвета».

Перец резко выступает против социальной несправедливости. В одной из своих первых поэм он проводит мысль, что единственная цель искусства — это служение народу, защита угнетенных и борьба с угнетателями. Первые стихотворения Переца, как своими насыщенными социальными мотивами, так и своей изящной формой на европейский манер, были истинным поворотом в оторванной от жизни и чуждой духу нового времени гебраистской литературе.

Убедившись, что гебраистский язык непонятен и недоступен еврейским массам, Перец, хотя и продолжал писать на нем, отдал предпочтение еврейскому языку. В поэме «Современные мотивы», появившейся в печати в 1887 году, он со всей страстностью выступил горячим поборником живого еврейского языка, языка народа, против шовинистической и пресмыкавшейся перед царским самодержавием

ассимиляторской части интеллигенции, считавшей еврейский язык «жаргоном», «презренным наречием слуганок».

Перец посвятил себя целиком созданию еврейской народной литературы и стал впоследствии, наравне с Менделем Мойхер Сфоримом и Шолом-Алейхемом, одним из крупнейших мастеров еврейского художественного слова.

3

Несколько лет Перец занимался в своем родном городе адвокатурой в качестве «частного поверенного». Несмотря на свою обширную адвокатскую практику, он уделял много времени и литературному творчеству и общественной деятельности. Он читал для местной интеллигенции лекции по еврейской и всеобщей истории и по естествознанию, организовал курсы грамоты для рабочих. Бедные слои населения Замостья и всей окрестности любили его за чуткое отношение к их нуждам и интересам. Зато его ненавидели богачи-мракобесы. По доносу курсы грамоты для рабочих были закрыты. По подозрению в «крамоле» Перец был лишен права заниматься адвокатурой. К этому времени — по свидетельству одного мемуариста — относятся слова Переца:

«С талмудистами и буржуазией нечего делать, нечего возлагать на них надежды. Рабочая масса — вот поле деятельности. Это несчастный, но способный народ. Здесь много идеализма. Нужно массу просвещать, говорить о ней на ее языке, будить ее мысль. Материал обильный, но не обработанный. Поэтому я пишу по-еврейски. Буду говорить и писать для народа на его языке. Я создам еврейскую литературу».

Лишившись права заниматься адвокатурой, Перец со своей семьей остался без всяких средств к существованию.

В 1888 году в ежегоднике «Еврейская народная библиотека», издаваемом Шолом-Алейхемом, была напечатана первая большая поэма-баллада Переца на еврейском языке «Мовиш».

Перecu было тогда 37 лет; он был совершенно неизвестен, но напечатанная поэма сразу выдвинула его в первые ряды еврейских литераторов. Действительно, поэма была совершенно новым явлением в еврейской поэзии как по содержанию, так и по форме. Перец выступил подлинным новатором, разрушителем многих канонов.

В балладе ярко показано, как еврейский юноша преодолевает синагогально-религиозное мироощущение и приобщается к

реальной земной жизни. В образе Мониша, в зарисовке людей, его окружавших, Перец попытался показать, как новые, капиталистические формы жизни воспринимались еврейской молодежью, воспитанной в духе средневековья.

Посредством своеобразных изобразительных приемов, переплетая реализм с романтикой, аллегорику с символикой, Перец создал великолепный гротеск гейневского размаха. Полный едкого сарказма, этот гротеск взрывал устарелый еврейский быт и выставлял на посмешище все прославленные святыни.

Вся еврейская буржуазная критика встретила «Мониша» с недоумением. Оценка, данная этой критикой, была отрицательной. Она не признавала за поэмой никаких художественных достоинств и считала ее совершенно недостойной понимания народа. Массовый же читатель, в особенности из рабочих, наоборот, прекрасно понял поэму и воспринял ее как новое откровение.

В 1889 году Перец переселился в Варшаву. Там вскоре ему представилась возможность участвовать в статистической экспедиции, организованной филантропом Яном Блохом, с целью изучения экономического положения евреев в разоренных и нищенствовавших польских местечках. Поездка по местечкам произвела на Переца потрясающее впечатление. Результатом этой поездки явились «Очерки путешествия по провинции», в которых писатель показал себя замечательным прозаиком. В очерках дана реалистическая картина полного вырождения, под влиянием роста капитализма, старого местечкового еврейского быта.

В «Очерках путешествия по провинции» Перец выступает как тонкий наблюдатель, проникновенный бытописатель и глубокий гуманист. Он проявляет себя подлинным новатором и разрушителем многих канонов еврейской прозы.

Перец был новатором и в еврейской публицистике, пропагандируя передовые идеи, создавая свой оригинальный стиль, отличавшийся лаконичностью фразы, афористичностью выражений и яркой образностью языка.

За мизерное жалованье Перец служил в Варшавской общине, вначале счетоводом в отделе регистрации покойников, а потом до конца своей жизни — делопроизводителем отдела налогов. Большой писатель не имел никакой возможности в царской России обеспечить себе хоть скромное материальное существование.

Не удовлетворенный существовавшими еврейскими литературными изданиями, Перец начал издавать свои литературные сборники, которые сыграли огромную роль в развитии еврейской литературы.

В первом своем сборнике «Еврейская библиотека» Перец выступил с программной статьей «Просвещение», в которой писал: «Ни один язык сам по себе не священ, не хорош и не плох. Язык лишь средство, чтобы один понимал другого, чтобы люди просвещенные влияли на непросвещенных. Язык только форма, содержанием должна быть идея». Он называет «фанатичным шовинизмом» возвышение одного языка над другим, разделение наций на «избранных» и «простых». Всякий шовинизм, говорил Перец, вреден и необходимо с ним беспощадно бороться. В той же статье он писал:

«Будущее — это домна, в которой все металлы расплавятся, и наступит золотое время, не невежественное время первобытного рая, рая, о котором мечтал и Руссо, а золотое время, предсказанное пророком Исаией: один народ не поднимет меча против другого народа».

В другом своем сборнике «Литература и жизнь» Перец в передовой статье «Чего мы хотим» писал:

«Мы не хотим вынуждать из рук общечеловеческого знамени и не хотим сеять шовинистически дикую полынь... Мы хотим, чтобы еврей чувствовал себя человеком, чтобы он участвовал во всем человеческом, чтобы он жил по-человечески, имел человеческие стремления и, будучи обижен, чувствовал бы себя обиженным как человек».

Перец стремился рельефно отразить в своем творчестве положительные и отрицательные стороны влияния капиталистического развития на еврейскую среду, на ее экономику и быт. В условиях старого, распадающегося еврейского быта, в обстановке воинствующего мракобесия верхов и нарастающего сопротивления низов он раздвигал узкие национальные рамки, ставил интернациональные вопросы.

Перец неустанно искал новые изобразительные формы. Отсюда разнообразие его жанров — от реалистической новеллы и публицистического очерка до лирического стихотворения; от романтических рассказов и народных сказаний до больших поэм и символических драм.

В первый период своего творчества Перец был тесно связан с рабочим движением. Его сборники «Праздничные листки» служили делу революционной агитации и пропаганды среди еврейских трудящихся масс. Их обсуждали на нелегальных «рабочих биржах». Они ходили из рук в руки, распространялись не столько через книжные магазины или традиционными книгоношами, сколько молодыми еврейскими социалистами.

В «Праздничных листках» Перец выступил против всех святых буржуазного мира. Он подверг уничтожающей критике националистические сионистские идеи и самых признанных вождей сионизма, срывал маску с либералов всех мастей. Он беспощадно бичевал пикетных и продажных борзописцев еврейской прессы, громил обывательщину, которая мирится со всякой пошлостью.

Прибегая часто из-за цензурных условий к иносказаниям и многоточиям, Перец в первом листке, в фельетоне «Чего мне хотеть», писал:

«Мира, покоя боюсь я. Боюсь смертельно тишины...

Мир царит среди воров, когда они готовятся к своему «делу». Они мирятся с темной ночью и не зажигают спички. Они мирятся с каждым облачком, которое закрывает луну...

Тихо и спокойно на кладбище. Черви безмолвно въедаются в тела мертвецов. Тихо, незаметно покрывается мхом старый надгробный памятник, тихо вырастает в землю...

Тишина — это ночь и смерть...

Покой, мир... Это теплый дом, мягкое кресло, просторные туфли, шелковый почной кофак... Чтобы добиться всего этого, нельзя ходить прямым путем... Обязан ли я говорить правду?.. потому: что мешает ради мира и покоя сказать ложь? Одну, другую... невозможно, скромно? Люди это так любят, бедные, несчастные люди!.. И так падают все ниже и ниже, до того, чтожимают окровавленную руку, целуют самый порочный рот и заключают союз с паяхулиным бандитом...

О, нет! Мир, покой — это ужасная вещь!...

В большой блестящей статье «Новое движение», подразумевая социалистическое движение, Перец вынужденными иносказаниями, под псевдонимом «Шут редакции», с большим лафосом доказывает, что лишь социализм, борьба рабочего класса за свое

освобождение, несет спасение всему человечеству, следовательно и еврейскому народу.

«Праздничные листки» были встречены еврейскими буржуазными кругами со скрежетом зубным. Против них ополчились с бешеной яростью не только клерикалы, но и «европействующие» эстеты во главе с виднейшим буржуазным критиком Давидом Фриманом. Духовенство призывало к сожжению «листочков» на костре и преданию Переца анафеме. Об этом было вывешено извещение в синагогах. Не обошлось и без доноса в гебраистской прессе, что Перец — социалист, который «позорит верноподданнический еврейский народ». Во избежание «неприятных последствий» со стороны царской охраны Перец вынужден был выступить с опровержением.

Перец отлично понимал происхождение и смысл бешеной ненависти к нему и не преминул рассказать об этом читателям в ряде фельетонов в «Праздничных листках». Читатели, большинство рабочих, его прекрасно понимали и ответили ему любовью к нему самому и к его произведениям.

Период «Праздничных листков» был самым бурным периодом в жизни и творчестве Переца. Он тогда показал себя тонким социальным лириком, выдающимся мастером разоблачительной аллегорической сказки, а, главным образом, реалистической новеллы.

6

Произведения Переца 90-х годов дышат революционным протестом.

Аллегорическая сказка «Благочестивый ют», которая явилась едкой сатирой не только на царское самодержавие, но и на капиталистическое общество, вызвала восхищение рабочих. Его стихотворение «Три швен», некоторые строфы из поэмы «За шитьем чужого подвенечного платья» стали популярными песнями еврейских рабочих. Заключительную часть этой поэмы — легенду о двух братьях, в которой аллегорически показана жестокость эксплуатации человека человеком в капиталистическом обществе, до сих пор любят и перечитывают еврейские революционные рабочие. Переложенная на музыку, в виде оратории, талантливым еврейско-американским композитором, коммунистом Яковом Шейфером, эта легенда не сходила с программ рабочих концертов в США и в других странах.

И библейские мотивы Переца, — как, например, стихи «Из Иезекииля», бичую-

шне рабство и восхваляющие свободу, и колыбельный напев матери Моисея — Исеховод, мечтающей, чтобы ее сын стал освободителем еврейского народа из-под ша египетского фараона, — воспринимались еврейскими рабочими, как песни, призывающие к борьбе за лучшую жизнь.

В библейских мотивах Переца, в их революционном настроении есть много общего с библейскими мотивами великих украинских писателей Тараса Шевченко и Ивана Франко.

Огромным успехом пользовались у еврейских рабочих социально-заостренные реалистические рассказы Переца («Посыльный», «Утром», «Семейное счастье», «В подвале», «Пост», «Смерть музыканта» и многие другие). В этих рассказах мастерски показаны жизнь людей, «лежащих на дне», их душевная чистота и мудрый скептицизм, стремление вырваться из оков нищеты и невестства, затаенное бунтарство. К реалистическим произведениям должна быть отнесена и поэма «Возница». Просто, но рельефно, в монологе героя, человека из народа, разворачивается картина разрушения капитализмом старых хозяйственных отношений; железная дорога, лишив еврейские местечки старых источников дохода, тем самым взорвала и старый быт.

Особое внимание Перец уделял безотрадной доле, тяжелому положению еврейской женщины в отсталой патриархальной семье. В ряде ярких повелл, проникнутых тонким сарказмом — «Мать», «Гнев еврейки», «Мендл — муж Брайны», «Сверток писем», «Как я вышла замуж», «Без счастья» и других, — Перец заглянул в консервативные семейные отношения в еврейском быту. Он показал пробуждение в забытой еврейской женщине чувства человеческого достоинства и своеобразного протеста против «божских» порядков на земле.

В галерее женских типов Переца большое место занимает молодое поколение. Трагична участь этого поколения: оно растет без света и воздуха. Молодые девушки вянут и чахнут от непосильного труда в мастерской или на фабрике. Если они красивы, им грозит опасность стать жертвами прихоти богатея (рассказы «Утром», «Радость родителей», «Сестры» и др.).

Показывая тернистый путь молодых еврейских тружениц, Перец намечает и выход. Осознав свое человеческое достоинство, работницы из поэмы «За пылью чужого подвенечного платья» начинают понимать причины своей несчастной жиз-

ни. Они вступают на путь борьбы. Одна из сестер в рассказе «Радость родителей» идет в тюрьму, в далекую сибирскую ссылку.

Бурю негодования вызвал у еврейских буржуазных заправил всех толков антиклерикальный рассказ Переца «Штраймл»¹. В этом рассказе в лице шалючника-портного Берла Колбасы выведен тип безбожника, человека из народа, умного, жизнерадостного, врожденного оптимиста, несмотря на давящую его нищету. Честный и гордый труженик, наблюдатель-рационалист, он возмущается фальшью, продажностью и лицемерием представителей религиозного культа. Его бесхитростные разоблачения попадают в самую точку. Правда, Берл еще не осознает своей классовой силы, но в потешки он борец за другие общественные порядки, за другие человеческие нравы. Недаром этот рассказ был встречен еврейскими рабочими с энтузиазмом. Клерикалы же предали его анафеме.

Так же тепло встретили рабочие сатирические антирелигиозные стихотворения «Ночные сторожа» на мотив «Иезуитов» немецкого поэта А. Шамиссо, антирелигиозную поэму «Рабби Йосл» и другие.

При всей своей любви к рабочему люду Перец относится с глубокой иронией к тем труженикам, которым недостает чувства собственного достоинства. Он их жалеет, но не может мириться с их рабской покорностью, крайней ограниченностью их стремлений. Он вскрывает трагизм жизни этих горемык, и вывод напрашивается сам собой: так не может продолжаться, так не должно быть!.. Этот мотив, навеянный рассказом «Сон Макара» Владимира Короленко, ярко запечатлен в рассказе Переца «Бенче молчаливик», но не в духе примиренчества, как у Короленко, а в бунтарском, в духе возмущения.

Реалистические рассказы Переца сыграли своей социальной заостренностью большую роль в революционизировании еврейских «маленьких людей». Такую же роль сыграли и аллегорические сказки Переца («Стекляшка», «Мораль ламп», «Многоликий», «Болото», «Времена Мессии», «Вечный мир в стране Где-то», и другие) своей острой критикой капиталистического строя. Открыто в царской России писатель не мог выступать со своей критикой, —

¹ Штраймл — бархатная шапка, обшитая мехом, которую носили представители еврейского духовенства и религиозные богатые евреи.

он это делал замаскированно; но массы его прекрасно понимали.

Насколько Перец был связан с рабочим движением, показывает его эпистолярная повесть «Любовь ткача», написанная в 1897 году. Эта повесть носит ярко выраженный агитационный характер; она служит как бы художественной иллюстрацией к известной в свое время брошюре С. Дикштейна «Кто чем живет», в которой популярно было изложено экономическое учение Карла Маркса.

В повести рисуется жизнь молодого еврейского ткача, в котором пробуждается классовое самосознание. Герой постепенно начинает понимать, что нет и не может быть ничего общего между рабочим и капиталистом, что рабочие и капиталисты — это враги. Он доказывает, что ткачи не добьются никакого улучшения своего положения, пока не будут организованы и не представляют собой сплоченной силы. «Из слабых прутьев, — говорит он, — связывается крепкий веник». Брошенные семена дают выходы. Фабриканты возмущены: молодой ткач должен сидеть смиренненько и работать покорно, а не ораторствовать.

За участие в бунте ткачей герой подвергается преследованиям со стороны «отцов города» и полиции. Он попадает в тюрьму, где над ним жестоко издеваются. Потом его высылают из города. Подобно ткачам Гейпе, но по-своему, молодой еврейский ткач восклицает: «Мы ткем не только холотно и шерсть. Мы ткем совершенно новые нравы, новые понятия. Мы также ткем саваны для старого, доброго и благочестивого мира, и мы в них его похороним»...

Несмотря на ярко выраженный агитационный характер, повесть отличается чистотой перецовской образностью языка, стройностью композиции, выразительностью в обрисовке характеров и в показе влияния среды на психику и переживания людей.

По цензурным условиям повесть не могла быть напечатана в царской России. Перец поместил ее под псевдонимом в американской еврейской социалистической прессе; отсюда она контрабандой проникла в Россию и произвела огромное впечатление на рабочих. Такое странствование проделали и другие агитационные вещи Перца, в особенности его едкие сатиры на царское самодержавие: «Что в земном, то в небесном царстве», «К дяде Исаву» и другие.

Перец служил еврейским рабочим не только пером. Он выступал с докладами,

чтением своих произведений и речами на нелегальных собраниях, сходках и массах. В 1889 году на одном собрании, когда он читал и комментировал перед восторженной рабочей аудиторией свою сказку «Благочестивый кот» и рассказ «Бонч» молчальник», писатель был арестован. Он просидел несколько месяцев в Варшавской крепости, в знаменитом застенке «десятый павильон», в котором содержались опасные для самодержавия политические деятели.

Весной 1901 года был отпразднован двойной юбилей Перца: 25-летие литературной деятельности и 50-летие со дня рождения. Юбилей вылился в грандиозную манифестацию любви широких еврейских масс к Перцу.

7

В годы жестокой реакции, после поражения революции 1905 года, в публицистике Перца прозвучали упаднические ноты. Еврейские погромы вызвали у Перца и националистические настроения. Это дало повод противникам Перца из шовинистического лагеря, главным образом из реакционного лагеря сионизма, объявить писателя «кающимся». Стали распространяться слухи, что Перец отказался от своих социалистических воззрений и стучится в «священные врата» синагоги, возвращается в «лоно Израиля».

Перец возмущался этими слухами. Он неоднократно подчеркивал, что его симпатии к рабочему движению и социализму остаются неизменными. Он продолжал читать лекции для рабочих, заниматься с ними в вечерних школах, принимал деятельное участие в создании еврейского рабочего университета. На вопросы рабочих, чем объяснить его колебания в отношении к революции, выраженные в некоторых его фельетонах, в особенности в фельетоне «Надежда и страх», Перец ответил:

«Это мимолетные настроения — повальный недуг, влияние окружающего хныканья, отрывка интеллигентской расхлябанности. Бывают такие слабости у нашего брата. Но вы, друзья мои, не обращайте внимания. Пройдет, как всякая эпидемия. Судите меня не по моим случайным капризным фельетонам под влиянием момента, а по моему художественному творчеству. Вот где мое «я», где все мое существо»¹.

¹ По личным воспоминаниям. — Ш. Э.

Действительно, Перец боролся сам с собой: он старался преодолеть в себе упаднические и националистические настроения. В этом отношении огромное влияние на него оказал мощный призыв Максима Горького к жизни и борьбе.

Появление Горького в русской литературе Перец приветствовал как величайшее явление мировой литературы. Он впервые познакомился с произведениями Горького еще в середине 90-х годов. Уже тогда первая книга рассказов Горького произвела на Переца очень сильное впечатление и оставила глубокие следы в его творчестве. Собиравшимся у него по пятницам молодым еврейским писателям Перец читал произведения Горького. «Вот у кого нужно учиться писать, любить жизнь и борьбу», — говорил он. Помнится, как на одном нелегальном собрании в Варшаве, устроенном в частной женской школе, Перец читал доклад на польском языке о революционных мотивах в русской литературе и закончил его мастерским чтением «Песни о буреви́стнике» Горького. «Песню о буреви́стнике», в своем переводе на еврейском языке, он много раз читал и комментировал на нелегальных рабочих собраниях¹.

Познакомившись с гениальным произведением Горького «Мать», Перец говорил на лекции о Горьком для рабочих, что при чтении этого произведения ему стыдно стало за свои мрачные упаднические настроения. Он советовал некоторым молодым еврейским писателям, писавшим и по-русски, свои произведения пересылать Горькому, как крупнейшему авторитету в русской художественной литературе.

Когда пьеса Горького «На дне» была поставлена в 1906 году в Варшавском еврейском театре, Перец в восторженной статье дал глубокий анализ ее. Он считал, что первый горьковский спектакль на еврейском языке призван сыграть исключительную роль в развитии еврейского театра. Но его мнению, этот спектакль должен был привести к изменению состава еврейских зрителей: в еврейский театр хлынет новая публика, публика Горького. С большим энтузиазмом он восклицает в статье:

«Публика Горького еще придет: она узнает. Сегодня состоялось боевое испытание для еврейского актера. Актер сдал экзамен с честью. Он вышел с победой!»...

Под непосредственным влиянием «На

дне» Перец написал свои одноактные пьесы «Сестры», «Перед дверью», «На севере», «Он и она», «Шампанское», «Утром» и «Горит», которые принадлежат к классическим произведениям репертуара еврейского театра. В этих пьесах Перец рисует «дно» жизни еврейской нищеты. Как и в своих лучших реалистических новеллах, он показал, что в них, в самых несчастных жертвах капиталистического строя, живет и крепнет чувство человеческого достоинства, что и в еврейских трущобах находят отклик слова горьковского Сатина: «Человек — это звучит гордо!»...

Горьковские мотивы слышны и в других пьесах Переца, в том числе в его романтических рассказах и символических драмах.

Осенью 1907 года, в пору столыпинской реакции, Перец опубликовал в одном из сборников статью «Материализм и идеализм». Доказывая, что духовный прогресс человечества зависит от экономических условий, Перец подчеркивает в этой статье, что основная сила, которая двигает человечество вперед, это международная классовая борьба.

Свое отношение к отщепенцам от революции, которые затосковали по уюту и покою, Перец выразил в стихотворении в прозе «Письмо», переведенном им самим на еврейский язык с гебраистского оригинала и напечатанном в то время в сборнике для рабочих «Новое время». В этом стихотворении писатель издевается над теми, «которые слышат в жизни только шопот трав и пение соловья, которые видят вокруг себя только розы». Несчастные те «счастливы», которые «не замечают калек, голых детей нищеты, протягивающих руку за подающим, чтобы поддержать жизнь, заплатить за ночлег. На бойне они не слышат предсмертного хрипа зарезанного теленка, а в больнице — вздохов больных». Для этих людей мир — рай, полный роз без шипов, полный света и любви, пения соловья. Но не замечают они «борьбы корней под землей», они не видят, как жизнь состязается со смертью.

Тюрьма не для этих «счастливых». О, нет, они в тюрьму никогда не попадут: «Розы не грешат... Любовное пение соловья не грех». Этим счастливым нечего завидовать: «Они видят светлый день, но не его бури. Это живые мертвецы»...

Все эти мысли Перец высказывал в те годы, когда большая часть еврейской интеллигенции прониклась религиозно-мистическими настроениями и кое-кто из лю-

¹ Перевод по цензурным условиям не появился в печати и, видно, утерян.

дей, объявлявших себя революционерами, устремился к личному благополучию.

Позже, в 1912 году, Перец в одном из своих фельетонов писал: «Я стоял, стою и намерен стоять в рядах борцов за передовую жизнь, за радикально-передовую еврейскую мысль»...

Перец объясняет, что под «еврейской мыслью» он имеет в виду не законсервированные, затхлые понятия синагоги, старого отжившего быта, а ту свободную мысль, которая в национальной форме выражает общечеловеческие чаяния и стремления живого народа, широких народных масс.

8

Перцу не всегда удавалось преодолеть упаднические настроения и националистические колебания. В его творчестве, в особенности публицистического характера, были противоречия.

Эти противоречия Переца вытекали из тяжелых условий жизни еврейских масс в царской России. При всех своих социалистических настроениях и симпатиях Перцу не хватало смелости и решимости целиком порвать с буржуазной средой и связать всецело свои чаяния с победой пролетариата. Писатель иногда терял историческую перспективу и впадал в заблуждения. Отсюда его раздвоенность, выраженная в фельетоне «Надежда и страх».

С одной стороны, Перец понимал, что только победа пролетариата может принести спасение страждущему человечеству, всем угнетенным народам, следовательно, и еврейскому народу. С другой стороны, он как-то боялся этой победы. В отношении Переца к рабочему классу и пролетарской революции было много общего с тем, что переживал в свое время великий немецкий поэт Генрих Гейне. Как известно, Гейне сознавал историческую роль пролетариата, но иногда у него возникали опасения, как бы победа «некультурных» рабочих масс не уничтожила достижений цивилизации. Но ненависть к старому миру эксплуатации и рабства, сознание, что этот мир обречен на неминуемую гибель, оказывали на Переца огромное влияние. Подобно Гейне, он с упоением взирал на торжество дела пролетариата.

Некоторые советские литературоведы и критики не поняли и не хотят понять основной причины противоречий Переца. Это приводило и приводит к самым нелепым кривотолкам. Создали теорию, что существуют два Переца — один периода

90-х годов, периода «Праздничных листов», когда он ориентировался на освободительную борьбу рабочего класса и был социалистически настроен; другой — периода «хасидских» рассказов и «Народных сказаний», когда он будто бы отвернулся от социализма и попал под влияние реакционных воззрений и настроений.

Такое разделение творчества Переца на два периода хронологически не соответствует действительности и по существу неверно. К 1901 году, когда был отмечен 25-летний юбилей его литературной деятельности, Перец написал уже основные рассказы из «хасидского цикла», а еще до революции 1905 года — большую часть «Народных сказаний». И те и другие были написаны в самый радикальный период творчества Переца. Многие из этих произведений были напечатаны в перецовских сборниках 90-х годов, в том числе и в «Праздничных листках». Но своей тенденцией «хасидские» рассказы и «Народные сказания» мало чем отличаются от реалистических повелл и социальной лирики Переца. Таким образом, существуют не два Переца, а один, единый, цельный в своем творчестве по идейно-социальному содержанию, невзирая на те или иные мимолетные отступления от общей линии.

Перец безусловно очень сложный, противоречивый писатель. Не будучи в состоянии осмыслить его, некоторые литературоведы и критики старались и отчасти еще стараются прикрыть свое недомыслие чисто казуистическими комментариями, которые бросают черную тень на светлую личность самого прогрессивного классика еврейской литературы. Этим комментаторам невпрок наглядный урок, данный Лениным в своей гениальной статье о Л. Толстом. Ленин писал:

«...противоречия во взглядах и учении Толстого не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети 19-го века...

Толстой отразил наболевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого, — и незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости...» (В. И. Ленин. «Лев Толстой, как зеркало русской революции», Соч., том XII).

Как ни различны Толстой и Перец по характеру и значимости их творчества, классический ленинский анализ может быть применен к Перцу. Перец отразил в своем творчестве противоречивую еврей-

скую жизнь в царской России конца XIX и начала XX века. Он отразил незрелость мечтательности, политической невоспитанности и революционной мягкотелости большей части еврейских масс, в особенности еврейской интеллигенции. А в мучительных поисках выхода из ужасной действительности Перец поднимался на крыльях народной фантастики, и в своем полете к «Вечному миру в стране Где-то» он отразил набольшую ненависть обездоленных и угнетенных еврейских народных масс, и созревшее стремление этих масс к лучшему, и их желание избавиться от прошлого.

Несмотря на тяготевшее над ним влияние мелкобуржуазного интеллигентского индивидуализма, Перец предчувствовал приближение больших социальных боев. Ожидание этих боев в трепетной надежде на светлое будущее находил отражение и в романтически-символических произведениях писателя.

9

Переца очень занимала проблема личности в ее отношении к народным массам. В трактовке этой проблемы писатель часто прибегал к романтике и символике. В своих более ранних психологических этюдах («Сумасшедший резонер» и «Ужасная ночь») Перец дал художественный анализ раздвоения личности. «Хасидские» рассказы и «Народные сказания» являются дальнейшим этапом в трактовке проблемы личности.

Перец стремился создать образ цельной свободной личности, стоящей выше пародной массы, но черпающей все силы из массы и слитой с ней. Для этого он обратился к историческому прошлому и к старинному фольклору. Но прошлое ничуть не служит Перцу идеалом. Сквозь прошлое он выгадет изобразить действительность, какой она должна быть, и будущее, каким оно станет.

Положительные типы Переца имеют корни в прошлом, но тянутся к будущему. Настоящее для них — мост между прошлым и будущим. Перец подчеркивает, что истинный национальный писатель тот, который в своем творчестве воплощает цельно и монолитно прошлое, настоящее и будущее своего народа.

Рисуя старый еврейский быт, Перец, понятно, не мог обойти религиозной окраски этого быта. Но под религиозным орнаментом исторического прошлого и старин-

ного фольклора он проводил идеи свободомыслия и свободолюбия. Перец в первый период своего творчества относился весьма отрицательно к религиозно-сектантскому движению среди евреев, известному под названием «хасидизм» (буквально «учение благочестия», от слова «хасид» — благочестивый). Впоследствии, углубившись в проблемы еврейской истории, Перец использовал имевшийся в хасидизме элемент народности и народного оптимизма.

В лирической пьесе из хасидского быта «Золотая цепь» показана в символических образах борьба между существующим и желанным («буднями» и «субботой»). Трагедия семьи падика (хасидского святого) Шлойме — это трагедия дерзновенных личностей в их стремлении, в условиях старого быта, к повышенно-прекрасному. Шлойме призывает к разрушению старого мира «будней», чтобы на его развалинах строить новую жизнь.

В рассказе «Если не выйде еще» немировский рабби покоряет литовского «миснагида» своим служением низам. Чтобы остаться неузнанным, рабби одевается в крестьянскую одежду и выдает себя за дровосека. Он — частица народа и делает скромно свое дело для народа.

Земной деятельностью для блага других, для счастья народа личность достигает наивысшей моральной силы, поднимается, по фигуральному выражению Переца, выше небес... Всякая отреченность от земной жизни и деятельности приводит лишь к вырождению личности. Этот мотив заложен в эскизе «Кабаллисты». Старик рабби Иекл и его ученик молодой Ламах — жертвы крайней нищеты и закоснелости. Они не в состоянии даже задуматься над причинами своей обездоленности. «От отсутствия пищи — отсутствие сна, а от бессонных ночей и голодных дней у них страсть к кабалле». Они ищут оправдания своему бессмысленному существованию в отречении от всего земного во имя бестелесного и находят это оправдание в упоении религиозно-мистическим бредом. Как самые забытые существа, «кабаллисты» пробуждают к себе сострадание, а их незатейливая казуистика вызывает ироническую улыбку.

Перец, таким образом, ни в коем случае не стал апологетом хасидизма, как определенной религиозной философской системы, тем более хасидской мистики. Он лишь использовал начало народности, имевшееся в хасидизме, как канву для своих художественных замыслов. Религиозный дурман

хасидизма Перец зло высмеивал в своих произведениях.

Уже после того, как он закончил цикл хасидских рассказов, Перец написал резкую антихасидскую драму «Испытание», которая была одним из вариантов лирической пьесы «Золотая цепь». Здесь он беспощадно разоблачает хасидизм, показывает полную его деградацию. Вывод такой: новое поколение отказывается и отворачивается от хасидизма с омерзением. Хасидский двор рисуется в этой драме гнездом интриг и преступных тайн. Первый цадик Исроел изображен деспотом-извергом. Сноха, жена его престолонаследника, рабби Мойше, темная интриганка. Последний отпрыск хасидской династии Иешусон заявляет: «Я мошенник, и если я мошенник, то и мой отец был мошенником, мой отец, мой дед, мой прадед, вся цепь, вся цепь!..»

Этой драмой Перец дал ответ тем, которые всячески старались зачислить его в апологеты хасидизма. Позже он писал: «Я никогда хасидом не был, до сих пор в глазах не видел хасидского рабби, никогда среди хасидов не жил»...

В символической драме «На покаянной цепи», перекликающейся с первой поэмой Перца «Мониш», речь идет уже не о процессе преодоления еврейским юношей синагогально-религиозного мифроощущения и приобщения к реальной земной жизни. Грешник, главный герой драмы, уже прозревшая личность, которая восстает против всех пережитков и всей морали феодально-религиозного средневековья. Поэтому и держат его прикованным на цепи в притворе синагоги.

«Народные сказания» Перца являются как бы продолжением хасидских рассказов. В этих сказаниях, на том же фоне исторического прошлого, на канве старинного фольклора, показаны благородство и глубокая мудрость самого народа, откуда личность черпает свои творческие силы. Несмотря на крайнюю нищету, на всякие суеверия и предрассудки, порожденные угнетением и религией, в народных лизах бьет ключом мудрость и необыкновенный оптимизм.

Вследствие своей забитости и отсталости угнетенные народные низы не в состоянии ясно осознать, по инстинкту чувствуют, что богатства кучки эксплуататоров созданы потом и кровью миллионов тружеников. Отсюда их неприязнь, переходящая часто в ненависть, к сильным мира сего («У изголовья умирающей»). Отсюда их

постоянное стремление жить и работать по-честному, без обмана и хитростей. Они любят свой труд и не соблазняются легкой наживой («Семь лет изобилия»).

Согнутые ярмом жизни, эти незаметные люди, при всей их покорности, таят в глубине души протест не только против сильных мира сего, но и против своего доброго и милосердного бога за то, что он не заступается за них. Они доходят до «стачек» против восседающего на небе (Рассказ «Берл-портной») и переносят свой бунт на землю (Хаим-портной в рассказе «Не осудили»).

Народные низы никогда не падают духом. Шутками и прибаутками, задушевым весельем и чистосердечным смехом наполнен безотрадный быт бедных тружеников. Они жаждут радости и счастья. Действительность им этого не дает, поэтому многие из них грезят о блаженной «грешной» земной жизни во сне («Не хорошо»), даже дерзают, вопреки религиозным запретам и ограничениям, обнаружить на яву стремление к земному счастью, выразить в слух недовольство своим безрадостным существованием («Не осудили»).

В хасидских рассказах и «Народных сказаниях» бурный, беспокойный, вечно ищущий Перец достигает эпического спокойствия. В этих произведениях рельефно выступают особенности изобразительных средств писателя: стиль — сжатый, динамичный, фраза — лаконична, без нагромождения эпитетов. Композиция — стройна и цельна, глубоко продумана, без лишнего деталей, и отличается строгой архитектурной.

10

Положительные типы у Перца всегда — люди из народа, труженики. Выводя же отрицательные типы, Перец вместе с тем вскрывал трагичность быта, порождающего их. В пьесе «Ночью на старом рынке» он показывает, что этот быт обречен на гибель.

В этой пьесе, несмотря на мотивы индивидуализма и пессимизма, Перец отрицает буржуазный строй и его мораль. Старый мир изображен в виде мертвецов, входящих из могил. Проходят мрачной шеренгой представители всех классов и слоев со всеми их неосуществленными при жизни стремлениями и чаяниями. В общем хоре мертвецов, полном скорби, отчаяния, растерянности, разногласия, звучат диссонансом слова рабочих, — калеки, слепого, повешенного и обезглавленного, — погибших на этом свете в тяжелой борьбе

за существование или в боях за освобождение. Замечательна сцена встречи казненного со своим палачом, солдатом, который его расстрелял. Солдат оправдывается тем, что он был темным, несознательным, а когда он прозрел, его самого расстреляли. Оба уходят, обнявшись. Теперь они братья, боровшиеся и погибшие за одно и то же дело. Все рабочие темной ночью на старом рынке среди развалин возвещают приход нового человека-героя, наступающего из бога и мир, из тюрьмы и цепи.

Перец вскрывает всю аморальность, перенасыщенность и пустоту буржуазии. Вот как говорит о себе «просвященный» буржуа:

«Я умираю, ибо я бесплоден, как телом, так и душой. Нет во мне ничего, что могло бы жить и дать жизнь. Я уже давно не живу. Я уже давно не имею никакого удовольствия от жизни. Теперь жизнь мне совсем опротивела» (рассказ «Четыре поколения — четыре завещания»). Все покупается буржуазией за деньги: «улыбка на лице друга, поцелуй красных губ», даже «заупокойная молитва по отцу».

Перец питает глубокое отвращение к старому быту, который обесценивает и обесцвечивает личность. Этот быт представляется ему «болотом», «кишащим пресмыкающимися, или «Мертвым городом», где люди не умирают, так как они никогда и не жили. Но и в старом быту писатель находит живые ростки нового. Это искатели новых путей, смелые в своих помыслах и гордые в сознании своей правоты; их не понимают, их считают безумными, держат даже «Во флигеле для сумасшедших» (рассказ под этим названием). Но они не сдаются.

Смело и гордо шел Перец своей славной дорогой художника-мыслителя, неразрывно связанного с еврейскими народными массами. Он стал любимцем этих масс.

11

Первая мировая империалистическая война застала Переца в расцвете таланта, но она потрясла его своими ужасами, усилившимися преследованиями евреев в царской России. Тогда в его публицистике прозвучали ноты отчаяния. Гнетущее впечатление на него произвело предательство II Интернационала. В конце 1914 года Перец в письме к еврейскому поэту А. Лесину, редактору еврейского социалистического журнала «Цукунфт» в Нью-Йорке, писал: «как ни ужасна мировая

война, но самое ужасное это измена социалистического Интернационала».

Перец выступал против поджигателей войны. Он был инициатором создания школ для детей беженцев-евреев.

В это время он стал писать детские стихи. Он говорил в стихах с ребятами на их языке обо всем, что их волнует и интересует. Он пробуждал в детях любовь к труду, к природе, воспитывал в них чувство человеческого достоинства, внедрял ненависть к угнетению и эксплуатации и стремление к свободе. Детские стихотворения Переца могут быть отнесены, как и многие его произведения, к лучшим страницам не только еврейской, но и мировой литературы.

3 апреля 1915 года Перец умер в Варшаве за работой у своего письменного стола от разрыва сердца. Известие о кончине великого писателя вызвало глубочайшую скорбь в еврейских народных массах всех стран. Похороны его превратились в грандиозную манифестацию. Несмотря на все препятствия полиции и вылады польских хулиганов, в похоронах принимало участие около ста тысяч человек.

Насколько Перец был ненавистен еврейской буржуазии, показывает «памятка» к первой годовщине со дня его смерти виднейшего еврейского буржуазного критика Балмахшовеса. Этот критик писал: «Перец часто вызывал мой протест, ибо он не верил в возможность общной еврейской политики. Он верил в еврейского рабочего, не в еврейского рабочего вообще он верил, а в рабочих вообще».

Очень тяжело переживал смерть Переца второй классик еврейской литературы Шолом-Алейхем, который умер годом позже (13 мая 1916 года). Сейчас же после смерти Переца Шолом-Алейхем в трогательных воспоминаниях так характеризовал своего соратника и друга:

«Перец был человеком, который презирал мелочность. Широкое горячее сердце, колоссальный ум, человек-гигант — вот впечатление, которое он производил. Главное — умница, с глазами мудреца, глубокими, лучезарными, большими глазами. Широкий лучезарный взгляд, мысли кипящие, бьющие, как из источника; слова, такие красивые и такие окрыляющие, что диву дивишься, откуда берутся в нашем так называемом «бедном языке» столько прекрасных округленных жемчужин слов... Я его никогда не видел таким свежим и цветущим и блестящим, как в прошлом году, когда мы вместе провели неделю. Точно сердце ему подсказывало, что это

наша последняя неделя. Он был особенно чуток ко мне, проявил особенный интерес ко мне и открыл передо мной свое сердце, святую святых своей души, говорил о новых творениях. Кто мог тогда сказать, что это будет у меня последняя неделя с Перецом?>...

Из недр народной жизни Перец вынес несокрушимую веру в лучшие идеалы человечества. Он воплощал эти идеалы в своем творчестве, создавая образы цельных личностей, смелых новаторов и борцов. Поэтому еврейские народные массы

свято чтут память Переца и высоко ценят его богатое наследие.

Еще при жизни Переца многие его произведения были переведены на русский и другие языки и оценены по достоинству. У нас в СССР Перец хорошо знаком еврейским массам, но, к сожалению, еще недостаточно знаком другим народам. Перец заслуживает того, чтобы его творчество стало достоянием всей нашей великой многонациональной социалистической литературы.

БОИ В ФИНЛЯНДИИ

Военное издательство выпустило сборник воспоминаний участников войны с белофиннами под названием «Бои в Финляндии».

В сборнике, состоящем из двух книг, собраны воспоминания о событиях на Карельском перешейке. Несмотря на солидный объем (почти 60 печатных листов), сборник не мог вобрать в себя колоссальный материал войны.

В предисловии сказано:

«...Нанося в Финляндии удар объединенным силам империализма, противопоставившего нам всю мощь современной военно-фортификационной техники, части Красной Армии извлекли из этих боев немало поучительных уроков и накопили значительный боевой опыт. Распространение и изучение опыта, приобретенного в финской кампании, несомненно, будет способствовать еще большему повышению боевой готовности войск.

Именно эти две цели — популяризацию боевых традиций и распространение боевого опыта — преследует сборник «Бои в Финляндии», издаваемый по приказу Народного Комиссара Оборона СССР Героя и Маршала Советского Союза товарища С. К. Тимошенко».

Авторы воспоминаний — бойцы, командиры, политработники, военные инженеры, врачи, — участвовавшие в боях на Карельском перешейке. Они рассказывают о боевой мощи Красной Армии, рассказывают о себе, о чаще всего о других, о своих товарищах, о поведении в бою советских людей, о беспримерном их мужестве, о победах и отдельных неудачах.

Сборник открывается статьей Героя Советского Союза генерал-майора инженерных войск А. Хренова «Линия Маннергейма». Автор характеризует финскую оборонительную систему на северных и восточных направлениях и подробно описывает систему укреплений на Карельском перешейке. Приложенная к статье схема белофинских укреплений на перешейке дает наглядное представление о мощности «линии Маннергейма», о трудностях, которые пришлось испытать Красной Армии при штурме этой «непри-

ступной крепости», как ее называли белофинны и военные авторитеты капиталистических стран.

Белофинны рассчитывали измотать силы Красной Армии еще до подхода к главной оборонительной полосе, в так называемой оперативной зоне заграждений, состоявшей из укрепленных позиций с линиями заграждений и препятствий. Мощности главной оборонительной полосы характеризуют следующие данные о препятствиях у ДОТа № 006:

«У ДОТа № 006 проволочная сеть доходила до 45 рядов, из которых первые 42 ряда были на металлических кольях высотой в 60 сантиметров, заделанных в бетон. Надолбы в этом месте имели 12 рядов камней и были расположены посреди проволоки. Чтобы подорвать надолбу, надо было пройти 18 рядов проволоки под трех-четырёхслойным огнем и в 100—150 метрах от переднего края обороны противника».

В жестоких боях с противником Красная Армия захватила на Карельском перешейке 356 железобетонных сооружений и 2425 дерево-земляных огневых точек. Не помогли белофиннам ни иностранные специалисты, строившие «линию Маннергейма», ни бетон, ни скалы, ни леса, ни вода, ни жестокие морозы. Ничто не могло устоять перед всеокрушающей силой советской боевой техники. Ничто не могло остановить мужественных советских людей, охваченных порывом великой любви к своей социалистической родине и ненависти к врагу.

Сборник «Бои в Финляндии» шаг за шагом раскрывает перед читателем грандиозную картину боев. Это даже еще не картина, а только наброски с натуры, к тому же сделанные руками, которые больше привыкли иметь дело с винтовкой, чем с пером. Однако, в этих набросках заключено огромное богатство боевого опыта, который нужно тщательно изучать, чтобы побеждать любого врага в любых условиях.

Генерал-майор Федюнин рассказывает, например, об ошибке, допущенной командиром роты тов. Корепановым. Батальон успешно переправился через реку. Но «Корепанов, даже после приказа остановить движение и закрепиться на достигнутом рубеже на ночь, рвался со своей ротой вперед настолько горячо и неосмотрительно, что попал под губительный огонь белофинской засады. Рота понесла

¹ «Бои в Финляндии». Воспоминания участников. В двух частях. Военное издательство. Москва. 1941. 392. 540 стр. 6 р. 25 к. 7 р. 25 к.

большие и ничем не оправдываемые потери. Погиб политработник тов. Куликов, такой же горячий и неосмотрительный, как и тов. Корепанов.

Строжайшая дисциплина — железный закон для каждого воина Красной Армии. Красная Армия победила в первую очередь потому, что подавляющее большинство ее бойцов и командиров не отступало от этого закона.

Нельзя без волнения читать потрясающий по своей силе рассказ Героя Советского Союза С. Коменданта «Ночью...». С. Комендант был назначен помощником командира разведывательной группы и отправился в первую разведку. Наши разведчики безуспешно пытались пробиться сквозь проволочные заграждения; проволока, которую они резали, громко звенела на морозе, и белофинны открывали по этому звуку ожесточенный огонь. Тогда С. Комендант решил перехитрить врага. С одним бойцом он пополз к проволочным заграждениям и сказал ему:

— ...Возьмешь немного вправо. Окопайся поглубже и бей лопатой по проволоке, что есть силы, делай вид, что режешь ее. Финны по тебе огонь откроют, ты пережди, а потом снова бей. Пусть они думают, что это ты режешь проволоку.

Сам же С. Комендант отполз в другую сторону и, когда проволока зазвенела от ударов его товарища, стал под этот шум и выстрелы белофиннов резать ножницами проволоку. Боец мужественно бил лопатой по проволоке, привлекая к себе внимание врага, и белофинны засыпали его пулями. Каждую секунду бойцу угрожала смерть, но он выполнял приказ командира, пока тот не окончил своего дела, — проходы в проволоке были прорезаны... Тогда наши разведчики поползли в проход, и тут боец был ранен, через некоторое время он умер, и С. Комендант вынес его, уже мертвого, чтобы отдать товарищу должное за мужество и героизм.

На финском фронте бойцы Красной Армии встретились с неслыханными трудностями, с непривычной обстановкой, с суровой природой. Многое приходилось постигать на практике впервые. Бойцы попали в обстановку, далекую от тех «условностей», в которых до войны с белофиннами обычно проходило обучение на маневрах. Впервые пришлось познакомиться с новой тактикой врага.

Бригадный комиссар Г. Аксельрод пишет:

«В борьбе с противником вырабатывались новые приемы нашей тактики. Артиллерийскую подготовку мы стали вести с перерывами. Когда финны, решив, что артиллерийская подготовка закончилась, вылезали из ниш, на них снова неожиданно обрушивался шквал орудийного огня. Важнейшим из этих приемов оказалось движение за огненным валом. Быстро освоенной такой тактики способствовало тесное взаимодействие пехоты с артиллерией... Бойцы приучились к мысли, что успех дела зависит от бесстрашного движения за огненным валом, как можно ближе к нему. При прорыве укрепленного района это в значительной мере содействовало нашей победе».

Именно на основе опыта этой войны идет, по указанию товарища Сталина, напряженная перестройка всей системы обучения в Красной Армии, осуществляемая под непосредственным руководством С. К. Тимошенко. Сборник «Бои в Финляндии» помогает читателю уяснить себе глубокий смысл этой перестройки, показывая на конкретных примерах силу новых тактических приемов, проверенных в бою. Эти новые приемы применялись нашей пехотой, артиллерией, авиацией, танкистами, связистами, войсками всех родов оружия.

Артиллеристы, обслуживавшие тяжелые орудия дальнего действия, впервые на финском фронте стреляли прямой наводкой по ДОТам и разгромили их в короткий срок. Герой Советского Союза В. Яковлев рассказывает:

«О нашей артиллерийской стрельбе финские пленные из резервистов отзывались так: «В какие бы ДОТы и укрытия мы ни прятались, — не было спасения от вашего огня. Если даже ваши снаряды и не поражали нас своими осколками, то все равно организм человека не выдерживал силы взрывов: из ушей, носа и рта лилась кровь».

Или вот другие факты. Чтобы как можно ближе подойти к расположению белофиннов, наши саперы ночью вели траншеи таким образом: выползали с зарядом взрывчатого вещества вперед метров на пять, взрывали заряд и рыли траншею до воронки, образовавшейся от взрыва. Затем снова выползали с зарядом, взрывали его и опять рыли траншею до новой воронки.

Старший лейтенант Колосов рассказывает, как связисты в жестокий мороз прятали телефонные трубки за пазухой, чтобы порошок и мембрана просыхали, согреваемые теплотой тела.

Герой Советского Союза Маричев приблизился со своим батальоном к эскарпу, высота которого в некоторых местах доходила до трех метров. Прежде чем лезть на него, нужно было перерезать проволоку. Маричев скомандовал:

— Становись друг на друга и режь проволоку.

«По этой команде было устроено несколько живых лестниц: один боец вставал на четвереньки, на его спину взбирался второй и тоже становился на четвереньки, держась руками за колья, которые удерживали стену от осыпания, а третий влезал на него и резал проволоку. Когда перерезали все заграждения, двое здоровых бойцов взобрались наверх. Чтобы скорее залезть туда всем, мы стали делать так: подбрасывали бойца, а там, наверху, наши силачи подхватывали его. Каждый стремился попасть на эскарп первым...» Следует учесть, что все это проделывалось под жестоким обстрелом противника.

Понистине беспрдельно мужество советских воинов! Трижды раненый Герой Советского Союза красноармеец Веселов сбегал из госпиталя, чтобы снова принять участие в бою. Так же поступил Герой Советского Союза Высоцкий.

Большой интерес представляют воспоминания полковника П. Груздева «Товарищ Тимошенко на передовых позициях». Приехав в штаб одной дивизии, товарищ Тимошенко, командовавший северо-западным фронтом, приказал доложить ему все детали подготовки операции. «Он особенно тщательно проверил,— пишет тов. Груздев,— насколько точно знают свою задачу части, притом не вообще, а в отдельности: стрелковые полки, артиллерия, танки... Товарищ Тимошенко обратил мое внимание на такое ответственное звено, как низовая, ротная ячейка управления...

Незадолго перед тем, как должны были раздаться первые выстрелы наших орудий, товарищ Тимошенко оставил блиндаж штаба дивизии и направился на артиллерийские позиции наблюдать работу артиллеристов и стрелков...

Я попробовал сказать товарищу Тимошенко, что мы не имеем права допустить его на передовые позиции. Но командующий фронтом решительно возразил мне: — Я провел гражданскую войну и никогда не пропустил случая наблюдать за работой командиров и бойцов лично. Это необходимо командиру любого ранга!»

«28 февраля, утром,— вспоминает Герой Советского Союза лейтенант Л. Тарасов,— когда уже был прорван фронт и стремительно развивалось наступление, мы получили предметный урок от командующего фронтом товарища Тимошенко. По дорогам, входя в прорыв, двигались тяжелые батареи вместе с массами пехоты и легкой артиллерии и загоразивали дорогу. Неожиданно на этот участок прибыл товарищ Тимошенко и подъехал к нам.

— Послушайте,— сказал он нам,— разве вы сами не понимаете, что сейчас, когда развивается прорыв, пехоте в первую очередь нужны батареи групп поддержки, нужны пулеметы, противотанковые пушки, легкая артиллерия. Вы неплохо поработали, но дайте поработать другим.

Товарищ Тимошенко приказал нашим гаубицам свернуть в сторону, открыть проход танкам и другим более подвижным и более необходимым резервам.

Приказание было выполнено. Буквально на наших глазах марш стал приобретать порядок и быстроту. Прорыв развивался, части начинали штурм последних укреплений перед Выборгом».

Невозможно перечислить все наиболее волнующие эпизоды, но нельзя, например, не упомянуть о разведчике Селине, который трое суток пролежал в снегу при 45-градусном морозе и все же разведкал расположение ДОТа.

Нельзя не рассказать и о таком случае. Загорелся поезд с боеприпасами. Внутри горящего вагона вскакивают помкомвзвода Малашенко и красноармеец Серов. «Они быстро начали выкидывать снаряды на руки подбегавшим бойцам. Вагон был разгружен с непостижимой быстротой, хотя снаряды и были горячими».

Как художественное произведение читается рассказ механика-водителя т. Затулавитера.

«...Вдруг нестерпимый гул раздался в ушах, и танк загремел так, как будто его броню вспарывали по швам. Я успел

только выключить мотор, нажать тормоз... И вдруг увидел, что у меня под ногами, рядом с педалью акселератора, маленький раскаленный предмет... Дрожь прохватила меня, когда я понял, что это — бронебойный снаряд. «Вот, значит, и конец — подумал я: сейчас он разорвет, тут и смерть моя будет...

Но снаряд не рвался. И я сидел, не двигаясь, и смотрел на него, пока не пришел в себя. Затем откинул его носком в сторону. Снаряд опять подкатился ко мне. Тогда я осмелел — прижал его ногой, и от сырого валенка пошел пар».

Сборник «Бои в Финляндии» читается с огромным интересом. Он иллюстрирован прекрасными фотоснимками, издан на хорошей бумаге, в умело оформленном переплете. Книга явится прекрасным подарком для советского читателя.

В. Ильенков

■ ■ ■

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

«Новые горизонты» — это название польского литературно-общественного ежесемичника, первый номер которого вышел недавно в Москве. Пожалуй, трудно придумать более удачное и выразительное название для этого журнала. Поистине новые горизонты открылись перед польской литературой. В течение двух десятилетий существования буржуазно-помещичьей, версальской Польши литература не только не двинулась сколько-нибудь заметно вперед, но и растеряла многое из своих лучших традиций.

Ныне десятки передовых польских писателей во главе с талантливой Ваядой Василевской живут на свободной земле Советов. Они свободно творят и создают произведения, отражающие и вчерашний черный день польского народа, и славнейшие страницы его истории, и сегодняшнюю радостную советскую действительность. Эти произведения определяют новый этап в развитии польской литературы, подъем ее к высотам социалистического реализма.

«Минувший год,— читаем мы в редакционной статье,— изменил в корне, до дна нашу жизнь. Мы живем в ином мире, идем иной дорогой. Но то, что мы пережили, оставило в нас глубокие следы... Однако есть нечто более сильное, чем поражение... Есть нечто, чего уничтожить нельзя,— ибо оно выросло из самых глубоких основ, ибо оно формулировалось веками,— народ...» И редакция с законной гордостью заявляет: «Мы, живущие в Советском Союзе, в единственной в мире стране, где каждый народ имеет право на развитие, на уважение, на жизнь,— являемся хранителями всего лучшего и прекраснейшего, что было в польском народе... Мы хотим очистить от лжи наше прошлое — и показать действительные, подлинные, непреходящие сокровища его. Мы хотим помочь всем тем, кто еще не поспевает в ногу с нами, кому годы лжи

и обмана не позволяют ясно взглянуть на прошлое и настоящее...»

Это не только декларация. За статьей следуют страницы, которые убеждают, что намерения будут претворены в действительности, что редакция видит перед собой пути осуществления стоящих перед ней задач.

Беллетристический отдел журнала весьма разнообразен. На первом месте здесь фрагмент из пьесы Ванды Василевской «Сказ о Бартоме Гловацком». Барташ Гловацкий столь же популярен у поляков, как у нас Степан Разин или Емельян Пугачев. Но польская буржуазная историография искажала этот прекрасный образ народного героя, всячески пытаясь доказать мнимое единство польского крестьянства с угнетавшей и эксплуатировавшей его шляхтой. Ванда Василевская в этой пьесе рассказала правду о Бартоме Гловацком. Она очистила от лжи яркую и прекрасную страницу истории польского народа, раскрыла истинный образ народного героя, который во главе таких же крестьян, как он, откликнувшись на зов Костюшки, выступил против врага. Писательница показала, опровергая буржуазную ложь, дальнейшую судьбу Бартоша Гловацкого такой, какой она была в действительности. Буржуазные историки расписывали, как в награду за геройский поступок крестьянину Бартошу был дан дворянский титул. Ванда Василевская рассказала и о том, как по возвращении в свою родную деревню Бартош Гловацкий увидел, что помещики обманули крестьян, был лишен дворянского звания и отдан австрийцам в рекруты на двадцать пять лет.

Ванда Василевская в своей пьесе вскрыла в то же время причины поражения восстания Костюшки, классовую ограниченность и эгоистичность польской шляхты, сказала со всей убедительностью художника-реалиста, что народ обмануть невозможно, что он всегда найдет пути к правде.

Пьеса Ванды Василевской — одно из значительнейших произведений польской драматургии. В журнале приведена лишь сцена расправы помещика с Бартошем Гловацким, дерзнувшим протестовать против того, что обещания, данные крестьянам, не выполнены. Это — прекрасная и выразительная сцена. Можно лишь посотевать, пожалуй, что редакция ограничилась этим фрагментом.

Заслуживает большого внимания рассказ Адольфа Рудницкого «Юзефов». Этот писатель известен русским читателям по его повести «Солдаты», в которой, рисуя нравы и быт польской казармы, он разоблачил гнусную систему издевательств, притеснений и кошмарных пыток, которые были уделом польских, украинских, белорусских и еврейских солдат в панской Польше.

Адольф Рудницкий принадлежал к числу тех, которым «годы лжи и обмана не позволяли ясно взглянуть на прошлое и настоящее».

Но Адольф Рудницкий настойчиво искал путей к жизненной правде. Год жизни в СССР дал ему возможность многое пересмотреть, многое по-новому осмыслить, чтобы избавиться от тех тяжелых пут, которые накладывали на него «годы лжи и обмана». В опубликованном рассказе Рудницкого нашло яркое выражение его нынешнее мировосприятие и мироощущение.

В рассказе «Юзефов» автор рисует молодого еврейского парня, умирающего от туберкулеза в одном из варшавских дачных пригородов — Юзефове. Тонкими акварельными красками пишет Рудницкий дачный пригород зимою, когда далеко ушел летний шум. На фоне грустного пейзажа спящий мертвым зимним сном природы смерть Иозеля Филюта должна была бы выглядеть особенно печальной. «Смерть в городе может найти противовес в бурлящей вокруг жизни. В зимнем Юзефове, наоборот, приходится испытать горечь ее до дна». Но «существовал огонь, который пламенем своим согревал умирающего». Этим огнем была война, которую вели за свою свободу сыны испанского народа. Иозель Филют глубоко переживал каждую победу и каждое поражение испанской революционной армии.

В те дни, когда генерал Франко подходил к воротам Мадрида, Иозель доживал свои последние дни. «Лежал с полужакрытыми глазами, прикованный внутренним взглядом к полю войны. Его качивал ритм мелодий, которые распевали солдаты. Он грелся вместе с ними у потрескивающих костров, вместе с ними мерз в снежных окопах, бродил по пояс в снегу вместе с патрулями, а в наполовину разрушенных дымящихся кабаках он улыбался солдатам и, говорил долго, горячо».

Это духовное общение с героическими сынами испанского народа преобразовало грустные дни умирания, наполняло их радостью, заставляя забыть о самой смерти. И, может быть, оно вливало новые силы в обреченное на смерть тщедушное человеческое тело. Может быть, Иозель чувствовал себя в горах Испании и на ее равнинах, когда ночью, за несколько часов до смерти, покинул свое ложе и вышел в сад, чтобы разыскать своего друга и поведать ему свое последнее желание. Хриплым, надрывающимся голосом он процедил: «— Я, послушай... уже конец... Я хочу послать приветствие... Приветствие борющемуся пролетариату Испании... последнее приветствие от Иозеля Филюта, товарища из Польши».

Адольф Рудницкий сумел создать волнующую повесть о смерти, которая будит волю к жизни, зовет к борьбе.

Более целеустремленным выступает творчество Галины Гурской в опубликованном в журнале небольшом произведении «Семья Гределей», названном автором «материалами для романа». Галина Гурская — талантливая польская писательница. В своих произведениях, опубликованных в Польше, она рисовала тяжелое положение трудящихся, выражала свои стремления к новому общественному порядку, обеспе-

чивающему человеку достойную жизнь. Однако в этих произведениях писательница не поднималась до гневного осуждения действительности и не сумела четко указать пути борьбы за лучшее будущее человечества. Даже в наиболее значительном своем произведении «Вторые ворота» Галина Гурская проводила мысль, что обеспеченные интеллигенты могут сделать для революционной борьбы больше, чем пролетарии. В Советском Союзе Галина Гурская воочию увидела, что способен создать рабочий класс, освобожденный от пут капитализма, и она нашла новые слова, чтобы выразить свой протест против вековой системы угнетения и эксплуатации.

Семья Гределей, вернее, династия Гределей, олицетворяет собой силу капитала, пришедшего на смену увядшим династиям родовитых графов и баронов, властвовавших в латифундиях, разбросанных в Восточных Бискидах. Это небольшое произведение Галины Гурской убедительно говорит о том, что писательница твердо стала на новый путь творчества, стремясь создать реалистическое произведение.

Большая заслуга журнала в том, что он привлек не только группу известных уже писателей, но находит новые и безусловно ценные литературные силы. Рассказ «Последний день» принадлежит перу молодой писательницы Бланки Збышевской и свидетельствует о несомненном даровании ее. В этом произведении, изображающем Варшаву в последние дни перед вступлением германской армии, Збышевской удалось убедительно показать все сложные переживания людей в эту пору, животный страх мешан и незыблемую стойкость тех, кто и в это ужасное время сумел сохранить веру в жизнь. Маленькая повесть читается с большим волнением.

Писательницу Елену Сельм мы знаем по целому ряду рассказов, рисующих горестную жизнь польских трудящихся масс. Она начала свою литературную деятельность небольшими «рабкорскими» очерками из жизни рабочих и с каждым новым произведением все увереннее овладевала методом подлинного художественного творчества. Помешанный в журнале рассказ «Грудная жаба» показывает, что она прекрасно знает жизнь рабочих семей и умеет реалистически воспроизводить ее.

С большим поэтическим мастерством и глубоким чувством написаны стихи Юлиана Пшибоса, Адама Важики, Мечислава Яструна, Сусанны Гинчаники, Юрия Пуграмента и Петра Кожуха. Эти стихи о кошмарной ночи капиталистического мира, из которого поэтам удалось вырваться, о новой жизни, о великом созидательном сегодня Страны Советов, в которой они обрели свою новую родину.

Беллетристические произведения, с которыми познакомил нас журнал «Новые горизонты», говорят о том, что за последний год польские писатели обрели много нового в понимании путей и задач творчества и создают произведения, вливающиеся в широкое русло богатой и живой советской литературы.

С первого номера журнала редакция широко и интересно поставила критический и публицистический отделы. Много внимания уделено тому, как Страна Советов отметила 85-летие со дня смерти великого польского поэта Адама Мицкевича. Наряду с подробным изложением докладов, которые были прочитаны на научной юбилейной сессии во Львове, и обзором многочисленных статей в советской печати, журнал публикует две статьи талантливого польского литературоведа и критика Тадеуша Бой-Желенского. Особенного внимания заслуживает статья его «Старые и новые пути науки о Мицкевиче». Т. Бой-Желенский подробно останавливается в ней на той вредной работе, которую в течение десятилетий вели фальсификаторы биографии Мицкевича, всячески старавшиеся нарядить в старинный шляхетский кунтуш поэта-революционера и интернационалиста. С радостью автор констатирует: «Новая действительность заставляет взглянуть по-новому с многих точек зрения, учит мыслить иными категориями. Изменяется кругозор, изменяются определенные установки; не один взгляд должен быть подвергнут ревизии, не одна условность должна подлежать изменению. А если при этом окажется нужным тот или иной вопрос осветить заново, то для науки это будет только приобретением».

В отделе критики и библиографии мы находим обзор советской литературы за 1940 год. Автор обзора оговаривается, что считает более целесообразным остановиться на двух-трех основных произведениях, которые дают основание для конкретных выводов о задачах советской литературы. Автор показывает, как, с одной стороны, Сергеев-Ценский, преодолев свое прошлое декадентство, стал подлинным советским писателем, поднялся до «Севастопольской страды» и как, с другой стороны, талантливый писатель Леонид Леонов, забыв о жизненной правде и уйдя в сферу кабинетного психологизирования, создал враждебные идеям социализма произведения.

Может быть, все же было бы правильнее расширить обзор и подробно познакомить польского читателя, который в течение долгих лет был насильно оторван от советской литературы, с такими выдающимися явлениями ее, как «Тихий Дон» М. Шолохова, «Петр первый» Алексея Толстого, «Мятеж» и «Чапаев» Фурманова, «Как закалялась сталь» Н. Островского и рядом других. Надо полагать, что редакция сделает это в ближайших номерах.

Интересна по своей содержательности и конкретности статья Бронислава Беньковского о хрестоматиях польской литературы, вышедших за этот год и предназначенных для V, VI, VII, VIII, IX и X классов средней школы. Сам по себе выпуск этих хрестоматий является большим культурным событием. Вместо учебников, которые всячески старались замалчивать произведения, рассказывающие об угнетении польского народа буржуазией и шляхтой, о борьбе лучших сынов народа против своих поработителей, польский

школьник получил хрестоматию, знакомящие его с лучшими передовыми произведениями, которыми польская литература по праву гордилась на протяжении веков.

С большой любовью к театральному искусству написана статья Т. Бой-Желенского «О польском театре во Львове». «Не без волнения,— пишет он,— приходится мне сегодня снова начать писать о театре. В течение двадцати лет я сопутствовал как критик его судьбе; не было таланта, авторского или актерского, за развитием которого я не следил бы с самого начала».

С тех пор многое изменилось в судьбах польского театра. Как и пред всем польским искусством, перед ним открылись новые горизонты. Старый театральный критик чувствует, как много может создать польский театр, понимает, что театр должен дать теперь очень много зрителю, чтобы познакомить его с лучшими произведениями мировой и польской классической драматургии, с классической русской драматургией, с новыми советскими пьесами. Театр должен показать зрителю то, что не мог показывать в панской Польше, когда все передовое и революционное изгонялось, а подлинное искусство вытеснялось ходкими французскими «боевиками».

Завершается журнал интересным исследованием Романа Верфеля «Русская демократия и восстание 1863 года». Автор привлек многочисленные польские и русские материалы, чтобы на основании их показать, как велико было сочувствие передовых русских людей борьбе польского народа против русского самодержавия. Это сочувствие не ограничилось выступлениями таких людей, как Герцен, Огарев, Некрасов и другие. В рядах польских повстанческих войск были русские офицеры, с которыми царское правительство расправлялось столь же жестоко, как и с польскими революционерами.

Первый номер журнала «Новые горизонты» дает возможность говорить о новом подъеме в польской культуре, дает уверенность в том, что новый ежемесячник станет одним из интереснейших и содержательнейших советских журналов.

М. Живов

■ ■ ■

КОРОЛЕНКО ДЛЯ ДЕТЕЙ ¹

Когда-то Флобер на вопрос о его биографии дал ответ, сущность которого сводилась к следующему: «Я — писатель, какая же у меня может быть биография? Вся моя жизнь прошла и проходит за письменным столом». В противоположность Флоберу В. Г. Короленко, будучи

плодовитым писателем, в то же время прожил долгую, интересную, полную борьбы и тревожений жизнь. У него была биография, и биография эта глубоко поучительна. Его мужественный отказ от присяги Александру III, повлекший за собой ссылку в Якутскую область, его бесстрашные, успешные выступления в 1905 году на площадях и улицах Полтавы для предотвращения готовившегося еврейского погрома, его неустойчивое трудолюбие, делавшее для него возможным заниматься литературной работой даже в общей арестантской камере, среди шума и гама, его мягкость в отношениях с людьми, соединенная с твердым отстаиванием своих принципов, его правдивость,— все эти черты личности Короленко представлены в биографическом очерке. Автор сумел в своем изложении соединить живость и занимательность рассказа с безупречной точностью и глубиной содержания. Ни один крупный факт биографии писателя не обойден.

Самый подбор произведений Короленко в книге для ребят не может вызвать никаких возражений. Это хорошо известные русскому читателю повести и рассказы: «Сон Макара», «Чудная», «Соколинец», «Ат-Даван», «Черкес», «Мороз», «Огоньки», «В дурном обществе», «Слепой музыкант», «Судный день», «Река играет», «На затмении», «Без языка», «Мгновенье», «В Крыму». Последними в этом разделе помещены очерки «Дом № 13» — об еврейском погроме в Кишиневе, и «Пленные», рассказ, написанный в 1917 году и направленный против повиннистического угара, царившего в то время в подавляющей части прессы всех стран, участвовавших в империалистической войне. «Короленко,— замечает редактор,— один из первых в тогдашней России осмелился показать в литературе, что желания воевать нет у солдат ни той, ни другой стороны» (стр. 369).

Говорить о большом воспитательном значении произведений Короленко излишне. Его сочувствие угнетенным, его искренняя любовь «к этим дрожащим огонькам убогих деревень», его родной страны, его бодрый оптимизм и вера в людей давно уже поставили имя Короленко в первые ряды гуманнейших русских писателей.

Все произведения Короленко редактор снабдил краткими комментариями, в которых говорится о времени и месте написания и напечатания каждого рассказа, указаны его прообразы и жизненные факты, вызвавшие появление данного произведения или в нем отраженные.

Раздел произведений заканчивается несколькими главами из «Истории моего современника» и «Павловских очерков». За ними следуют небольшие отрывки из дневников и записных книжек Короленко, каждый из которых представляет маленькое художественное произведение, и три письма его к разным лицам. Первое письмо — к 18-летнему юноше, приславшему Короленко свои стихи, может быть очень полезно и многим юным мечтателям. Второе — милое письмо к детям Т. А. Богданович — впервые появляется в печати. Третье письмо — к К. А. Тимирязеву —

¹ В. Г. Короленко. Избранные произведения. Библиографический очерк, комментарии и редакция А. Б. Дермана. ЦК ВЛКСМ. Издательство детской литературы. М. 1940.

свидетельствует о том глубоком уважении и любви, с которой относились друг к другу знаменитый ученый и знаменитый писатель, бывший когда-то учеником Тимирязева по сельскохозяйственной академии.

В приложении помещены краткая хронологическая канва жизни и творчества Короленко и словарь русских и иностранных слов и выражений, которые могут быть непонятны молодым читателям. Слова и выражения на иностранных языках включены редактором в русский алфавит; лучше бы было дать их отдельно, после алфавита слов с русским начертанием.

Книга украшена большим количеством иллюстраций. Это (прежде всего) фотографии В. Г. Короленко и его близких; рисунки самого Короленко преимущественно из тюремной и ссылки жизни и бытового содержания — виды тех мест, где он жил; наконец, рисунки художников, иллюстрации к произведениям Короленко. Особенно удачными надо признать рисунки художников Закревской и Жукова. Очень уместны и бытовые иллюстрации того времени, например, фотографии наблюдений затмения, иллюстрирующие рассказ Короленко на ту же тему. (Единственный шарж на Короленко, написанный Карриком и воспроизведенный в книге, представляется нам излишним: он как-то нарушает общий серьезный ее тон).

Мы не сомневаемся, что книга избранных произведений Короленко быстро сделается одной из самых любимых и многочитаемых книг наших детских библиотек.

Н. Гусев

■ ■ ■

КРУШЕНИЕ ИЛЛЮЗИЙ ФРАНЦУЗСКОГО ИНТЕЛЛИГЕНТА

Роман «Эпилог»,¹ написанный Роже Мартен дю Гаром в 1939 году, завершает многотомный цикл «Семья Тибо», над которым автор работал с 1922 года.

Шесть романов этого цикла были дважды изданы в русском переводе. Седьмой роман — «Лето 1917 года» — опубликован на русском языке лишь частично.

Холодный прием, оказанный «Эпилогу» прессой современной Франции, делает «честь» принципиальности официальных критиков. Несмотря на объективность книги, на отсутствие в ней политических деклараций, они не без основания почувствовали в романе некую угрозу, органическое несоответствие его тем принципам «оздоровленной» литературы, которые сейчас пропагандирует французская реакционная печать.

Действие «Эпилога» начинается в мае и кончается в ноябре 1918 года, то есть в

последние дни первой империалистической войны. Таким образом весь цикл, или, как говорят французы, «роман река» (roman fleuve), созданный дю Гаром, доводит изображение событий до послевоенного рубежа.

Говорить об «Эпилоге», не касаясь всего цикла в целом, — невозможно. «Эпилог» — книга о концах: о концах человеческих судеб, о крушении иллюзий, складывавшихся годами и разбитых «таким тяжелым тараном, как таран истории».

Из семьи Тибо к началу действия «Эпилога» остается в живых лишь старший сын — Антуан Тибо.

Отец — Оскар Тибо — законченный буржуа, реакционер, собственник, ханжа, умер накануне войны 1914 года. О его смерти рассказывает шестой роман цикла — «Смерть отца».

Несмотря на глубокую бесчеловечность, Оскар Тибо не был ничтожеством. В нем жила воля, энергия, жажда деятельности, потребность активного отношения к жизни. Однако проявления всех этих свойств были у него реакционными и уродливыми, как уродлива была и вся буржуазная Франция, достойным воплощением которой являлся Оскар Тибо.

В младшем сыне — Жаке Тибо — врожденная воля и стремление утвердить себя в жизни приняла совсем иные формы. Жак — бунтарь, антипод отца. Он с детства встал на путь решительного неприятия буржуазного общества, протеста против всех его устоев.

О характере Жака точнее всего говорит в «Эпилоге» его брат Антуан: «Он навсегда остался подростком. (Посмотреть в Энциклопедии, что составляет характерные черты подростка. У Жака были они все: и порывы, и крайности, и чистота, отвага и застенчивость, и вкус к абстракциям, и отвращение к полумерам, и прелесть молодости, которой неведом скептицизм).»

Жак дважды убегал из дому. Он всеми силами боролся против самой системы буржуазного воспитания, подавляющей личность, отдающей ребенка во власть ханжества, лжи, чудовищной жестокости.

Жак — юноша, окончательно порвавший с семьей, сблизился в Женеве с кругами революционной эмиграции «Отвага». Отвращение Жака к полумерам, стремление быть самим собой до конца приводит к тому, что он в первые дни империалистической войны гибнет, пытаясь разбросать над фронтом с самолета антиимпериалистические листовки. О гибели Жака рассказывает роман «Лето 1914 года».

Отношение дю Гара к тому пути индивидуального протеста, которым идет Жак, очень сложно. Оно тесно связано с тем изображением революционной эмиграции и социалистических партий Европы, которое дано в «Лете 1914 года».

Во всей европейской литературе последних десятилетий вряд ли найдется произведение, которое изображало бы крах II Интернационала в 1914 году с такой силой и беспощадностью, как роман дю Гара. Но, показывая банкротство социалистических партий, предательство бесчестных, полную беспомощность и беспочвенность субъективно честных, дю Гар, вме-

¹ «Интернациональная литература», № 9 — 10, 1940 г.

сте с тем, обходит вопрос о том, какова же должна была бы быть тактика рабочего движения, с помощью которой войну можно было бы предотвратить.

О политической наивности или неосведомленности автора речи здесь быть не может. «Лето 1914 года» непреложно свидетельствует о знакомстве дю Гара с работами Ленина. Но в романе нет ни одного упоминания о роли Ленина в этот период, так же как и ни одного образа революционера, способного правильно понять происходящие события и найти правильные пути борьбы.

Подчеркивание бездейственности, фатальной обреченности даже лучших представителей социалистической мысли перед лицом событий и определяет отношение автора к бессмысленному героизму Жака. Дю Гар — и в этом сказалась зрелость и проницательность художника-реалиста — отнюдь не идеализирует тот путь индивидуального действия, на который вступил его герой. Гибель Жака дана в романе не как апофеоз. С беспощадной, трагической убедительностью показано в романе, что гибель эта была бессмысленной и бесплодной.

Но, рисуя общую картину фатальной невозможности революционного действия в 1914 году, дю Гар видит в отчаянной попытке Жака не вину его, а беду.

Дю Гар не возвеличивает то решение вопроса, которое дано в судьбе Жака. Но и иного — правильного, исторически закономерного применения революционной энергии — он для своей эпохи не видит.

Однако читатель имеет дело не только с логикой тех выводов, к которым пришел автор, но и с логикой созданных им характеров.

Характер Жака — активный, цельный, революционному негибаемый, хотя еще и по-юношески негибкий, несет в себе большие возможности, чем предоставил ему дю Гар. Гибель Жака закономерна для того понимания исторических событий, которое дано в «Лете 1914 года». Но для читателя она единственной возможностью не является. Изживание иллюзий, разрыв с «говорильней» подвел Жака к тому рубежу, за которым он мог бы найти не гибель, а иной путь — путь к массовому революционному движению.

Сам дю Гар инстинктом художника почувствовал эту внутреннюю незавершенность судьбы Жака. Поэтому путь Жака, линия Жака не кончается в «Семье Тибо», вместе с его гибелью.

Спор между Жаком и Антуаном Тибо, то есть спор о двух путях развития французской интеллигенции в предвоенные и военные годы, кончается лишь в «Эпилоге».

Путь брата Антуана Тибо во всем цикле романов противостоял пути его младшего брата — Жака. Антуан Тибо, история жизни которого завершается в «Эпилоге», как бы воплощал в себе творческую энергию, страсть к науке, развращенную собственническим обществом, направленную на завоевание жизненных успехов. Антуан Тибо отнюдь не буржуазный спекулянт от науки. Высокий пафос человеческой борьбы против стихии болезни и

смерти, пылкий ум исследователя — все это делает его подлинным ученым, младшим братом тех великих деятелей науки, которые осуществили творческую, всечеловеческую работу даже в условиях буржуазного общества.

Но, если для Жака Тибо предпосылкой утверждения себя как личности был разрыв с буржуазным обществом, то Антуан Тибо поддался соблазну компромисса, соглашения с собственническим обществом и собственнической идеологией. Действенное отношение к жизни приобретает в характере Антуана Тибо все большее сходство с принципами ницшеанской морали. Его страсть к науке все больше растворяется в честолюбивом желании добиться признания, стать известным, «сделать карьеру».

Путь Антуана — вплоть до «Эпилога» — это одновременное восхождение по ступеням общественной лестницы и моральная деградация. «Я уже начал верить, — вспоминает Антуан в «Эпилоге», — будто все на свете можно купить. Я даже присвоил себе — как естественную привилегию богатого человека — право мало работать и заставлять работать на себя других. Предпринимателем, — вот кем я готовился стать... Я начинал уже чувствовать недоверие ко всему и ко всем. И уже думало лучших моих друзей: ради чего он мне это рассказывает? Ради моей чековой книжки?» Отрезвление приходит поздно — в клинике Мускье, куда Антуан, отравленный ипритом, попадает в последние месяцы войны.

Для Жака предвоенный и военный опыт открыл потенциальную возможность выйти на широкую дорогу массового революционного движения. Антуан Тибо этот опыт привел к внутреннему краху, к неизбежному отказу от всех своих прежних идей и устремлений.

Длительная агония смертельно отравленного Антуана, описанная в «Эпилоге», становится вместе с тем и процессом формирования в нем нового, подлинного человека. Это не значит, что Антуан Тибо тут же и сразу отказался от всех буржуазных понятий и иллюзий. Но он понимает, что вся жизнь его была построена на ложной основе, что все взгляды его лишь искажали подлинную картину мира и исторических событий. Антуан, вступивший в армию добровольцем, теперь с ужасом и отвращением видит последствия империалистической войны.

Он видит истинных виновников войны, он видит также, что скрывается за красивыми лозунгами победителей, идущих к финишу — к Версальскому миру. «В каждом их слове — наглость выигравшего скачку жокея», — пишет в своем дневнике Антуан.

Но Антуан Тибо не может отказаться от эволюционистского воззрения на исторический процесс, столь свойственного буржуазной науке. Именно с этой верой в постепенное, медленное переустройство общества связана самая горькая и смешная иллюзия умирающего. Увлечение Антуана всей бутафорией пресловутых посланий Вильсона дю Гар рисует в полном соответствии с исторической правдой.

Именно передовая европейская интеллигенция тех лет весьма наивно принимала на веру «демократические» декларации «главы американских миллиардеров», декларации, лицемерную сущность которых неоднократно разоблачал Ленин.

Однако все иллюзии, все пережитки прежних взглядов не меняют основной сущности того процесса, который происходит в сознании Антуана. Мысль о моральном и идейном превосходстве пути Жака становится для него все более неоспоримой. При этом питает ее не только трезвость человека, который уже смотрит на мир со стороны, не только отвращение к политике империалистов, но и те элементы стихийной диалектики, научного материализма, которые были свойственны Антуану-ученому и смогли проявиться тогда, когда вопросы «научной карьеры» и успеха исчезли перед лицом близкой и неминуемой смерти. Так вместе с сознанием новой близости к брату-бунтарю приходит к Антуану и мысль о революционном пути развития общества.

Идейная победа Жака Тибо закреплена в романе не только этим посмертным влиянием на брата.

Мы уже говорили о том, что в «Эпиллоге» у Жака есть прямые продолжатели его пути. Это Женни — мать ребенка Жака, четырехлетнего Жана Поля. Это маленький Жан Поль — последний Тибо, не носящий, правда, имени отца, но унаследовавший его волю, упорство, стремление утвердить себя в жизни.

Женни целиком восприняла революционные убеждения Жака. Но она видит выход уже не в индивидуальных подвигах, а в пробуждении народов Запада, в их революционной борьбе против империализма.

Несмотря на всю жизненность того образа Жака, который дан в «Эпиллоге», в нем есть черты символические и даже схематические.

Маленький Жан Поль — некий центр, где пересекаются все устремления и надежды героев романа, прежде всего — Антуана и Женни. Жан Поль — это будущее, которое каждый видит по-разному и хочет сформировать по-разному. Для Антуана Жан Поль — будущий гражданин цветущей и мирной демократической Европы. Женни уже видит впереди тот трудный путь испытаний и революционной борьбы, который предстоит ее сыну.

Сам дю Гар, показывая «волю Тибо», независимость и упорство, которые уже проявляются в ребенке естественно, не дает никаких прогнозов о его будущей судьбе.

В 1940 году Жан Полю должно было исполниться 25 лет. История обманула радужные надежды Антуана, связанные с теми буржуазными иллюзиями, которые еще жили в его сознании. Но сама любовь к ребенку, сама вера в будущее не была иллюзией. Именно она дала Антуану силу умереть во всеоружии своего достоинства человека и ученого, работая до последней минуты в интересах науки, передавая будущему поколению, как эстафету, все то ценное, что откристаллизовалось в его жизненном и творческом опыте.

Эта вера в будущее, эта устремленность к будущему, воплощенному в сыне бунтаря, порвавшего с буржуазным обществом, раскрывает оптимистическое звучание суровой и мужественной книги дю Гар, которая, естественно, не могла порадовать печать петэновской Франции.

Е. Книпович

■ ■ ■

БЕСПОМОЩНАЯ КНИГА

Научно-точная художественная биография завоевала себе за последние годы прочное место в беллетристике. И наша советская и западно-европейская литература знают не мало ярких произведений этого жанра. Построенные на строго документальном материале, оперируя последними историко-литературными данными, они оживляют методами художественного изложения сухие факты и биографические данные.

В сущности говоря, художник, воссоздающий портрет какого-нибудь исторического деятеля, находится в таком же положении, как и любой писатель-реалист, отбирающий из потока жизненных явлений нужный ему материал, наиболее типичный и выразительный. Искусство художника-биографа заключается в организации имеющихся фактов, в отборе наиболее характерного, в надлежащем его истолковании. При этом обязательно свое личное отношение к собранным историей литературы фактам и их истолкование.

Если подойти с этим критерием к только что вышедшей книге С. Я. Вольфсона¹, то трудно отделаться от чувства тягостного недоумения. Тема повести — последние, наиболее творческие годы жизни Г. Гейне. Жестокая болезнь, которую в те годы совершенно не умели лечить, превратила жизнерадостного, энергичного человека в полутруп. Гейне заживо похоронен в своей комнате, из которой ему уже не суждено выйти, он почти ослеп, ноги у него отнялись, пальцы рук еле разжимаются — поэт целых восемь лет медленно умирает в чудовищных страданиях. Но Гейне не сдаётся: его не покидает привычное остроумие, он продолжает создавать замечательные поэтические произведения, едва ли не лучшие жемчужины своей лирики, ведет полные искрометного лукавства беседы с друзьями, сохраняет прежнюю «эллинскую» жизнерадостность и оптимизм.

Как же воссоздал Вольфсон эту главу из жизни Гейне? Сюжетное построение книги примитивно. Гейне прикован к постели, но продолжает принимать друзей, вести с ними беседы на политические и литературные темы. И вот, по воле автора, с монотонной последовательностью, из главы в главу, — а таких глав у автора

¹ С. Я. Вольфсон — В матрацной могиле. Минск, 1940 г. 319 стр.

тридцать с лишним! — надоедливые посетители навешают поэта, декламируют отрывки, почерпнутые из мемуаров или переписки, а бедный Гейне отвечает им цитатами из собственных произведений. Кстати, автор книги излагает гейновские цитаты в скверных, корявых переводах, преимущественно марковского издания.

По воле автора к многочисленным страданиям поэта присоединяются муки косноязычия. Блестящий стилист, изумительный собеседник, как признавали даже его враги, неподражаемый мастер остро отточенной фразы, говорит у Вольфсона таким языком: «Иное дело, что я вынужден часто быть контрабандным журналистом, который заботится не о цвете лоскута, висящего на мачте судна, а о хорошем грузе, который он стремится довести в пристань общественного мнения» (стр. 108); «Что касается многих авторов, то их главное удовольствие заключается в цитатах из древних и новых книг — они полагают, что пара ученых цитат украшает целого человека» (стр. 173); «Их книги, напиглованные(!) цитатами, веселостью не отличаются» (там же).

Все эти фразы Гейне и не выдуманы самим Вольфсоном, — можно без труда указать источники, откуда они почерпнуты. Необходимо лишь отметить, что только отсутствие художественного чутья и вкуса могло позволить подать их в таком неуклюжем, плохом переводе. Но дело не только в этом. Основной порок книги Вольфсона заключается в механическом, нетворческом подходе к материалу. Автор перенес материал из литературы о Гейне в свою книгу, не попытавшись его идейно и художественно осмыслить.

Впрочем, там, где Вольфсон оставляет твердую почву фактов и документальных данных и прибегает к художественному вымыслу, положение еще хуже. Безвкусица, переходящая порой в прямую пошлость, дурной язык — вот далеко неполный «список злодеяний» книги Вольфсона. Приведем один характерный пример, их, впрочем, можно набрать достаточно много.

Общезвестен (в первую очередь, со слов Мейснера) эпизод последней прогулки Гейне по улицам Парижа, когда полубольной поэт зашел в Лувр, остановившись в немом восхищении перед статуей Венеры Милосской. Этот скромный факт, который в изложении подлинного мастера мог бы звучать многозначительно и трогательно, подан Вольфсоном в таком «легком» стиле:

«Гейне не посещал Лувра — он переживал Лувр — так, как переживают музыкальную симфонию или театральную драму. Женские портреты прославленных мастеров печально настраивали его. Он с грустью думал о том, что от оригиналов всех этих картин, от красавиц, которые были так милы, так кокетливы, так лукавы и так мечтательны, от всех этих головок с апрельскими капризами, от всей этой женской весны не осталось ничего, кроме пестрых теней, намалеванных живописцем... Гейне направлялся в тот или иной музей Лувра и там проводил день,

иногда назавтра возвращаясь к прерванному переживанию... Так вот она, госпожа Венера... И он, Генрих Гейне, воспеет эту красавицу-дьяволицу, ее роковую обольстительность и бесстыдные замашки, величавость ее страсти и ее олимпийскую надменность» (стр. 9).

Думается, что приведенной выписки достаточно для характеристики странной безвкусицы автора. Только художественной безвкусицей можно объяснить в книге сцену измены Матильды (к слову сказать, фактические данные об этой измене более чем скудны и сомнительны). Только крайняя бевкусница могла побудить автора влагать в уста действующих лиц (речь идет о Париже 50-х годов прошлого столетия) такие русифицированные выражения: «А народ продурной нынче пошел!», «Тем паче, что я слыхала о болезни, которая его изуродовала» и т. д. Впрочем, порой персонажи Вольфсона выражаются еще более своеобразно. Матильда говорит: «Какой вы шикарный стали!» Яков Фридман удивляется: «Просто не понимаю, из-за чего такой шурум-бурум подняли!» Только далеко несовершенным знанием автором русской речи можно объяснить то, что он допускает такие выражения: «вложение, сделанное в пряжу» (стр. 23), «Карл возобновил покачивание» (стр. 24), «универсальная наследница» (автору неведомо, что *«legataire universelle»* по-русски значит просто единственная наследница), «скоро двадцать лет нашей совместности» (стр. 183) или аналогичное: «быстро текут часы нашей совместности?» (стр. 262) и т. д.

Постановление немецких властей, запрещающее распространение произведений Гейне, означало, по словам Вольфсона (корявый перевод немецкого текста!): «финансовое уничтожение писателя. Его мозг конфисковали, у его бедного, ни в чем неповинного желудка были отняты все средства к жизни...» (стр. 19). Такими безвкусицами, вызывающими недоумение фразами пестрит множество страниц.

Авторские описания подстать всем этим «художествам» перевода. Вот, например, «пышная» характеристика творчества Гейне последнего периода: «Романсеро» — последний стоил его поэтической славы — создан из саванного мрамора, черного с белыми прожилками» (стр. 112).

Помимо литературно-художественных «красот», в книге имеются исторические неточности и ошибки, например, брат поэта, Максимилиан, в беседе с Генрихом излагает ему отзывы царской цензуры, которые в ту пору не были и не могли быть известны никому из посторонних; «чтение текста завещания продолжалось очень долго», — между тем как в действительности все завещание Гейне занимает лишь четыре с небольшим странички печатного текста и т. д.

Впрочем, что пользы даже в самой тщетной исторической точности, если она применена грубо-неумело и художественно оскорбительна?

Вот как Вольфсон описывает встречу Гейне с Марксом после многолетней раз-

луки (их близкое общение, оказавшее, как известно, огромное идейное влияние на Гейне, было прервано высылкой Маркса из Парижа). Гейне, вместо живой человеческой беседы с «доктором революции», к которому он относился с исключительным уважением, разразился (по Вольфсону) тирадой, звучащей в данной обстановке напыщенно-нелепо: «Я видел, как Гегель со своим почти комически серьезным лицом стал наседкой на роковых яйцах, из которых вылуплялись птенцы, затаившие новые напевы, и слушал их кудахтанье» (стр. 61). А Марксу, великому Марксу, несравненному мастеру публицистической прозы, Вольфсон вкладывает в уста серые фразы. Все, что изложено Вольфсоном, действительно было. Но в «обработке» Вольфсона получилось безвкусно и вздорно. Автор должен был бы понять, что так подавать встречу двух великих людей — непозволительно.

То же самое можно сказать про беседу молодого Германа Фихте (сына знаменитого философа) с Гейне, которого он хотел обратиться к религии. Фихте подан утрированно упрощенно, чуть ли не дурачком, хотя хорошо известно, что его беседа с Гейне носила серьезный философский характер.

Основной порок книги — ее полная художественная беспомощность, отсутствие у автора своей отчетливой точки зрения на основные проблемы гейневской биографии и творчества последних лет его жизни. Работа Вольфсона представляет собой нагромождение сырых, давно известных специалистам и плохо изложенных автором фактов. При этих условиях высокая научная санкция на издание этой книги («по постановлению президиума Академии наук БССР», как сообщает титульный лист) представляется ошибкой.

Б. Х. Черняк

■ ■ ■

«МОРСКОЙ СТАРИК»

Среди наших школьников есть немало юных натуралистов. Рассказать им популярно и занимательно о жизни рыб, об их борьбе за существование, познакомить юных читателей с научным значением рыбоводства, особенно в условиях нашего Дальнего Востока — этого своеобразного края, где флора и фауна являются сочетанием животного и растительного мира севера и юга, — интересная задача.

Очевидно, для осуществления этой задачи дальневосточный писатель, специалист-рыбник Трофим Борисов написал новую книгу «Морской старик», изданную в 1940 году Дальгизом в Хабаровске и Детиздатом в Москве.

Содержание повести не сложно. На один из рыбопроизводных заводов Дальнего Востока приезжает специалист-рыбовод Василий Игнатьевич с женой и девятилетним сыном Митей. Пять лет назад, в присутствии эвенка Егора, рыболовы выпу-

стили в реку мальков, отрезав им половину правой жаберной крышки; теперь, к осени, Василий Игнатьевич ожидал возвращения мальков уже «взрослыми», большими рыбами, нагулявшими жир.

Рыбовод встречает Егора, не верящего в возможность возвращения «раненого зверя на стан к охотнику». Но ему вскоре приходится убедиться в правоте ученого рыболова: в августе, когда начался большой ход рыбы, Василий Игнатьевич вылавливает меченых рыб.

Автор использует в своей повести старую нивхскую и эвенкийскую сказку о существовании на дне моря «морского старика», «делающего» рыб. Митя и дочь Егора — Маня (ровесники по возрасту) — уезжают на лодке к устью реки, чтобы увидеть «морского старика». Это делает повесть занимательной, придает ей роман-тичность.

Эпизод с приключениями детей, унесенных в море и попавших на заброшенный остров, — наиболее удавшееся Борисову место повести. Автор увлекательно описывает шторм, охоту на нерп, поиски пресной воды, затем, по возвращении детей на сушу — столкновение их с «хозяйном тайги» — медведем. Этот эпизод, ставший центральным, насыщен приключениями и окрашен романтикой. Митя и особенно «дочь природы» Маня мужественно преодолевают опасности, окружающие их.

К сожалению, этот эпизод является единственной художественной удачей автора в данной книге. Все остальное описано отрывочно, сухо и нехудожественно.

Книга Борисова «Морской старик» представляет собой искусственно соединенные эпизоды. В книге нет композиционной целостности. В начале повести появляется с Василием Игнатьевичем проводник нивх Гибелька. Автор описывает опасность спуска со снежных гор, искусство вожделения нарт Гибелькой. Далее следуют эпизоды: встреча Василия Игнатьевича с эвенком Егором, приход парохода с радиооборудованием (по повести нужным лишь для оповещения рыболовов о прилете самолета), «катание» на аэроплане Егора с детьми и другие эпизоды.

Между этими эпизодами нет внутренней художественной связи. Они существуют сами по себе. Эпизод с катанием детей на лодке по реке — нужен для показа жизни выдры; эпизод с Василием Игнатьевичем, вытаскившим кучу водорослей, — нужен для разоблачения легенды о морском старике и т. д.

Приводит в недоумение внезапное исчезновение проводника Гибельки: на одиннадцатой странице автор показывает Гибельку выходящим из урасы, чтобы помочь мужчинам починить нарту, и... больше он не появляется вовсе. Автор часто обезличивает своих героев, рисует их чрезмерно скупо.

В издании Дальгиза затрудняет чтение книги отсутствие объяснений некоторых слов неизвестных, а поэтому непонятных юным читателям: нивх, эвенк (народности нашего Севера), сивуч (вид тюленей) и др. Детиздат включил в свое издание «Мор-

ского старика» объяснение ряда слов и снабдил книгу рисунками В. Коновалова.

Не разбирая иллюстрации с точки зрения их художественного достоинства, отметим несообразность некоторых из них: на странице 78-й помещен рисунок, цель которого показать встречу Мити и Мани с медведем в тайге. Если судить по повести, то «Митя, как только увидел зверя, попятился к пню», а затем «...Митя, с широко открытыми глазами, сидел плотно прижавшись к пню». Художник В. Коновалов превратил скромный борисовский пенёк в широкое, высокое и могучее дерево... На странице 54-й то же несоответствие: судя по повести, Маня разыскивает Митю, кричит «Митя-а!..» «почти над головой мальчика»; судя по рисунку —

Маня находится далеко и где-то в стороне.

Трофим Борисов превосходно знает и любит свою специальность. Это известно по ряду его книг, в частности, по «Тайне маленькой речки», положительно оцененной еще М. Горьким, «По широким плесам Амура» и другим. Борисов знает природу, нравы и повадки рыб и животных. Он дает много интересных сведений об искусственном разведении рыбы, о жизни морского мира. Это делает книгу Борисова весьма полезной.

Однако схематичное описание людей, отрывочность, сухость и искусственная связь большинства эпизодов значительно снижают ценность книги.

А. Гольдин

НОВЫЕ КНИГИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВОЕННОЕ ДЕЛО

Ленин, В. И. Сочинения. Изд. 4-е. Том I. 1893-1894.—(Институт Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б). Госполитиздат. М. 1941. 514 стр. с портр. 500.000 экз. 8 р. в пер.

Сталин в Царицыне.—Областное книгоиздательство. Сталинград. 1940. 72 стр. с илл., карт. и портр. 10.000 экз. 4 р. в пер.

В книге собраны документы, характеризующие деятельность И. В. Сталина в обороне Царицына. Сборнику предпосланы: статья «Товарищ Сталин о юге России» и вводная часть и первая глава книги К. Е. Ворошилова «Сталин и Красная Армия».

Ярославский, Ем. Биография В. И. Ленина. Изд. 2-е.—Соцгиз. М. 1941. 224 стр. с портр. 125.000 экз. 2 р. 50 к. в пер.

Ярославский, Ем. О товарище Сталине. 2-е изд.—Госполитиздат. М. 1941. 152 стр. с портр. 100.000 экз. 2 р. 50 к. в пер.

Бисмарк, О. Мысли и воспоминания. Пер. с нем. под ред. А. Е. Ерусалимского. Том III.—(В-ка внешней политики.) Госполитиздат. М. 1941. 212 стр. 4 р. в пер.

ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. (1898—1939.) Изд. 6-е, доп.—(Институт Маркса—Энгельса—Ленина при ЦК ВКП(б). Госполитиздат. М. 1941.

Часть I. 1898—1925. 728 стр. 80.000 экз. 10 р. в пер.

Часть II. 1925—1939. 834 стр. 300.000 экз. 10 р. в пер.

Воспоминания участников обороны Царицына.—Областное книгоиздательство. Сталинград. 1940. 168 стр. с илл. и портр. 7.000 экз. 5 р. в пер.

Сборник воспоминаний открывается статьей «Сталин о юге России», вводной частью, первой главой из книги К. Е. Ворошилова «Сталин и Красная Армия» и первой частью статьи С. М. Буденного «Красная конница в гражданской войне». Далее напечатаны воспоминания Г. Кулика, О. Городовикова, Е. Шаденко и других участников борьбы за Царицын.

XX лет Советской Грузии.—«Заря Востока». Тбилиси. 1941. 292 стр. с илл. и портр. 5.000 экз. 19 р. 50 к. в пер.

Изданный к двадцатилетию Грузинской ССР, юбилейный сборник всесторонне освещает жизнь и социалистическое строительство республики, являющейся родиной великого вождя народов — товарища Сталина.

Дидро, Д. Избранные философские произведения.—Госполитиздат. М. 1941. 280 стр. с илл. и портр. 50.000 экз. 5 р. в пер.

Книга включает главные философские труды философа-материалиста XVIII века («Мысли к объяснению природы», «Философские основания материи и движения» и др.).

Пофффе, А. Ф. Некоторые проблемы современной физики. Лекция, прочитанная в Политехническом музее 23 ноября 1940 г.—(Лекции в помощь изучающим марксизм-ленинизм.) Соцгиз. М. 1941. 24 стр. 100.000 экз. 25 к.

Калинин, М. И. О коммунистическом воспитании.—Госполитиздат. М. 1941. 36 стр. 100.000 экз. 30 к.

В книге напечатаны доклад «О коммунистическом воспитании» и речь М. И. Калинина «Роль и задачи политработников Красной Армии и Военно-Морского Флота».

Кара-Мурза, Г. С. Тайпины. Великая крестьянская война и тайпинское государство в Китае. 1850—1864.—(Школьная историческая б-ка.) Учпедгиз. М. 1941. 134 стр. с рис. и карт. 25.000 экз. 2 р. в пер.

В книге рассказывается о причинах, ходе и итогах крестьянской войны в Китае в середине XIX в., известной в истории под названием «Восстание тайпинов».

Китай. История, экономика, культура, героическая борьба за национальную независимость. Сборник статей под ред. В. М. Алексеева, П. Н. Думана и А. А. Петрова.—(Институт Востоковедения.) Академия наук СССР. М.—Л. 1940. 536 стр. с илл., портр. и карт. 15.000 экз. 20 р. в пер.

Линевский, А. М. Очерки по истории древней Карелии. Часть I.—(Науч.-исслед. лит. культуры Карело-Финской ССР.) Госиздат Кар.-Фин. ССР. Петрозаводск. 1940. 130 стр. с рис. 10.000 экз. 5 р. в пер.

Лунин, Б. А. Киргизская ССР. (Краткий краеведческий очерк.) Под ред. В. Т. Каварина.—(Музей краеведения Кирг. ССР.) Кирг. гос. изд-во. Фрунзе.—Казахь. 1940. 116 стр. с рис. 1.100 экз. 4 р. 30 к.

Митин, М. Диалектический материализм — мировоззрение марксистско-ленинской партии. Обработанный стенограмма лекции, прочитанной в Высшей партшколе при ЦК ВКП(б).—(Лекции в помощь изучающим марксизм-ленинизм.) Госполитиздат. М. 1941. 48 стр. 100.000 экз. 40 к.

Наши артиллеристы на финском фронте.—(В-ка красноармейца.) Воениздат. М. 1941. 128 стр. с илл. и портр. 1 р. 75 к. в пер.

Очерки боевой деятельности артиллерии Красной Армии на финском фронте.

Никольсон, Г. Дипломатия. Пер. с англ. под ред. и с предисл. А. А. Трояновского.—(В-ка внешней политики.) Госполитиздат. М. 1941. 154 стр. 50.000 экз. 4 р. в пер.

Краткий исторический обзор форм и методов дипломатии с древних времен. В Англии эта книга входит в состав «Библиотеки университета на дому».

Опещук, Ф. О преодолении религиозных пережитков.—Гос. антирелиг. изд-во. М. 1941. 40 стр. 30.000 экз. 35 к.

Популярно изложено марксистско-ленинское учение о религии и ее общественных корнях, рассказано, как следует вести борьбу с религиозными предрассудками.

Папанин, И. Д. Через море на помощь бойцам Перекопа.— Крымгосиздат, Симферополь, 1940. 36 стр. 10.000 экз. 70 к. в пер.

Автор рассказывает о высадке им у берегов Капсхора в 1920 году второго десанта красных партизан для деорганизации тыла Врангеля.

Плутарх. Избранные биографии. Пер. с греч., под ред. и с предисл. С. И. Лурье.— (Ленингр. Гос. ун-т.) Союзгиз. М.—Л. 1941. 492 стр. 20.000 экз. 15 р. в пер.

Имеются биографии Фемистокла, Перикла, Лисандра, Тиберия и Гая Гракхов, М. Суллы, Цицерона, Врута, Ю. Цезаря и других виднейших государственных деятелей эпохи гражданских войн в древней Греции и Риме.

Плюхин, Н. Советы — государственная форма диктатуры рабочего класса.— Лениздат. Л. 1940. 96 стр. 10.000 экз. 2 р. 50 к.

Излагая учение марксизма-ленинизма о диктатуре рабочего класса, автор рассказывает историю развития Советов как органов государственной власти в СССР с революции 1905 года и до наших дней.

Сидоров, В. И. Партийно-политическая работа в Первой Конной армии.— Воениздат. М. 1941. 120 стр. с илл. и портр. 75 к.

На основе документального материала автор рассказывает, как проводилась партийно-политическая работа в Конной армии в условиях боев и походов.

Тарле, Е. В. Нахимов.— Воениздат. М. 1940. 140 стр. с илл. и карт. 2 р.

Обрисована боевая деятельность русского адмирала Нахимова — героя Севастопольской обороны — в Крымской войне середины прошлого столетия.

Трамм, В. Ф. Учись обороняться от воздушного врага.— (Воен. б-чка комсомольца.) «Молодая гвардия». М. 1941. 80 стр. с рис. 100.000 экз. 50 к.

Тунцкий, З. Герой социалистического труда В. А. Дегтарев.— (Б-ка красноармейца.) Воениздат. М. 1941. 64 стр. с портр. 35 к.

Очерк жизни и деятельности знаменитого советского изобретателя-оружейника, конструктора пулеметов.

Хейфец, Ф. Я. Первый Интернационал. Под ред. Е. И. Рубинштейна.— (Науч.-популяр. серия.) Академия наук СССР. М.—Л. 1941. 60 стр. с портр. 10.000 экз. 2 р.

Освещены рабочее движение 50—60-х гг. XIX в. в Западной Европе и деятельность 1 Интернационала.

Шпирт, А. Минеральное сырье и война. Проблемы обеспечения капиталистических стран минеральным сырьем в первой и второй империалистической войне.— (Ин-т мирового хозяйства и мировой политики Академии наук СССР.) Политиздат. М. 1941. 280 стр. с табл. 15.000 экз. 5 р. 50 к. в пер.

Яглич, В. Храни военную тайну.— (Воен. б-чка комсомольца.) «Молодая гвардия». М. 1941. 32 стр. с рис. 50.000 экз. 25 к.

Ярославский, Е. М. Десятый съезд РКП(б). К двадцатой годовщине съезда.— Госполитиздат. М. 1941. 66 стр. 100.000 экз. 50 к.

Ярославский, Е. М. Как рождался, живут и умирают боги.— (Антирелиг. б-ка.) Воениздат. М. 1941. 260 стр. с рис. 2 р. 50 к. в пер.

Дана сравнительная история христианской, иудейской, мусульманской, буддийской и других религий.

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. ГЕОГРАФИЯ. ПУТЕШЕСТВИЯ.

Аристотель. О возникновении животных. Пер. с греч., вступ. статья и прим. В. П. Карпова.— (Классики естествознания.) Академия наук СССР. М.—Л. 1940. 252 стр. 3 000 экз. 10 р. в пер.

Это — произведение крупнейшего ученого и философа IV в. до н. э., впервые публикуемое на русском языке, является высшим достижением античной эмбриологии.

Беловежская пуща. (В помощь туристу.) — (Управление по заповедникам, зоопаркам и зоосадам при СНК БССР.) Гос. изд-во при СНК БССР. Минск. 1941. 44 стр. с илл. и карт. 5.000 экз. 1 р. 20 к.

Краткий очерк-путеводитель, знакомящий с

историей и современным состоянием известного заповедника.

Зыков, Д. Д. Уголь и химия.— (Науч.-популярн. серия «Академия наук — стахановцам».) Академия наук СССР. М.—Л. 1940. 220 стр. с рис. 10.000 экз. 5 р. в пер.

Иван Петрович Павлов. Воспоминания учеников. Под ред. и с предисл. Н. И. Лепорского.— (Воронежский филиал Всесоюз. об-ва физиологов, биохимиков и фармакологов.) Воронежское обл. книгоиздательство. Воронеж. 1941. 84 стр. с портр. 1.000 экз. 4 р.

Воспоминания профессоров И. С. Питовича, Е. А. Нейда, И. В. Завадского и других охватывают период с 1899 по 1928 г., когда академик Павлов создавал учение о работе больших полушарий головного мозга.

Михлухо-Маклай, Н. Н. Путешествия. Том I. Подготовили к печати И. Н. Винников и А. Б. Пиотровский.— (Институт этнографии.) Академия наук СССР. М.—Л. 1940. 364 стр. с илл., табл. и портр. 3.000 экз. 18 р. в пер.

Этнографические, лингвистические и антропологические исследования знаменитого русского путешественника XIX в. Том I посвящен Новой Гвинее.

Тедорадзе, Г. Пять лет в Пшавии и Хевсуретии. Пер. с груз.— «Заря Востока». Тбилиси. 1941. 164 стр. с рис. 5.000 экз. 5 р. 50 к. в пер.

Историко-этнографический очерк, освещающий быт пшав-хевсуров в первые годы советской власти в Грузии.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА. КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ИСКУССТВО.

Антоновская, А. Великий Моурави. Части 3-я и 4-я. Стихи и примеч. В. К. Черного.— (Историч. романы. № 23—24.) Гослитиздат. М. 1941. 512 стр. с илл. 50.000 экз. 6 р. 50 к. в пер.

Описана жизнь Георгия Саакадзе.

Артемов, А. Атакующее слово. Стихи.— (Б-ка красноармейца.) Воениздат. М. 1941. 32 стр. с илл. 25 к.

Собраны дальневосточные оборонные стихи поэта.

Берпадский, Р. Фронтной блокнот.— (Б-ка красноармейца.) Воениздат. М. 1941. 68 стр. с илл. 1 р. 75 к. в пер.

Автор рисует отважных участников героической борьбы с белофиннами.

Бои в Финляндии. Воспоминания участников. Часть II.— Воениздат. М. 1941. 540 стр. с илл. и портр. 7 р. 25 к. в пер.

Во второй части собраны воспоминания участников прорыва линии Маннергейма.

Вайсенберг, Л. Детство Ваджи.— «Сов. писатель». Л. 1941. 224 стр. 10.000 экз. 5 р. 75 к. в пер.

Вересаев, В. Невыдуманные рассказы о прошлом.— (Б-ка «Огонек». № 7.) Изд-во «Правда». М. 1941. 48 стр. 50.000 экз. 20 к.

Возрожденный народ. Альманах каракалпакской литературы.— (Союз сов. писателей и н.-и. ин-т языка и лит-ры Кара-Калпак. АССР.) Каракалпак. гос. изд-во. Турткуль. 1940. 148 стр. 3.050 экз. 3 р. 90 к. в пер.

Собраны стихи и песни народных шайров и поэтов, сказки, пословицы и поговорки каракалпакского народа, возрожденного Великой Октябрьской социалистической революцией.

Вургун Самед. Вагиф. Драма в 5 действ., 11 карт., в стихах. Пер. с азерб. В. Гурвича.— «Искусство». М.—Л. 1941. 118 стр. с рис. и портр. 5.000 экз. 4 р. в пер.

Народная драма «Вагиф» рассказывает о борьбе азербайджанского народа против иранского шаха Мухаммеда Каджара и против «собственных» ханов-угнетателей.

Гаврилова, Ф. Записки рядового партийца. Литературная обработка Д. М. Щеголова.— Гослитиздат. Л. 1940. 156 стр. с портр. 5.000 экз. 4 р. в пер.

В книге показан путь женщины от темной деревенской девушки до участницы гражданской войны, партизанки, члена партии — организатора-большевика.

Гейне, Г. Избранные стихи. Ред. и примеч. А. Дейча.— (Б-ка «Огонек». № 8.) Изд-во «Правда». М. 1941. 48 стр. 50.000 экз. 20 к.

Гольдони, К. Хитрая вдова. Комедия в 3-х действ. Пер. А. К. Дживилегова.—«Искусство». М.—Л. 1941. 136 стр. 3.000 экз. 3 р.

Диковский, С. Комедант Птичьего острова. Рассказы.—Гослитиздат. М. 1941. 200 стр. с илл. 50.000 экз. 2 р. 50 к. в пер.

Добролюбов, Н. А. Стихотворения. Вступ. статья, ред. и примеч. В. Я. Вушхатба.—(Виб-ка поэта.) «Сов. писатель». Л. 1941. 240 стр. с портр. 5.000 экз. 10 р. в пер.

Собрания лирические, сатирические и шуточные стихотворения Добролюбова, а также его переводы песен Гейне.

Достоевский, Ф. М. Повести. Ред. и послесловие О. В. Цехновицер.—Гослитиздат. Л. 1940. 484 стр. с илл. и портр. 30.000 экз. 14 р. в пер.

Содержание: «Бедные люди»; «Белые ночи», «Неточка Незванова»; «Игроки»; «Кроткая».

Калевала. Карело-финский народный эпос. Пер. Л. Ш. Вельского. Вступ. статья и примеч. Е. Г. Кагарова.—Госиздат Кар.-Фин. ССР. Петрозаводск. 1940. 380 стр. с илл., заставками и концовками. 10.000 экз. 20 р. в пер.

Кози, С. А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. под названием Юань чао би ши. Монгольский обыденный заборник. Том I. Введение в изучение памятника, перевод, тексты, глоссарии.—(Ин-т Востоковедения.) Академии наук СССР. М.—Л. 1941. 620 стр. 1.900 экз. 30 р. в пер.

«Сокровенное сказание» — ценнейший памятник древнемонгольской литературы о Чингис-хане (XIII в.) — включает документально-исторические и эпические элементы, а также элементы литературной лирики, повести и зачатки драмы и трагедии.

Издание рассчитано на три тома.

Купер, С. День Марин. Роман. 2-е, перер. изд.—Гослитиздат. Л. 1940. 396 стр. с илл. 10.000 экз. 8 р. в пер.

Легенды и были. Фольклор старых горнорабочих Южной и Западной Сибири. Сборник А. А. Мисурева. Предисл. М. К. Азадовского. 2-е, доп. изд.—Новосибирск. Обл. гос. изд-во. 1940. 15.000 экз. 4 р. 40 к. в пер.

В этой книге собран рабочий фольклор — песни, сказки и легенды, представляющий огромный интерес для исследователей фольклористов, литературоведов, а также и для широких читательских масс.

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени.—Гослитиздат. М. 1941. 208 стр. с илл. 100.000 экз. 2 р. в пер.

Линдсей, Д. Адам нового мира. Пер. с англ. М. Е. Абкиной. Вступ. статья М. А. Гукского.—Гослитиздат. Л. 1940. 380 стр. с рис. 20.000 экз. 10 р. в пер.

Роман о последних годах жизни философа XVI в. Джордано Бруно.

Марко Поло. Путешествие. Пер. со старофранц. П. И. Минаева. Вступ. статья, комментарий и редакция перевода К. И. Кунина.—Гослитиздат. Л. 1940. 316 стр. с илл., портр. и карт. 10.000 экз. 11 р. в пер.

Первый точный русский перевод книги венецианского путешественника XIII в. Марко Поло, первого исследователя внутренней Азии — Монголии, Китая, Персии, Цейлона, Суматры, Кинхины (юго-восток Индо-Китая).

Мидкевич, А. Избранное. Вступ. статья, подбор стихов и комментарии М. Живова.—(В-ка «Огонек». № 68.) Изд-во «Правда». М. 1940. 64 стр. 50.000 экз. 20 к.

Напечатаны баллады, крымские сонеты и лирические стихи польского поэта в переводе А. С. Пушкина, А. Фета, Ив. Бунина, М. Лермонтова, А. Майкова и других.

Мурадян, Георг Марветуни.—Армиз. Ереван. 1940. 324 стр. с портр. 5.500 экз. 16 р. в пер.

Исторический роман о героической борьбе армянского народа в первой четверти X в. против арабских завоевателей и «собственных» феодалов.

Новаторы промышленности и транспорта. Очерки о передовых людях.—Челябинск. Челябинск. 1941. 124 стр. с портр. 10.000 экз. 1 р. 30 к.

Отцы и дети. Сборник рассказов старых и молодых рабочих.—Рост. обл. книгоизд-во. Ро-

стов-на-Дону. 1941. 132 стр. с илл. 6.500 экз. 4 р. в пер.

Рассказы людей двух поколений о труде — в условиях дореволюционной России и в условиях советской действительности.

Песни и думы. Переводы с болгар. под ред. Г. Пиралова.—Гослитиздат. М. 1941. 96 стр. с портр. 10.000 экз. 4 р. в пер.

Сборник болгарской революционной поэзии.

Песнь об Арсене. Пер. с груз. А. Чачикова.—Гослитиздат. М. 1941. 32 стр. с илл. 50.000 экз. 1 р.

Народная песня о герое грузинского народа — Арсене Одашашвили — главе крестьянских восстаний в первой половине XIX века.

Петровский, Д. М. Повесть о полках Богуском и Таранском.—(В-ка «Огонек». № 69-70.) Изд-во «Правда». М. 1940. 96 стр. 50.000 экз. 40 к.

Освещена боевая деятельность героя гражданской войны Николая Щорса.

Сказки крымских татар. В передаче М. Г. Кустовой.—Крымгосиздат. Симферополь. 1941. 120 стр. с илл. 10.000 экз. 4 р. в пер.

Сokolov-Микитов, И. Избранное.—Гослитиздат. Л. 1940. 544 стр. с илл. 10.000 экз. 10 р. 50 к. в пер.

В книге представлена повесть «Чижикова лавра» и циклы рассказов: «Детство», «Морские рассказы», «Спасение корабля» и «На пробужденной земле».

Сурков, А. Это было на Севере.—Гослитиздат. М. 1941. 64 стр. с илл. 10.000 экз. 1 р. 25 к. Стихи участника боев с белыми.

Твардовский, А. Загорье. Стихи.—«Сов. писатель». М. 1941. 48 стр. 5.000 экз. 2 р.

Твардовский, А. Из фронтовых стихов.—(Виб-ка «Огонек». № 6.) Изд-во «Правда». М. 1941. 48 стр. 50.000 экз. 20 к.

Тобояков, В. Сибирские рассказы.—«Сов. писатель». Л. 1941. 308 стр. с илл. 5.000 экз. 5 р. 75 к. в пер.

Успенский, Г. И. Полное собрание сочинений. Том III. Разное. Очерки и рассказы. 1868—1873.—(Институт лит-ры Академии наук СССР.) М. 1941. 752 стр. с илл. и портр. 15.000 экз. 20 р. в пер.

Издание подписное.

Фадеев, А. Последний из Удэга. Книга 4-я.—Гослитиздат. М. 1941. 160 стр. 50.000 экз. 2 р. 50 к. в пер.

Хилков, А.—Обнаженные корни. Роман. 2-я часть.—Гослитиздат. Л. 1940. 504 стр. 10.000 экз. 8 р. в пер.

Чечено-ингушская лирика. В переводе Н. Асанова.—«Чеченгосиздат», Грозный. 1941. 118 стр. с рис. 7.000 экз. 2 р. 80 к. в пер. Стихи ашугов и поэтов.

Шолом-Алейхем. Скрипка.—Гос. изд-во «Дер Эмес». М. 1941. 32 стр. 25.000 экз. 35 к.

Рассказ дан в переводе Б. Черняка.

Кацнельсон, С. Л. Краткий очерк языкознания.—Издание Ленингр. гос. ун-та. Л. 1941. 72 стр. 3.000 экз. 4 р.

Лаврецкий, А. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм.—Гослитиздат. М. 1941. 372 стр. 5.000 экз. 11 р. в пер.

Тимофеев, Л. Поэтика Маяковского.—«Сов. писатель». М. 1941. 106 стр. 5.000 экз. 3 р.

Усевич, Е. Ванда Василевская.—Гослитиздат. М. 1941. 64 стр. с портр. 100.000 экз. 50 к.

Фурманова, А. Дмитрий Фурманов.—Ивановское обл. гос. изд-во. Иваново. 1941. 112 стр. с портр. 15.000 экз. 1 р. 90 к. в пер.

Чуковский, К. Высокое искусство.—Гослитиздат. М. 1941. 260 стр. 10.000 экз. 6 р. в пер.

Методический разбор проблем, связанных с мастерством перевода.

Эмиль Золя. 1840—1902. Указатель литературы. Составитель Л. Г. Бернштам.—(Ленингр. центр. б-ка.) Л. 1940. 44 стр. 2.000 экз. 2 р. 50 к.

Беляевская, В. Роспись русского классицизма. Под ред. Г. Г. Гримма.—«Искусство». Л.—М. 1940. 120 стр. с илл. 3.000 экз. 13 р. в пер.

Исследование по русской монументально-декоративной живописи XVIII-XIX веков.

Зеест, И. Б. Пракситель.—(Комитет по делам искусств при СНК СССР.) Издание Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина. М. 1941. 48 стр. с илл. 10,000 экз. 3 р. 25 к.

Творчество знаменитого греческого скульптора середины IV в. до н. в.

Очерки по истории и технике гра-
вюры.—(Комитет по делам искусств при СНК СССР.) Издание Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина. М. 1941. 152 стр. с илл. 8,000 экз. 19 р. в пер.

П. И. Чайковский на сцене Театра оперы и балета им. С. М. Кирова (б. Марининский).—Издание Лен. Гос. орденена Ленина Акад. театра оперы и балета им. С. М. Кирова. Л. 1941. 450 стр. с илл. и портр. 3,150 экз. 50 р. в пер.

В этом юбилейном сборнике, изданном к столетию со дня рождения П. И. Чайковского, собраны статьи по сценической истории опер Чайковского, по музыкальной драматургии балетов Чайковского и другие.

Павсаний. Описание Эллады. Пер. и введ. статьи С. П. Кондратьева. Том II.—«Искусство». М.—Л. 1940. 592 стр. с илл. 3,000 экз. 25 р. в пер.

В данном томе заключаются важные для искусства и археологии описания Олимпии, Дельфов и др.

Терновец, В. Сарра Лебедева.—«Искусство». М.—Л. 1940. 92 стр. с илл. и портр. 5,000 экз. 9 р. 50 к. в пер.

Жизнь и творчество советского скульптора-портретиста.

Урушадзе, И. А. Яков Иванович Николадзе.—«Искусство». М.—Л. 1940. 80 стр. с илл. и портр. 3,000 экз. 10 р. в пер.

Жизнь и творчество современного грузинского скульптора-портретиста.

Широкий, Ю. Тамара Ханум.—«Искусство». Л.—М. 1941. 94 стр. с илл. и портр. 3,000 экз. 2 р. в пер.

Жизнь и творческий путь народной артистки Узбекской ССР.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

(для старшего возраста)

Григорьев, С. Двенадцатый год. (1812).—(Историч. б-ка.) Детиздат. М.—Л. 1941. 144 стр. с илл., портр. и схем. 25,000 экз. 3 р. 20 к.

Книга рассказывает о героической борьбе русского народа с нашествием Наполеона на Россию в 1812 году.

Пермонтов, М. Ю. Избранные произведения в двух томах. Ред. и примеч. Б. М. Эйхенбаума. Том II. Проза. Драматические произведения.—Детиздат. М.—Л. 1941. 380 стр. с илл. и портр. 25,000 экз. 10 р. в пер.

Содержание: «Маскарад»; «Княгиня Литовская»; «Герой нашего времени»; «Ашик-Кериб».

Лондон, Д. Морской волк. Поездка на «Ослепительно». Сокращенный перевод с англ. Л. М. Горфинкеля.—Детиздат. М.—Л. 1941. 360 стр. 25,000 экз. 7 р. 70 к. в пер.

Обручев, В. А. Плутония. Необычайное путешествие в недра земли. (Науч.-фантастич. роман.) Рис. Е. Рачева.—(Б-ка приключений.) Детиздат. М.—Л. 1941. 384 стр. с рис. 15,000 экз. 7 р. 50 к. в пер.

Савельев, Л. Следы на камне. Научная редакция акад. В. А. Обручева.—Детиздат. М.—Л. 1941. 240 стр. с рис. 25,000 экз. 7 р. 40 к. в пер.

В книге рассказано о рождении Земли, появлении и развитии жизни на Земле, прослежена история человечества от его далеких предков—обезьян—до эпохи каменного века.

Твардовский, А. Фронтные стихи. Рис. Н. Шиниловского.—Детиздат. М.—Л. 1941. 48 стр. с илл. 25,000 экз. 70 к.

Стихи, написанные во время боев с белофиннами, основанные на действительных фактах.

Хабур, В. Пяндж шумит. Роман.—Детиздат ЦК ЛКСМ Уз. Ташкент. 1940. 252 стр. с илл. 5,000 экз. 7 р. 50 к. в пер.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Гусак, Ш. З. Гимнастические пирамиды.—(Учебно-спортив. отдел Комитета по делам физкультуры и спорта при СНК БССР.) Госиздат при СНК БССР. Минск. 1941. 48 стр. с фигурами. 3,000 экз. 1 р. 15 к.

Караев, Г. Н. По следам гражданской войны в СССР. Туристские путешествия.—«Физкультура и спорт». М.—Л. 1940. 216 стр. с илл., портр. и карт. 1,200 экз. 12 р. в пер.

Даны маршруты мест походов и боев, в которых участвовали Сталин, Ворошилов, Щорс, Чапаев и другие участники гражданской войны.

Крупин, К. и Таборко, М. Спортивные соревнования в колхозе.—(Б-ка физкультурника-колхозника.) «Физкультура и спорт». М. 1941. 48 стр. с рис. 10,000 экз. 70 к.

Собраны материалы по организации соревнований по отдельным видам спорта: прыжкам, гимнастике, плаванию, легкой атлетике и др.

ИСПРАВЛЕНИЯ

«Октябрь» № 4

Стр.	Колонка	Строка	Напечатано	Следует читать
223	левая	16 сверху	органическое	ограниченное
243	левая	4 абз.		ненависти к бур-
		2 последних		жуазному поряд-
		строки		ку и его носи-
				телям

Содержание

Стр.

Торжество советского искусства	3
--	---

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, СТИХИ

М. ГОЛУБКОВА — Два века в полвека, <i>повесть</i> (окончание)	7
Август ЯВИЧ — В начале осени, <i>рассказ</i>	61
Б. ГАЛИН — Иван Вуколов и «Фриц Вернер», <i>очерк</i>	65
В. МАЯКОВСКИЙ — Твердые деньги — твердая почва для смычки крестьянина и рабочего, <i>стихи</i>	69
Ив. ФРАНКО — Сонеты (переводы Н. Ушакова)	70
Ив. ФРАНКО — стихи (перевод А. Гатова)	71
Иоганнес БЕХЕР — По дороге в Кемптен, <i>стихи</i> (перевод Б. Н. Лейтина)	72
Михаил ЛЬВОВ — Ломают дом, Освобождение, <i>стихи</i>	72
Лев ЧЕРНОМОРЦЕВ — <i>стихи</i>	72
Ицхок-Лейбуш ПЕРЕЦ — Во время эпидемии, <i>рассказ</i>	73
Л. КВИТКО — Колодец, <i>стихи</i> (перевод Б. Прикина)	85
Иван ЕВДОКИМОВ — Крамской, <i>повесть</i>	86

КРИТИКА

Н. ПЛИСКО — Маяковский и революционная поэзия 1905 года	177
Мих. БЕККЕР — Творческий путь В. И. Лебедева-Кумача	182
Т. МОТЫЛЕВА — Иоганнес Бехер	195
Шахно ЭПШТЕИН — Ицхок-Лейбуш Перец	203

БИБЛИОГРАФИЯ

В. ИЛЬЕНКОВ — Бои в Финляндии	215
М. ЖИВОВ — Новые горизонты	217
Н. ГУСЕВ — Короленко для детей	220
Е. КНИПОВИЧ — Крушение иллюзий французского интеллигента	221
Б. Х. ЧЕРНЯК — Беспомощная книга	223
А. ГОЛЬДИН — «Морской старик»	225
Новые книги	227

Отв. секретарь — И. В. ШАМОРИКОВ

Редколлегия: В. П. ИЛЬЕНКОВ, П. А. ПАВЛЕНКО, Ф. И. ПАНФЕРОВ,
И. В. ШАМОРИКОВ, С. П. ЩИПАЧЕВ, М. М. ЮНОВИЧ

Адрес редакции: Москва, ул. Горького, 15. Телефон: К-5-42-40.

17-й год издания.	Тираж 30 000 экз.	Подписано к печати 23/IV 1941 г.	A38571
Печ. листов 14,5.	Авт. листов 29.	В печ. листе 80 000 зн. Цена 5 руб.	Заказ типографии 432

18-я типография треста «Полиграфкнига», Москва, Шубинский пер., д. 10

К ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА „ОКТЯБРЬ“

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ:

Просим Вас сообщать свое мнение о произведениях, напечатанных в нашем журнале, а также свои пожелания.

Письма, с указанием фамилии, возраста, профессии и, желательно адреса, просьба направлять: Москва, ул. Горького, 15, Редакция журнала „Октябрь“.

Государственное издательство художественной литературы приступило к подготовке издания полного собрания сочинений и писем А. П. Чехова.

Издательство обращается ко всем учреждениям и лицам, у которых хранятся автографы писем А. П. Чехова, представить их для настоящего издания. Об условиях публикации писем обращаться по адресу: Москва, Б. Черкасский пер., д. 2/10, Гослитиздат, Главная редакция издания сочинений и писем А. П. Чехова.